

НОВЫЙ МИР

179034

1-2

МОСКВА

1944

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 1—2

Год издания XXI

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Беларусь, поэма. Перевод с белорусского Бориса Турганова	2
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Пушки выдвигают, исторический роман	8
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Из дневника 1943 года, стихи	61
Ю. GERMAN — Студеное море, повесть	64
В. РУДИМ — Стихотворение	98
АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ — Сказание о Мардистане, поэма. Перевод с фарси Ц. Бану	100
МИХАИЛ ПРИШВИН — Рассказы	101
В. ГЛОТОВ — Песня, стихотворение	107
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ — Сбор винограда в Мукузани, стихотворение. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова	108
ДЖОН Б. ПРИСЛИ — Дневной свет в субботу, роман. Перевод с английского М. Е. Абкиной	109
Н. ТИХОНОВ — Отечественная война и советская литература	180
В. ЩЕРБИНА — Ленин и традиции русской литературы	190
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Слово — оружие	210
ФАТИМА СОЙЯХ и СЕИД НАФИЦИ — Иранская литература наших дней	215

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. ВЕНГРОВ — Лирика С. Щипачева	219
А. МАКАРОВ — Книги о великих флотоводцах	221
Н. ГАБИНСКИЙ — Герой мексиканского народа	223

БЕЛАРУСЬ

ПЕТРУСЬ БРОВКА



Мой родны кут,
Як ты мне мілы!
Якуб Колас.

1.

Земля беларусская! Рощи да хаты,
Поля золотые, не травы — шелка.
Что гроздь рябины — багрянец заката,
Что крик журавлиный — ручьев перекаты,
И легкие над большаком облака.

Земля беларусская! Синью озерной
Глядишь ты в прозрачные дали небес.
И сыплются звезды, как спелые зерна,
В воде исчезают, на пажити черной,
В росистой траве рассыпая свой блеск.

Былины былого, святые преданья
Плывут, как под солнцем весенним челны,
По долам зеленым, по шири бескрайной,
От Немана к Сожу, от Буга до Гайны,
По глади Днепра, по раздолью Двины.

Отцов наших слава на их побережьях,
Ту славу — полесская чаща хранит,
О ней повторяют и Полоцка вежи,
И Турова стены, и шум Беловежья,
И стольного Минска суровый гранит.

2.

Земля беларусская! Пламенем рдяным
Тебя обожгли испытанья войны.
Но, не отступая в бою неустанным,
Вершат приговор над врагом окаянным
Твои закаленные в битвах сыны.

Их много, как много дубов на Полесье, —
И статны, и рослы, и крепки в плечах.
Их много, как сосен в густом красноелье,
Как звезд золотых в голубом поднебесье,
Как трав на широких, привольных лугах.

На дело святое свободы и чести
Выходят бойцы — за отрядом отряд
И зовы о мести, о яростной мести,
И в Минске, и в Гродне, и в Пинске,
и в Бресте, —
По всей Белоруссии нынче звучат.

«Смерть немцу проклятому!» — снова и
снова
Призывы несутся, — их не заглушить.
Как ветру не сдвинуть утеса крутого,
Как зною не высушить лона речного,
Так силы народной — врагу не смирить

3.

Отцы наши били захватчиков прусских,
Не дали в оковы себя заковать —
Под Грюнвальдом били, на озере Чудском,
Там, вместе с украинским братом и
русским,
Громила врага беларусская рать.

Под стены Смоленска, к Полтавскому
полю
Они приходили, сражаясь с врагом,
Делили казацкую, трудную долю,
И верили твердо: крепка наша воля,
Ведь правдой от века стоит отчий дом!

Любую послушай сосну ли, березку —
Они шелестят нам, как давней порой
Ходил тут Вашчила, Фесько, Калиновский!
Водили отряды, сражались героически,
И слава их солнцем горит над землей.

Нет, враг не сломил нас в те грозные
годы,
Лесная чащоба — наш крепкий оплот!

Нам грудь освежали родимые воды,
Нам путь озаряли родимые звезды,
Зарницы сверкали над темью болот.

4.

В старинные годы сохи да лучины
О городе Полоцке слава прошла.
Там славный печатник, Георгий Скорина,
Прославил себя величавым почином,
И пышно наука его процвела.

И сколько людей к его светлой кринице
Брело, чтобы новое слово познать,
Чтоб мудрости книжной его научиться...
Да, сыном подобным по праву гордиться
Ты можешь, великая родина-мать!

На долах твоих, точно клады живые,
Окутаны дымкой таинственной мглы,
Стоят Городенские башни седые,
Дома Новогрудка, гробницы Софии,
И замков Заславля крутые валы.

Зарницы о славе народа вещают,
И, лучшие думы его затаив,
Бежит, не иссякнет струя ключевая,
И радуга в небе восходит, сверкая,
Как символ, что путь его — чист и правдив.

5.

В борьбе многотрудной, суровой, упорной
С Россией, с Украиной мы шли заодно.
Растет наша речь от единого корня,
Как говор Двины, как днепровские горы,—
И наше единство в веках рождено.

Мы вместе оружие несли боевое,
Мы кровью скрепляли великий союз.
Когда надвигалась гроза над Москвою
И гром грохотал над Чернечьей горюю. —
И ты откликалась, моя Беларусь!

Ты кровная им и судьбою, и родом,
И озарены вы — единой зарей,
Ни немцам-баронам, ни шляхтичам гордым
Не разлучить наших братских народов,
Всегда ты с Россией, со старшей сестрой.

Повсюду ты с нею, пути ваши рядом,
Будь ясное утро, будь полночи мрак.
Под солнцем веселым, под стужей,
под градом,
И радость победы, и горечь утраты
Вы делите вместе, равняя свой шаг.

6.

Земля белорусская! Встретясь с врагами,
Не каждого ты отпускала домой:
На древней Немиге их стали снопами,
В капусту крошил их твой Витебск
мечами,
А Полоцк поил их — кипящей смолой.

Вот бледная тень Бонапарта влачится,
И черный венец над челом мертвеца:
«Не знал я, что здесь моя гибель таится,—
Но неодолимы России границы,
Победы не жди здесь, а жди лишь
конца...»

И, грозно играя седыми валами,
Бушует и пенится Березина:
«Я трупы врагов укачала волнами,
Немало их на берегу меж камнями,
Немало моя унесла быстрина!»

И шепчет камыш стародавние были
О мести народной в тот памятный год, —
Как роты французские вспять уходили,
Как их добывал, подымая на вилы,
Как в топь загонял белорусский народ.

7.

Земля белорусская! Не было горше,
Чем немцы, и злей, и коварней врагов.
Но прочь уходили и кайзера боши
От стен Могилева, от Полоцка, Орши,
Под натиском красноармейских штыков.

Заря Октября над страной зардела,
Народ поднялся многошумной волной,
По селам и весям повстанье гудело,
И стая тюремщиков не одолела
Огня, пламенеющего над страной.

И ты, торжествуя над кровью и болью,
Ты правды искала, святая и смела:
Как ливень весенний, омыла ты поле,
Как дуб меднолистый, взошла на раздольи,
И рабские путы навеки сняла.

Да будет священен для всех поколений
Тот трижды прекрасный и радостный
год!

Навек незабвенно твое пробуждение,
Когда поднялась ты, в чудесном цветенье,
Раскинув крылья, устремилась в полет.

8.

Народ белорусский, к тебе чередую
Идут небывалые, вольные дни!
Лицо ключевой омывши водою,
Утершись восточной, червонной зарею,
В грядущее смело и твердо взгляни!

Расправивши плечи, могутный, высокий,
Ты встал, озирая родные края,
Как бор вековой над равниной широкой,
Как дуб молодой над рекою глубокой,
Веселой улыбки своей не тая.

Собратья по доле тебя расковали,
И все прояснилось, что было во мгле.
Как вешние воды, что вдруг заиграли,
Как буйные ветры, летящие в дали,
Свободным ты стал на свободной земле.

Припомнишь — и сам не поверишь порой,
Как вы поднимались, просторы Полесья,
Все в нивах широких, что в сказке
чудесной,
Наполнены радостной, буйной игрой.

14.

Земля белорусская! Знойное лето
Твое никогда позабыть не смогу.
О как хороша ты, лучами согрета,
Ромашками и медуницей одета,
Кострами в купальскую ночь на лугу.

На вишнях и яблонях солнце играет,
Смородины пышные рдеют кусты,
Как бархат мерцает трава наливная,
Как море, колышется рожь золотая,
И запахи клевера ввысь разлиты.

Стоят при дороге березы да ивы,
Вином расплескалась небесная гладь,
Играют листвою ветерка переливы,
Раскинулась наша колхозная нива,
Куда ни посмотришь, — межи не видать!

И где я ни буду, — везде будет сниться,
Как в поле выходят с зарей косари,
Как луг росяной перед ними искрится,
Как песню заводят веселые жницы,
Заплетшие в косы румянец зари.

15.

А как было славно, под говор дубровы,
Погожею, летней порой отдохнуть!
Озера под Непелем, сень Августова
Дарили нам воздух смолистый, сосновый,
И силой, и радостью наполнилась грудь.

Как славно, поднявшись на зорьке
румяной,
Почувствовав прикосновение тепла,
Вдохнуть полной грудью твой воздух
медвяный,
Как славно, усевшись в челнок
деревянный,
Поплыть под размерные взмахи весла.

А с берега — головы клонят купавы,
А в поле — цветов полыхают костры,
А ветер колышет душистые травы,
А солнце тебя пригревает на славу,
А птицы в лесу — ну, совсем гусяры!

А как ты чудесен, закат над Двиною,
Осенней порою и в солнечный май!
Любой, кто хоть раз повстречался
с тобою,
Повсюду признает, с открытой душою:
Прекрасен озерный, родимый мой край!

16.

Земля белорусская! Каждый твой колос
И каждую травку под небом твоим

Воспели любовно Купала и Колас,
На каждой тропинке — их песня и голос,
С твоею печалью и счастьем простым.

Под крики кукушки, под шорохи сосен
Сложил Богданович свой яркий венок,
Слыхали озера, леса и покосы
Бядую и тётку, — слезы, что росы,
Рассыпал по краю Матвей Бурачок.

А как расцвело наше слово огнисто
Под сталинским солнцем, в погожие дни!
Мы счета не знали стихам голосистым,
Рождались певцы, музыканты, артисты,
О счастье народа нам пели они.

Земля белорусская! Песней-веснянкой
Несешься ты с ветром по струнам ветвей.
Ты песня, звучащая нам спозаранку.
Над каждым пригорком, на каждой
полянке,
Ты — наша поэма из слов-янтарей!

17.

Мне все вспоминаются, снова и снова,
Над тихую Свислочью стены домов,
Просторные улицы Минска родного.
Столица! Ты нашего роста основа,
Ты — гордая слава могучих отцов.

Столица! Твои непреклонны знамена!
Не раз ты знавала и горе, и грусть:
Тут сабли ломали французы, тевтоны,
И шведы, и лахи. Врагов неуклонно
Гнала ты, скликая на бой, Беларусь.

Столица! Тебя вся страна создавала
В советские годы, народной рукой.
Ты, словно на крыльях, под небо
взлетала,
Дворец за дворцом, и квартал за
кварталом,
Тебя и в мечтах я не видел такой!

Лазурное небо над городом-садом,
Окраины в гуле фабричных гудков,
И бронзовый Ленин заботливым взглядом
Встречал нашу мощь, нашу буйную
радость,
И звал нас вперед, на просторы веков!

18.

Тот день мы прославили благословенный,
Когда, наши раны навек заживив,
Из края, где Буг протекает и Неман,
Сошлись наши братья на пир
вождемный,
Проклятые цепи навеки разбив.

Одна у нас мать, и одна у нас хата,
Так кто ж и когда разделить нас посмел,
Чтоб, силой отторгнувшись брата от брата,
Похитить у них все, чем сердце богато,
Лишь горькие слезы оставив в удел?

И землю похитив, и слово родное,
Тюремщики наши забыли одно:
Как вольную Припять не делят надвое,
Как ветра степного не стиснуть стеною,
Так вольный народ полонить не дано!

И встретились братья, и, звонкоголосы,
Приветные речи в простор потекли...
Заветное наше желанье сбылось,
И в красках рябины веселая осень
Прошла по полям белорусской земли.

19.

Так проклято будь и теперь, и вовеки,
Отродье Германии, злое зверье!
Вы, облик утратившие человека,
Вы, крови людской расплескавшие реки,
Отечество вы истерзали мое!

Как сердцу мучительно это и больно!
О, нет, никогда не забуду, клянусь,
Как поле под тучей застыло безмолвно,
Как реки катили свинцовые волны,
Когда оккупанты вошли в Беларусь.

Как рушился труд поколений, столетий,
Как мертвая тьма на столицу легла,
Как улицы никли под лапами смерти,
Как гибли в развалинах малые дети,
Как солнце закрыла угарная мгла.

Как банды убийц, негодяи и трусы,
По нашей земле разносили пожар...
Но не покорился народ Беларуси,
Не стал на колени, не пал, не согнулся,—
Ударом ответил на вражий удар.

20.

Земля белорусская! Множатся раны,
Но пламенем гнев твой восходит в зенит.
Лесною чащобой идут партизаны,
Врага поражают они неустанно,
Не реки звенят — то оружие звенит.

Ты не покорилась пред силою дикой,
Ты встала с пылающей местью в глазах.
Сосновая ветка — становится пикой,
Не ветер бушует, — а мщенья клики:
Смерть пляшет на вражеских черных костях.

До самого неба взметнулись пожары,
Приходит отмщенье за злые дела,
Врага настагает суровая кара,
Гремят Налибоки, волнуется Нарочь,
На берег из плена выходит Сула.

Земля белорусская, в грозные годы
Тебя защищает народная рать.
Кто жил твоим хлебом, кто пил твою
воду,

Кого приютила ты в час непогоды,
Готов умереть, чтоб тебя отстоять!

21.

Бор шумный, бор грозный, вещун наш
зеленый,
Кивая листвою, вспомяни в эти дни,
Как с немцами бился отважный Заслонов,
Громил оккупантов, взрывал эшелоны...
И грому, и молниям был он сродни.

Бор шумный, бор грозный, толкуя с
ветрами,
Еще Расскажи им, под шорох ветвей,
Как Миша Сельницкий ходил тут
с друзьями,
Как, землю сырую обнявши руками,
Звездой он взмог над отчизной своей.

Бор шумный, бор грозный, с заботой
отцовской
Следишь ты, могуч, и силен, и высок,
Как недруга косит наш храбрый
Дубровский,
Как губят злодеев всей силой бойцовой
Павловский, Козлов, Бумажков, Лобанок.

Бор шумный, бор грозный, чащоба родная,
У встречных спроси ты — ответит любой.
И старый, и малый ответит — я знаю —
Одно только слово: страну вызволяя,
Готовы мы все на решительный бой!

22.

Земля белорусская! Реют знамена,
И час избавленья подходит к тебе.
Гремят батареи, летят эскадроны,
И землю свою от лихого полона
Твои сыновья вызволяют в борьбе.

Не залпы орудий, а радуг узоры
Под небом декабрьским, московским
цветут.
О, как озаряют Кремлевские зори
Твои города, и поля, и озера,
Как радостно слышать победный салют!

Врагов отпевает пурга, налетая,
Им некуда деться от наших штыков.
Полки с Украины, Сибири, Алтая
Идут, наступают — лавина литая —
И не остановишь гвардейских полков!

А к ним — партизаны идут боевые,
По всей Белоруссии будет светло.
Пусть залиты кровью поляны родные,
Ты сильною встанешь, как в годы былые.
Венком из ромашек украсишь чело.

23.

Земля белорусская! Вновь над полями
Мы рельсы проложим, воздвигнем мосты,
Все рвы заровняем, запашем плагунами,
Селенья обсадим густыми садами,
На деревце каждом расправим листы.

Сойдемся мы в доме просторном,
сосновом,

— Точи-ить ножи-но-о-ожницы, — брит-
вы пра-авить!

— Солда-тушки, bravo-ребятушки,
Где же ва-а-ши сестры?

— Наши сестры — штыки-сабли

востры,

Вот вам на-а-ши сестры!

Пели и колокола на всех городских колокольных в праздники и накануне их. Только посвященные в это дело люди знали, как соперничали между собою мастера своего дела — звонари, и сколько тонкости и любви к своему ремеслу они вкладывали в колокольный звон, целыми реками звуков разливавшийся по улицам, густо и упруго.

Но не только пели улицы, — они еще и сверкали то здесь, то там, они переливисто играли в гамме то пленительно теплых, то притушенно холодных тонов, — каждый шаг вперед — новое очарование, сколько бы раз ни виделось это раньше.

И пожилой художник Сыромолотов, Алексей Фомич, утром в воскресный день шел по легкой улице людного южного города, непосредственно настежь открытый всем встречным лицам, всем звукам, всем красочным пятнам. Шел, как борец, чувствующий несокрушимую силу всех своих диких мышц.

Он и был еще очень силен, несмотря на довольно большие уже годы (ему шел пятьдесят восьмой). Плечи, как русская печь, широкое лицо в коротко подстриженной русой с сединками бороде, на большой голове мягкая белая панама, и глубоко сияющие серые глаза смотрят, как бы сердито даже, но они просто чрезвычайно внимательны ко всему кругом, чтобы все насухо вобрать, все в себе самом распределить и все навсегда запомнить.

Остановившись перед толстой старой белой акацией около дома с ярко-зелеными ставнями, недавно окрашенными заново и потому блистательными, он так забывчиво-долго смотрел, закинув голову, на ее роскошную крону, на буйную темную зелень обильнейших перистых листьев и потом так любовно гладил дерево по жилковой темно-коричневой коре, что к нему подошел догадливый человек южного типа и сказал почему-то таинственно:

— Может быть, вам, господин, требуются сухие дрова на кухню, то это я вам могу доставить в самом лучшем виде!

Сыромолотов не понял, о чем он, и поглядел на него с недоумением.

— Что, что? Дрова? — спросил он. — Какие дрова?

— Ну, на кухню вам, — я же это вижу, — повторил догадливый.

Сыромолотов оглядел его всего с головы до ног, отступил даже на шаг-на два, чтобы рассмотреть его еще лучше,

потом коротко усмехнулся одним только носом, большим и широким, нисколько не меняя при этом выражения ни губ, ни глаз, и неспеша двинулся дальше.

Это только для равнодушного взгляда улицы, — внешний их облик, — не менялись из года в год, разве только кучка денежных воротил, затеяв устроить, например, банк взаимного кредита, начала воздвигать вдруг ни с того, ни с сего обширный, солидный дом с колоннами коринфского стиля и с вычурным фронтоном. Для Сыромолотова же, — художника всем своим существом, — каждый день и каждый час во дни улицы были новы, потому что несравненный художник — солнце — не устал показывать их ему, — только смотри, — все в новом и новом освещении.

И то, что улицы пели, для него был тот же солнечный свет. Он затруднился бы, конечно, объяснить это догадливым людям, но для него самого это была истина, не требующая доказательств. И когда он заканчивал какую-либо свою картину, он встревоженно вслушивался в нее, — поет ли? Звучит ли? Жива ли настолько, чтобы слышно было ее тем, кто будет на нее смотреть?

Да, он все-таки представлял перед своими картинами кого-то, зрителей, но не мог никак и никогда допустить в этих представлениях, чтобы они были не художники, хотя, поселясь тут несколько лет назад, он отъединился и от художников.

Когда эконома его Марья Гавриловна, простая женщина, ведшая несложное хозяйство в его доме и готовившая ему обед, по свойственному женщинам любопытству спросила его как-то, осмелев:

— Почему же это все-таки, Алексей Фомич, ни вы никуда в гости, ни к вам никто? — Сыромолотов ответил ей после намеренно длинной паузы:

— Я, Марья Гавриловна, на своем веку решительно все уже слышал, что могут мне сказать люди: зачем же мне ходить к ним или им ко мне?

И тем не менее теперь, в это летнее утро он ушел к людям, хотя и не в гости, а писать портрет.

Обычно, когда он уходил за город с этюдником и черным зонтом, он говорил Марье Гавриловне: — «Иду на натуру». Так же точно он сказал ей и теперь и сказал вполне точно, именно то, что думал: он шел «на натуру», хотя за портрет должен был получить немалые деньги.

Отъединившись, Сыромолотов рассчитал, что его наличных средств при скромном образе жизни должно ему хватить надолго, почему в заработке он не нуждался. Он действительно чувствовал себя в это утро так, как будто шел «на натуру», тем более, что «натура» эта не могла притти к нему в мастерскую: поч-

ти не владела ногами, сидела в кресле, прощалась с жизнью.

И поскольку сам Сыромолотов был силен и крепок, и всеми порами своими впитывал солнце, разбросанное кругом него, он шел, испытывая знакомую только художникам жадность к тому, что вот-вот должно потухнуть.

Чтобы понять это, нужно видеть, как художники пишут закат с натуры, как широки у них в это время глаза, как торопятся их кисти, как напряжены их тела, подавшиеся вперед туда, где догорают заря, где вот-вот начнут пепелиться облака, на которые пока смотреть больно, до того они ярки, туда, где совершается волшебство, на которое вот-вот опустится занавес... Со стороны глядя на них, на художников, в это время, можно подумать, что они сумасшедшие, а они только ловцы солнца.

И здесь, на улицах, Сыромолотов не просто смотрел на все кругом, — он вбирал, он впитывал в себя то, что мелькало и исчезало, сверкало и гасло, чтобы никогда уж не повториться больше.

Вот чей-то беленый ребенок-двухлетка, чинно сидящий на охряной доске крылечка, вскинул на него ясные глазенки и сказал протяжно:

— Дядя!

— Совершенно верно, — отозвался на это Сыромолотов. — Тетей еще никто не называл.

И, улыбаясь, погладил ребенка по головке, следя в то же время, как в мягкие голубые тени прятались его пухлые пышущие щеки.

Колченогая, серая, с красноватыми прихотливыми крапинками лошадь водовоза-грека тащила зеленую бочку, полную воды, и вода эта веселой струйкой прыдала вверх на каждой выбоине мостовой и потом растекалась по бочке, поблескивая. Лошадь была старая, явно недовольная своим делом: она держала голову вниз и смотрела только на гладко укатанные камни. Камни однообразно звякали под ее подковами; двуколка тахтела; грек-водовоз, темнобурый, чернобородый, ел на ходу селедку, держа ее за голову и хвост.

Около киоска, где продавались фруктовые воды, стояло молодое веселье. Сюда подошли пить воду две молоденькие девицы, обе в розовых платьях, одинакового покроя, — сестры или подруги, — и у каждой из них на руках было по маленькому розовому поросенку. Обе держали поросят, как младенцев, закутав их в свои носовые платки так, что высывались только мордочки и передние ножки. И какие-то смешливые подростки срачивали бойко:

— Куда вы их тащите? Жарить?

— Ну-да, «жарить», — еще чего! — возмущались весело девицы: — Воспитывать будем!

— Смотрите же, чтоб они у вас гимназию окончили! — подхватывали подростки, и казалось, что хохочут вместе с ними даже и две колонки с сияющим сиропом — малиновым и вишневым.

На карнизе одного двухэтажного дома сидело в ряд несколько сизых голубей с рубиновыми глазами, а чуть-чуть поодаль от них стоял один и с большим увлечением гуркотал, раздувая веером перья на шее, будто старался убедить остальных в чем-то необыкновенно важном.

Возле уличного сапожника на углу двух улиц высился какой-то молодой фронт, — без фуражки, жесткие черные волосы ежом, белая рубаша в брюки, синий галстук горошком, одна нога в сандалии, другая босая; фронт пресерьезно читал газету, сдвинув брови и выпятив губы, сапожник продергивал дратву в подметку его сандалии. Сапожник был в синих очках, длинноволосый, с ремешком на голове.

Девочка лет трех, бойко ступая по каменным плитам тротуара крохотными запыленными ножонками, тащила лисицу из папье-маше, к которой кто-то прицепил всамделишный лисий хвост — пушистый, рыжий. Лисица была большая — глаза из стекла янтарного цвета, уши торчком, — девочка была в упоении. Она никого не видела кругом, — видела только лисью мордочку, глядела только в янтарные, совсем как живые глаза... Прижималась к ней всей грудкой, целовала то глаза, то уши, подбирала хвост, волочившийся по тротуару, и спешила-спешила дотащить ее, видимо, к себе домой, сквозь густой лес ног встречающих дядей и тетей. А за нею, шагах в пяти, подталкивая один другого, и не сводя с нее глаз, шли двое мальчуганов лет по десяти, — оба плутоватые, продувные, что-то затеявшие..

Сыромолотов даже остановился посмотреть, что они сделают дальше, но улица была людная, они затерялись в ней, маленькие, их закрыли другие цветные пятна.

А из-за угла поперечной улицы, которую нужно было пересечь Сыромолотову, давая гудки, выкатился грузовик с черепицей: боковины грузовика темно-зеленые, черепица — новая, оранжево-красная, а на черепице спал, расклаваясь, но не просыпаясь, рабочий в синей рубаше и с копной волос цвета спелой пшеницы.

Сыромолотов остановился, чтобы запомнить и это и представить как деталь большой картины на стене своей мастерской.

Его знали в лицо многие в городе, но всем было известно и то, что он не выносит, когда с ним заговаривают. Поэтому и теперь такие встречные только раскланивались с ним, причем он сам

слегка брался за панаму и делал вид, что чрезвычайно спешит.

Но вот неожиданно для него прямо перед ним остановилась девушка лет девятнадцати, в какой-то кружевной, очень легкой на вид шляпке, похожей на ночной чепчик, и в белой, по-летнему просторной блузке, и он никуда не свернул, а тоже остановился, вопросительно подняв брови.

Никогда раньше не приходилось ему видеть ее, поэтому он и на нее смотрел несколько секунд привычным для себя вбирающим взглядом, как на только-что проехавший грузовик с черепицей, она же сказала радостно:

— Я шла к вам, и вдруг вас встретила, — какая мне удача!

— Гм... Удача? — усомнился он.

— Как же не удача? То я обеспокоила бы вас дома, а то вот могу вам сказать и здесь, — нисколько не смутилась девушка; он же спросил хмуро:

— Что же такое сказать?

Он пытался догадаться, что такое могла сказать ему эта в шляпке-чепчике, и в то же время вглядывался в нее, как в «натуру», оценивающими глазами: в ее круглое свежее лицо, слегка загоревшее, в ее белую открытую шею, в широкий, мужского склада, лоб.

— Видите ли, дело вот в чем, — заспешила она, слегка понизив голос и оглянувшись: — Мы собираем средства, для отправки ссыльным и заключенным.. политическим.

— А-а!.. «Мы» — это кто же именно? — спросил он, отмечая про себя, что у нее почти незаметно бровей над серыми круглыми глазами.

— «Мы» — это студенты и курсистки, конечно, — объяснила она, слегка усмехнувшись тому, что он спрашивает: — И вот мы решили обратиться к вам..

— Гм... — отозвался на это он до того неопределенно, что она поспешила закончить:

— Может быть, вы дадите нам какой-нибудь ваш рисунок, этюд или там вообще, что найдете возможным.

— И?... И что вы будете с этим делать тогда, с этюдом, с рисунком? Кому именно пошлете, — ссыльным или заключенным? — в полном недоумении спросил Сыромолотов.

— Нет, никуда не пошлем (улыбнулась она, и лицо ее стало красивым), — мы думаем устроить лотерею, — кому повезет, тому и достанется. Мы уверены, что это даст нам много!

— Будто? — спросил он снова неопределенно, ставя себя так, чтобы разглядеть ее профиль.

— Конечно же, всякий захочет попытать счастья приобрести ваш этюд за какой-нибудь рубль, — объяснила девушка.

— Вы здешняя или приезжая? Я что-

то не видел здесь вас раньше, — сказал он, уловив ее профиль.

— Разумеется, я здешняя, — здесь и в гимназии была, а теперь я на бестужевских курсах, в Петербурге. И вы, может быть, даже знаете моего дедушку, — сказала она простодушно.

— Гм... Дедушку?... Может быть, если вы скажете мне его фамилию.

— Невредимов.. И моя фамилия тоже Невредимова.

Девушка ждала, что он скажет на это, но он покачал отрицательно головой.

— Знать в смысле личного знакомства? — Нет, не пришлось познакомиться. А фамилию эту я слышал.

— Слышали? Ну, вот. Его весь город знает, — просила девушка, а Сыромолотов, оглядев ее всю с головы до ног (она оказалась одного с ним роста), сказал подчеркнуто:

— Значит, с благотворительной целью вы у меня просите что-нибудь, так я вас понял?

— Вот именно, — с благотворительной целью, — повторила она.

— В таком случае, если вы ко мне шли, значит, знаете, где мой дом..

— Разумеется, я знаю, — перебила она.

— Тогда что же.. Гм... Так тому и быть: я что-нибудь выберу, а вы зайдите.

— Мы все будем очень, очень рады! Когда зайти? Сегодня?

— Сегодня? Гм... Как вам сказать? Сегодня я долго не буду дома.. Впрочем, если к вечеру, то можете и сегодня, но-о... Если вы не особенно торопитесь..

— Нет, я могу и завтра, если вам некогда сегодня, — поспешно вставила она.

— Да, завтра во всяком случае будет лучше.

— Хорошо, — во сколько часов?

— Да вот хотя бы в такое время, как сейчас.

— Сейчас (она быстро взглянула на часы-браслетку на своей оголенной до локтя руке) двадцать минут одиннадцатого.

— Ого! А к половине одиннадцатого мне нужно быть в одном месте..

И Сыромолотов встал за панаму, она же сказала сконфуженно:

— Я вас задержала, — простите! Значит, завтра в это время я к вам зайду. До свидания!

Сыромолотов только слегка кивнул ей и пошел дальше.

Все, что нужно было ему для работы, — холст на подрамнике, краски, кисти, — были уже в доме, где жила «натура», так как накануне, в субботу, состоялся уже первый сеанс. Ничто не отягощало Сыромолотова, когда он шел теперь, и

каждому встречному могло показаться, что он вышел просто на прогулку.

Отчасти так казалось даже и ему самому, пока он не встретился с курсисткой Невредимовой и не узнал от нее время. Сам он не носил с собою часов, считая, что это для него зачем же? Спешить ему не приходилось, да и теперь он не стремился притти непременно к половине одиннадцатого в дом богатого немца-колониста Куна; но дом этот был уже теперь совсем близко. Дом двух-этажный, как и другие около него дома, но над крышей, в отлучку от других, на обоих углах зачем-то прилепилось по стрельчатой башенке: — готика! Крыт он был черепицей, но черепица тут вообще предпочиталась железу; ярко бел снаружи, как и другие дома, фундамент и карниз первого этажа — аспидного цвета; парадного хода не имел, — войти нужно было в калитку, дернув для этого ручку звонка. На звонок отзывалась лаем цепная овчарка, потом отворялась калитка, и на вытяжку стоял около нее высокий седобородый дворник. Так было в субботу, и Сыромолотов был уверен, что так же точно будет и в воскресенье, и не ошибся в этом.

Этот дворник, в розовой праздничной рубаше, подпоясанной узким ремешком поясом, не мог не привлечь внимания художника, — он был живописный старик, и Сыромолотов очень охотно посадил бы в кресло перед собою его, пока еще крепкого, бывшего солдата-гвардейца, но писать нужно было другого старика, немощного, бритого, со свинцовыми тусклыми глазами, к которому совсем не лежало сердце.

И во время первого сеанса, и потом у себя дома Сыромолотов думал над лицом и руками старого Куна: как поставить в комнате кресло, чтобы солнце заиграло на морщинах лица, на выпуклых синих венах рук, и тусклый взгляд сделало живым и острым?

Медленно идя по певучим улицам, через край щедро озаренным, он как будто нес в себе подспудную мысль как можно глубже пропитаться солнцем и звуками, чтобы внести их с собою в бессолнечность и тишину гостиной Куна.

Сильный свет беспокоил старика: он морщился, жмурил глаза, жевал недовольно бескровными губами; но в то же время свет был необходим для художника, поэтому первый сеанс наполовину прошел в передвигании кресла и в подкалывании занавесок на окнах; отчасти это занимало Сыромолотова, который изучающе всматривался в свою натуру, успев только нанести ее на холст углем.

Малоразговорчивый вообще, он привык говорить со всеми, кого писал: это помогало ему схватывать то естественное и живое, что пряталось в натянутой де-

ловой тишине и могло проявиться только во время разговора.

Старый Кун был из семьи давних колонистов, — он родился здесь, в Крыму, и хорошо говорил по-русски, и так как он сам теперь был уже не колонист, а помещик, то разговор с ним старался вести Сыромолотов об урожаях пшеницы, об удобрении фосфатами и навозом, о серых украинских волах, о красных немецких молочных коровах, о цигейских овцах..

Когда он спросил старика, много ли он держит овец, тот задумался было, пожевал губами, но ответил оживленнее, чем на другие вопросы:

— Нет, сравнительно если сказать, то не так много... А вот Фальцфейн, — вы знаете, есть у него имение — Аскания Нова, тоже в Таврической губернии?

— Как же не знать, много наслышан, — отозвался Сыромолотов, — там у него заповедник, и чуть ли даже не слоны пасутся на воле.

— Слонов, положим, нет, — поморщился старик, — но заповедник, как, вы скажали, это есть... Так вот, его один раз также спросили: «Герр Фальцфейн, сколько вы имеете овец?» И он на это ответил так (тут голос старика зазвучал торжественно): «Сколько у меня всех имеется овец, этого я не знаю, а что собак-овчарок при них шестнадцать тысяч, то это мне очень хорошо известно, потому что...» Тут он сделал многозначительную паузу и досказал с ноткой сожаления: «Потому что собак приходится кормить!».

— Гм, — как же так все-таки не знать, сколько овец? — спросил, не столько удивясь, сколько для того, чтобы поддержать оживление на лице старика, Сыромолотов.

— Может быть, один миллион, может быть, полтора миллиона, может быть, и два миллиона, — это смотря по окоту маток: все ли ягнята — одинцы, или же есть много двойней, тройней, и не было ли падежа, и, кроме того... — начал было словоохотливо объяснять старик, но закашлялся затяжным свистящим кашлем и умолк.

Когда входил в дом теперь Сыромолотов, он думал и над тем, о чем был в этот сеанс поговорить с натурой, так как теперь это было гораздо нужнее и важнее, чем накануне: тогда был только уголь, а не краски.

Однако вопрос этот перестал его беспокоить, когда он увидел шедшего ему навстречу младшего сына «натуры», того самого довольно молодого еще и жизнерадостного человека, который был у него в доме, договаривался насчет портрета, помогал даже и усадить отца, как хотелось художнику, но потом вызванного куда-то по делу, так что, уходя

после сеанса к себе домой, Сыромолотов его не видел.

Высокий, плотный, прекрасного на вид здоровья, молодой Кун, Людвиг Карлович, чувствительно-крепко пожал мощную руку художника и имел такой образованно-вздернутый лик, точно приготовился уже сказать ему что-то чрезвычайно приятное.

Действительно, с первого же слова он расхвалил рисунок углем, найдя в нем «поразительное» сходство с натурой.

— Бесподобно, замечательно!.. Я, разумеется, и ожидал от такого художника, как вы, такого рисунка, но, знаете, должен вам сказать — поразительно, виртуозно! Это будет ваш шедевр, шедевр!.. Я все-таки знаю толк в живописи, должен вам сказать, я не профан, как другие!

Что он знает толк в живописи, об этом слышал от него Сыромолотов еще в первый день своего с ним знакомства. Тогда же он сказал ему, что у него есть профессия, — что он инженер-электрик, и что в этой области он надеется сделать себе современем большое имя и состояние. Даже повторил:

— Большое имя и состояние, что, разумеется, — вы это понимаете сами, — никогда не бывает одно от другого отдельно, а всегда вместе.

У него была счастливая способность не сомневаться ни в себе самом, ни в том, что он говорил, — это заметил Сыромолотов. В то же время он точно щеголял вежливостью необычайной, которая как-то особенно удавалась ему, когда он стоял. Голос у него был громкий, но какого-то неприятного тембра, а глаза все время искательно улыбались и неутомимо следили за собеседниками.

Ему было лет тридцать, его отцу за семьдесят, но в доме была и мать Людвиг Куна, старуха крупная, тяжелая, благогазая, в седых буклях. Она встречала Сыромолотова и когда он приходил в первый раз, однако, ни тогда ни теперь тоже он не заметил ни приветливости в ее обрюзгом большом лице, ни мягких ноток в ее словах: она была церемонна. Похоже было даже на то, что она недовольна сыном за то беспокойство, какое он доставил своему отцу и ей тоже, так как беспокойство это угрожало стать довольно долгим. По крайней мере, она испритоивно-испуганно сложила перед собой толстые, в крупных желтых пятнах руки, когда услышала, что портрет будет писаться не меньше, как целую неделю изо дня в день.

3.

Перед тем, как взяться за кисти, Сыромолотов долго вглядывался в свою натуру. Конечно, он делал это как бы между прочим, занятый в это время

приготовлениями, без которых нельзя было начать вливать жизнь в то, что было начерчено на холсте углем. Он искал в ящичке краски преувеличенно медленно, чтобы вдруг вскинуть глаза на Карла Куна; он выдавливал из тюбиков краски на палитру, как бы усиленно обдумывая, нужен ли ему будет тот или иной тюбик, и не мало ли он берет из него краски, а в это время, сильно сощурился, и откинув голову, прилипал долгим взглядом к тусклым глазам старика.

Со стороны могло бы показаться, что излишне было ему искать в обыкновенном немце-колонисте, разбогатевшем на отарах овец, на сотнях десятин пшеницы чего-то значительного, но Сыромолотов не считал бы себя значительным художником, если бы не сумел найти даже и в такой натуре крупную для себя задачу.

Старый Кун как бы не один сидел перед ним в своем кресле: он двоился, троился, четверился, множился у него на глазах. Кун, возведенный в энную степень, несколько поколений Кунов, расплывшихся в сытых крымских степях, протискивались в эту гостиную, к этому креслу и смотрели сквозь эти тусклые, свыше чем семидесятилетние глаза.

Они все суеились не покладая рук, покрикивая на рабочих на своих полях, на чабанов-татар около овечьих загонів, трясясь на тарантасе, когда нужно было за тем, за другим ездить в город, проклиная дорогой русские порядки. Они все лепили лепту к лепте, чтобы создать состояние и тем самым ореол около своей фамилии: «Мы — Куны!»

Может быть, Сыромолотов и не согласился бы писать портрет Карла Куна, если бы он не увидел у себя в доме младшего сына его, Людвигу, и не представил по этому образцу целую шеренгу подобных светлоглазых Кунов, его братьев, какие бы имена они ни носили.

Этот, Людвиг, — инженер-электрик, другие могли быть инженер-механики, химики, металлурги, или агрономы, или даже овцеводы, но непременно с таким же широким размахом, как знаменитый Фальцфейн, — как же можно было отвергнуть такую натуру?

Вот он сидит в кресле, старый Карл Кун, — звено в длинной цепи Кунов, раскинутой и по Крыму, и по Украине, и по Волге, и по Кавказу, и разве нельзя прочесть на его обрюзгшем лице, сколько бочек своего немецкого пива, сваренного из русского ячменя, выпил он за долгую жизнь, сколько съел свиных во всех ее видах, сколько мук непонятого сердца перенес, давая взятки чиновникам, когда устраивал свои делишки, хотя очень многие из этих чи-

новников были такие же немцы, как и он?

Каждая складка, каждая крупная морщина на этом обвисшем лице — знаки чего они: поражений в житейской борьбе или побед? Ведь он, конечно, удачлив был в обделывании своих дел, этот Карл Кун, но, может быть, скорбит все-таки неустанно о том, что не в такой мере удачлив, как ему бы хотелось? Ведь того, что называется мудростью, нельзя отыскать в этих стариковских чертах, однако же он не только поддерживал честь Кунов, выходцев откуда-нибудь из Голштинии, он создал почти династию Кунов, — ого!.. Ему все-таки есть чем гордиться, так прочно обосновавшемуся в чужой для него стране.

Чем больше вглядывался теперь, для красок, в свою натуру Сыромолотов, тем ярче рисовался в нем самый внутренний облик старика, но он иногда взглядывал и на Людвигу и находил это необходимым: быть может, именно таким почти был с виду Карл, его отец, в тридцать лет, и столько же самоуверенности в нем тогда выплескивало наружу.

Когда Людвиг спросил Сыромолотова, не будет ли он ему мешать, если посидит немного тут, в гостиной, художник отозвался на это:

— Нет, нисколько, нисколько... При одном условии, впрочем, что вы сядете не сзади, а спереди меня, потому что, как вы сами должны понять...

— О-о, разумеется, я понимаю! — очень живо перебил его Людвиг Кун. — Ведь это было бы все равно, что смотреть игроку в карты! Я понимаю!

И он сел на один из мягких стульев, аккуратно расставленных вдоль стен и укрытых чехлами. Пестрый длинный галстук его на белой рубашке, спрятанной под широкий вязанный пояс с кожаными карманчиками; отлично разутюженные серые брюки; блестящие запонки, блестяще начищенные туфли светлошоколадного цвета; свисающая на лоб прядь белокурых волос и ничуть не сомневающийся в себе постанок головы молодого Куна, — все это отлично дополнило парадно одетого усталого старого Куна, и Сыромолотов часто переводил глаза с одного на другого, пока не начал, наконец, писать лицо.

Неудобство было только в том, что теперь уже старик как бы передоверил сыну разговоры с художником, а тот говорил, совершенно не затрудняя себя выбором темы: очень он оказался словоохотлив. Впрочем, начал он с живописи:

— Я всегда завидовал художникам! Как хотите, а по-моему это большой козырь в жизни — талант художника, а?

— Гм... Пожалуй, да... Пожалуй, я и сам так думаю, — отозвался на это Сыромолотов.

— Ну, еще бы, еще бы! Возьмите любую другую профессию: сколько возни, пока чего-нибудь добьешься, сколько труда!

— Так что вы думаете, что написать портрет, например, легко? — заметил Сыромолотов.

— Для такого художника, как вы? Я думаю, — какой же это для вас труд?

— Гм... Не думайте так, — и для меня трудно. И даже всякое полотно вообще, какое я начинаю, мне именно представляется очень трудным. Вы художника Сурикова видели что-нибудь?

— Ну, еще бы, Сурикова! «Боярыня Морозова», например...

— Хорошо, «Боярыня Морозова», — прервал Сыромолотов. — Вы там хорошо на этой картине всмотрелись в дугу?

— В дугу?.. Я помню там сани, эти, как их называют, — розвальни, что ли...

— Ну, вот, сани, а над лошадей дуга, и дуги этой вы, значит, не помните, не обратили на нее внимания — дуга и дуга. А сам Суриков, Василий Иванович, мне рассказывал об этой дуге вот что...

— Очень интересно, что именно?

Сыромолотов писал в это время голову старика и наблюдал за выражением глаз его, а не сына: ему нужно было, чтобы интерес к дуге засветился в глазах Карла, а не Людвигу Куна, и когда он заметил проблеск этого интереса, то продолжал, обращаясь непосредственно к своей натуре:

— «Кажется, не все ли равно публике на выставке картин, какая именно у тебя там дуга, — так мне говорил Суриков, — да ведь мне-то, художнику, не все равно! Представляется мне дуга с цветами, до того ярко представляется на яву, что и во сне ее вижу, а выйду на базар ли, где подвод много, на Сенную ли площадь, — все до одной дуги пересмотрю, — нет, не те!»

— Это замечательно! — сияя, вскрикнул Людвиг и даже ударил себя по колену, а старик презрительно сжал губы, чем очень одарил Сыромолотова, тотчас же перенесшего на холст этот его жест.

— Отчего же он сам не раскрасил дугу, как хотел? — спросил старик.

— Вот в том-то и дело, что ему нужно было прежде самому поверить, что такая дуга могла быть именно тогда, когда везли боярыню Морозову, встарику то-есть... Отсебятины он не хотел допускать, — Суриков; он был начитан тогда в историке Забелине, — ну, и вст, историческую правду должен был, конечно, сочетать с правдой художественной... «Таким образом, — говорил он мне, — целых три года искал я эту дугу».

— Три года? — изумленно выкрикнул Людвиг Кун.

— Неужели три года? — усомнился Карл Кун.

Выражения глаз старика, какое появи-

лось вдруг только теперь, и ждал Сыромолотов. Весь подавшись вперед, отбросив уже мгновенно то, о чем говорил, но бормоча скороговоркой: — «Три года, да-да, три года, вот именно... Целых три года...» — он в то же время писал правый глаз натуры, освещенный ярче, чем левый, и до того самозабвенно у него это вышло, что даже молодой Кун понял, что нельзя торопить его рассказом о суриковской дуге и отпугивать вопросами то, что его охватило.

Однако вот уже снова потускнели глаза старика, и Сыромолотов продолжал возбужденно:

— Чем же окончилось дело с дугой? Нехудожник, пожалуй, даже и не поймет этого..

— Я пойму, я пойму, говорите, прошу вас! — подзадорил его Людвиг Кун, а старый Кун тоже поглядел с засветившимся любопытством.

— «Выхожу я как-то на рынок, — это Суриков мне, — и что же вы думаете?»..

— Нашел? — не вытерпел Людвиг, а у старика появилось как-раз то самое выражение глаз, какое найти Сыромолотов.

— И вот.. что же вы думаете?.. Он... Василий Иванович... Суриков... — бормотал Сыромолотов, занявшийся левым глазом старика: — Он... вдруг... видит, представьте.. стоит воз... а около воза этого... лошадь пегая..

После этих отрывистых слов он замолчал, сам не заметив того, на полминуты, стараясь схватить кистью то, что появилось в левом глазу старика, — этакое снисходительное презрение к какой-то там разрисованной широкой мужицкой русской дуге, которую будто бы искал, как дурак в русской же сказке, какой-то художник в Москве...

Откачнулся назад Сыромолотов, вглядываясь, прищурясь, в натуру и потом в свой холст и продолжал с веселой ноткой в голосе:

— «Стоит лошадь выпряженная и жует сено, и около нее никого нет, но зато.. зато, вы представьте только радость мою: — дуга!.. Вот она, та самая, которая мне снилась столько раз, — стоит, приклоненная к стенке! Харчевня там, что ли, была, говорит, какая или контора, — чорт ее знает, только дуга, — моя дуга! — вот она, стоит! — И все цветы на ней точь в точь, как надо, и облуплена-то она, — старая ведь дуга!.. Цоп я ее, эту самую дугу, — и пошел!..»

— За-ме-ча-тельно! — выкрикнул Людвиг Кун и хлопнул обеими руками по коленям.

— Русская привычка, — сказал старый Кун.

Вот когда появилось во всем лице старика именно то выражение, которого искал Сыромолотов, как Суриков дугу. Теперь уже не одни глаза, а все складки

губ «натуры» и дряблых щек и рыхлого подбородка налились тем многолетним откровенным презрением, которое таилось под празднично-натянутой, скупающе-усталой миной бывшего колониста, а ныне русского помещика, имевшего, между прочим, для всяких надобностей дом в губернском городе, на одной из лучших его улиц, а также имевшего и нескольких сыновей, — свое бессмертие.

Выражение это держалось с минуту, и эту минуту Сыромолотов считал потом лучшей в сеансе. Он заносил на холст четко определившиеся черты уверенной рукой, пока снова не появилась прежняя, усталая миная, и вот только тут досказал он начатое:

— «Понес, говорит, я эту дугу, — прямо ног под собой не слышу от радости и ничего уж больше кругом не вижу: дуга у меня в руках, — чего мне еще надо?.. Вдруг крик неистовый: «Стой! Эй!.. Ребята, держи его! Дугу упер?..» Оглянулся я, вижу, бегут ко мне от этой самой, — харчевня она была или контора какая... — Сначала двое, потом еще двое, — орут несудом... Остановился я. Подбегают. Конечно, сверканье глаз и скрип зубов, и уж кулаки наготове. Я им, конечно, все в радости той обретаюсь: — Сколько, говорю дуга стоит, — покупаю!

— «Ну, тут, с одной стороны, на жулика я все-таки не был похож, и одет прилично, а дуге этой — полтинник цена, и то в базарный день. Как кулаки ни сучили, а все-таки, раз человек сказал: — «Покупаю», — у всех думка является: сорвать с него! Один кричит: «Трешницу давай!» Другой: «Чего трешницу, — пятерку!» А хозяин этой самой дуги: как закричит: «Красную бумажку давай, — ни в жизнь не отдам за пятерку!» Вытащил я кошелек, посмотрел, есть ли у меня там десять рублей, — вижу — есть, протянул ему: «На, брат, тебе, раз ты оказался такой счастливый!» Он даже и шапку снял при таком обороте дела, а я с дугой к себе домой. Прямо, можно сказать, не шел, а на крыльях летел!..» Вот как далась Сурикову дуга на его «Боярыне Морозовой!»

Говоря это весело, с подъемом, Сыромолотов также с подъемом работал кистью, и с холста на него уже глядело лицо старого Куна таким, каким оно только и могло быть в своем степном имении, в своем семейном кругу, когда сыновья его, — кто инженер-электрик, кто инженер-химик, кто инженер-металлург, — говорили о России.

Как всегда и для всякого художника за работой, время летело для Сыромолотова совершенно незаметно: просто да-

«е не было ощущения времени. Однако совсем иначе чувствовала себя живая натура. Старый Кун не только начал усилленно кряхтеть и кашлять, просидев полтора часа в своем привычном кресле, но начал уже хмуро поглядывать даже и на своего сына, не только на портрети-ста, и Людвиг, наконец, решил прийти ему на помощь. По свойству своего темперамента он сделал это довольно бурно».

— Браво, браво! Брависсимо!... — выкрикивал он, став за спиной Сыромоло-гова. — Классически! Лучше нельзя и представить! Вы превзошли самого се-бя!.. Вот я сейчас позову свою маму, — пусть полюбуется!

И он бросился в соседнюю комнату, и с минуту его не было, чем воспользо-вался Сыромолотов, чтобы сделать еще несколько необходимых мазков, так как видел, что сеанс волей-неволей прихо-дится закончить.

Людвиг привел не только мать: вместе с толстой рыхлой старухой пришла еще и молодая, с виду скромная, немка, а за ними шумно ворвался Людвиг, держа за локоть вполне по-товарищески человека своих лет, но гораздо более степенного, ниже его ростом, лысоватого и в очках.

Это было уже многолюдство, которое не могло, конечно, способствовать работе художника, и Сыромолотов поднялся и тут же положил кисть и палитру.

Никакого подобия улыбки не появи-лось на его лице, когда сияющий Люд-виг знакомил его с четкой Тольбергов, пришедших в гости к Кунам по случаю праздничного дня и скромно дожидав-шихся окончания сеанса; даже когда сам Тольберг с миной не меньшего знатока живописи, чем Людвиг Кун, стал рас-хваливать портрет, Сыромолотов протя-нул только:

— Ну, ведь он еще далеко не закон-чен... — И начал укладывать в ящик все, что вынул из него во время работы.

Его «натура», слабо переставляя ноги в матерчатых, вышитых не иначе как женой туфлях, тоже вместе с другими вглядывался в свой портрет и сказал, наконец, не созсем уверенно:

— Мне кажется, что есть все-таки сходство, а?

— Поразительное сходство! — живо ото-звалась ему на это гостья, а ее супруг, поправив очки, сказал ей поучительным тоном:

— Дело не в сходстве, а в технике, Эрн. Сходство может схватить и всякий другой, который делает себе из этого специальность, а что касается техни-ки...

Тут он многозначительно поднял ука-зательный палец правой руки и сделал им энергичный отрицательный жест.

Белокожая, к тому же и щедро напуд-

ренная, с обильными волосами, блестев-шими тусклым золотом в завитках, Эр-на, повидимому, настолько уже привык-ла к замечаниям своего мужа, что не обратила внимания и на это, а продол-жала изучающе переводить, несколько излишне выпуклые глаза со старого Ку-на на его портрет.

— Да, конечно, он бывает и таким, — расстановисто проговорила старуха, ког-да к ней никто не обращался, — но боль-ше он бывает другой..

Она сказала это будто про себя, но Сыромолотов быстро повернул к ней го-лову и сказал со всею серьезностью, на какую был способен:

— Портрет только еще начат, и судить о нем пока еще нельзя.

— Но зато можно себе представить, что это будет такое, когда он будет окончен! — подхватил Людвиг и добавил, не меняя восхищенного выражения: — Мы все очень просим, Алексей Фомич, отобедать с нами!

— О-о, благодарствую, я... я всегда обе-даю у себя дома, — поспешил отказаться Сыромолотов; но оказалось, что отказат-ся от обеда у Кунов было не так легко.

— Я уже поставила на стол вам при-бор, — строго сказала старуха.

— Может быть, вы не желаете видеть меня за столом вместе с вами? — спро-сила Эрна.

— Мы вас угостим хорошим старым вином, — придвинувшись к нему вплот-ную, сказал вполголоса, точно поведал тайну, старый Кун.

Сыромолотов в ответ на все это раду-шие пробормотал было, что дома его бу-дут ждать к обеду, но видел и сам, что довод этот неубедителен, так как Людвигу Куну известно было, что он не семей-ный, что дома у него только экономка...

Не нашлось достаточных причин, что-бы отказаться. Кроме того, ему предо-ставлялась возможность наблюдать свою «натуру» не в воображаемой только, а действительно в семейной обстановке, за столом, где Кун должен был распу-ститься, как цветок перед утренним солнцем, всеми лепестками своего венчи-ка, тем более, что на столе будет бутыл-ка с «хорошим старым вином».

И Сыромолотов, закрыв ящик, вместе со всеми вошел в столовую, где длинный стол был уже уставлен приборами.

Это была обширная комната, украшен-ная не только большим резным дубо-вым буфетом, но и сервантом, тоже дубо-вым и с тою же резьбой. На это не мог не обратить внимания Сыромолотов, как художник, но, беглым взглядом оки-нув всю столовую, он заметил также и два портрета-олеографии: один весьма знакомый — императора Николая II, по-ясной, в натуральную величину, в рамке

из бронзирования багета; другой, на противоположной стене, гораздо меньший по размерам и менее знакомый, в скромной рамке из черного багета, оказался, когда присмотрелся к нему Сыромолотов, Вильгельмом II, императором Германии; Николай был без головного убора, Вильгельм — в каске.

Как ни странным показалось Сыромолотову, что на обеденный стол Кунов с двух противоположных стен глядели владыки двух соседних монархий, но он воздержался от вопросов о том, что было принято в этом гостеприимном доме.

Однако тень недоумения, скользнувшая по его лицу, была подмечена, очевидно, Людвигом, иначе зачем бы вдруг сказал он ему очень подчеркнуто, кивнув при этом на своего гостя:

— Мы с моим другом Тольбергом состоим членами «Союза русского народа».

— Вот как! Скажите пожалуйста! — отозвался на это Сыромолотов тоном большого изумления, однако не нашелся ничего к этому добавить и сел на тот стул, какой предложил ему так явно к нему расположенный молодой Кун, севший с ним рядом.

Как бы задавшись целью сразу разяснить художнику, с кем именно сидит он теперь за одним столом, Людвиг продолжал торопливо:

— Мой друг Тольберг есть вместе с тем и мой товарищ по школьной скамье: мы с ним учились не только в электротехническом институте, но даже и за границей, а практически мы работали на предприятиях Симменс-Гальске... И мы с ним дали святую клятву в своей области сделать для своей родины, для России — все! Все, что будет только в наших силах, и мы сделаем!.. Это же ведь как-раз такая область, в которой Россия отстала, ай-ай-ай, как отстала... Так что даже и сравнивать с Германией, например, нельзя!

Сыромолотов посажен был так, что ему одинаково были видны портреты обоих монархов, и он мог, иногда взглядывая на них, сравнивать одного с другим. В то же время и оба друга-электрика тоже были перед ним, — один справа, другой слева, и их желание осчастливить и осветить Россию так и блистало в каждом их взгляде.

— Россия отстала, да, это совершенно верно, — сказал он, — но отстала она, быть может, по причине того, что велика очень, не так ли?

— Нет, — прошу меня извинить, — не так, — решительно возразил теперь уже не Людвиг Кун, а Тольберг. — Россию можно рассматривать, как метрополию плюс колонии на одном сплошном материке. О том, что отстала азиатская часть, мы не говорим, — это колония, но ведь

европейская часть России могла бы быть вровень с остальной Европой, — вы согласны?

— Если бы не монгольское иго, она была бы вровень, — ответил Сыромолотов, принимая из рук Людвига переданную ему тарелку супа.

— О-о, монгольское иго!.. Когда оно было и когда сброшено?!.. — очень живо подхватил Тольберг тему, на которую, очевидно, не раз говорил со своим другом.

— В чем же вы видите причину нашей отсталости? — спросил его Сыромолотов.

Задав этот вопрос, он почувствовал отсталым и себя самого, потому что не решился бы ответить на него категорически, точно и ясно, именно, не решился бы, считая его очень трудным и сложным, поэтому с любопытством он ждал, что ответит Тольберг.

Но ответил ему не Тольберг, а Людвиг Кун, притом так, как не ожидал Сыромолотов:

— Причина одна: большинство русских плохо ценит свое достоинство.

— То-есть? Как это прикажете понять? — спросил Сыромолотов, принимая за сущ, хотя он отлично понял сказанное: ему никак не хотелось слышать это от какого-то Людвига Куна.

Но Тольберг уточнил сказанное своим другом:

— А между тем русским ведь есть за что себя уважать, — ого, еще бы!

— За что же именно, позвольте узнать? — улыбаясь насмешливо, спросил Сыромолотов.

— Да прежде всего прочего хотя бы за то, что заняли они на земном шаре сплошное пространство в Европе и в Азии, какого не имеет даже Китай, хотя населения там в два с половиной раза больше, — ответил ему Людвиг Кун, поспешив предупредить в этом Тольберга.

— Гм-гм... Разумеется, — весело с виду сказал Сыромолотов, перед которым оказался бокал заодно пахнущего вина, — золотистого с искрами.

К нему тянулись с такими же бокалами и старый Кун, и его жена, и Эрн. У Эрны как будто от одного только вида вина вдруг очень оживленное, даже шаловливое стало лицо, и она произнесла что-то вроде короткого тоста:

— За здоровье автора очень-очень талантливого портрета!

И глаза ее при этом стали какие-то даже преувеличенно яркие, как бывает у девочек-подростков, когда ими овладевает восторг, и Людвиг Кун, сказав: «Браво!», поднялся со своим бокалом, а за ним поднялись все, даже слабый на ноги старик; пришлось подняться, чтобы чокнуться со всеми, и Сыромолотову.

Его как бы чествовали. Он попал как бы не к обыкновенным заказчикам на художественный портрет, а в среду, где свое было хотя и такие же немцы, как и другие за этим столом, но в то же время почему-то ни больше ни меньше, как члены «Союза русского народа», — от того любят Россию!

Он, привыкший на все кругом смотреть жадными глазами художника, теперь как бы раздвоился: в первый раз это случилось с ним, что он, как гость, сидел у немцев, осевших в России. Теперь он не только смотрел, он слушал со всем вниманием, на какое был способен. В голове его вертелась чья-то старая, семидесятых годов прошлого века, гародия на стихи Пушкина о вбранах:

Немец к немцу божит,

Немец немцу кричит:

— «Немец, где бы нам нажиться.

Как бы нам того добиться?»

Немец немцу в ответ:

— «А России разве нет?»

И два немца обнялись,

И в Россию поплеались.

Вот они, эти самые, теперь уже как будто достаточно нажившиеся, но мечтающие нажиться колоссально, как Фальцфейн с его миллионами овец. Они уже начинают заводить галерею предков, для чего и приглашен ими он, один из крупнейших художников России, о котором, несомненно, они читали и слышали, картины которого кое-кто из них видел, может быть, в столичных хранилищах картин или хотя бы в художественных журналах, помещавших снимки с них.

И как бы подслушав его мысли, Эрнэ сказала, сияя:

— Теперь у вас захотят писаться все богатые помещики-немцы, какие есть в Крыму.

— Почему же одни только помещики-немцы? — возразил жене Тольберг. — А фабриканты? А коммерсанты? А пивовары? А мукомолы?..

— После этого портрета на вас будут смотреть как на русского Ленбаха! — очевидно желая поддержать свою репутацию знатока живописи, с подъемом сказал Людвиг и начал снова наливать вино в бокалы.

Сыромолотов считал своего современника берлинца Ленбаха посредственным художником, но постарался ничем не выказать обиды от такого сравнения. А мысль Эрнэ, что он может стать знаменитостью среди крымских немцев-богачей и создавать для них «галерею предков», неподдельно его веселила. Он даже приложил левую руку к сердцу, и, наклоня голову то в сторону Эрнэ, то в сторону ее мужа и Людвига, говорил с преднамеренным ударением и раздельно:

— Псалмист и тро-нут!... Очень похвален и очень тро-нут!

Его неустанно-напряженное и художника не переставало деятельно наблюдать свою натуру теперь уже не один на один, а сравнительно со всеми друзьями, сидевшими за столом, даже с Эрнэ, до лица которой только еще прикоснулся резец времени, проводший глубокие черты на лице старого Куна. Но и то, что он слышал здесь с разных сторон, воспринималось им, как фон для этого резко вылепленного лица, тот самый фон, который тоже является предметом поисков для художников..

Даже когда разговор с живописи перескочил на вегетарианство, и это тут же вошло в сознании Сыромолотова в тот же самый осязательно необходимый фон.

— Ваш Лев Толстой проповедывал вегетарианство, — говорил Людвиг, когда подали второе блюдо, — свиную корейку под соусом из фасоли, — но мы, немцы, убежденные мясоеды. У нас не едят мясо только грудные младенцы, потому что не имеют еще зубов.

— От мяса наша исключительная энергия во всех областях жизни, — поддерживал его Тольберг. Мы, — лютеране, не знаем, что такое посты, у нас их совершенно нет.

Чтобы чем-нибудь отозваться на это Сыромолотов сказал:

— Наш ученый Ломоносов, Михаил Васильевич, тоже был противник постов, но он имел в виду кое-что другое, а не энергию. Он писал, что посты наши препятствуют в России развитию скотоводства.

— Ага! Вот видите, как! — подхватил это замечание Людвиг. — Зачем же и в самом деле разводить свиней, если их не едят?

— А также и баранов, — развил его мысль отец.

А Тольберг, наморщив лоб, чтобы припомнить как следует, сказал вдруг:

— Ломоносов?.. Ведь он учился в Саксонии?

— Да, в Саксонию был послан императрицей Елизаветой изучать фарфоровое дело, — сказал Сыромолотов, чем явно обрадовал свою «натуру», спросившего с большой живостью:

— Значит, что же, — ученик немецких мастеров по фарфору?

— Да-да... Ломоносов и с ним двое других... Потом он был поставлен во главе фарфорового завода в России.. Занимался также и мозаикой, — есть мозаичные иконы его работы... Но он же внес в науку и закон сохранения энергии, — что вам, конечно, известно, — обратился к Тольбергу Сыромолотов.

— Мне? Нет! Мне известно, что это — закон Майера, немецкого ученого, — строитивно возразил Тольберг.

— Да ведь Майер жил позже Ломоносова и даже гораздо позже. Впрочем, я давно убедился, что споры о том, кому принадлежит то или другое открытие, совершенно бесполезны, — примирительно сказала, улыбаясь, Сыромолотов. — Я, например, буду говорить, что радиотелеграф-детище нашего ученого Попова, а итальянцы будут кричать: Маркони! Маркони! — и зашвыряют меня гнилыми апельсинами, — и что мне тогда прикажете делать? Или если скажу я, что первую паровую машину изобрел не Уатт, а наш уральский рабочий Ползунов, то как к этому отнесутся англичане?

— Англичане? — оживленно отозвался на это Людвиг. — О-о! Они, пожалуй, даже не станут прибегать к такому средству, как гнилые апельсины, а скажут: «Очень хорошо, мистер Сыромолотов, — Ползунов так Ползунов, но-о... если вы только имеете полномочия от какой-нибудь русской фирмы или от правительства, чтобы закупить большую партию машин, то можете адресоваться к нам, а не иметь дела с Германией!». Вот что вам скажут англичане.

Сыромолотов не мог не улыбнуться горючести, с которой это было сказано, а Эрна вдруг обратилась к нему:

— Я где-то читала, — или это 'я от кого-то слышала, — не помню, — что в Мюнхене на выставке была ваша картина, правда?

Она глядела на него при этом так оторопело-ожидаяще, что Сыромолотов счел нужным выручить ее; он ответил неторопливо:

— Да, давно уж это, — еще в девятом году, — пять лет назад, адресовались ко мне строители, и я дал... Это была Десятая международная выставка.

— И получили золотую медаль? — спросил уже муж Эрны.

— И получил золотую медаль, и диплом к ней.

— Вот видишь, — я тебе говорила! — торжествовала Эрна, обращаясь к мужу, а старый Кун многозначительно подмигнул своей тяжёловесной супруге, добавив к этому оживленно:

— В Мюнхене! На международной выставке! О-о, — это есть большое отличие!

И поднял указательный палец. И Сыромолотов именно теперь увидел особенно осязательно, что в молодости он был очень похож на своего сына, каким тот был теперь.

Людвиг Кун весь так и сиял, выкрикивая:

— Вот видите, вот видите, как вас оценили в Германии! Золотая медаль на подобной выставке, — это мистический триумф, — вот что это такое! Золотая медаль и диплом, — это не гнилые апельсины, нет!

— А почему же господин Сыромолотов живет здесь, если он такой знаменитый художник? — полюбопытствовала мать Людвиг, обращаясь почему-то к сыну точно неуверенная, что ее плохой русский язык поймет сам художник.

— Да, в самом деле? — подхватил Людвиг. — Вам, разумеется, надобно жить в Петербурге, Алексей Фомич, а не здесь.

— Мне здесь больше нравится, чем в Петербурге, — ответил на это Сыромолотов, уже не улыбаясь, а даже несколько недовольным тоном, так что Людвиг, видимо, заметил это, потому что заговорил о другом, очень круто изменив тему разговора:

— Вы не «Биржевые Ведомости» выпускаете, Алексей Фомич?

— Не-ет, — а что? — удивленно отозвался на это Сыромолотов.

— Так, знаете ли; я все-таки слежу за политикой... А в Албании теперь восстание против принца Вида. Любопытно чем оно окончится. Вы как полагаете повстанцы ли победят, их ли победят?

— Совсем не читаю об этом, — буркнул Сыромолотов.

— Они и мне, конечно, не слишком нужны, да ведь с маленького может дойти до большого. Балканы, это, знаете ли, такой котел, что каша в нем вот уж сколько лет все варится и доварится никак не может.

— Да ведь кончили уж там войну болгары, турки, греки, сербы, — навоевались уж досыта и отдыхают, однако до большего не дошло, — сказал Сыромолотов, думая, что все уж исчерпал по этому вопросу, но Тольберг возразил живо:

— «До большего не дошло» в каком смысле? В том, что великие державы в эту войну не ввязались? Они еще не раскочались, быть может, но как будто уже раскочиваются и даже сильно.

А Людвиг Кун вдруг вскочил из-за стола стремительно, сказал, наклонясь к Сыромолотову:

— Я вам сейчас принесу одну статью! — и выскочил из столовой.

Должно быть то, зачем он выскочил, было у него под руками в его комнате, — он не заставил себя ждать и двух минут. Он вошел с газетным листом в руках, и Сыромолотов разглядел, что это был номер «Биржевых ведомостей».

— Вот, не угодно ли! Статья без подписи, но я наводил справки и узнал, что ее писал сам наш военный министр генерал Сухомятинов! — заговорил возбужденно Людвиг, садясь. — Статья называется «Россия хочет мира, но готова к войне».

— Позвольте, это от какого же числа газета? — спросил Сыромолотов.

— От 27 февраля, — вот, смотрите,

показал ему, Людвиг. — От 27 февраля, а сегодня — 15 июня, — значит, три с половиной месяца назад. Я эту статью берегу, как свое доброе имя, до того она... содержательна. Я даже могу из нее кое-что прочесть, если вы не будете иметь ничего против.

— Пожалуйста, прочитайте, — согласился Сыромолотов, слегка, впрочем, пожав плечами, и Людвиг начал:

— «С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. Россия не страшна никаким жриками. У нас нет причин волноваться: Россия готова!..» Каково, а? Сильно сказано?

— Внимательно, — сказал Сыромолотов.

— Далее: — «За последние пять лет в печати всего мира время от времени появлялись отрывочные сведения о различного рода мероприятиях военного ведомства в отношении боевой подготовки войск. И мы не сообщаем здесь ничего нового и неизвестного. Мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время. Всем известно, что на случай войны наш план носил обыкновенно оборонительный характер. За границей, однако, и теперь знают, что идея обороны отложена, и русская армия будет активной.»

Тут Людвиг Кун остановился и испуганно поглядел не только на Сыромолотова, но и на Тольберга тоже.

— Гм... активной, — неопределенно отозвался Сыромолотов.

— Да, да, вот именно: активной!.. Но слушайте дальше. «Не составляет секрета, что упраздняется целый ряд крепостей, служивших базой по прежним планам войны, но зато существуют оборонительные линии с весьма серьезным фортификационным значением... Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу. Законопроект о прапорщиках запаса решает вопрос о качестве запасных офицеров.»

— Да ведь прапорщики запаса появились еще в русско-японскую войну, — заметил Сыромолотов.

— Да, были и тогда; я сам тоже ведь прапорщик запаса, как и он, — сказал Тольберг, кивнув на своего друга, а Людвиг продолжал, только кивнув головой:

— Вот что особенно важно: «Русская колесная артиллерия снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким орудиям, но во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия... имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром. В будущей войне русской артиллерии никогда не придется жаловаться

на недостаток снарядов! Артиллерия снабжена и большим комплектом и обеспечена правильно организованным подвигом снарядов»... Видите, как?

И Людвиг многозначительно переглянулся со своим другом, хотя Сыромолотову было уже ясно, что статья эта хорошо была известна Тольбергу. Однако для него самого в ней теперь, при чтении со стороны, действительно оказалось что-то новое и притом важное новое, что, быть может, он пробуждал бы мельком, если бы сам взял в руки газетный лист, и, отвечая на вопрос, к нему обращенный, он сказал:

— Да, вот подите же...

А Людвиг продолжал, воодушевляясь чем дальше, тем больше:

— «Техника военно-инженерного дела за последнее время сильно развилась, и кто же не знает, что военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Военный телеграф стал достоянием всех родов оружия. У самой маленькой части есть телефонная часть. Русская армия в изобилии снабжена прожекторами. Офицеры и солдаты показали себя мастерами в железнодорожном деле и могут обойтись без обычного железнодорожного персонала. Не забыто и воздухоплавание. В русской армии наибольшее значение придается аэропланам, а не дирижаблям. Тип аэропланов еще окончательно не решен, но кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутов русской армии? Русская армия явится, если бы обстоятельства к этому привели, не только громадной, но и хорошо обученной, хорошо вооруженной, снабженной всем, что дала новая техника военного дела.»

— Чья статья это, вы сказали? — обратился Сыромолотов к Людвигу.

— Сухомятинова, — военного министра.

— Военного министра, — ого!

— Ха-ха-ха! — развеселился Людвиг. — А тут дальше, представьте себе, как-раз и есть такое самое слово: «Русская армия, бывшая всегда победоносной, всевавшая обыкновенно на чужой территории, совершенно забудет понятие «оборона», которое так упорно прививали ей в течение предпоследнего периода нашей государственной жизни... Конечно, если какая-нибудь держава питает агрессивные замыслы против России, то наша боевая мощь ей неприятна, ибо никто уже не может теперь питать вождений о какой бы то ни было части русской земли. «Si vis pacem, para bellum». — «Если хочешь мира, готовься к войне». Россия в полном единении со своим верховным вождем хочет мира, но она готова.»

— И одни готовы, и другие тоже готовы. — неожиданно для Сыромолотова за-

говорил старый Кун, — а кто лучше говорит, — вот в чем является вопрос.

— Позвольте, я не понял все-таки, против кого направлена эта статья? — спросил одновременно и Людвиг Кун, и его отца, и Тольберга художник.

— Как «против кого»? — удивился Людвиг. — Разумеется, против Австрии!.. Что удалось Японии в 905 году, то, Австрия думает, может, удастся и ей.

— Ну, что вы, что вы! — заулыбался, как шутке, Сыромолотов. — Япония была очень далеко, — Австрия у нас под руками. Да, со времен японской войны так действительно много нового введено в нашей армии.

— А что, что именно введено нового? — так и вскинулся Людвиг Кун.

— Да ведь вот же вы сами сейчас читали, что нового.

— Ну, это, знаете, ведь общие фразы... Это официальная статья. А вы, может быть, от кого-нибудь слышали из военных, что введено нового, — скажите. Этим очень интересуются в Берлине, туда и можно бы было написать в одну газету, а? Это большое бы имело значение: частным корреспондентам гораздо больше там дают веры, чем вот таким, официальным. Официальные лица, вы сами понимаете, разумеется, должны, обязаны так писать, за это они огромное вознаграждение свое получают, а как на самом деле, если посмотреть со стороны, а?

И Людвиг впился глазами в глаза Сыромолотова так назойливо, что тот даже отмахнулся от него рукой, сказав при этом:

— Помилуйте, что вы, — откуда же я такие тонкости могу знать!

5.

Как все отмежевавшиеся от других, чтобы они как можно меньше мешали делу, Сыромолотов начинал уже негодовать на себя за то, что остался обедать у Кунов. Поднимать настроение вином он вообще не привык, так как этот необходимый для него, как художника, подъем настроения обычно чувствовал всегда: ему не случалось забывать о том, что он художник. Он допустил вино в этот день только потому, что продолжал еще писать портрет с одного из сидящих теперь за столом вместе с ним, хотя и не держал в руках палитры и кисти. Между тем выпитое им вино не обостряло его зрения, а туманило, а, главное, то, что говорилось кругом, выпадало из круга обычных его интересов. Прилежным чтением газет он никогда не был. На то, чтобы пробежать газету, он тратил не больше пяти минут в день, и менее всего могали интересовать его статьи каких бы то ни было министров.

Однако почему-то выходило так, что

начинали переставляться помимо его воли предметы в рамке той картины, какую он для себя прочертил: далеко из задний план уходила его «натура», а на передний выдвигался этот инженер-электрик, с прядью белесых волос, свисающей на лоб и с назойливыми тоже белесыми глазами, — молодой Кун, которому все свое внимание отдавали другие, и Куны, и Тольберги. Даже Эрна не говорила с матерью Людвиг о чем-нибудь постороннем, как это принято у женщин, когда они долго уже сидят в обществе мужчин, а неослабно следила за разговором, затаенным Людвигом.

Вот он сказал вдруг:

— Вам, Алексей Фомич, как художнику, должны быть яснее подспудные эти как бы сказать, течения жизни, которые могут ведь вдруг и прорваться наружу и, пожалуй, затопить даже, а?

— Мне? — искренне удивился Сыромолотов. — Мне, художнику, подспудное? Нет, с подспудным я не имею дела, а только с тем, что именно не подспудно, что я могу видеть своими глазами... А подспудное — это что же такое? Политику, что ли?

— Назовите хотя бы и политикой, — улынулся Людвиг. — Вы, конечно, скажете, что вы — не политик, не строите общественной жизни...

— Да, да... Даже и электричеством не занимаюсь, — вставил Сыромолотов.

— Очень хорошо! Этим занимаемся мы с ним, — кивнул Людвиг на Тольберга, — но вы, художник, обладаете таким чудным аппаратом, который, одним словом, может сразу обобщить разные там факты и сделать вывод... Почему, например наш военный министр Сухоминов, хотя он и не подписался, выступает вдруг со статьей «Мы готовы»?

— В самом деле, что его могло заставить это сделать? Получил приказ от царя, что ли?

— В том-то и дело, — в том-то и дело, что, может быть, и получил приказ! — подхватил Людвиг. — Ведь нужно знать, почему это вдруг — «Мы готовы!» Для кого, собственно, это писалось? Это — вопрос, разумеется, но... Вот я вам принесу показать еще одну статейку...

И он, как и раньше, стремительно вышел из комнаты, унося при этом газету. Вернулся он так же быстро, как и в первый раз, но теперь в его руках была уже не газета, а записная тетрадь в черной клеенке.

— Вот это я сам перевел на русский язык из одной статьи, — сказал он, оа дась. — Статья называется «Вооружайтесь». Она довольно длинная, — я прочту только начало, чтобы вы могли судить... «Вооружайтесь, вооружайтесь! Вооружайтесь для решительного боя! Балканы мы должны приобрести. На другого средства для того, чтобы остано-

ся великой державой. Для нас дело стоит так: быть или не быть. Перед нами — экономический крах, а за ним — распад монархии. Мы сможем возродиться только тогда, когда приобретем все Балканы, как всем ходом истории предназначенную только нам колонию для сбыта нашего промышленного перепроизводства, нашего духовного перепроизводства, для вывоза туда излишка нашего населения.. Вооружайтесь, вооружайтесь! Прикажете деньги лопатами и шапками! Отдавайте серебряные кубки, серебряные ложки; отдавайте золото и драгоценные камни, чтобы обменять их на железо; везите последний грош! Отдавайте ваши последние силы на вооружение, неслышанное, невиданное с тех пор, как стоит свет! Знайте, — дело идет о последнем решительном бое великой монархии! Дайте ружье в руки отрока, дайте патроны в руки старца. Вооружайтесь беспрепятственно, лихорадочно, не теряя минуты! Вооружайтесь ночью и днем, чтобы быть готовыми, когда настанет решительный бой. Иначе дни Австрии сочтены!..»

— Какая-то истерика, а не статья! — перебил Сыромолотов. — Кто же писал это? Неужели австрийский военный министр?

— Нет, что вы! — рассмеялся Людвиг. — Министры так не пишут, а подпись под статьей Кассандер, но это, само собою понятно, псевдоним.

— Кассандер? Что-то знакомое, однако, — старался припомнить Сыромолотов.

— Кассандру вы знаете, — кричу, прочищу, из Гомера, — подсказал ему Тольберг.

— Да-да, Кассандра.. Значит, и этот заговорил сознательно таким пифическим языком, чтобы напугать веселых венцев? А на самом-то деле, я думаю, ничего страшного нет, — а? Просто вроде наемных плакальщиц над покойниками. — «Поди-ка, поплачь, Матренушка!» — «Да уж я плакать-то, милый, горазда, а вот сколько ты за это мне дашь?»

Говоря это, Сыромолотов надеялся, что с ним тут же согласятся оба инженера, — но они только улыбнулись, однако поведали отрицательно головами.

Ответить же ему не успел ни один из них, потому что как-раз в это время, хотя обед уже кончался, появились в доме Кунов новые гости.

Сначала были слышны в коридоре их голоса, потом поднялись им навстречу все Куны: гости оказались почетные. И тогда Тольберг, тоже поднимаясь, поймал спрашивающий взгляд Сыромолотова, он шепнул ему на ухо:

— Это — Люстих с женой.

Сыромолотов когда-то слышал, что Люстих один из богатейших помещиков теплого Крыма, и не без любопытства смотрел, как, пропуская вперед свою

жену, появился в столовой этот худосочный, среднего роста, бритый, как жсендз, пожилой человек неопределенных лет. Однако он именно «появился» в то время, как его супруга мощно вплыла: по сравнению с нею он казался как бы бестелесным, она же сразу заняла собою чуть ли не половину столовой. И если после того, что шепнул ему Тольберг, у Сыромолотова завертелось было в мозгу снова слова из пародии на Пушкина: — «Немец к немцу бежит, немец немцу кричит»... то при первом же взгляде на фрау Люстих их сменило совершенно изумленное: «Даст же господь женщине такие неизмеримые формы!»..

Мало того, что она была высока, как это крайне редко встречается, она еще и раздалась вишьре настолько, что перед нею даже толстая фрау Кун показалась просто слегка сытенкой, а Эрна — девочкой-подростком, которой еще года три надо ходить в гимназию.

И голос у этой великаниши оказался густой и жирный, когда сказала она, обращаясь к обоим старым Кунам сразу, по-немецки:

— Мы к вам только на одну минуту.. Представьте, мы узнали от почтмейстера такую ужасную новость, что сейчас же едем к себе в имение!.. Мы очень расстроены!

— Ах, боже мой! Что? Что такое? — уже заранее подняла испуганно руки фрау Кун, а герр Кун только стоял с открытым ртом и выпученными глазами, старавшимися выкарабкаться еще больше из сложно запутанных мешков.

Но нужно было все-таки, чтобы поздоровались с вошедшими и чета Тольбергов, и Людвиг, и чтобы Людвиг представил новым гостям Сыромолотова. Как ни велико было нетерпение фрау Кун, фрау Люстих поневоле затормозила стремительный свой разбег. Кроме того, узнав, что перед нею не одни немцы, а есть еще и русский, она перешла на русский язык:

— Только-что получена телеграмма, господа, что убит националистами эрцгерцог австрийский Франц-Фердинанд вместе со своей женой, в Сараеве! Убийцы — сербы... Сначала бросали бомбы, потом стреляли из револьвера...

Она сказала это с тою поспешностью, какой требовала подобная новость, и с тем акцентом, какой появляется у лиц, говорящих на чужом языке, когда они очень взволнованы.

Сказано было немного, но Куны и Тольберги были так поражены, что только переглядывались друг с другом безмолвно, а более спокойно отнесшийся к словам великаниши Сыромолотов спросил ее:

— Откуда же все-таки получена телеграмма?

— Телеграмма из Берлина, — ответила та, а муж ее добавил:

— Обыкновенно, как это принято, — телеграмма от Телеграфного Агентства, но только сегодня она публиковаться не будет.

— Потому что сегодня ведь воскресенье, — газета уже вышла, — пояснила фрау Люстих.

— А завтра она не выйдет, потому что понедельник, — заметил Людвиг, — но могут выпустить специальный, как это называется, бюллетень!

— Если только разрешит губернатор, — вставил Люстих. — Ведь убит не кто-нибудь, а, можно сказать, фактический глава Австро-Венгрии: император Франц-Иосиф стал очень дряхлый.

Он тоже говорил с акцентом, но все-таки более свободно, чем его супруга.

— Это может иметь очень большие последствия, — проникновенно решил старший Кун.

— Колоссальные! — пробасила фрау Люстих, — Это нас так поразило, что мы...

— Да, мы, благодаря этому, спешим домой, — закончил за нее муж, — поэтому позвольте откланяться.

И хотя Куны, опомнившись, начали было усиленно просить вестников происшествия в каком-то далеком Сараеве присесть за стол, они распрощались и ушли к своей машине, а в сознание Сыромолотова угловато-резко вошла тяжеловесная, как сама фрау Люстих, новость, принесенная ею.

Все трое Кунов пошли провожать гостей до калитки, может быть, с целью узнать от них что-нибудь еще, а Эрна сообразительно обратилась к Сыромолотову:

— Конечно, вы должны были обратить внимание больше на фрау Люстих, чем на ее мужа, однако имение их принадлежит ему, а не ей.

— Они с Кунами соседи по имениям, — добавил к этому сам Тольберг.

— Где же именно их имения, я так и не удосужился спросить?

— Возле станции Курман, — недалеко от города... Люстихи — очень богатые люди, — осведомил его Тольберг, как будто имея в виду, что вот, если бы Сыромолотову посчастливилось получить заказ на семейный портрет этой четы, он мог бы хорошо заработать.

Поняв его замечание именно так, Сыромолотов недовольно улыбулся в усы, но в это время ворвался в столовую Людвиг с готовым восклицанием:

— Ну, знаете, это может вызвать положительный чорт знает что!

— Подождем все-таки телеграмм, — попытался охладить его друг. — Завтра их

будет, конечно, больше, чем пришло сегодня. Завтра будет яснее, что там собственно произошло.

— Но ведь факт останется фактом: австрийский эрцгерцог убит!

— Я думаю, что эрцгерцогов в Австрии и без убитого довольно, — попробовал беспечным тоном сказать Сыромолотов. Но Людвиг нескрываемым возмущением искажал вдруг свое обычно благожелательное к нему лицо.

— Что вы, что вы, Алексей Фомич! — выкрикнул он. — Надо же знать, кто такой был Франц Фердинанд!.. Это был самый способный из племянников Франца-Иосифа, из племянников, потому что детей у него, кроме Рудольфа, трагически погибшего, не было, — это, конечно вам известно.

— Вот как! Не было разве?.. — довольно равнодушно отнесся к этому Сыромолотов. — Так долго на свете жить, как этот Франц-Иосиф, и не позаботиться о такой пустяковине, как наследник, — это, послушайте, даже странно!

— Он и позаботился: убитый негодяями эрцгерцог был прекрасный наследник, — раздвоенно продолжал выкрикивать Людвиг, — и из него должен были выйти выдающийся император!.. Пусть даже не такой, как Вильгельм II, но все-таки... незаурядный... И вот его нет... Этого не простит никому история! Нет не простит!

Сыромолотов наблюдал теперь Людвига Куна, приподняв удивленно брови. Тот горячился так, как будто убитый австрийский эрцгерцог был по крайней мере его хороший знакомый.

— История не простит или Франц-Иосиф? Или те, кто правил под его именем? — спросил он.

— В конечном итоге это все равно разумеется, кто именно, — может быть, даже третье лицо, со стороны, но немцы к такой подлости, как это убийство из-за угла, отнесутся единодушно строго, — вот моя точка зрения!

В это время вошли Карл Кун и мать Людвиг, и Сыромолотов заметил оторопелое выражение лица своей «натуры».

— Ты слышал, что сказал мне на прощанье герр Люстих? — обратился старший Кун к сыну.

— Что именно? — встревоженно спросил сын.

— Что это... как бы выразить... хороший предлог к очень большой войне, — заметным трудом подыскал слова отец и вопросительно вперил выплетающие глаза в горячие глаза сына.

— Я совершенно так же это понял — не замедлил согласиться сын.

6.

Обед окончился скромнано, и как-то ю такой степени не по себе стало Сыромолотову, что он едва удержался от желания взять домой ящик с красками и кистями, чтобы больше уж сюда не вляться. А желание было сильное, так что удержаться от него было нелегко. Он решил, впрочем, посвятить портрету старого Куна не больше еще, как один только сеанс, чтобы облегчить и себя, и вою «натуру».

Домой возвращался он по тем же самым улицам, по каким шел утром, но утренней открытости ко всему кругом теперь уже не было в нем. Людей, во множестве возникавших перед глазами на несколько моментов при встрече с ними на улице, совершенно заслоняли те несколько человек, которых он уносил в себе из дома Кунов.

В жизни Сыромолотова вообще мало было людей, которых он мог бы назвать «своими», но до такой остроты, как теперь, он, — ему казалось так, — никогда раньше не чувствовал «чужих».

В чем именно заключалась их «чуждость», этого он толково объяснить даже самому себе, пожалуй, не смог бы: он чувствовал это инстинктивно, но очень сильно.

Не чуждость даже, а совершенно непримиримая враждебность, какими бы масками внешних приличий она ни прикрывалась. Он не столько доводами рассудка, сколько пространственно ощущал то: ему было тесно идти.

Впечатлительный, как всякий большой художник, он и по улице домой шел как будто не один, а рядом с Людвигом Куном и Тольбергом, с монументальной фрау Люстих и ее тощеватым, но жилистым мужем. Отрывая от них свое внимание для того, чтобы не столкнуться с кем или иным встречным или обойти кого-нибудь впереди из очень медленно идущих, он ни на минуту не забывал, что идет как бы рядом с кучкой чужих людей, начавших было даже и говорить на своем языке в его присутствии.

Не в отношении только себя лично, но и в отношении всех, кого привык он считать своими, чувствовал он теперь их враждебность, несмотря на то, что как будто ничего ведь обидного для него и этих «своих» не говорилось в доме Кунов.

Однако именно то, что не говорилось там, договаривалось ими здесь, на улице, где он почти ощутимо чувствовал их локти. Теперь он сам спрашивал только-что оставленных им немцев о многом, сам за них отвечал; теперь его раздражали их ответы до того, что мешали четкости его шагов, опутывали ноги. Теперь он спрашивал их и о том, какие «художественные достоинства найдены

ими в олеографии «Вильгельм II, император Германии», чтобы повесить ее на почетном месте в столовой, и отвечал за них, что дело тут совсем не в достоинствах олеографии, а в том, что это — из Вильгельм.

Человек самоуверенный и гордый, Сыромолотов ловил себя, однако, на том, что спорит он теперь, на пути домой, только с Людвигом Куном и Тольбергом, изредка со своей «натурой», но не с матерью Людвига и не с Эрной, потому что они не стоят того, чтобы с ними спорить, и не с четкой Люстихов, потому что им некогда спорить: они страшно заняты своими делами, они спешат, им не до споров, они — выше каких-то там споров. Это он ощущал очень ярко и живо, и это его раздражало. Он вспоминал массивные золотые браслеты на массивных пунцовых от горячего солнца руках фрау Люстих, ее шляпу, похожую на китайский зонтик, четырехугольные вздутые щеки, вспученные яростные глаза, командирски-громкий голос и торс ее, немислимый для объяснений, и приходил к мысли, что для какого-нибудь официального скульптора-немца, получившего заказ на статую Пруссии или Баварии, днем с огнем не разыскать более подходящей натуры.

То, что он слышал у Кунов, то, что ему читал Людвиг из газет петербургской и венской, каким-то странным образом для всякого другого, только не для него — художника, отступало на задний план, а на переднем, как в древнегреческой живописи времен Полигнота, были одни фигуры людей, с которыми он расстался. То, о чем говорилось и читалось, не имело в нем никаких очертаний. Кто-то вопил: «Вооружайтесь!», кто-то докладывал: «Вооружились», наконец, кого-то убили, кого представить он даже и при желании не мог, — и все это было чересчур далеко от глаз, эти же несколько человек осязательно близко...

Улицы между тем сверкали.

Было уже больше трех часов пополудни; солнце перешло зенит; появились тени, отчего еще ярче заиграли блики.

Воскресная уличная толпа гуще всего была около киосков с водами и у входов в кинематографы, украшенные кричащими плакатами, Загорелые смуглые южные лица; торопливость движений несмотря на жару; звонкие голоса, энергичные жесты, говорящие здесь и там руки и плечи; цокот копыт извозничьей пары, запряженной в фазтон с опущенным кожаным верхом; гудки автомобилей, и вдруг совсем рядом чей-то молодой голос, почти пропевший:

— Я извиняюсь!

Сыромолотов повернул голову, — первое в его глаза глядели неробкие лица

глаза тонкого художеского лица в белой рубашке с открытой шеей.

— Что вам? — спросил Сыромолотов сердружелюбно.

— Я хотел вас спросить: вы не даете уроков живописи?

— Нет, не даю никаких уроков, — недовольно буркнул Сыромолотов, не останавливаясь.

— Я извиняюсь! — тем же тоном, как и в первый раз, почти пропел, отставая, онец.

Неотступно стояло в мозгу Сыромолотова, как торопились ехать домой, в свое имение около станции Курман, Лютики, чрезвычайно встревоженные тем, что слышали от начальника почты насчет убийства в мало кому известном городе Сараево, а здесь, на сверкающих улицах бурлила безмятежная с виду жизнь.

Около одного, до черноты смутлого мальчишки, чистильщика сапог, стоял фронт, задавший целью обновить свои белые туфли, но рядом с товарищем сидел другой такой же чернокожий со щетками наготове и кричал неистово:

— Вот чи-стить, вот чи-стить, — давай будем чи-сти-ить! — и в такт барабанил щетками по своей низенькой скамейке, перед которой сидел на корточках, и сверкал белками глаз и зубами.

— Зе-ле-ный масла, зе-ле-ный масла-а-а! — тянула пожилой южнобережский татарин в круглой черной шапке и с двумя корзинами груш-скороспелок, новивших название «зеленое масло».

— Распродажа готовой обуви, во-от дешевый рас-про-да-жа-а!.. Пользуйтесь случаем, гас-па-да-а! — раздавая направо-налево печатные объявления об этой распродаже, насильно всовывая их в руки тем, кто у него не брал, заливаясь какой-то потный юркий низенький человечек...

Улицы пели.

Глава вторая «БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО».

1.

Жизнь увлекательна, конечно, она заманчива, как путешествие в неведомую страну, хотя и далеко не для всех. Иных людей она угнетает до того, что они мечтают из нее уйти, но это — заведомо большие люди. Здоровому человеку нежучно в жизни: он ее любит. Каждый день наполняет он своим содержанием, в каждом дне он видит работу тысячи тысяч людей и около себя и за много верст от себя и говорит, потирая руки: «Ого-го, как мы шагаем вперед!».

На каждом шагу жизнь сопротивляется ему, каждый шаг приходится ему брать с бою, но в этой борьбе и заключается главная прелесть жизни. Задавать себе задачи и их решать. — вот жизнь

Идет маленький человечек, всего только двух лет от роду, из своей детской к матери, сидящей в саду с шитьем. Какое трудное для него это дело! Он боязливо перебирается через высокий как ему кажется, порог; он ползет, упираясь ножонками, с третьей на вторую со второй на первую ступеньку крыльца; он идет, растопырив для равновесия коротенькие руки, по длинной-длинной дорожке, в которой всего десять шагов взрослого человека, и когда перед ним наконец, колени матери, он говорит, победно сияя: «Я пришел!».

Он приходит потом к поставленным себе целям множество раз. Он растет, и с ним вместе растут его цели; он мужает, он стареет, наконец, а целей еще так много... В этом жизнь!

Есть у простых русских людей счет прожитых лет по «седмицам». Не всем удается дожить до десятой седмицы, то есть, до семидесяти лет, но кто дожил тот начинает уже думать о себе: «Однако, как стал я древен!».

Старик Невредимов так сказал самому себе лет пятнадцать назад. Он не болен еще никакими тяжелыми болезнями, он не замечал в себе резких признаков дряхлости, но то, что им уже прожито «десять седмиц», его испугало. Под влиянием страха внезапной смерти он заказал себе гроб в «Бюро похоронных процессий», и гроб этот привезли к нему в дом и поставили пока в сарае.

Но, пережив свою жену и двух детей от нее, он жил одиноким вдовцом, и неотступно начала точить его мысль: «Вот заболелу вдруг, — а за мною и ходить не кому будет!.. Помру, — кто похоронит, как следует?.. А семьдесят лет — это не шуточки, — всего ожидать можно!».

Как-раз в это время заболел и умер его младший брат. Лет на двадцать он был моложе его и жил тоже в Крыму только в другом городе. Этот пошел в семья: он имел восемь человек детей, которых, кстати сказать, старший Невредимов (его звали Петр Афанасьевич) не удосужился видеть. Занятый мыслями с своей смерти, Петр Афанасьевич написал вдове брата Василия Афанасьевича чтобы она вместе со всеми своими чадами переезжала к нему.

Семья его покойного брата жила в квартире, а у него здесь был вместительный дом и довольно большой сад при доме, заведенный еще в старые годы, не декоративный, — фруктовый. Сад поливался, — в нем был колодец, к колодцу была приспособлена помпа, к помпе — длинный шланг, — так что у Невредимова не было недостатка в яблоках, грушах, сливах, вишнях, а между тем всем хозяйством его ведала одна пожилая уже, давняя его кухарка, которую он называл, смотря по его настроению, то Евдоксией, то Евдохой.

Удивлению и сокрушению Евдохи не было конца, когда появилась в доме невестка ее старого хозяина с целой оравой ребят, из которых младшей девочке было всего только два года. Запричитала и даже заплакала и начала собирать свои вещишки, чтобы уйти, однако осталась, — велика была сила привычки к дому, в котором прожила она лет тридцать, попав сюда еще в детские годы.

Впрочем, едва ли меньше ее был удивлен таким обилием детворы в своем доме и сам Петр Афанасьевич. За долгие годы одинокой жизни он привык в нем к безлюдью и тишине, и вдруг закружилась кругом, завертелось, зазвенело всею голосами, заплакало навзрыд, заюляюкало, затрещало в барабаны, зашвистало в четыре пальца, задралось на самодельных шпагах, залезло на все деревья в саду, затопало по всем комнатам, — развоевалось до того, что дым пошел коромыслом!

У невестки замуж пятидесятилетней Евдокии была перед приездом этой шумной семьи только одна прочная привязанность — пестрый, чернобелый пушистый кот, которого звала она Прошкой, и Невредимов часто видел этого кота у нее на руках и слышал, как она нашептывала ему нежно: «Спи, кошечка-Прошечка!» Уговаривать Прошку спать было даже излишне: это было обычное явление его днем, а по ночам, особенно весной, он отправлялся путешествовать по крышам, не доставляя этим больших огорчений никому, кроме своей хозяйки. Теперь она, Евдоха, улучив время и сивая на многочисленных племянников «племянник Петра Афанасьевича, воротила в надежде на то, что он услышит: — Эх, накачала себе на шею такую страсть с большого ума!

И в досаде гремела на кухне посуду так, что даже разбила несколько блюдец, чего не случалось с нею никогда раньше, а когда начинала убирать в комнатах, то так двигала стулья и кресла, что Петр Афанасьевич приглядываясь потом, не сломала ли чего, не валяются ли по углам отлетевшие щожки.

Он понимал Евдокию и, про себя, тайне соглашался с нею вполне и в своем кабинете бормотал иногда вслух: — «Накачала, это правда, конечно, накачала на шею... Однако кому же, кому же жить в доме? Не мне же, — я уже отжил свое, — им жить... Мне помирить, а им — жить...»

Утвердившись в мысли, что он, по существу, не живет уже, а помирает (семьдесят лет!), покряхтывая, стараясь умирающими глазами и взирать Петр Афанасьевич на ворвавшуюся к нему в дом голосистую жизнь, и всячески старался уступить ей место. Вместе

тем, чувствуя усталость от жизни, он не мог не удивиться тому, какую хозяйственной оказалась вдова брата Василия. Дарья Семеновна, способная управлять с целым взводом юных башибузуков, произведенных ею на свет, и в то же время вникавшая во все мелочи распорядка, принятого в его доме, и во все работы, какие велись в саду.

Даже гроб, прекрасно отделанный, отлакированный, с медными ручками, торжественно стоявший в сарае в ожидании своего посмертного жильца, и тот привлекал ее неослабное внимание.

— Это что за спрасти такие? — спросила она Евдоху.

— Не видите, что ли, сами? Гроб, — сурово ответила та.

— Для чего же он здесь поставлен?

— Как это для чего? — Хозяйина дожидается.

Дарья Семеновна открыла тяжелую крышку, посмотрела и сказала:

— Большое помещение какое!

— Да ведь и хозяин не маленький, — буркнула Евдоха.

Действительно, Петр Афанасьевич был очень высок ростом и, если сутулился, то пока только в шее, а не в спине.

Дарья Семеновна переехала сюда летом, когда в саду собиралась и сушилась вишня, для чего раскладывали ее на железной крыше сарая.

— Ну, пока что, пока хозяин еще не помер, что же такому ящику с крышкой без дела стоять, — сказала Дарья Семеновна и сама начала сгребать сушеную вишню с крыши сарая и наполнять ею гроб.

В тот же день от Евдохи узнал об этом Петр Афанасьевич и сначала было вскипел, что так вздумала невестка неуважительно обращаться с его последним жилищем, но урезонен был ее оправданием:

— Да ведь это пока, Петр Афанасьевич, — пока, на время, чтобы не пустовал зря... И разве же ему что-нибудь делается, если в нем полежит сушка?

Петр Афанасьевич почесал пальцами седую бороду, пожевал беззубым уже почти ртом и отошел, а гроб так и остался ящиком для вишневой сушки.

Дарья Семеновна была крепкая сорокадвулетняя женщина, из тех, о которых в русском народе принято говорить: «Сорок два года — баба ягода». Все у нее было круглое: плечи и лицо, глаза и голос, улыбка и движения рук, поэтому круглые тарелки, когда она мыла их после обеда, круглые корзины, в которые собирала она сливы или яблоки в саду, круглый белый хлеб, который резала она для завтрака, — все это к ней как-то прирождено шло.

И сколько ни присматривался Невредимов к своим племянникам и племянницам, он замечал, что большая часть

их вышла не в отца, а в мать, — так же круглоглазые, круглоглазые, круглоглазые и невелики ростом. Впрочем, запомнить их всех он довольно долгое время не мог и даже путал их с ребятами, которых встречал, прогуливаясь по утрам, в своем квартале.

Постепенно все-таки они ему примелькались, эти пять мальчиков и три девочки, и он даже запомнил их имена, тем более, что к концу лета на него свалилась забота старших из них определить в гимназию.

До того, как заболеть страхом близкой смерти, он был нотариусом, и поэтому все в городе знали его и очень многих знал он; но вот нотариальная контора его перешла к другому, а сам он очутился на полной свободе. Он мог в любое время дня выйти, чтобы погулять по своей улице; мог читать газеты, даже книги; мог подолгу приглядываться к деревьям своего сада. Мог думать и над тем, в каком необходимом ремонте нуждается его дом. Между прочим, мог наблюдать издали и даже иногда вблизи многочисленное гнездо своего брата, которое сделалось теперь его гнездом.

Каждую ночь, ожидая смерти (он уверил себя в том, что умрет непременно ночью), он вставал раньше всех в доме и, удивленно оглядывая свой кабинет, убеждался, что он жив. Это не избавляло его от страха перед следующей ночью, и перед сном он обыкновенно перечитывал духовное завещание, какое составил, — не пропустил ли он в нем чего, не надо ли чего добавить.

Но однажды вечером, когда Дарья Семеновна вместе с Евдоксией ушли «на привоз», то-есть на рынок, куда с вечера начинали съезжаться воза окрестных крестьян, Невредимов услышал из своего кабинета оглушительный визг и крики ребят в саду. Он выглянул в окно и увидел, что все восьмеро неистовствуют там около старого тополя, увлеченные внезапно возникшей игрой. С первого взгляда трудно было понять, что они делали, но потом ясно стало, что все мальчуганы стремились забросить как можно выше на ветки тополя свои фуражки, чтобы они непременно застряли там и чтобы потом их можно было начать сбивать камнями.

Две фуражки уже прочно сидели между веток, идущих почти вертикально; выбить их оттуда камнями представлялось трудной задачей; однако по соседству с ними стремились застрять и другие фуражки и то-и-дело взлетали они в воздух, пока еще неудачно.

Летели фуражки, летели камни, летели крики, летел визг...

— Ну, конечно! Столпотворение зависокое! — сказал Петр Афанасьевич и вышел в сад.

Только-что он показался около ребят,

все старшие так и прыснули от него в стороны, как стрелы, остались только двое младших — девочка и мальчик. Они заплакали от страха перед ним, он же думал, что они ушиблены камнями сделавшись жертвой слепого азарта старших.

Он поднял на руки сначала девочку чтобы внимательно рассмотреть, целы ли у нее глаза, не набиты ли шишки на лбу, потом мальчика: шишек не было, а глаза были целы, и он забормотал обреченно:

— Счастливо отделались!.. Чудесный случай!.. Могли бы стать калеками на всю жизнь!..

Потом в сарае достал он длинный шест, — чатало для подпорки яблонь, — и этим шестом не без труда снял застрявшие в тополе фуражки и отнес их к себе в кабинет.

А часом позже, когда вернулась Дарья Семеновна, он завел с нею разговор о той забаве, какую придумали ее дети.

— Батюшки мои! Могли ведь и стекла в окне выбить! — ужаснулась она. — Кроме того, что фуражки порвали!..

— Стекло — это поправимо, — возразил он, — стекло можно вставить, а вот если бы глаз один другому выбил, тогда как?

— Избави господи! Куда же без глаза?

— То-то и дело... Над этим и надо нам с вами подумать!..

Это был первый после многих других вечеров, в который он старательно задумался над судьбами своих племянников и племянниц и забыл о том, что в наступающую ночь его, быть может, ожидает смерть.

А на другой день он лично позаботился, чтобы к детям Дарьи Семеновны была нанята надежная нянька.

2.

Петр Афанасьевич не питал особенных теплых чувств к своему брату, считая его неудачником в жизни по его же собственной вине.

Гимназии он не окончил из-за пристрастия к запрещенной литературе; служил он не на казенной службе, а на частной; наплодил кучу ребят, но остался все-таки легкомысленным: перегрузился на чьи-то именинах зимою, а потом до дому не дошел, — заснул на холодной земле, простудился и умер от воспаления легких.

Когда получил Петр Афанасьевич письмо от Дарьи Семеновны о его смерти, то сказал, покивав головою:

— Ну, вот... Вот и все... Глупо помер... Вот тебе и брат Василий!

Со стороны могло бы показаться, что известие о смерти брата принял он равнодушно, однако страх смерти, который он заболел, усилился именно с того времени. И сам он вполне сознавал это.

«в силах будущи с ним бороться, пригласил к себе в дом Дарью Семеновну с детьми потому, что вспомнил пословицу: «Чем убился, тем и лечись».

Лекарство, какое он себе придумал, казалось довольно сильным средством.

Что ребятишки брата были единственными наследниками и дома его, и сада, и денег, которые лежали в банке, это разумелось само собой, но они могли бы в своем отдалении от него дожидаться этого наследства, а теперь вышло так, что покойный брат от щедрот своих награждал наследством его, Петра Афанасьевича, совсем не приспособленного к тому, чтобы подобным наследством владеть, а главное, уже отчавившего в мыслях от жизни, — от дома, от сада, от денег в банке.

И вот они закружились около него, — целых восьмеро, как будто и схожие между собою внешне, но чрезвычайно разнообразные, если к ним приглядеться попристальней. И с того вечера, когда у него защемило сердце, что они в своей свирепой забаве выбьют друг другу камнями глаза, он и начал приглядываться к каждому из ребят.

Старшему мальчику было одиннадцать, младшей девочке два года.

У Петра Афанасьевича в молодости было двое детей, но еще крошками во время эпидемии они умерли, и он сказал себе: «Лучше совсем не иметь ребят, чем так их терять», и этого правила потом строго держался.

Детская хрупкость, квелость — вот что осталось у него в памяти с того времени, и он вполне искренно изумлялся той будущей ключом детской энергии, которая его теперь окружала. Это был очень дружный отряд: что бы ни начинали делать старшие, делали и младшие, точно по команде. Девочки ни в чем не желали отставать от мальчиков; даже самая маленькая, Нюра, и та пыталась швырять вместе со всеми камешки и, если остальные лезли на деревья, заливалась плачем, чтобы ее тоже посадили на сучок.

Из деревянных обручей рассохшегося бочонка они делали луки, из щепок стрелы, старательно вырезывая наконецники их, чтобы они были острее, и, samozабвенно подкрадываясь, стреляли в воробьев на деревьях, а иногда в пылу азарта и в кур, копавшихся в саду, отыскивая долгоносиков. Во время дождя все, как один, бродили по лужам, немилосердно грязня свои штанишки и лаптя, чем приводили в отчаяние мать.

А Петр Афанасьевич говорил ей в подобных случаях:

— Это они, Дарья Семеновна, повторяют историю человечества... Теперь они живут в каменном веке... Уверю вас, что все, что они делают, это у них инстинктивное повторение пройденного.

Однако и сам он, будто заразясь от ребятишек, «живущих в каменном веке» возымел вдруг большой интерес к истории Крыма с древнейших времен, хотя никогда раньше не проявлял ни малейшего любопытства к этой области знаний.

Нотариальное дело, которым занимался он большую часть своей жизни, ежедневно ставило перед ним густожитейские вопросы, по которым составлялись и подписывались им вполне узаконенные бумаги; именно в том, чтобы вкладывать все разнообразие житейских денежных и других материальных дел в строгие рамки законов, и проходила его жизнь, и вдруг бесчинства, беспардонное своеволие восьмерых маленьких людей около него, — это заставило его задуматься, это отбросило его в далекое прошлое человечества, это, наконец, проторило ему путь в губернскую архивную комиссию, членом которой он и занялся, причем сам удивился этому гораздо больше, чем кто-либо другой в городе.

Он, думавший, что счета его с жизнью окончились, раз ему стукнуло десять седмиц, неожиданно для себя приобрел какие-то новые цели в жизни и в будущем, и в прошлом. Будущее — это были его маленькие племянники и племянницы, а прошлое — это древнейшие греки, заводившие колонии свои в Киммерии и ходившие по той же самой земле, по которой бегало теперь и стреляло из луков многочисленное потомство его брата; это — скифы, кочевавшие в крымских степях, это — более поздние византийские греки, строившие на берегу Черного моря, — Эвксинского понта, — крепости Алустов и Гурзовиту, Херсонес и Сугдею; это — Киевская Русь, осаждавшая и зыбавшая Херсонес, — по-русски Корсунь, — при князе Владимире; это генуэзцы, настроившие много новых крепостей на побережье, причем остатки их еще не успели разрушить и время; это — золотоордынец Мамай, разбитый Дмитрием Донским на Куликовом поле и бежавший в Крым, где и основал свое Крымское ханство сначала на небольшом клочке земли в степях под Евпаторией...

Осенью того же года, когда переселился к нему Дарья Семеновна, Невредимов уже чувствовал под собою настолько твердую почву, что позволил себе поделиться с нею своими новыми знаниями как-то во время обеда (обедал он в заведенное время отдельно от детей):

— Этот самый город — Симферополь, в котором мы с вами живем, Дарья Семеновна, — он, собственно, что же такое? — Совсем еще младенец, ему немного больше, чем мне: сто с небольшим лет. Симферополь — слово греческое; значит — Полезный город. Но, можете себе представить, в незапамятные времена был в этом самом месте город Неаполис, что

означает — Новый город... «Новый» почему же именно? — Потому что он на месте какого-то старого был построен, а такого же именно? Об этом история молчит! Молчит, — вот как! Покрыто мраком неизвестности! Какой такой город мог тут быть три-четыре тысячи лет назад, — поди-ка открой! И черепочка от него не осталось... Вот что такое дела людские, — прошли, и нет их. А между прочим, человек за человеком тянется, поколение за поколением, народ за народом, цепочкой, из самой, что ни на есть, тьмы времен и вот до наших с вами дней, и после нас с вами тоже пойдут эти самые века за веками, — вон как эта машинка вертится без остановки!.. Вот это и есть то самое *perpetuum mobile*, то-есть вечный двигатель, — че-ло-век!.. Человек его ищет тысячелетие уж поди, а это — он сам и есть!.. Почему же так происходит? Происходит так потому, что он допустил ошибку в одном силлогизме старинном: «Всякий человек смертен; Кай — человек; следовательно, и он — смертен»... А он, Кай этот, вовсе и не смертен, а совсем напротив того — бессмертен!

Он видел, что Дарья Семеновна смотрит на него круглыми глазами не столько с почтением к его знаниям, сколько с опасением за его разум, но продолжал с затаянным лукавством:

— Бессмертен же человек потому, что не умирает его идиоплазма. Она, идиоплазма эта самая, передается из поколения в поколение, и вы, Дарья Семеновна, сами, конечно, того не ведая, ее передали по наследству восьмерым своим, а эти, в свою очередь, передадут ее дальше, вот как!.. Пусть они даже и фамилию переменят — это я о девочках говорю, — пусть они Невредимовы и не будут называться, а как-нибудь там по мужьям, за кого выйдут замуж, — все-таки она, эта самая идиоплазма невредимовская, она в них жить будет, она не пропадет, не-ет! А ведь Василий, как брат мой единоутробный, сходство со мною очень большое имел, и вот теперь такое дело: дождетесь вы, скажем, внука, присмотритесь вы к нему, когда подрастет, да вдруг и скажете: «Однако, скажете, — замечая я, что ты что-то на Петра Афанасьевича покойного очень похож и лицом, и всеми повадками!» Вот какой оборот может случиться, Дарья Семеновна!.. И двести, и триста лет пройдет, перемешаются Невредимовы с разными другими в супружествах, — как же иначе? А потом вдруг она самая, эта невредимовская идиоплазма, возьмет да и отпрыгнется в двадцатом поколении каком-нибудь: — Я, скажет, живу себе, — ничего со мной не поделаете! Вот живу, и все!

При этом он, старый, даже подмигнул, хитровато прищурив один глаз, как, по

его мнению, могла бы подмигнуть кому-то там, в пространстве будущих веков, невредимовская идиоплазма.

3.

Шла годы, и каждый год, по заведенному порядку, в черный лакированный дубовый гроб с медными ручками Дарья Семеновна ссыпала сушеную вишню. Петр Афанасьевич стал уже председателем архивной комиссии, не очень заметно старея на вид, а восьмеро его племянников и племянниц росли и заправляли собою все больше и больше места в его доме.

Они должны бы были звать его дядей, но как-то так повелось, что начали все как один, называть его дедушкой, и он принял это, решив про себя, что так, пожалуй, гораздо лучше, — так у него являлось как бы прямое потомство: восемь корневых как бы им самим пущенных в недра земли.

«Каменный век» старших прошел без увечий для них и для младших; Петр Афанасьевич замечал, что у младших он не затянулся: они ведь поглядывали на старших, а те стали уж гимназистами средних классов, начинали уже с достоинством носить свои синие мундиры и стеснялись надевать на спину ранцы из тюленьей кожи.

Признав, наконец, полезным для них, если будет обедать с ними за одним столом, Петр Афанасьевич ввел это новшество, причем требовал, чтобы кто-либо, кого он назначал сам, читал для всех молитву перед обедом и после обеда.

Он зорко следил за тем, как кто из них держит ножи и вилки, и не уставал делать им замечания. Он спрашивал их поочередно, что у них проходило в классах, и как кто отвечал, если его вызывали. В эти часы он чувствовал себя действительно дедом, патриархом большой семьи.

Что его самого втайне изумляло, это то, что у них кое у кого начинали появляться способности, которых даже и не предполагал он в них, когда были они малышами. Так, старший, Коля, почему-то начал хорошо петь сначала альтом, потом, когда переломился голос, тенором и играть на скрипке. Следующий за ним, Вася, отлично декламировал стихи, а старшая из девочек, Ксения, оказалась лучшей в своем классе по математике, что даже казалось ему необычайным: ни его брат, ни он сам большими способностями к математике не отличались. Петя, его заочный крестник, почему-то вдруг начал искусно чертить географические карты, которые обыкновенно задавались на дом в каждую четверть года учителем истории и географии Ишейкиным, которого гимна-

исты за его толстый и малоповоротливый язык звали Телком.

Карты требовалось сделать не менее скучно, чем в атласе, для чего покупалась ватманская бумага и акварельные краски. У Пети карты выходили почему-то сделанными со вкусом, и Петр Афанасьевич наблюдал, как подражает ему в этом вторая по старшинству из девочек — Надя.

Открывая те или иные способности у молодых Невредимовых, Петр Афанасьевич склонен был думать, что и у него самого появляются дремавшие втуне десятки лет способности педагога, и своим беседам с ребятами за обедом придавал большое значение, точно перед ним был в самом деле какой-то класс. Он даже обдумывал иногда, что бы такое сказать за обедом, на что направить внимание, чтобы это принесло свою долю пользы для старших или для младших.

Вдруг возьмет и скажет загадочное слово:

— Белуджитерий!.. Гм, да, белуджитерий, — что это может быть такое за штука, а?

И смотрит выжидательно то на одного, то на другого из старших, а потом начинает сам объяснять, каким было допотопное животное белуджитерий, и кстати скажет, что мамонты водились в ледниковый период в Крыму, и что не один толстый скелет мамонта был здесь найден учеными.

Мамонты его самого очень занимали, так как недалеко от города найдена была пещера, полная мамонтовых костей, причем все трубчатые кости были разбиты каменным молотом.

— Значит, что же выходит? — торжественно, обводя глазами племянников, говорил Петр Афанасьевич. — Выходит, что это была, у первобытных людей не иначе как кухня, а? Кушали мамонтовую говядину!.. И должно быть, ничего, на пользу им шло. А вот в Сибири, — пишут, — был такой случай: нашли целую тушу мамонта во льдах ученые! И вот один, — молодой, конечно, — старый бы себе этого не позволил сделать, — вдруг и говорит: «Мамонт вполне сохранился, — в леднике пролежал сколько-то там десятков тысяч лет, и шкура на нем целая, — не иначе, что его льдом накрыло, оттого и погиб, а не то, чтобы от болезни какой... Дай-ка попробую котлеты из его мяса съесть!» И по-про-бо-вал!.. Так что его потом врачи насилу выходили. Закалялся после того мамонтов кушати!

Так как старшие, поступив в гимназию, проходили уже древнюю историю, то дядя, упорно борясь за обедом со всем, что нужно было долго жевать, спрашивал их:

— А что, зубные врачи в древнем Египте были?.. Не знаете? Плохо же у вас историю проходят... А я вот и теперь

никак не соберусь зубы себе вставить..

И, вспоминая, что он — нотариус, хотя и бывший, спрашивал:

— А нотариусы в Вавилоне были? Тоже не знаете?.. Надо будет вашему учителю истории написать, что так преподавать предмет не годится... Были нотариусы, как и теперь, писали купчие, мучили, как татары говорят, и всякие прочие акты на глиняных дощечках. Целые библиотеки таких дощечек остались и вот (это торжественно) читают их теперь ученые!

Ученые, впрочем, упоминались им за столом очень часто, но происходило это неизменно в связи с салфеткой, которую Дарья Семеновна так же очень часто забывала класть рядом с его прибором.

Петр Афанасьевич объяснял, разумеется, такую устойчивую забывчивость тем, что поди-ка попробуй накрыть стол на десять человек: сколько тарелок, ножей, вилок, ложек надо достать из буфета и разместить, что куда; а тут еще вдруг и салфетка!

Он попробовал просто напоминать об этом, но на другой же день опять не было салфетки. Тогда он придумал сложный подход: с самым серьезным видом как будто приготовясь говорить об эволюции или бронтозавре, он произносил:

— Многие ученые утверждают, что салфетка — предмет первой необходимости за столом, но другие ученые яростно отрицают это.

Этот подход возымел действие, однако не больше, как на три дня, потом вдруг оказалось, что Дарья Семеновна опять позабыла положить салфетку.

Тогда вдохновенным голосом начал Петр Афанасьевич снова:

— Многие ученые утверждают, что...

— Ах, голова у меня совсем затурканная! — воскликнула Дарья Семеновна и пустилась искать салфетку.

Все-таки и после того, непостижимо уж, почему именно, нет-нет, да и приходилось Невредимову пускаться в дело «многих ученых, утверждавших», и «других, которые яростно отрицали».

4.

Привыкший ко всякой «письменности» за долгое время своей работы нотариусом, Петр Афанасьевич не только вел чисто бухгалтерскую книгу расходов, чтобы, как он говорил, «не обанкротиться и в порядке держать бюджет», он еще и для себя самого вел строгий режим, ссылаясь при этом на Канта.

— По Канту, — говорил он Дарье Семеновне, — философ такой был, — горожане поверяли свои часы: раз Кант вышел гулять утром, значит, семь часов... А вставал он в пять ежедневно... Вот что такое режим! Только благодаря строгому режиму Кант до восьмидесяти с

«ишком лет я дожил, а то куда бы ему: — хилый был!»

Слова «бюджет» и «режим» стали любимыми словами Невредимова. В режим поверил он, как в средство прожить по возможности подольше, чтобы успеть поставить на ноги всех птенцов брата, однако и бюджет нужен был для той же цели, и он деятельно вникал во все статьи расхода.

Когда он был во власти страха смерти, то просто отписался от всех хлопот и забот, сделав этих птенцов в духовном заветании своими наследниками, — теперь же, одержимый твердым намерением «прожить как можно дольше, он стал как бы их казначеем.

Но черствым человеком он не был по своей природе, а новизна положения, в которое он попал, его поневоле омолодила. Ловя себя на том, что он слишком может быть, вникает в сложную жизнь пятерых племянников, он часто говорил им, с виду как бы сердито:

— Как же мне прикажете воспитывать вас, если я не буду входить в ваши глупые интересы?

Он не говорил им, что завел для них особую книгу с надписью «Кондуит», в которую не ленился по вечерам заносить свои заметки об их поведении, о каждом отдельно, стараясь определить их характер. Он не делал этого, когда у него были свои дети, но тогда он сам был еще молод, — теперь же он чувствовал себя, как рачительный хозяин в новой для него отрасли хозяйства.

Но вот неожиданно Япония начала войну на Дальнем Востоке, и восьмеро птенцов услышали от него как-то за обедом проникновенную фразу: — «Эх, царшивый у нас цариска!.. Для войны, раз она не пустяковая, а вполне оказалась серьезная, разве такой цариска нужен?.. Это тебе не мирное время, — это — смотр для всех наших сил!...»

«Цариска», — это слово тут же вошло в обиход ребят, и, может быть, именно с него началось их вольномыслие. В гимназиях им этого не говорили. Там они слышали о царе, что он «благочестивейший и самодержавнейший», а для разнообразия «благочестивый», как приходилось им петь самим в молитве «Спаси, Господи, люди твоя», исправлявая ему, царю, «победы над супротивными».

«Цариска» — это с легкой руки старшего Невредимова пошло гулять через ребят и по обеим гимназиям — мужской и женской — и вообще по городу. И чем дальше шла неудачная война, тем с большей выразительностью произносилось всеми: «Ца-риш-ка!»

Старшему из молодых Невредимовых, Коле, было в то время уже шестнадцать лет, — возраст очень восприимчивый и склонный к критике. Он уже успел про-

славиться в гимназии тем, что в сочинении на заданную словесником тему: «Причины лени и апатии Обломова» доказывал, что никаких причин к лени и апатии Обломова Гончаров не привел, что среда, из которой вышел Обломов была такая же, из которой вышел и сам автор романа, однако же дай богу всякому столько путешествовать и столько написать, сколько написал Гончаров.

Конечно, словесник отнесся к этому сочинению неодобрительно, но Коля Невредимов, приведя много цитат из романа, яростно защищал свою точку зрения, что Гончаров в этом вопросе оказался не на высоте задачи, а мог бы оказаться на большой высоте, если бы взял свою тему шире и глубже и указал бы на истинные причины обломовщины.

У одноклассников Коля и до этого случая считался и начитанным, и смелым в суждениях, а после диспута его со словесником репутация его укрепилась, поэтому от него ждали кое-чего и в будущем. Словесник же, человек еще очень молодой, вздумал устроить школьный спектакль, и на рождественских канулах в год начала японской войны силами исключительно одних гимназистов был сыгран «Ревизор», причем Анеу Андреевну играл один не по летам толстый и рыхлый семиклассник, загримированный так, что его не узнали зрители, а роль Марьи Антоновны никто не согласился взять, кроме Васи Невредимова, хотя был он не то чтобы очень уж женственно-миловиден лицом, а главное так велик ростом, что для него пришлось шить особое платье.

Появление такой величественной девы с ажурным веером в руках вызвало взрыв неподдельного веселья в зале, но все должны были признать, что роль Марьи Антоновны этот юный артист провел отлично.

Любовь Васи к театру была так велика, что Петр Афанасьевич начал серьезно беспокоиться, чтобы он не сбежал в какую-нибудь бродячую труппу, и даже взял с него честное слово, что не сбежит, а что касалось роста, то рослыми, в своего отца, оказалось трое мальчиков.

Как огромное большинство мальчиков, молодые Невредимовы обладали склонностью к подвигам, а наступившая война должна была особенно разогреть эту природную склонность. Но как бы много ни было проявлено личной отваги в эту войну, — война в общем велась из рук вон плохо. Вооружение русских войск было хуже, чем у японцев. Враг оказался сильнее, и это должны были бы знать прежде, чем доводить дело до войны с ним, однако пренебрегли подобным знанием, предоставив японцам наводнить весь Дальний Восток своими шпионами, противопоставив всем его силам на самой дальней окраине России незначи-

тельные гарнизоны и устарелый малочисленный флот.

— Паршивый цариска! — повторяли деловые слова они все, обескураженные неуспехом военных действий и на море, и на суше.

Это была обида, кровная обида, нанесенная их юности, поре неукротимых мечтаний. Разборзились, рассказали, и вдруг, — хлещут кнутом и тянут назад вожжами.

Когда японский адмирал Того разгромил в Цусимском проливе балтийскую эскадру, посланную выручать Порт-Артур, но опоздавшую, не старый Невредимов молодых, а молодые старого начали спрашивать, и спрашивать не о древнем Египте, не об индрикотериях, живших неизвестно когда, а о том, что было у них перед глазами, частью чего они являлись сами, — о родине, о России.

— Гениальный мы народ или нет, дедушка? — с горящими глазами начинал за обедом этот острый разговор Коля.

— Гени-аль-ный ли? — удивленно повторял такой странный, по его мнению, вопрос «дедушка».

— Ну, да, — гениальный или так себе? — поддерживал брата Вася.

— Ничего как будто: живем — хлеб жуем, — думал отшутиться Петр Афанасьевич. — И очень многих уже пережили: половцев, печенегов, обров... Обры, а по иному произношению авары, — были когда-то такие, и сказано о них в летописи: «Погибоша, аки обры».

— Обров, значит, мы победили, а вот япошек почему-то не можем! — вставила средняя по возрасту из девочек Надя, вышедшая бойкой и стремившаяся не отстать от старших.

— Ну-ну, и ты, Брут, тоже!.. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, — пытался остановить ее прыть «дед», однако она была неумной: она повторяла упрямо:

— Вот не можем, — и всё, не можем, — и всё!.. Никак не можем, — и всё!

— Далеко, — понимаешь, как это далеко, или не понимаешь? Вот по этому самому: далеко, — отсюда и неуспех.

— А зачем же там воевали? — спрашивал Коля.

— Ну, это уж дело не наше с тобой, почему да зачем, — не наше!

— Как же это так «не наше»? Воевать — нам, и позор терпеть тоже нам? На каком основании? — резко спрашивал Вася.

— Вот шпилька, вот шпилька растет! — качал головой «дед», однако только удивляясь, а не то чтобы негодуя, и вдруг находил ответ на вопрос Коли: — Народ может вполне гениальным быть, а правительство... оно, конечно... может не соответствовать и, как это говорится, заставляет желать лучшего.

— Что же, значит, народ не виноват, что он такое правительство терпит? — подхватывал эти слова Коля.

— Народ-народ, — начинал бурчать «дед». — Говорят, «народ, народ», а что такое народ, и сами не знают! Отвлеченное понятие, — вот что это такое — народ!

— Мы — отвлеченное понятие? — вскрикивала Надя, крупно округлая и без того круглые глаза.

— Та-ак! Ты — тоже, значит, народ? — удивлялся «дед».

— Я? А как же? Конечно, я тоже народ! — подтверждала Надя, оглядываясь, впрочем, на старших братьев.

Такого наскока «дед» уже не мог вытерпеть хладнокровно: он кивал уничтожающе белой головой и говорил сви-репо:

— Ешь и не бунтуй!.. Смотри у меня, еще в гимназии так ляпнешь, что ты — народ, — от тебя дождешься!

Однако все замечали, что тут же он начинал улыбаться и тянулся к салфетке, чтобы в ней спрятать свою улыбку.

В яркие здесь, солнечно-желтые осенние дни «отвлеченное понятие» обрело всероссийский голос после того, как правительство сконфуженно заговорило о мире. Почему-то вдруг перестали получаться столичные газеты и письма: говорили, что поезда не ходят. Дошли слухи, что повсеместно перестали работать заводы; потом ближе: подняли восстание матросы черноморского флота, и один из броненосцев, — самый сильный, — «Потемкин», — уже гуляет на полной свободе в море и нагоняет страх на полицию портовых городов..

Теперь молодежь в доме Невредимова имела ликующий вид и сидела за обедом с видом именинников, а Петр Афанасьевич старался говорить только с Дарьей Семеновной на такие темы дня: как, почему и что на базаре.

Пехотный полк, стоявший в городе, не был отправлен на Дальний Восток во время войны; зато теперь, когда восстали моряки-черноморцы, его послали в Севастополь усмирять матросов...

В середине октября, 17 числа, объявлен был царский манифест о свободах. Манифесту поверили. На другой день толпы народа залили улицы. «Свободу» по-нимали, как свободу, из тюрьмы народ выпустил арестантов, из гауптвахт — лишенных свободы, заключенных там на разные сроки, — недогагие, впрочем, — солдат местного гарнизона.

Народ ликовал, — ему казалось, что он добился победы над правительством. Но вынужденно подписывая одной рукой манифест о свободах, правительство жалало в другой привязанную, испытанную плеть. В полдень 18 октября в городе начался погром евреев, подготовленный полицией, но первыми, на кого он обру-

шился, были ликующие толпы народа, ходившие с красными флагами.

Переодетые городовые, кучера, мелкие торговцы, а больше пропойцы с толкучки, направляемые приставами, раздававшими им колья, пошли навстречу густой толпе манифестанов, выставив трехцветные флаги и портреты царя, встретили их против губернаторского дома с одной стороны и городского сада — с другой и пустили в дело свои колья.

Свыше шестидесяти человек было тогда убито ими, а к вечеру начали они громить еврейские магазины. Пехотный полк был вызван «в помощь полиции для подавления беспорядков», но так как «беспорядки» производились самой полицией, то солдатам полка просто приказано было занять взводами перекрестки улиц и не двигаться с места.

Во главе одного из таких взводов пришлось быть прапорщику запаса Ливенцеву, который до войны был учителем математики в здешней женской гимназии. Он не мог, конечно, с одним взводом в сорок человек остановить погром, но молодые Невредимовы знали, что дня через три после погрома в местной газете появилась такая заметка: «Офицер 51 пехотного полка Ливенцев представил в комиссию юристов пространное показание по делу о погроме, из которого явствует, что полк проявил при этом преступное бездействие, противное военному уставу внутренней службы»...

Газету с этой заметкой купили все старшие из молодых Невредимовых, и все показывали ее Петру Афанасьевичу с великой гордостью за своего педагога.

Тут особенно была взволнована Ксения, лучшая в своем классе ученица Ливенцева.

Петр Афанасьевич прочитал эту заметку и раз, и другой, потом сказал:

— Достойный человек, — вполне достойный, конечно... Один против всех пошел. — да, достойный... Хотя знает, я думаю, что против рожна прет, и что плетью обуха не перешибешь...

Вздыхнул и добавил:

— Вижу, что жалко вам будет его лишиться, а не иначе, как уволят его из гимназии.

Племянники и племянницы убедились не больше, как через месяц, что дядя их прав: против прапорщика Ливенцева в полку было поднято дело, а когда он был выпущен снова в запас, начальство гимназии предложило ему выйти в отставку, что он и сделал.

5.

К лету 1914 года Петру Афанасьевичу шел уже восемьдесят шестой год. Но если в семьдесят лет он и говорил себе: «Однако я древен!», то теперь ничего

такого не говорил, — до того укоренился в жизни.

Он начал сильно сутулиться и в спине, не только в шее, — вообще расти к низу; голова его стала заметно дрожать, особенно, когда он волновался, но глаза еще глядели остро из-под нехоты разросшихся седых бровей, и слуха он не потерял, но объяснял это тем, что регулярно пил лекарство два последних года.

Лекарство это было какое-то патентованное средство, привезенное из-за границы одним старым знакомым Невредимова, — белый кристаллический порошок в красивом объемистом пакете. Рекомендовано было разводить чайную ложку этого порошка в стакане воды и пить по два глотка несколько раз в день. Но случилось несчастье: пакет этот, еще только-что начатый, лежал на столе в кабинете, куда принесла Евдоксия, очень уже постаревшая, ведро воды. Она и сама потом никак не могла понять, каким образом, вытирая стол тряпкой, смахнула с него пакет, но он попал прямо в ведро с водой, а она даже не заметила этого. Заметил вошедший минут через десять Петр Афанасьевич, что в ведре утонуло что-то, и обомлел от ужаса.

Для другого старика, с менее крепкими нервами и сердцем, такой удар мог бы, пожалуй, окончиться очень плохо, но Невредимов все-таки превозмог его, хотя и много кричал и ахал. Выход из тягостного положения нашла на этот раз хозяйственная Дарья Семеновна, решившая, что не пропадать же добру, раз притом же порошок попал как-раз туда, куда ему и нужно было попасть, — в воду.

— Да ведь в какую воду, Дарья Семеновна, в ка-ку-ю воду, — вот что! — горестно восклицал Петр Афанасьевич.

— В самую чистую, из колодца, — в какую же еще? В ту самую, какую и на чай берем, а также на кухню, — объяснила Дарья Семеновна.

— Да ведь ведро-то, ведро-то какое? — По-мой-ное!

— Ничего не помойное, а самое обыкновенное. Никогда этого еще не бывало, как я сюда приехала!

Пораженная своей оплошностью Евдоксия молчала, только кивала утвердительно головой всему, что говорила ее хозяйка.

— Да ведь не-ки-пяченая вода-то, — сы-ра-я! — последнюю свою горечь вылил Невредимов, но Дарья Семеновна нашла и здесь:

— Да у нас в колодце вода такая чистая, как слеза, — ее и кипятить не надо... И разве же написано было на бумажке, чтобы непременно кипяченая была?

Действительно, этого сказано в настав-

лени на пакете не было, и за это ухвятился, наконец, Петр Афанасьевич, как за последний довод.

Размокшую бумагу пакета со всею осторожностью вытащила Дарья Семеновна из ведра серебряной столовой вилок, воду же с распустившимися в ней порошком разлила по бутылкам, которые накрепко заткнула пробками и запечатала сургучом. А когда все это окончилась, сказала так удовлетворенно:

— Вот теперь и пейте себе на здоровье! — что Невредимов даже успокоился и отозвался ей:

— Вы, Дарья Семеновна, — прямо какая-то волшебница, ей-богу, волшебница! Однажды было уже с ним, что невестка спала его, может быть, даже от смерти. Вздумав съесть кусок вареного мяса, он довольно долго работал над ним беззубыми деснами, однако не прожевал, и комок застрял у него в глотке.

Кричать о помощи он не мог, — только хрипел, но Дарья Семеновна заметила это и во-время бросилась к нему, чтобы вытащить из его рта комок своими пальцами. Теперь с этим утопшим пакетом вышло так, что она «деда» вторично спасала. Это был лишний повод к тому, чтобы в целебность заграничного средства поверить прочно, а во что поверишь, то не обманет: Петр Афанасьевич всем говорил, что держит его на земле порошок, который он принимал в течение пяти недель.

А большое гнездо начинало уже пустеть, — и птенцы из него разлетелись почти все к этому времени, причем старший из них, Коля, окончив петербургский политехникум, остался в столице, работал на одном из заводов; следующий за ним Вася, окончив там же медицинский факультет (он сдержал слово, не соблазнился рампой), стал земским врачом в одной из черноземных губерний; из Ксении, тоже успевшей уже окончить высшие женские курсы в Москве, вышла учительница; отличавшийся в гимназии способностью к черчению географических карт Петя заканчивал институт инженеров путей сообщения, — сдавал дипломную работу и был тоже в Петербурге, как и Коля.

Только двое младших из пяти братьев пока еще носили студенческие тулупы, а самая младшая из сестер — Нюра — только-что, в конце мая, окончила гимназию и пока еще не решила окончательно, куда именно ей поступить теперь.

Ей и сказала обрадованно курсистка-бестужевка Надя, когда вернулась домой после встречи с художником Сыромолотовым на улице:

— Обещал! Обещал дать этюд для лотереи!

Нюра вышла ростом ниже сестры, — круглая, полная, больше других сестер

похожая на свою мать, и манера говорить, и голос были такие же, как у матери.

Она обрадовалась:

— Это тебе повезло, Надя! Как же ты его уломала?

— Никак не уламывала, — я у него даже и не была: просто, встретила его на улице, сказала, он сразу и согласился. Завтра к нему пойду, в начале одиннадцатого.

— Ну, значит, ты ему понравилась! — решила Нюра.

— Фу-у, — «п понравилась»! — зарделась Надя. — Такие разве обращают внимание на нас грешных! Ты бы на него посмотрела, какой он! Мне и говорить-то с ним было страшно, только я виду не подавала.

— Что же он, рычит и гавкает?

— На улице-то он, положим, не рычал, но, должно быть, потому только, что ему просто некогда было: он торопился куда-то.

— Сыромолотов торопился? — удивилась Нюра. — Куда же это ему было торопиться, если он никого знать не хочет? Я сама раза три видела его на улице, — он прямо каким-то мертвым шагом ходит! Больше стоит и разглядывает, как сыщик... Но раз этюд дает, то, конечно, дело не наше, — бог с ним, — а этюд мы можем и с аукциона продать!

Мысль о лотерее пришла в голову Наде, Нюра же ее подхватила и развила, а два их брата-студенты, которые приехали домой на каникулы, с этой мыслью вполне согласились и принялись дружно ее воплощать, собирая разные мелкие вещи и книги у своих бывших товарищей по гимназии, добавляя к этому вышитые подушки, полотенца, кисеты, собранные сестрами в домах бывших подруг, и всему этому составляя списки и назначая цены.

Старший из них, Саша, был так же высок, как Коля и Вася; Геня — Геннадий — не выше Нади. И характера они были разного: Саша движений стремительных и, при его росте, несколько опасных для окружающих его людей и хрупких предметов, но при явной опасности для него самого очень хладнокровный, спокойный; Геня же — движенья до того размеренных, что всякому с первого взгляда мог бы показаться ленивым, однако не страдавший этим грехом; но в то же время выбитый чем-нибудь из обычной колеи, способен он был теряться до того, что Саша шутил над ним:

— Не-ет, ты, братец мой, не годишься для подпольной работы: в случае чего — все дело провалишь!

Ни в какой партии, впрочем, они пока не числились ни тот, ни другой, считая что это не поздно будет сделать и позже. Один из них был естествен-

ник, другой, Геня, — юрист; оба учились в Москве, жили там на одной квартире и были между собой так дружны, как все-таки не слишком часто встречается у братьев; притом же каждый из них с уважением относился к тому, что штудировал другой, а это встречается еще реже.

Чтобы не беспокоить деда многолюдством в его доме, лотерею они решили провести или в доме одного из своих товарищей, или на лоне природы, за городом, или в Воронцовском саду. Когда-то в двадцатых и тридцатых годах прошлого века генерал-губернатором всего юга России был граф Воронцов: в честь его и назван был этот сад.

В доме Невредимова не было никаких картин: он и сам сознавался, что к живописи его никогда особенно не тянуло. Он даже склонен был причислять к живописи и мастерство, какое выказывал Петя по части географических карт, и задумывался над тем, откуда у него могла взяться такая способность. И едва ли не в первый раз заговорили о живописи в столовой деда, именно в этот день, когда Надя никак не могла скрыть своей радости даже от старика, — проговорилась.

Оказалось, что если Сыромолотов от кого-то и что-то слышал о нем, то и он от кого-то и что-то слышал о Сыромолотове.

— Чудак, мне говорили, какой-то... Неудим и много о себе думает, — подрагивая головой, сказал он.

— Отчего же ему и не думать много, если он — известный художник? — горячо вступилась за «чудака и неюдима» Надя.

— Ну, да, ну, да, — известный, конечно, все может быть... А что такое, в сущности, известность? — И поднял белые ключья бровей на морщинистый высокий лоб свой «дед». — И какой-нибудь вор или убийца тоже, может быть, всем известен, — Васька Чуркин, например, был, и кто же его не знал? Даже роман какой-то о нем написали... И печатался этот роман, я помню, в одной московской газете, и все никак не мог его сочинитель окончить, пока, наконец-то, начальство не приказало ему: Чуркина поймать и в острог посадить, а то скандал какой-то получился, что полиция его никак пресечь не может.

— Очень талантливый художник он, хотела я сказать, — поправились Надя.

Но «дед» не смутился и этим.

— И «талантливый» тоже, — что это значит? — сказал он. — На один вкус талантливый, на другой — нет. А если на все вкусы угодил, то это... это... должен я сказать тебе...

Петр Афанасьевич не договорил, не желая нужным договаривать, только ду-

каво посмотрел на Надю и помахал возле своего носа указательным пальцем.

При этом была и Дарья Семеновна. Как мать, справилась она заботливо у дочери, сколько лет этому неюдиму художнику, и когда услышала, что лет шестьдесят, то ко всему остальному, что о нем говорилось, отнеслась совершенно равнодушно.

Геня же обратился к сестре с таким советом:

— Проси у Сыромолотова этюд не маленький, а побольше. Говорю тебе, как юрист, обязанный знать, что такое публика. Какой бы шедевр публике не преподнести, но ежели он миниатюрен, публика не оценит его. Она не на вершки, а на четверти меряет, так что, чем больше квадратных четвертей будет в этюде, тем большим он будет пользоваться успехом.

А Саша добавил:

— Рекомендую тебе обратить внимание на то, чтобы была на этюде подпись, «А. Сыромолотов», это должно быть внизу, в правом углу... или в левом, что безразлично... А то вдруг он даст без подписи, и поди доказывай, что это не осел хвостом намазал! И какая тогда будет цена этюду?..

6.

После того, как пришел от Кунов к себе домой Сыромолотов, он долго не мог ни за что приняться и повторял время от времени то про себя, то даже вслух: «Какой неудачный сеанс!». В чем была тут соль, почему сеанс вышел настолько неудачным, что выбил его из колеи, он не пытался даже объяснить себе, а только чувствовал это каждой порой тела, каждой клеткой мозга. Если он и не взял ящика с красками, — дома у него было все это, — то все же предупредил свою «натуру», что следующий день пропустит, однако теперь, у себя, приходил к решению пропустить и еще день. Он вообще теперь уже укорял себя за то, что принял заказ на портрет, когда надобности в этом никакой не было.

Только к вечеру он несколько успокоился, припомнив, что гороподобная фрау Люстих со своей новостью постаралась сразу смести, как паутину, ту сложную сеть впечатлений, которую плел он по своей исконной привычке художника.

Но она сделала гораздо больше, чем только это: вместе с паутиной она и самого паука, то-есть, его, художника Сыромолотова, трудом всей жизни создавшего себе полную независимость, как будто тоже вздумала вымести вон, подняв на щит тело какого-то эрцгерцога, кем-то убитого в каком-то Сараеве.

Для него несомненным было, конечно, что случилось нечто значительное в жизни Австрии, может быть, даже и в жизни России, как рикошетный оттуда

удар, но он-то сам всем своим сильным существом восставал против него: для него это было просто вмешательством в его личную жизнь, которая шла пока уверенным и ровным путем прямо к цели, которую он же себе и поставил.

На стене в его мастерской висела на подрамнике большая картина, над которой работал он, забывая обо всем в мире (и помня в то же время весь мир), с начала этого года. Он хотел всего себя вложить в эту картину и вложил действительно много.

Она не была еще закончена настолько, насколько он сам хотел ее закончить, но главное, так ему казалось, было уже сделано в ней: она говорила.

Выдвинувшись вперед из открытого настежь окна на втором этаже, — точнее, мезонине, — небольшого деревянного дома, голыми до плеч руками опираясь на карниз, молодая девушка, с распущенными русыми волосами, как порабенная первозданной красотой майского утра широко глядела в то, что перед ней возникало, будто в сказке.

Не «на то», а «в то»: внутрь того, что видела, в глубочайшую какую-то суть, точно никогда ничего такого, ничего равного этому по красоте она не видала и никогда до этой минуты не думала увидеть. А перед глазами девушки был обыкновенный запущенный русский сад, за которым, видная сквозь широкую заросшую травой аллею, расстилалась русская даль, озаренная только-что подымавшимся солнцем.

Этот неровный, колеблющийся, слегка алый свет, разлитый по молодой еще листве сада, по извилистой тропинке, убегающей к речке за садом, по дальним, затуманенным раkitам, и воздух, еще необогретый, еще сыроватый, и радость в широких глазах девушки, — вот какие задачи ставил себе Сыромолов, и ему казалось, что он решил их, что чуткий зритель будет непременно искать тут на ветках дерева, на переднем плане голосистого зяблика, который должен утром в мае оглашать подобный сад своими раскатами.

В то же время зритель должен был представить себя на той же высоте, на которой была девушка, данная в естественный рост, — только тогда он мог бы проникнуться настроением картины во всей полноте, а для самого Сыромолова эта условность была новой.

Особенностью его, как художника, было то, что он никогда не повторял, не перепевал себя, и во всей огромной галлерее его картин не было другой подобной. Он никому еще не показывал этого полотна и не знал, какое впечатление может оно произвести, но сам для себя он привык быть нелицеприятно строгим судьей, и как бы придирчиво он ни от-

носился к своей работе, ему казалось, что она удалась.

Он начал ее по своим старым этюдам, сделанным не здесь, а в центральной России, но много раз этой весной поднимался с постели до восхода солнца, чтобы подметить и занести на холст то, чего не доставало, что не было досмотрено им раньше.

И вот теперь, именно то, что он услышал у Кунов, вытесняло, почти вытесняло совсем его любование своей работой: картина оставалась прежней, но почему-то не было того подъема в нем самом, какой она возбуждала раньше. Он прошелся по ней невнимательными глазами и отвернулся к окну, за которым была улица... такая же, как в Сараеве, — удобное место, чтобы убить наследника какого-нибудь императорского престола и заставить потом этим надолго забыть о всяких вообще картинах.

Спать в этот день он лег рано, совсем не зажигая лампы, а встал, как всегда, с рассветом. После чая хотел было пойти на этюд, но вспомнил, что обещал курсистке Невредимовой быть в десять дома, и остался. Перебирал, чтобы такое ей дать для лотереи в пользу ссыльных и заключенных, и остановился на одном из старых эскизов к «Майскому утру», теперь уж ему ненужном. Этот эскиз он и держал в руках, взглядывая при этом то на него, то на картину, когда услышал звонок во входной двери. На часах стальных, висевших в его мастерской, было двадцать минут одиннадцатого, что заставило его усмехнуться в усы и сказать про себя: «Однако какая точность!»

Бросив эскиз на стол, он пошел открывать двери сам, так как Марья Гавриловна ушла на рынок и еще не вернулась. Невредимова, одетая точь в точь так же, как накануне, сказала:

— Здравствуйте! Вы вчера мне велели прийти в это время...

— Ничего я не велел, — буркнул Алексей Фомич, — но... заходите.

Ему все казалось, что она прямо с прихода опрокинет на него свежую новость, слышанную им еще накануне, но она вошла робко и молчаливо, и одним этим растопила ледок, который скопился было в нем с утра против всех вообще и против нее тоже. Он сказал:

— Выбрал я для вас один эскизик.

— Вот как я всех обрадую! — отозвалась она по виду искренно, а он вспомнил, что бросил эскиз на столе в мастерской, и остановился перед дверью.

Потом вышло как-то странно для него самого. Он хотел сказать: «Подождите здесь, — я сейчас его вынесу», — но не сказал и отворил дверь в мастерскую, в которую никого не пускал, отворил как будто не только для себя, но и для нее тоже... И она вошла вслед за ним, чего он даже и не заметил.

Картина висела на правой стене от входа, чтобы свет из окна сливался со светом от восходящего солнца, и не бросился в глаза Наде Невредимовой она не могла, конечно, и не остановиться перед ней, как вкопанная, Надя не могла тоже.

Окно в мастерской Сыромолотова было широкое, трехстворчатое с занавеской, которую можно было очень быстро раздвигать и сдвигать. Перед тем, как выходил он отворять двери, свет в мастерскую шел только через треть окна, ближайшую к картине, а день выдавался неяркий, облачный. «Майское утро» как бы впитало в себя половину света, шедшего с надворья, остальной же свет рассеялся по большой мастерской.

Когда шла сюда Надя, несколько раз поднимался передождевой ветер и крутил столбами уличную пыль, так что приходилось прикрывать глаза рукою, а тут, в тишине раскинулся перед нею зачарованный первыми утренними лучами сад, и такая же, как она, только что входящая в широкую жизнь девушка раскрыла перед ним изумленные завороненные глаза.

Не отрываясь от картины, Надя сделала несколько шагов назад, чтобы охватить ее всю вбирающим взглядом, и замерла, забыв как-то сразу о художнике, стоявшем к ней спиной. Как будто сама она и не здесь стояла, а там, в окне старенького мезонина, а сад перед нею был дедовский сад, каким он вошел в ее душу в детстве, который сроднился с нею, как она с ним.

В ее детской хрестоматии были стихи Фета:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...

Тысячу раз в своей недолгой жизни приходилось ей вспоминать эти стихи, и вот теперь она их вспомнила снова, но так, что каждое слово в них, как бы воплощаясь, проходило через эту картину, насыщалось в ней слегка алым светом, пропитывалось бодрящей сыростью воздуха и возвращалось к ней снова, и вдруг они все, озаренные и живые, затопились около нее, эти слова, заполняя расстояние между ней и картиной, и время уж не владело ею, и о том, что она стоит в мастерской художника, к которому пришла за обещанным этюдом, она забыла.

Но не забыл об этом сам художник. Допустив оплошность, не сказав ей:

«Подождите здесь», то-есть, в своей гостиной, в которой, правда, не бывало никаких гостей, Сыромолотов счел уже совсем неудобным выпроводить ее, юную, из мастерской, когда она вошла уже вслед за ним, а потом вновь вздумала бегом пересмотреть несколько этюдов и эскизов, разложенных на столе, — не переменить ли решение, не дать ли какой-нибудь другой вместо намеченного. И когда, наконец, действительно отложив в сторону эскиз картины, а вместо него выбрав небольшой, более ранний этюд, то обернулся.

Первое, что он увидел, были крупные слезы, медленно катившиеся по лицу девушки.

— Вы что? — быстро спросил он, прозвнеся это, как одно слово.

Как бы в ответ на это, слезы у Нади покатались чаще, и она сама заметила это и нервно начала шарить в своем ридикюльчике, доставая платок.

— Что такое? Плачете?.. Почему? — Забеспокоился Сыромолотов и, сделав к ней два-три шага, стал с нею рядом.

— Нет, я... я ничего... я так... — по-детски пролепетала Надя, и художник ее понял.

Она была первая, которой он нечаянно показал свою картину, и вот..

— Отчего же вы плачете? — спросил он ее, понизив голос.

— От радости, — шопотом ответила она, пряча конфузливо обратно в сумочку свой платок.

И чрезмерно строгого к себе и сурового к людям, к публике вернисажей старого художника растрогало это вдруг до того, что на своих глазах он тоже почувствовал слезы. Он наклонил к ней голову и по-отечески поцеловал ее в лоб.

Потом он стал с нею рядом, чтобы посмотреть и самому на то, что вызвало слезы на глаза первой из публики.

С ним уже часто случалось это раньше, — произошло и теперь: когда возле картины его на выставке толпились не равнодушные зрители, не снобы, считавшие основным правилом хорошего тона — ничему не удивляться, не менять мины на своих жирных лицах, что бы они ни увидели, как можно скорее обойти всю выставку и уехать, — когда на нее смотрели подолгу, явно восторженно, — он вырастал в собственном мнении о себе, он переживал снова тот подъем, без которого невозможно творчество. Картина его тогда вновь возникала перед ним во всем обилии деталей, не сразу ведь найденных и капризно иногда ложившихся на холст; он переживал ее тогда снова так, как это было с ним только в мастерской, один на один с тысячами трудностей, которые он по безжал, десятки раз отбрасывая то, что

возникало в нем, пока не находил, что было нужно.

Картина жила. Картина мыслила, Картина говорила языком, понятным для начинающих жить широкой жизнью. Это была победа, — сладость победы.

Но горечь все-таки тайлась в нем, и это она нашла первые слова, которые медленно и тяжело слетели с его языка:

— Когда тренер выводит на беговую дорожку лошадь, и на нее вскакивает жокей, и она потом мчится среди других по кругу, то всем видна, конечно, ее борьба... Но вот она выдвинулась вперед на голову, на корпус, на десять, на двадцать корпусов и, наконец, рвет ленту, приходит первой, — то это ведь бесспорно, это явно для всех, это — торжество и лошади, и жокея, и тренера, и хозяина конюшни: работа их не пропала даром!.. Никаких кривотолков при этом быть не может: ясно, как солнце... А картина...

— Поймут, все поймут! — горячо перебила его Надя, совершенно непосредственно дотронувшись до его руки своею. — Как можно этого не оценить сразу, с первого взгляда?

— Это вы, может быть, потому так говорите, что сами занимаетесь живописью, а? — вдруг возникла в нем неприятная почему-то ему догадка, но она возразила с большою живостью:

— Я? Нет, что вы! Рисовала, конечно, на уроках в гимназии карандашом, как все, с гипсовых фигур, а красками, — нет! Только завидовала этому, а сама не рeshалась.

Ему хотелось спросить, что же именно так понравилось, так тронуло ее в картине, но он вспомнил, что слышал у Кунов и что расстроило его на весь остаток вчерашнего дня и спросил:

— Продаются уже телеграммы?

— Какие телеграммы? — удивилась она.

— Значит, не выпущены еще?.. Впрочем, пожалуй, и действительно еще рано.

— О чем телеграммы? Что-нибудь случилось?

Он наблюдал, как она глядела теперь встревоженно ожидающими, совершенно круглыми глазами, в которых не осталось вдруг и тени слез:

— Как же не случилось, — сказал он: — Мир велик, и в нем каждую секунду случается что-нибудь чрезвычайное.

— Что же именно? Что?

— Я слышал, — говорили вчера в одном доме сведущие люди, — что убит австрийский наследник престола где-то там, в Сараеве...

Сказав это выразительно, и вескими, как ему казалось, словами, Сыромолотов совершенно неожиданно для себя увидел, как она просияла вдруг.

— Здорово! — совсем по-мальчишески отозвалась она. — Вот это здорово!

— Позвольте-с, — как же так «здорово»?.. Ведь это не кто-нибудь, а наследник престола, — вот-вот мог бы быть императором, поскольку Франц-Иосиф уже мышшей не давит!

— Кто убил его? Я поняла это так, что революционеры, но, может быть...

— Хотя бы и так, что из того?

— Революционеры, значит?

— Гм... Театр! — сказал Сыромолотов теперь уже сурово, как это было для него обычно. — Мне говорили, что это угрожает войной, а вы — «здорово»!

— Войной? С кем? Со своим народом? Что же тут такого? — зачастила Надя вопросами.

— Ах, да, я и позабыл, что вы — в пользу ссыльных и заключенных устраиваете что-то там такое, — недовольно сказал Сыромолотов, отходя от нее к столу с этюдами. — Но дело в том, что убийцы эрцгерцога этого сербы, а не австрийцы.

— Что же из того, что сербы? — не поняла Надя.

— Так-так-так, — уже дразнящим тоном подхватил это Сыромолотов. — А международного осложнения из-за этого политического акта вы не хотите получить?

— Разве может это быть?

— Какова, а? — Как будто кому-то третьему подкинул на нее Сыромолотов. — Язычок подвешен, как следует, — бьет в колокольчик без перебоев... — И добавил: — А думать все-таки надо прежде, чем говорить.

Она не обиделась; она улыбнулась, сказав на это:

— О чем же тут мне думать? После войны будет революция.

— Ах, да, — революция!.. Вы же какая Шарлотта Кордэ. — только о кинжалах мечтаете! — отозвался на это он без иронии.

— О кинжалах? — Нет! Это уж теперь устарело. — ничуть не смутилась Надя.

— Устарело?.. Вот то-то и есть, что устарело! — отвечая своим мыслям, согласился художник. — А как же они перечисляют то и другое и говорят: «Мы готовы»? А, может быть, вся эта кавалерия и разное там, что они называют, тоже устарело!.. «Мы готовы»? А кто против нас воевать будет, он, может быть, в двадцать раз более готов? Авиация у нас есть?.. Так-с, очень хорошо-с, — а у них разве нету? Именно у них-то там на Западе она и будет. И тогда уж, пожалуй, не скажем мы с вами: «Наша хата с краю», — она с краю не будет, а может вполне оказаться там, куда бомбы с аэропланов станут лететь... Вот вам и прощай тогда мастерская!

— И вы думаете, что погибнет тогда вот эта картина! — с веселой живостью возразила она. — Не погибнет, нет, — мы ей не дадим погибнуть! И всем ва-

шим картинам тоже, и вас мы будем беречь!

— Ого! Ого!.. И меня даже беречь? — усмехнулся Сыромолов. — «Мы будем!» Кто же это такие «мы»? — И вдруг стал не только серьезен, а зол даже, когда добавил: — А ножиками, перочинными ножиками кто же будет картины резать?

— Я это слышала, что у вас одну картину разрезал ножом известный нам провокатор, — сказала она, улыбнувшись.

— Как так провокатор? Кличка его была Иртышов, насколько я помню, потому что ссыльным и заключенным он был где-то там, на реке Иртыше! — досадливо выкрикнул Сыромолов.

— Уверю вас, нигде он не был ни в ссылке, ни в заключении, а просто он агент тайной полиции! — с такой энергией отозвалась на это Надя, что Сыромолов не мог не поверить, однако спросил:

— Неужели же не революционер он?

— Провокатор и негодай, — подтвердила Надя.

— Гм... Вот подите же, как можно сыграть роль! — искренно удивился Сыромолов. — Провокатор! Кто бы мог подумать? А что это вы сказали насчет того, что кто-то убережет мастерскую мою от авиаторов?.. «Мы не дадим погибнуть», — вы сказали. Это кто же такие «мы»?

— Разве у нас нет своих авиаторов? Вы разве не читали о Нестерове, например? — спросила она.

— А-а... Нестеров? Кажется, попадалась эта фамилия в газете. Есть художник Нестеров, поэтому запомнилась мне и фамилия авиатора этого... Ну, так что же?

— Как «что же»? Он ведь первый в мире «мертвую петлю» в воздухе сделал! — воскликнула она с таким воодушевлением, что он снова подкинул в сторону кого-то невидимого третьего:

— Знай наших! «Мертвую петлю»! А какой смысл в этой «мертвой петле», — и почему должна она спасти Россию, — сие мне неизвестно... Ну, все равно, впрочем, — что же я с вами-то об этом толкую?.. Что вы такое знать можете? Хотя... хотя вы вот почему-то знаете, что некий негодай разрезал мою картину одну, ножом, и что он был не революционер, как я думал, как мне сказали, вернее, а всего на всего провокатор и жулик... Это — совсем другая материя, совсем другой кланкер..

Он присмотрелся к ней и вдруг спросил неожиданно для нее, а может быть, и для себя тоже:

— А с красным флагом впереди толпы вы, Шарлотта Кордэ, могли бы идти?

— Меня зовут Надей, — поправила его она и добавила: — Конечно, могла бы! Отчего же нет?

— Ого! Ого! — очень оживился он. — Любопытно поглядеть, как это могло бы у вас получиться!

И быстро схватив длинный муштабель, он начал искать чего-то по сторонам, потом, сказав: «Есть, есть, — знаю, где!» — быстро вышел из мастерской и тут же вернулся с красной материей, похожей на широкий шарф.

— Вот, вот это самое, — подал он ей и муштабель, и красный шарф, — приспособьте-ка, чтобы получилось, что надо.

— Что приспособить? — не совсем поняла она.

— Ну, привяжите, чтоб получился красный флаг, а я посмотрю... Погодите, вот тут у меня имеется кусок шпатага...

Он не только протянул ей обрывок бечевочки, но еще и помог привязать им к муштабелю шарф и сначала поднял сам этот флаг над головой, потом передал ей и показал в сторону картины:

— Подите, станьте-ка там, — там светлее, и все будет, как надо.

Она поняла его и стала с флагом.

— Выше голову! — скомандовал он. — Вы впереди! За вами идет тысяча человек! Помните об этом!.. Помните, что вы идете, может быть, на смерть!

— Помню! — строго ответила Надя, и лицо ее, расплывчатое, полудетское только что, стало вдруг тоже строгим, твердым в линиях: она поняла, что художнику нужно, чтобы она позировала, что он, может быть, как-раз теперь задумал другую картину, которую назовет «Рабочая демонстрация» или как-нибудь в этом роде...

— Снимите шляпку! — скомандовал Сыромолов.

Надя проворно вытащила шпильку и сняла свой белый чепец.

— Станьте ко мне в профиль!

Надя повернулась, как он требовал.

— Выше поднимите флаг!.. И голову выше!.. Так.

Минуты две прошло в полном молчании. Наконец, Сыромолов сказал удовлетворенно:

— Ну, вот, видите, как... С вас, Надя, можно будет написать, и выйдет неплохо, да... В вас все-таки кое-что этакое есть... Можете положить флаг.

Надя положила флаг и улыбнулась ему прежней полудетской улыбкой.

— Не знаю-с, может быть, кое в чем вы и правы... конечно, не сами по себе, а с чужих слов, с чужих слов, — как будто про себя проговорил Сыромолов и взял со стола этюд, который ей приготовил.

— В чем права? — насторожилась Надя, прикалывая снова свою шляпку.

— А?.. Да... Это я так, больше вообще, чем в частности.. А что касается этюда для благотворительной лотереи, то вот возьмите этот.

И не показывая ей этюда, он свернул его трубкой и завернул в газетную бумагу.

— Мы вам очень-очень благодарны за это! — сказала Надя, принимая этюд.

— Не стоит благодарности, — сказал он.

Надя видела, что надо уходить, но не могла же она уйти, не посмотрев еще раз на очаровавшую ее картину. И с минуту стояла она еще в мастерской, и художник не торопил ее.

Провожая ее потом до дверей, он спросил:

— Вы, Надя, в доме Невредимова и живете?

— Да, мы его зовем «дедом», но он нам придется дядей, — ответила Надя, чем вызвала новый вопрос:

— Кто это «мы»?

— Мои братья и сестры... А вы когда же и где выставите свою картину?

— Зачем же мне ее выставлять? Совершенно никакой надобности мне в этом нет... — спокойно сказал Сыромолотов. — А вот если я начну писать другую картину, то... мне кажется... мне кажется, что вы с флагом красным можете выйти удачно.

— Ах, как я буду рада! — так непосредственно радостно сказала она, что он не мог не поверить.

Тут же после ее ухода он достал кусок холста, прикрепил его кнопками к доске этюдника и карандашом набросал Надю с флагом, как она осталась у него в памяти. Он припомнил и несколько виденных им накануне на улицах людей и поместил приблизительные фигуры их тут же за Надей, а потом набросал просто безликую толпу.

Фасад дома с готическими башенками по углам он вычертил довольно детально, а рядом беглыми линиями другие дома, и это была левая половина, а на правой — шестеро конных городских с приставом, тоже на лошади, посредине их неровной шеренги. В отделении за конной полицией самыми общими штрихами показана была дежурная рота солдат, вызванная для «повиновения беспорядков». Из окон дома смотрело несколько человек...

В каждой картине, какую он задумывал, он прежде всего старался найти и наметить центр, к которому сходились бы диагонали. При планировке фигур здесь, на эскизе, ему было ясно с самого начала, что таким центром могла явиться только Надя.

Он вспомнил до мелочей не то лицо, которое видел у нее вначале, когда она пришла к нему, а другое, инстинктивно

найденное ею в себе, когда она взяла в руки муштабель с шарфом. Это лицо он зарисовал отдельно на четвертушке бумаги, не столько заботясь о подлинном сходстве, сколько о черточках воли к борьбе и горению экстаза. Этим рисунком своим он остался доволен.

А когда пришла с базара Марья Гавриловна, то принесла отпечатанную в типографии «Крымского Вестника» телеграмму на розовой почему-то бумаге и сказала:

— Мальчишки бегают везде с криком большим и продают... Все покупают, вот и я купила. Убили будто бы какого-то важного... А, может, и врут, — может, сами померли?

Алексей Фомич прочитал в телеграмме:

«Его Величеству Государю Императору благоугодно было послать Императору Австрийскому Францу-Иосифу телеграмму с выражением соболезнования по поводу кончины Эрцгерцога Франца-Фердинанда Австрийского и его супруги герцогини Софии Гогенберг».

Так как Марья Гавриловна дожидаясь, что он скажет, то он и сказал ей:

— Всякий, Марья Гавриловна помирает сам. А насчет того, чтобы убили, тут как-раз ничего и не сказано.

7.

Бывает иногда, что человек ощущает себя как-то вдруг расплескавшимся во все стороны, теряет представление о своем теле, о том, что оно имеет вполне определенный объем и вес и занимает столько-то места в ряду других подобных. Иногда даже уличная толпа или зрительный зал театра, и прочие заведомо тесные места не способны заставить уложиться в привычные рамки.

Так было с Надей, когда она вышла от Сыромолотова и, не замечая ничего около себя и по сторонам, стремилась домой. Она не бежала, конечно, вприпрыжку, — ей было девятнадцать лет, — однако ей самой казалось, что она и не шла: это слово не подходило; она именно стремилась, как ручей с горы, хотя улица была ровная.

Когда близок уже был невредимовский дом, она вспомнила, что не только не посмотрела, есть ли подпись Сыромолотова под этюдом, — не видала даже и этого этюда: художник не показал ей его, а просто сунул ей в руки в свернутом уже виде. Очень много несла она в себе, чтобы вспомнить о том, что несла в руках. Такою перенасыщенной новым и значительным она и ворвалась в комнаты дома, где встретила ее Нюра словами:

— Телеграмму читала?

Нюра держала розовый листок как будто затем, чтобы о него, как о стену, разбился какой-то сказочный тонкий хрустальный замок, выросший в Наде и

в ней звучащий. Однако Надя, догадавшись уже, что это за телеграмма, пренебрежительно махнула рукой и ответила:

— Знаю.. Пустяки!

Именно так, — пустяками, не стоящими внимания, показались ей сообщения об убийстве австрийского эрцгерцога, которые только и могли быть напечатаны на этом глянцеви́том розовом клочке.

— Принесла эту́д? — спросила Нюра и взялась было за трубочку в газетной бумаге, но Надя резким движением спрятала эту́д за спину, сказав недобро́волю:

— Подожди! Я еще и сама его не видела, а ты...

Ей показалось действительно чуть ли не святотатством, что Нюра увидит эту́д раньше ее, которой он дан... дан вместе со всем другим, чрезвычайно большим и ценным.

— Какую картину я видела у него, Нюра, — вот это — кар-ти-на! — протянула она, остановясь среди комнаты и глядя на пустую белую стену, точно переноса сюда мысленно все краски «Майского утра» одну за другой.

— Ну? — нетерпеливо спросила Нюра, так как долго после этого сестра стояла, переживая, но не говоря.

— Что «ну»? Я разве в состоянии передать, что там? — даже удивилась легкомысленному понуканию Надя. — Я могу тебе сказать: девочка стоит, в окно смотрит, — перед ней сад, — и все.. Разве ты представишь, как у него на картине это вышло?.. И потом... Он, может быть, с меня начнет писать новую картину какую-то.. Я на ней буду итти с красным флагом...

Сказав это, Надя вдруг сама испугалась, как это у нее выскочило вдруг: за минуту перед тем она никому не хотела говорить об этом. Испугавшись, она прижала к себе сестру и зашептала:

— Только, пожалуйста, Нюра, никому не говори об этом! Это он скорее всего пошутил только.. Никакой такой картины он не будет писать, конечно, — зачем ему? Просто так сказал, для приличия.. А вот та картина, — сад за окном, и девочка смотрит, — вот это да-а! До чего замечательно, — это надо видеть, а так ничего нельзя тебе сказать!

Только несколько успокоившись, она взглянула на телеграмму, которую Нюра все еще держала в руке, и сказала небрежно:

— Только и всего? А я от Сыромолова слышала, что их обоих, мужа и жену, убили революционеры-сербы, а тут ничего этого нет.

— Так тебе все чтобы сразу! — заметила Нюра. — Хорошенького понемножку.

Завтра в газете будет, если действительно их убили.

Надя увидела, что на Нюру это не подействовало так, как она ожидала: революционеры, так революционеры; убили, так убили; эрцгерцога австрийского, так эрцгерцога... Что же тут такого особенного?

Спокойствие Нюры передалось и Наде, так же, как и нетерпение скорее посмотреть эту́д, и вот Надя осторожно развернула газету и не бросила ее на пол, а положила бережно на кресло, но только что хотела развернуть эту́д, как вошли с улицы в дом оба ее брата, и тоже зарозовела в руке у одного из них, у Гени, телеграмма.

— И вы купили? — крикнула братьям Нюра, показывая им свою.

— Да тут что! А разговоров — не обещаешь! — отозвался ей Геня. — Говорят, что телеграмм целая куча собралась, только печатать пока не разрешают.

А Саша дополнил:

— Событие, конечно, в европейской жизни... Говорят, что из этого что-то такое может вообще разыграться, а, по моему, — ничего особенного. Войны даже ждут, — дураки такие находятся! А социал-демократы на что? Их за границей сколько миллионов, — посчитай-ка! И в правительства там они входят. Разве они допустят, чтобы война началась? Ерунда!

— Ну, конечно же, кто им даст солдат, этим эрцгерцогам, которые еще живы! — тут же согласилась с братом Надя.

С ним и нельзя было не согласиться. Прежде всего это было бы совсем нелепо: — вдруг почему-то ни с того, ни с сего война!.. Война, которая, пожалуй, начнется теперь же, летом, когда каникулы, когда не убран еще хлеб, не поспели яблоки в садах и груши, не вызрел южнобережный виноград, и... Сыромолов еще не решил даже, будет ли он писать с нее, Нади, ту, которая пойдет на его новой картине впереди шествия манифестантов, с красным флагом в руках... А потом, сам по себе Саша такой высокий, в белой вышитой рубашке, с открытой загорелой грудью, с очень спокойным, очень уверенным, бронзовым от загара лицом.

На голоса молодежи вышел из кабинета Петр Афанасьевич. Розовые бумажки в руках Нюры и Гени обратили на себя его внимание.

— Это что у вас такое? Распродажа где-нибудь? — спросил он.

— Телеграмма, — протянула ему бумажку Нюра.

Привычное движение сделал «дед», как будто подносит пенснэ к глазам, но прочитал телеграмму и без пенснэ: она была напечатана крупным шрифтом.

— Вот как! — сказал он. — Умерли оба,

и муж и жена... Скоропостижно как-нибудь... Или неожастный случай... Ничего не говорится об этом. Должно быть автомобильная катастрофа. а?

— Об автомобиле, действительно, говорят, — неопределенно ответил Саша, перелавнувшись с сестрами, чтобы те не тревожили преждевременно старика.

Он и не встревожился, только пожал плечами. Но, с одной стороны, время подходило к обеду, с другой — он внимательно вглядывался в Надю, так как помнил, что она собиралась утром идти к художнику, и вдруг спросил ее неожиданно:

— Что же ты, Надя, ходила?

— Вот, принесла, — сказала Надя и развернула этюд, чтобы самой посмотреть его раньше всех.

С холста глянули на нее широко открытые светлые глаза той самой девушки, которую она только-что видела на картине. Это было для нее так радостно, что она ахнула.

— Что ты? — спросила Нюра.

— Это — она, какая в окно смотрит, — шепнула ей Надя, разглаживая холст и стараясь уложить его на столе так, чтобы он не коробился.

Этюд улегся, наконец, ровно. Только девичьи лица и верхняя часть торса вполборота уместились на небольшом по размерам холсте, и над ним склонилось несколько молодых голов, уступая место в середине мастистой голове «деда».

— Конечно, за один прием сделано, — сказал первым свое мнение Геня. — И невелик.

— Раз этюд, то, разумеется, за один прием, — обиженно отозвалась на это Надя.

— Как живая! — восхитилась Нюра.

— Правда, ведь? Как живая! — повторила Надя.

Но Саша из-за головы «деда» вперил пристальный взгляд в правый угол этюда и сказал разочарованно:

— Нет подписи!

— Неужели нет? — встревожился Геня. — Может быть, в левом углу? — И сам нагнулся к левому углу, но подписи не разглядел и там.

— Что, нет? — спросил Саша.

— Незаметно.

— Ничего не значит, если нет подписи: он сам мне его давал, и я знаю, что он сам это делал, и с меня вполне довольно! — решительно заявила Надя.

— С тебя-то довольно, да ты-то не в счет, — судить другие будут, — заметил Саша. — А как его прикажешь в список внести? Чей этюд?.. От этого же и оценка его зависит.

— Гм... да-а, — зашевелил губами «дед», отведя глаза от холста и выпрямляясь. — А как же ты все-таки мог бы его оценить, — обратился он к Саше, — в какую именно сумму?

— Если бы подпись была, — можно бы было, на худой конец, рублей... рублей в пятьдесят, имея в виду, что художник-то не какой-нибудь, а известный.

— А поскольку подписи нет? продолжал допытываться Петр Афанасьевич.

— А поскольку нет, — что же он стоит? — Рублей двадцать, — неуверенным тоном ответил Саша.

Геня предложил вдруг:

— Можно отнести Сыромолотову, — пусть подпишет свою поставит.

Это возмутило Надю:

— Кто же отнесет? Ты, что ли? Я не понесу ни за что, — он обидится!

— Гм... да-а... — снова зашевелил губами Невредимов.

Он взял со стола этюд, подошел с ним к окну, отставил на всю длину вытянутой руки, откатнул, насколько смог, назад голову, смотрел на него внимательно и долго и, наконец, спросил Сашу:

— А это что же такое за оценка, — к чему она? Ведь это он, — я так понял, — Наде дал для лотереи с благотворительной целью?

— В том-то и дело, что для лотереи, — сказал Саша, — и всякому лестно будет взять билет за рубль, а выиграть этюд в пятьдесят рублей... Это ведь у нас должны быть гвоздь лотереи, и, вдруг — подписи нет, — все дело испорчено!

— Да-да-а... Теперь, я понял... А что, как ты думаешь, — поглядев несколько лукаво, спросил Петр Афанасьевич, — если я возьму, допустим, пятьдесят этих самых рублевых билетов, может он мне достаться, а?

— Вполне может, вполне! — выкрикнула за брата Надя, — Берите, дедушка, берите, милый!

И кинулась ему на шею, чтобы разрядить напор впечатлений этого дня.

— Конечно, берите! — согласился с нею Саша.

И дед понес этюд в свой кабинет, а через две-три минуты вышел оттуда и передал с рук на руки Наде десять золотых пятирублевых монет.

Глава третья

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

1.

Постоянство привычек — немаловажная вещь: это одна из основ жизни.

Издавна повелось в доме Невредимова, что он прикрепился к бакалейной лавке купца второй гильдии Табунова, тоже постоянного в своих привычках и часто говорившего: «Нам ведь не дом дожить, лишь бы душу кормить!» или: «Нам

рупь на рупь нагонять не надо, — нам абы-б копейчку на копейчку зашибить!»...

«Зашиб» за долгую деятельность здесь Табунов порядочно и дом построил вместительный; кроме бакалейной лавки, у него на базаре был еще и мучной лабаз. Неожиданно для всех появился даже и пчельник, хотя и небольшой, при доме: это было вызвано тем, что через улицу устроили склад сахарного песку и рафинада, Табунов подмигивал своим домашним и говорил:

— Пчелку учить не надо, где ей брать брать: она умная, — сама найдет.

Действительно, нашла и каким-то образом проникла внутрь склада.

Когда испортился в лавке целый бочонок сельдей, и старший приказчик Табунова — Полезнов — нанял уже дрогаля, чтобы отвезти бочонок на свалку, как возмутился этим рачительный хозяин, как раскричался!

— Доброе чтобы зря чорт-те куда взять да еще платить дрогаю за это, — накинулся он на Полезнова, — Эх-х, умен, — а уж почитай тридцать лет в приказах ходишь! Гони дрогаля в шею!

Дрогаля прогнал, а испорченную седлку сам за один день рассовал покупателям по две, по три штуки, — совершенно бесплатно, — знай доброту нашу!.. А когда опустел бочонок, торжествующе поучал своего давнего помощника:

— Видал, как оно вышло? Кто захочет съест, — скушает на здоровье; а кому гробостно, — дух нехороший, — в свою помойную яму выкинет, — однако же из лавки вон, и никакого дрогаля не потребовалось, — понял? Вроде как в премию давал, какие постоянные покупатели: и им от меня польза, и мне от них меньше убытку.

Косоват на один глаз был Табунов, но других изъянов никаких за собою не замечал и часто хвастал:

— Я мужик сер, да ум-то у меня не волк съел!

А сер он был, действительно, как изнутри, так и снаружи: борода серая, картуз серый; зимою ходил в серой поддевке, не на меху, — на вате: зимы здесь были мягкие.

В лавке любил коротать время за шашками. Неизменно из года в год подписывал газету «Свет», стоившую четыре рубля в год, причем шутиливо называл ее «Тьмою»; читал ее усердно, поэтому знал все, что творилось в обширном мире, не говоря о России. Как всякий, кому удалась жизнь, в суждениях своих был категоричен и не любил, когда с ним кто-либо спорил.

Но такие примерные люди действуют на подобных им заразительно, поэтому

Полезнов — человек уже лет пятидесяти, но очень крепко сбитый, в русской бороде и голове пока еще без седины, был тоже себе на уме, и Табунов знал о нем, что он, поздно женившийся на такой, которая почти вдвое была его моложе, свирепо копил деньги, чтобы от него отколоться и завести свое дело, причем не бакалейное, а мучное: меньше хлопот.

Насчет того, что он тридцать лет был приказчиком, Табунов несколько переживал: приказчиком Полезнов сделался после того, как отбыл солдатскую службу в пехотном полку, а женился в сорок пять лет, когда уж не могли больше взять его даже в ополчение.

Когда он говорил своему хозяину: «Я, Максим Андреич, несмотря, что не особливо грамотный, а все-таки правильную линию жизни имею». — Табунов соглашался: «Против этого ничего тебе не говорю: ты — аккуратист».

Так они действовали долгие годы рядом, в общем больше довольные друг другом, чем недовольные, а главное, очень хорошо понимавшие один другого и одинаково толково умевшие разбираться во всем, что касалось сахара, чая, сыра, мыла, свечей, керосина, перца, лаврового листа, риса, ветчины, колбасы, копченой кефали и прочего, чем была наполнена бакалейная лавка на Пушкинской улице, и что было необходимо, как воздух, всем в окружности.

Сознавать, что ты необходим для многих, может быть, для целой тысячи человек, — это ли не гордое сознание? — И хозяин, и старший приказчик знали себе цену.

Это придавало им самим вес и тогда, когда рассуждали они о разных разностях, случавшихся в мире. Оба степенные, — Табунов лет на двенадцать был старше Полезнова, — они рассуждали довольно спокойно на темы высшей политики, заражаясь этим спокойствием от старого отставного генерала Комарова, редактора-издателя газеты «Свет».

Спокойствие не покинуло их и тогда, когда узнали они об убийстве эрцгерцога в Сараеве. У Табунова появилось даже вольномыслие: вместо «эрцгерцог» он начал говорить «эрц-герц-перц», — раздельно и выразительно, и сербов — Принципа и Габриновича — не осуждал.

Догадки о том, что вдруг из-за этого может разыгаться война, доходили и до него, конечно, но он энергично отмахивался от них руками:

— Из-за какого-то эрц-перца война, — что вы-е! Теперь не прежнее время.

Полезнов, как бывший унтер, считавший себя особенно сведущим в вопросах войны и мира, даже позволял себе усмехаться свысока, когда слышал что-нибудь о возможных военных действиях, и говорил, крутя головой:

— Сами не знают, что болтают!. Разве из-за одного человека, — ну, пускай из-за двух, если жену его тоже считать, — войну начинать можно?.. Войну начинать, — это же очень много соображения надо иметь... Как-нибудь войну вест, — шая-вая, — мы уж по японцу знаем, — теперь неприятель не дозволит, а чтобы как следует, — это ума много надо иметь, и денег опять же много, и людей много, и лошадей на войне много должно погибнуть, и войско корми зря, может, год, может, два, а то и побольше... Своим чередом — людей, лошадей от дома, от дела оторвешь, — значит, дело должно погибать, — что поля, что торговля, — все!. Тут тебе мобилизация, тут реквизиция, — ку-да-а! Вся чисто жизнь наша должна тогда колесом под гору скакать!

Очень устойчиво все было в обиходе торговли Табунова: в лавке пахло лимонным из Европы, «колониальными» товарами, как перец, гвоздика, корица, отечественной ветчиной и воблой, — с давних, молодых лет привычные запахи; в лавке была чистота: приказчики ходили в белых фартуках, пол раза три в день поливался из чайника и подметался; в лавке царила вежливость: Табунов требовал, чтобы к каждому покупателю, кто бы он был, раз он вошел, обращались с вопросом: «Чего прикажете-с?»... И вдруг, — представить только, — прыжок в какую-то неизвестность из таких размеренных границ!

Но однажды зашел мимоходом в лавку один из самых почетных покупателей, которым стремительно подставлялся стул, — старый Невредимов, — и сказал, едва успев поздороваться с Табуновым, голосом очень встревоженным:

— Что такое значит, а? — Не выдают золотом в банке!.. «Извольте, говорят, получить бумажками!»

— Неужто не выдают? — так и присел от изумления Табунов. — Никому не выдают?

— Понятно, никому, — в том-то и дело! — даже обиделся Невредимов такому вопросу.

Табунов тихонько присвистнул и поглядел на Полезна.

— Вчерашний день выдавали, — я сам получал, — сказал Полезна.

— Гм, «вчерашний!» Говорится: «Ищи вчерашнего дня», — закивал головой, явно волнуясь, Невредимов. — Вчера выдавали, а сегодня строгий приказ: никому ни одной монетки!

Это было на восьмой день после того, как появились первые телеграммы легкомысленно розового цвета. Новость показала Табунову до того нелепой, что он спросил:

— А вы, Петр Афанасьич, извините, — в каком же это банке деньги свои получили? Не во «Взаимном кредите»?

Это был вопрос существенный: банк «Общества взаимного кредита», не так давно тут основанный, сумел уже прославиться разными махинациями одного из своих основателей, итальянца Анжелло, и у Табунова таилась еще надежда, но ее разбил Невредимов сердитым ответом:

— Стану я во «Взаимном» деньги свои держать!.. В Го-су-дар-ственном!

— В Государственном?.. — Ну-ну-у!.. — И полез Табунов в свою бороду пятерней, что делал только тогда, когда был озадачен ловким шашечным ходом Полезна.

— Этого и в Японскую войну не было, чтоб золото в банках не выдавали, — припомнил Полезна.

— Не было же, — истинно, не было! Никогда с того времени, как ассигнации зывали, этого не было, чтоб государственный банк стал банкрот! — азартно подтвердил Табунов.

— Тут не в банкротстве дело, — заметил Невредимов, хотя посмотрел на него нестрогим.

— Однако же, почему же на бумажки перешел?

— Явное дело, — золото из обращения изымают, — вот почему.

— А для чего же изымают?

— Разумеется, на случай, ежели вдруг война.

— Неужто ж и в самделе быть может? — обратился Табунов к Полезнову.

— В банке разве объяснения дают? Получай бумажки да уходи с богом, — неопределенно ответил Полезна, сам ошарашенный новостью не меньше хозяина.

Невредимов сидел в лавке недолго, он взял два лимона и ушел, а Табунов потом весь день, принимая деньги от покупателей, озабочен был только тем, золотом будет ему платить или бумажками, — знают ли уже все, что золото «изымают», или кое-кто еще не успел узнать. Оказалось, что к вечеру об этом знали уж все и золотом не платили. Табунову оставалось только сказать по этому поводу:

— Не зря, стало быть, говорится: добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит... Теперь, значит, подымется у людей за золотом гонка.

А Полезна поддерживал:

— Как бы к тому не привело, что за десятку золотую рублей по пятнадцать люди платить будут, — только давай!

— Во-от, истинно, так и быть может! — воодушевлялся Табунов. — У кого сбережены золотые были в своем бабьем банке, — в чулке, — этот считай теперь раза в полтора богаче станет!

— А войны никакой и духу и звания не будет! — стоял на своем Полезна.

— Дураков теперь много не найдешь

войну начинать: все на том свете остались, — не оспаривал его Табунов.

Про себя, конечно, каждый из них соображал, сколько у него может найтись в «бабьем банке» золотых монет, и нельзя ли вот теперь же, сегодня вечером, пока не все еще знают о приказе правительства, каким-нибудь образом добыть золота в обмен на бумажки.

2.

Ни у Табунова, ни у Полезна в семьях не было никого призванного возраста, так что лично их война, если бы она в самом деле разразилась, не задела остро: у Табунова совсем не было сыновей, только дочери и от них малолетние внуки, а Полезна только еще совсем недавно «пошел в семья».

Невредимов же не мог не обеспокоиться: пятеро племянников его стали уже совершеннолетними, и пока шел он к дому, держа фунтик с лимонами в левой руке, он соображал о каждом из них, смогут ли они уцелеть от призыва.

Вопрос этот был одинако труден: неизвестно было, какая ожидалась война, если действительно допустить, что ожидалась, — долгая или короткая? И сколько она могла потребовать людей: больше ли, чем Японская, или меньше?

Коля был уже готовый офицер военного времени: он отбыл воинскую повинность и вышел прапорщиком; притом же он жил в Петербурге, и, хотя был инженером, все-таки это не освобождало от призыва. Вася мог быть взят в армию, как врач; Петя, как только-что окончивший институт. Только остальные двое — студенты — могли остаться.

Он подходил уже к своим воротам, когда встретился ему полковой врач расквартированного здесь довольно давно уже пехотного полка Худолей, Иван Васильевич, — «святой доктор», как его тут звали, человек, снабемый талантом жалости к людям.

Эта встреча показала Невредимову как нельзя более к стати.

— Вот у кого я узнаю, — сказал он, — в чем суть дела! Здравствуйте, Иван Васильевич, дорогой! Как у вас в полку насчет войны говорят?

Голова Невредимова, прикрытая соломенной шляпой с широкими полями, подрагивала ожидающе, но Худолей, — христоподобный по обличью, очень усталый на вид, — только удивился вопросу:

— О какой войне?.. Кто с кем воевать начал?.. Я ничего не слыхал и не читал. Значит, все-таки начали?

— Со своими, со своими воевать начали, — объяснил Невредимов, — золото прячут!

— Как прячут? Отбирает полиция, что ли?

Только тут припомнил Невредимов, что доктор Худолей был вообще «не от мира сего», хотя и носил воинственные погоны, — серебряные, с черными полосками, — на своей тужурке. Поэтому он не стал ему ничего больше говорить насчет золота; спросил только:

— Как думаете, Иван Васильевич, — моего Васю, — ведь он теперь земский врач, — возьмут в случае войны или могут оставить?

— Значит, войны пока нет, а только догадка, что, может быть, будет, — понял, наконец, Худолей. — В случае войны? Васю?..

Он знал всех племянников и племянниц Невредимова и даже склонен был думать, что Вася вследствие одного разговора с ним выбрал после гимназии медицинский факультет. Но так как ему не хотелось огорчать старика, то он ответил уверенным тоном:

— Нет, не должны взять, если даже будет война... Вольнопрактикующих врачей могут взять, а земские, — помилуйте, они ведь и так считаются на боевой службе: обслуживают очень большие районы, а жалованье получают незавидное, и практики у них в деревнях никакой. Нет, земские врачи должны быть неприкосновенны: как же без них обойдется деревня? К знахаркам пойдет? Этого не допустят, Петр Афанасьич.

— Я решительно так же точно и сам думаю, — обнадеженно отозвался на это Невредимов. — Не должны Васю, нет, — он — человек необходимый, раз он — сельский врач... Также, думаю я, и инженеры на заводах, а? Если инженеров возьмут, то как же тогда заводы?

— Это вы о Коле? — догадался Худолей. — Если завод станет военного значения, то это ведь все равно та же служба... А как же иначе? Нельзя же оставить заводы без инженеров: ведь на них же не хлебы пекут.

— Положительно, да, положительно точно так же я и рассуждал, Иван Васильевич, положительно так же, — просил Невредимов. — Очень же меня успокоили, — спасибо вам!.. Разумеется, как же заводу быть, если инженеров возьмут?

— Да ведь скорее всего никакой войны и не будет... То-есть, я не так сказал, — поправился Худолей. — Не то что «скорее всего», а вообще не будет! Кто посмеет войну начать? Культурные народы чтобы воевали в двадцатом веке, — подумайте, — ведь это же нелепость, сущестствие! А парламенты, наконец, на что же? Если отдельные люди могут свихнуться от тех или иных причин, то депутаты пар-ла-ментов, — это же мозг... мозг каждой европейской страны, — что вы, Петр Афанасьевич! Никакой войны не допустят парламенты, — и даже думать об этом вам не советую! Мы ведь

не во времена Кира, царя персидского, кивем, и не в Азии, а в Европе.

Очень убедительно говорил Худолей, — притом же был он военный врач, — и совершенно забывший уже о неприятности с золотом в государственном банке, старик Невредимов мелко кивал своею шляпой с черной лентой и поддакивал оживленно:

— Так-так-так... Это вполне разумно бы... Да-да-да... Вполне!

Но вот к Худолею подошла и остановилась небольшая девушка, похожая на него лицом, стеснительно поклонившись Невредимову, и тот догадался, что это его дочь, о которой что-то пришлось ему слышать, не совсем приличное.

Он еще только силится припомнить, что именно, но, припомнив, отбросил и самую эту мысль о неприличном: у девушки было такое робкое, почти детское лицо, с мелкими, не успевшими еще даже и определиться как следует чертами.

— Так что гоните от себя даже самое малейший намек на войну, — протягивая Невредимову руку, чтобы с ним проститься, заключил разговор Худолей, и не успел еще отозваться на это старик, как юная и такая робкая на вид дочка его вдруг сказала:

— А по-моему, война непременно будет. И я тогда поступлю сестрой милосердия в какой-нибудь госпиталь.

— Что ты, Еля, что ты, — забормотал ее отец, спеша проститься с Невредимовым.

Она не поколебала, конечно, своим восклицанием той уверенности, какую вселил в старика ее отец, но все-таки, простившись со «святым доктором», Невредимов уносил с собой какой-то неприятный осадок, что заставило даже его припомнить и то, за что эта невысокая девушка с детским личиком была уволена из гимназии. Она будто бы успела завести роман с пожилым уже человеком, командиром местного конного полка полковником Ревашовым... «Из молодых, да ранняя», — подумал о ней Петр Афанасьевич, входя к себе в дом. — «Ведь вот же у меня целых три дсвицы выросло, однако, спас бог, никаких таких художеств за ними не водилось! Значит, у меня все-таки строгость необходимая была, а бедный Иван Васильевич, он оказался слабоват... Хотя, конечно, служит и везде его просят к больным, — некогда человеку вздохнуть свободно, не то что за своими детьми присмотреть»...

И точно в подтверждение того, что сам он оказался очень хорошим воспитателем, для детей своего брата, Надя, которая была и постарше, и гораздо виднее дочки Худолея, встретила его с сияющим лицом.

Она ничего не сказала при этом, так что он сам уж, присмотревшись к ней,

спросил, как спрашивал иногда раньше, в ее детские годы:

— Ты что, будто кирпичом начищенная?

И она ответила радостно:

— Я только-что от Сыромолотова, девушка... Он пишет мой портрет... Сегодня был первый сеанс.

Конечно, это было совсем не то, что пришлось только-что услышать от другой девицы, — чужой, — старому Невредимову, однако, почему-то и это показалось не особенно приятным.

— Молода еще, — молода, чтобы художники с тебя портреты писали, — ворчуна он. — Ничего такого замечательного в тебе нет.

— Мало ли что нет, а вот все-таки пишет! — продолжала тем же тоном Надя.

— Надеется, что и за твой портрет ему пятьдесят рублей дам?.. Пусть зря не надеется, не дам, — как бы в шутку, но без всякого подобия улыбки сказал дед, утверждая на вешалке шляпу и передавая Наде лимон.

— Ух-ты, как здорово пахнут! — вскрикнула Надя, поднеся к носу фунтик, и добавила не без лукавства: — Да ведь Сыромолотов моего портрета и не продаст ни за какие деньги!

3.

Сыромолотов не только пропустил два дня после того «неудачного» сеанса, — он не пошел к Кунам и на третий день, а на четвертый к нему пришел обеспокоенный Людвиг и с первых же слов спросил:

— Вы заболели, Алексей Фомич?

— Я? Нет, не имею обыкновения болеть, — ответил художник.

— Не больны? Значит, заняты очень?

— Это вернее... Начал новую картину... А когда начинаешь новую картину, всегда, знаете ли, получается как-то так, что времени совершенно не хватает.

Людвиг Кун начал было расспрашивать, что это за новая картина, но Сыромолотов оборвал его, говоря, что пока она еще не откристиализовалась как следует, он затрудняется передать ее содержание, оторваться же от нее на час-на два, пожалуй, сможет, чтобы закончить портрет старого Куна; и тут же пошел вместе с Людвигом, решив, что идет в дом Кунов в последний раз.

На ходу он только исподлобья взглядывал прямо перед собою, редко — по сторонам. Людвиг заметил, конечно, что он не в духе, и пытался его отвлечь от того, чем он был занят, но Сыромолотов отвечал односложно.

Молча потом он сам добивался в гостиной Кунов того же самого освещения, какое было раньше, подшпиливая занавески.

веску на окне, а когда добился, принялся писать, тоже молча, и только сонливая поза «натуры» заставила его наконец прибегнуть к разговорам, чтобы в глазах старого Куна засветилась хоть кое-какая мысль.

В этом помог ему снова Людвиг, который, придя вместе с ним в свой дом, вскоре ушел, а возвратился не один.

По голосам, доносившимся к Сыромолотову из соседней комнаты, он думал, что опять встретится с Тольбергом, однако гость Людвиг был не Тольберг.

— С вами, Алексей Фомич, очень хочется познакомиться некто господин Лепетов, — вкрадчиво сказал Людвиг, войдя в гостиную. — Он говорит, что в очень хороших отношениях с вашим сыном.

Сыромолотов нахмурился и густо задышал, не поднимая глаз на Людвиг.

— Какое же отношение имеет это ко мне, что он в хороших отношениях с моим сыном? — выжал он из себя с явной натугой.

— Да, разумеется, — вы сами по себе, ваш сын сам по себе, — поспешно отозвался на это Людвиг, — но я просто подумал, — может быть, вы заинтересуетесь этим Лепетовым, как художник.

Он говорил вполголоса и поглядывал на дверь, через которую вошел. Это не укрылось от Алексея Фомича и он сказал:

— Мой сын тоже художник, как вам известно, я думаю...

— О, конечно, разумеется, я это отлично знаю! — заулыбался, сгибаясь в поясе, Людвиг.

— Но-о.. у нас с ним разные вкусы, — докончил Сыромолотов; и вдруг, подняв глаза на молодого Куна и посмотрев на него презрительно, сказал: — Впрочем, пожалуй, пусть войдет и сядет вон там, не ближе.

Он кивнул головой в ту сторону, где сидел Людвиг во время прошлого сеанса.

— Именно там мы и сядем, мы вам, конечно, не будем мешать, — как можно! — и Людвиг, изогнувшись в поклоне, вышел, а не больше, как через полминуты, вошел снова, пропуская вперед Лепетова.

Сыромолотов только скользнул цепким взглядом по вошедшему и оценил всего с головы до ног «хорошего» знакомого своего сына. Перед ним был человек, очевидно чувствовавший себя на земле гораздо прочнее, чем преувеличенно вежливый и гибкий в поясе Людвиг Кун, хотя годами был едва ли старше его.

Впрочем, возраст его с одного взгляда уловить было затруднительно: у него было полное плотнощекое бритое лицо, едва ли способное к передаче мимолетных ощущений, и какие-то очень сытые

глаза; тело было тоже сытое, пожалуй, даже холёное; роста же он оказался одного с Людвигом.

— Господин Лепетов, Илья Галактионович, — представил его Людвиг, не забыв и при этом склонить свой торс.

Сыромолотов переложил кисть в левую руку и протянул Лепетову правую, отметив при пожатии, что рука его была какая-то неприятно мягкая и слегка влажная, и сказал, кивнув в сторону стульев у противоположной стены:

— Прошу сесть там.

Лепетов, подхваченный подруку Людвигом, выразив согласие на это не столько головой, сколько веками глаз, отошел неторопливо, причем спина у него (он был в белом пиджаке) оказалась широкой сравнительно со спиной Людвиг, почему Сыромолотов спросил его, когда он сел:

— Вы что же, тоже цирковой борец, как и мой сын?

Неприязненный тон этого вопроса был вполне открытым, однако Лепетов сделал вид, что он не обижен, что он вообще знает, с кем говорит, и удивить его резкостью нельзя.

— Нет, не борец, — ответил спокойно, — хотя, признаться, ничего зазорного в этой профессии не вижу, и силе Ивана Алексеевича, грешен, завидовал. Дай бог всякому такую силу!

— Гм, так-с... Конечно, что ж, сила в жизни не мешает, если только внимания на нее не обращать и не выходить с нею на подмостки, — продолжая действовать кистью и вглядываясь в свою натуру, потерявшую упругость мышц под бременем лет, как бы размышляя вслух Сыромолотов, — но куль-ти-ви-ровать силу, но стремиться непременно другого такого же здорового болвана прижать лопатками к полу... в присутствии почтеннейшей публики, это, смею вас уверить, мне, его отцу, не нравится нет! А вы, где же знакомство с ним свели и когда?

— За границей это было, — глуховатым голосом ответил Лепетов, попрежнему глядя спокойно и не меняя выражения лица. — Я был за границей, как турист, — там и встретились.

— Мне неинтересно, где именно и как вы там встретились, — желчно сказал Сыромолотов, хотя Лепетов и не выказывал желания говорить об этом. — Может быть, вы — тоже художник, как и мой сын?

— Нет, я не художник так же, как и не борец...

— В таком случае, — ваше место в жизни? — смягчаясь, спросил Сыромолотов, и Лепетов ответил расстановисто:

— По образованию — юрист, по профессии — коммерсант.

— Вот ка-а! — теперь уже несколько удивленно протянул художник. — Купец? — Ком-мер-сант, — подчеркнула Лепетов, и Сыромолотов как будто поняв какую-то разницу между этими двумя словами — русским и иностранным, — спросил:

— Какое же у вас дело? Кажется, так это называется: дело?

— Дело хлебное, — сказал Лепетов.

— В этом не сомневаюсь, — слегка усмехнулся художник. — Я только хотел уточнить...

— Точнее сказать и нельзя, — весело то тону перебил его коммерсант. — хлебное.

— Только не в смысле торговли хлебом здесь, а в смысле отправки его за границу, — вмешался в разговор Людвиг.

— Та-ак, так! Ну, вот, теперь все ясно, — совершенно уже беззаботно отнесся к этому Сыромолотов. — Это солидно, да, это почтенно... И кого же это вы кормите русским хлебом? Итальянцев? Греков?

— Имею дело только с немецкими фирмами, — попрежнему спокойно и подчеркнуто ответил Лепетов.

— С немецкими? А — а! — И Сыромолотов вспомнил, что, войдя, Лепетов не здоровался со старым Куном, — виделись, значит, уже в этот день, может быть, досыта наговорились уже о хлебе урожая этого года, которому куда же еще и идти морем, как не в Германию через Дарданеллы и Гибралтар. Дело, так сказать, хлебное в квадрате... Но позвольте, позвольте! Вот здесь же я слышал несколько дней назад, что может начаться война, — и как же тогда ваша коммерция?

— Вой-на? — пренебрежительно протянул Лепетов. — Начать войну между великими державами не так-то легко, как многие полагают. Это ведь не восемнадцатый век, даже не девятнадцатый, а двадцатый. Теперь начать войну большого масштаба, это — равносильно самоубийству для всей европейской цивилизации. Армии должны быть многомиллионные, разрушения многомиллионные, а какой же выигрыш для победителей? Кто будет за битые горшки платить и чем? Никому никакого расчета. Если даже стихийно как-нибудь начнется война, то через пять-шесть недель прекратится.

— Вот как вы читаете книгу судеб! — удивился Сыромолотов. — Пять-шесть недель, если даже начнется? — Он подмигнул своей «натуре». — Видите как?

«Натура» слабо улыбнулась и снисходительно махнула пальцами руки, лежащей как ей и полагалось лежать, на одном из колен, а Людвиг Кун заметил:

— Илья Галактионович имеет на этот счет свои соображения.

— Соображения? — живо подхватил Сыромолотов. — Это гораздо важнее, конечно, чем «взгляды». Какие же именно? — обратился он к Лепетову, не переставая работать над холстом.

— Их можно выразить в трех словах, — важно ответил Лепетов. — Это — интересы международной торговли.

Каждое из этих трех слов он тщательно оттегивал, но художник сказал на это с недоумением:

— Торговля, — да, конечно, жизненный нерв; однако, кроме торговли, есть еще и промышленность... Выходит, что если война, то против международной торговли поднимается международная промышленность, почему и начинается кавардак...

— Промышленность работает для торговли, — захотел разъяснить ему Лепетов.

— Но во время войны начинает работать для уничтожения всех и всего, между прочим, и торговли, — как же так? — старался уяснить для себя вопрос художник.

— Только не для уничтожения торговли, а для расширения ее в послевоенное время, — поправил его коммерсант. — А если война интересам международной торговли начнет наносить очень крупный ущерб, то она и прекратится сама собою.

— И вы полагаете, что она должна будет прекратиться через несколько... месяцев? — намеренно переиначил слова коммерсанта художник.

— Недель, а не месяцев, — поправил его коммерсант. — Несколько месяцев, — например, пять-шесть, — это слишком долго для европейской войны между великими державами.

— Гм, скажите пожалуйста, как я отстал от времени здесь, в глуши! — как бы про себя и, сожалея себя, отозвался на это художник, но тут же добавил: — Как же все-таки так вдруг может остановиться машина войны, когда ее раскатали? У меня нехватает воображения, чтобы это представить...

Лепетов слегка улыбнулся, как старший младшему, и сказал на это:

— И начинаются войны и кончаются войны в кабинетах у дипломатов.

— Очень хорошо, но в таком случае объясните же мне, как это за несколько недель несколько миллионов человек на одной стороне смогут истребить несколько миллионов людей другой стороны? — заметивший беглую улыбку Лепетова и слегка вздернутый ею спросил художник.

— А какая же надобность будет истребить непременно все силы одной стороны? — в свою очередь спросил коммерсант. — Для мировой торговли был бы от этого только непоправимый вред. Покажут только, кто насколько силен в

средствах нападения, в средствах защиты, — про-демон-стрируют, так сказать, свою тяжелую промышленность, а потом и договариваются за спиной у войск.

— Э-э, вы что-то очень расщепляемы, не по годам, — очень расщепляемы! — с заметным раздражением принял это художник. — Это только нам, старикам, в пору, а? — обратился он к Карлу Куну.

Хотя Сыромолотов говорил это, не глядя на собеседника, как бы между делом, тем не менее после этого настало неловкое молчание, которое Лепетов прервал вопросом:

— А что, где сейчас Иван Алексеевич? — Но знаю-с... Совершенно этого не знаю-с... Гораздо меньше это мне известно, чем всех интересующий вопрос о войне, — ответил Сыромолотов.

— Но ведь он, кажется, довольно давно уж отсюда куда-то уехал, — продолжал Лепетов. — А куда же именно?

— Не знаю-с. В это я не вникал... Он уж теперь человек самостоятельный. и жизнь у него своя. А переписываться друг с другом, — этой милой привычки мы с ним никогда и прежде не имели и сейчас не имеем.

С минутой еще после того просидели Людвиг Кун и Илья Лепетов молча, потом, чувствуя большую неловкость, поднялся первым Людвиг, встал и Лепетов.

— Ну, Алексей Фомич, мы уж вам больше мешать не будем, и у нас есть свое дело, так что будьте здоровы и прошу извинить, — сказал Людвиг, подойдя к художнику проститься.

Простился и Лепетов, теперь уж и со старым Куном, видимо, совсем уходя из дому, и весьма непосредственно сказал художник своей «натуре», спустя минуту после его ухода:

— Да, вот поди-же, — какие спокойные люди на свете рядом с нами живут! Посмотришь на такого, пожалуй, и сам если не в войну, так хотя бы в драку полезешь!

Он думал, что Кун, если и ответит на это, то каким-нибудь неопределенным междометием, однако тот неожиданно зло пробормотал:

— Делает такой вид, что очень спокойный!.. Э-э, — *Schlechter Mensch!*

При этом Кун презрительно сморщился и начал кашлять.

4.

Этот кашель не помешал художнику: главное, — лицо и руки, — он уже вылепил на холсте Портрет он решил закончить в этот, третий по счету, сеанс и сидел долго, пока не сказал:

— Всё. Больше я ничего не могу прибавить.

Он не прибавил и тогда, когда говорил Людвигу, что очень занят своею новой

картиной: это была та самая картина, эскиз которой он набрасывал несколько дней назад, после того, как ушла от него Надя.

Он не сказал бы только, почему именно затолпились вдруг люди в его мастерскую — они властно потребовали от него, чтобы он воплотил их на полотне большого размера. Было ли это следствием противных им телеграмм из Сараева, или разговоров о возможной войне, или звала в нем эти толпы одна только Надя Невредимова своими несколькими словами, своею убежденностью в чем-то туманном еще и для нее самой, но картина стояла перед его глазами неотбыто, и он принялся за нее со всею страстью, на какую был способен, несмотря на годы.

Годы, правда, не сокрушили пока еще в нем ничего, чем он отличался и в молодости, как художник. Напротив, с годами он научился яростнее и гораздо успешнее, чем тогда, защищать свое рабочее время от всяких на него покушений.

И когда центр будущей картины для него окончательно определился, когда все горизонталы сошлись на фигуре молодой женщины, идущей впереди с красным флагом, он написал на четвертушке бумаги:

«Вот что, Надя: приходите, если свободны, завтра утром, часов в десять, — попробую написать с вас этюд. А. Сыромолотов».

Эту записку, вложенную в конверт, Марья Гавриловна отнесла в дом Невредимова, причем она попала непосредственно в руки Нади, обрадовав ее чрезвычайно. Конечно, в назначенный час Надя уже вошла в мастерскую, которая была теперь для нее открыта отнюдь не нечаянно.

Она видела, что и сам Сыромолотов был теперь другой: куда девалась его насуленность? — Он широко улыбался, он встретил ее, как приготовившийся к тяжелой борьбе может встретить соратника, поспешившего прийти ему на помощь.

— Ну, вот, ну, вот, Надя, — говорил он, — в вас, стало быть, имеется одна хорошая черта: пунктуальность! Вполне уверен, что откроются для меня и другие, еще лучшие.

— А какие вы находите «еще лучшие»? — не утерпела, чтобы не спросить Надя.

— Еще лучше будет, если вы сумеете хорошо держаться впереди массы, — подумав, ответил художник.

— Здесь? У вас?.. Подумаешь, какой труд! — пренебрежительно сказала Надя.

— Ишь ты, ишь ты, — что значит, молодо-зелено! — подзадоривал ее Сыро-

молотов. — Там, на улице, вам придется, если придется, конечно...

— Непременно придется! — перебила она.

— Хорошо, допустим... — Придется быть в напряжении каких-нибудь десяти-двадцати минут, а у меня в мастерской, может быть, десять-двадцать часов, — что? Есть разница?

— Если вы меня поставите так, чтобы я видела эту картину, — кивнула она на «Майское утро», — то я могу и сорок часов простоять!

— Ого! Ого!.. Знай наших! — отозвался на это Сыромолотов, но отвернулся при этом, чтобы скрыть смущение, — очень искренно у нее вырвалось то, что было сказано.

Эскиз новой картины красками он уже сделал. Летний день, сверкающее солнце, горячая цветная толпа, с одной стороны, шесть конных фигур и за ними ряды солдат, с другой стороны, а в центре, в фокусе картины — высокая прямая девушка с красным флагом, — это уже было скомпоновано так, что стало устойчивым и в его сознании, и на холсте нужно было только вдохнуть жизнь, живую душу, экспрессию в каждый вершок картины.

Самым важным и трудным из нескольких десятков лиц определилось для него лицо ведущей. Он что-то схватил тогда зорким глазом художника в Наде, но потом начал уже сомневаться: не почувствовал ли ему? Так ли он разглядел? Подойдет ли эта натура? И вот когда она подбросила голову, кивнув на «Майское утро», он почувствовал, что не ошибся, что у нее «выйдет», а значит выйдет и у него.

В густом потоке жизни капризно и, казалось бы, совершенно случайно переплетается сеть влияний одного на другого, то губительных, то благотворных, то благословляемых, то проклинаемых впоследствии со всею горячностью, какая свойственна человеку. Но так ли все случайно даже в явно случайном, — оставим для будущего эту загадку. Однако без надежды, впрочем, решить ее, над нею думал Сыромолотов, когда размахисто принялся набрасывать углем на холсте Надю почти в полный рост.

Разителен и увлекателен для него был прежде всего контраст между конечным человечком, — старым Куном, — и этой, только-что начавшей жить.

Она была поставлена так, чтобы перед зрителем пришлось три четверти фаса. Она глядела здесь на «Майское утро», а там, на картине, должна была открыться перед нею поперечная улица, на которую непременно должны были свернуть демонстранты, и где их ожидали и паряд конной полиции, с приставом во главе, и солдаты.

— У вас, Надя, должна быть напряжена до отказа каждая точка тела, — волнуясь сам, заставляя ее волноваться художник. — Это — самый высокий момент всей вашей жизни, — помните об этом, — каждую секунду помните!

— Я помню! — торжественно отвечала Надя, не поворачивая к нему головы.

— А не устали вы так стоять, Надя? — спросил он через минуту.

— Нет, не устала, — твердо отвечала она.

Если на сеансах у Куна Сыромолотов сам стремился говорить со своею натурой, чтобы поддержать в ней то живое, что ему хотелось удержать, то теперь он работал молча и мощно, вскидывая глаза на Надю только затем, чтобы тут же перевести их на холст.

Только уголь скрипел, а иногда ломался в сильных пальцах, и это слышала Надя, втягивая смешанный запах скипидара, красок и нового холста, знакомый уже ей по первому визиту к художнику.

Неслабая от природы, она теперь действительно вся напрягалась, как этого от нее потребовал Сыромолотов, — момент ее воображаемой встречи с поджидавшей ее полицией очень затянулся, — но она точно приросла ладонями рук к древку флага (теперь это был настоящий флаг, подрубленный на машинке Марьей Гавриловой и прибитый к аккуратному оструганному тонкому шесту).

Голова ее была открыта, и густые русые волосы касались плеч. Она чувствовала сама, что даже это придавало ее высокой фигуре ту торжественность, которой не было бы, будь у нее одна толстая коса по пояс или хотя бы две с намеренно растрепанными концами: волосы должны быть именно такими, — короткими, до плеч, — торс должен стоять именно так, освобождая грудь для глубоких выдыханий при медленном выдохе; в глазах — вызов всей этой тупой и дикой силе... «Самый высокий момент всей вашей жизни», — повторяла она про себя слова художника; они нравились ей, эти слова, своей энергией, но мало этого: они выражали очень точно именно то, что переживала она сама.

Но вот Сыромолотов сказал коротко, точно поддал команду:

— Будет! — Потом добавил: — Отдохните!

Надя опустила флаг, повернула к нему голову и только теперь заметила, как у нее дрожат руки, как утомил ее этот первый в ее жизни случай позирования художнику. Тут она вспомнила о натурщицах и спросила:

— А как же натурщицы?

— Тоже устают, — ответил Сыромолотов. — Привыкают, конечно, но ведь желозными от этого не становятся.

— А у меня плохо, должно быть, вышло?

— Напротив, Надя, вы стояли отлично, — ободрил он ее.

Это ее обрадовало.

— Ура, — значит, я могу выйти на нашей картине?

— Мне кажется, — медленно проговорил он, все еще продолжая зарисовку углем, — что именно вы то и выйдете на картине гораздо лучше, чем кто-либо другой...

— Ура! — теперь уже вскрикнула она и стала за его спиной, разглядывая рисунок.

Красок не было. Черно и резко, — не зря домались углем, — плакатно дана была женщина-знаменщик, женщина-героиня, женщина, вышедшая завоевывать близкое грядущее счастье для масс. Лицо свое на рисунке Надя видела неприкрытым, не таким, как в зеркале, — и старшее, и строже, но в то же время это было ее лицо. Красок не было, но они почему-то ярко чудились, заполняя все непокрытые углем места на холсте.

— Здорово! — восхищенно, тихо сказала Надя, но тут же добавила вдруг: — А какое на мне будет платье? Вот это?

— А чем же плохо это? — спросил Сыромолотов, слышав в ее голосе беспокойство.

— Ну, это что же, это — обыкновенное, — зашепила объяснить Надя, — это я уж сколько времени ношу, — раз двадцать оно стиралось... А если не двадцать, то десять-то уж наверно! Нет, я потом надену другое, — новое, красивое, — можно?

— Гм... Можно, конечно, и другое, — повернув к ней голову и оглядывая ее всю вкось, сказал Сыромолотов, — но я уж и к этому привык... Мне и это нравится.

— Нравится? — повторила она.

— А чем же оно плохо? Покрой вам надоед, что ли?

— И покрой, и цвет тоже... Вы видите, оно уж слиняло? Нет, я в следующий раз надену другое! — решительно заявила Надя, — Как можно в таком платье, в такую минуту?

— А-а, — вот вы о чем, — понял ее, наконец, художник, но тут же добавил строго: — Я на этом вашем платье всю гамму тонов на картине строю, а вы мне тут желаете разрядиться какою-то куклой, попугаем!

— Попугаем? — оробела Надя.

— Не поугаем, так колибри, — не один ли чорт! Вы туда, — кивнул он на холст, — не на концерт, не в театр пришли, а на подвиг, — поняли?

— Поняла, — прошептала она.

— Ну, вот, и извольте не выдумывать лишнего.

Он отставил от себя холст на вытянутую руку, секунд десять смотрел на не-

го, сильно прищурясь, наконец, сказал удовлетворенно:

— Теперь можно пройтись красками.

— Вы сказали: «Гамму тонов строю». Как это «гамму тонов»? — спросила Надя. — Ведь это только в музыке бывает.

— Вот, на! — добродушно усмехнулся Сыромолотов, — А это разве не музыка? Эх, вы, провинция! Отдыхайте, пока я приготавливаю тут все... Помачайте руками. Можете даже покружиться, потанцевать, если хотите.

— Ну, зачем же я буду танцевать, — смутилась Надя, — Я лучше посмотрю на вас, как вы...

— Как я краски на палитру буду выдавливать? — договаривал за нее он. — Что ж, посмотрите, — заняты любопытное: основа живописи, можно так сказать... А лимонаду выпить не хотите? Вам не жарко?..

Через несколько минут Надя снова стояла, как прежде, крепко прижав ладони и пальцы к древку флага, и вызывающе смотрела туда, где предполагался пристав на гнедом коне впереди конных полицейских, а Сыромолотов напряженно и молча ловил и наносил широкой кистью на холст яркое чередование красочных пятен.

5.

Легко было за полгода до того, зимою шестнадцатилетней гимназистке Елене Худолей решиться пойти к командиру кавалерийского полка полковнику Ревашову просить его, чтобы он замолвил слово у губернатора Волкова за ее брата Колю.

Все тогда казалось ей простым, как вышивка на деревенском полотенце. Генерал-майор Волков был приятель Ревашова, и Ревашов часто бывал в губернаторском доме и играл там в винт, — это все знали у них в гимназии. Когда Колю, который был старше ее, Ели, всего на год, губернатор вздумал в административном порядке выслать в Сибирь за то, что нашли у него при обыске какие-то запрещенные брошюры, печатанные на стеклографе, отец его и Ели, врач, всеми уважаемый в городе, не мог добиться чтобы Волков отменил свое решение: его просто не хотели и слушать. Но зато Волков как свой своего, конечно, должен был бы выслушать Ревашова и, по дружбе с ним, не мог бы ему отказать.

В этом замысле Ели все было обосновано и очень хорошо лепилось одно к другому. Она пошла к нему Ревашову, одиноко жившему в богатой квартире, пожилому видному человеку, вечером, так как днем его трудно было бы застать, — он был днем у себя в полку, как она у себя в гимназии. Она пошла, хорошо как ей казалось, обдумав, что ему нужно

было сказать, и сказала именно так, как придумала, но как случилось то, что Ревашов усадил ее пить чай с ромом, распрашивая при этом про Колю с явным участием, и что вышло потом, — это для нее самой все еще представлялось смутным при всей яркости. Бывает так: казалось бы необыкновенно ярко, но это только обман зрения; на самом же деле чрезвычайно запутанно и неясно, потому что мысли в это время страшно спешат, точно играя в чехарду, перескакивают одна через другую, и найти их концы и связать эти концы друг с другом невозможно уже на другой день, а тем более через неделю, через месяц, через полгода.

Для Ревашова найдено было слово: «подлость», однако же за эту подлость его не судили; для нее тоже нашли несколько слов: «неосмотрительность», «легкомыслие», «неразумность», и другие подобные, однако ее поспешили исключить из гимназии без права возврата туда, и она успела уже понять, что потеряла свое место в жизни.

Герой одного из прочитанных ею романов, задумав покушение на убийство, тунула для этого в свой карман медный пестик от ступки. С подобным же медным пестиком Еля раза три приходила по вечерам к дому, где жил Ревашов, в надежде встретить его на улице, так как в самый дом ее теперь уже не пускали денщики полковника.

Но оказалось потом, что Ревашова совсем не было в то время в городе. Подготовлено ли это было им раньше, Еля не узнала, но только он через три-четыре дня после памятной для нее ночи уехал по каким-то будто бы неотложным делам своего полка в Одессу и пробыл там почти месяц, дав, таким образом, истории своей с гимназисткой улечься, по возможности, потухнуть.

Тем временем брат Ели, за которого вздумала она хлопотать через Ревашова, был все-таки выслан губернатором, но два других брата — восьмиклассник Володя, прозванный Маркизом, и четвероклассник Вася, а также мать Ели каждый день были перед нею, и то новое, что появилось для нее в их глазах, не потухало.

Страдавшая талантом отчаянная мать Ели уже в первые дни после «истории» исчерпала, конечно, весь немалый запас накопленных ею за долгую жизнь средств проявления своего таланта. Тут были и стопанные туфли, которыми она не один раз принималась бить Елю, и визгливые причитания непременно при открытых форточках, чтобы их было слышно на улице, и слезы, и холодные компрессы на сердце, и несколько пузырьков выпитых ею валерьяновых капель.

Стремительная и бойкая до того Еля

была до такой степени поражена тем, что с нею случилось, что замолкла вдруг: ее совсем не было слышно в доме весь остаток зимы. Она ожила только весной, когда оживают и бабочки и начинают мелькать в воздухе, сначала неловкими, неровными, очень утомляющими их движениями отвыкших от деятельности крыльев.

Весною она начала было чрезвычайно усидчиво готовиться к переходным в седьмой класс экзаменам вместе со своими одноклассниками, однако гимназическое начальство не разрешило ей даже экстерном держать эти экзамены. Ей сказали: «Поезжайте куда-нибудь в другой город, где вас не знают».

Поняв, наконец, насколько считают ее опасной для ее бывших подруг, Еля перестала читать свои учебники; ехать же в другой город, чтобы провести там среди чужих людей весь май и первые числа июня, пока закончатся экзамены, — на это ее отец не мог достать денег, хотя только он, отец, в силу своего таланта жалости, пытался как-нибудь понять ее и во всяком случае не беспокоить попреками.

Старший брат ее — «Маркиз», — откуда-то набравшийся правил «хорошего тона», за что и получил в гимназии свое прозвище, всячески стремился показать и раньше, что он возмущен сестрою: не умеет себя держать, вечно вступает в споры, слишком остра на язык; теперь же он просто старался не замечать ее — нет у него никакой сестры и не было, а эта шалава девчонка, какая почему-то живет под одною с ним крышей, — какая же она его сестра?

Младший брат, Вася, обычно державшийся диких еще законов, свойственных его сверстникам, даже когда оглушительно свистел в четыре пальца, отворачивался от нее при этом, как бы желая этим показать, что она для него так же не сестра, как и для старшего брата.

Такую зачумленность перенести в шестнадцать лет было трудно. Спасительным являлось только то, что у нее в доме была особая небольшая комнатка-камерка, куда она и забивалась на целый день, как улитка в раковину.

Едва сводившая кое-как концы с концами мать Ели перенесла в июне свое отчаянье с нее на «Маркиза», который получил аттестат зрелости и уже начал требовать, чтобы ему купили студенческую фуражку, — синий околыш, белый верх.

Он хотел поступить непременно в московский университет, имея склонность стать филологом, но связанные с этим расходы, которых не было раньше, до того пугали мать, что запах валерьянки в доме стал побеждать даже запах цветущих возле дома белых акаций, а Мар-

киз стал теперь кестерпимо важен и криклив и повторял тоном однообразными, не допуская, однако, возражений:

— Мне нет никакого дела до всяких там ла-мен-тайи!.. Я окончил гимназию, для того, чтобы быть студентом, вот и все! И извольте приготовить мне для этого средства, чтобы мне в Москве не подохнуть с голода!

В частной практике своей полковой врач Иван Васильевич Худолей продолжал, как и в прежние годы, оставаться врачом для бедных, на которых часто тратил кое-что из своего жалованья. Но если своей дочери, исключенной из гимназии, он мог дать только один совет — поступить ученицей в аптеку, то что мог он посоветовать старшему сыну, которому не имел возможности достать даже и ста рублей, необходимых для права слушания лекций на первый год. Совершенно неразрешимой задачей представлялось и для него, не только для его жены, откуда брать деньги на ежемесячные переводы Володе в Москву... А студенческие шинель и тужурка? А книги?.. И все эти расходы не год и не два, — несколько лет!

Талант жалости отца семьи должен был спастись перед талантом отчаянья матери, а это домало весь кое-как установившийся, хотя и кособокий, хотя и скрипучий порядок в доме.

Зинаида Ефимовна, мать Ели, всла домашнее хозяйство как-то так, что денег до конца каждого месяца неизменно не хватало и она оставалась на другой месяц неизменно долг в ту же бакалейную лавку Табунова, в которой покупалось все Невредимовым.

В тот день, когда «святой доктор» от Невредимова услышал о злоте, которое перестали выдавать банки, Зинаида Ефимовна услышала то же самое от торговки на базаре, так что для нее уже не было новостью, что сказал ей муж.

Не оказалась новостью и догадка Невредимова, не готовится ли в скором времени война: она успела услышать и это. Новостью было другое: она заметила, что ее дочь, с которой во всей семье говорил только отец, которая сжималась и держалась понуро и молчаливо при ней и при обоих братьях, вдруг теперь, придя с отцом, вдруг подняла голову и не опускала ее и с прежней своей бойкостью в кариш, отцовских глазах (у самой Зинаиды Ефимовны были тусклые, бесцветные, судачьи) смотрела на нее и братьев.

Дом Худолея был небольшой, — всего три комнаты с кухней, — но во дворе, кроме того, был еще флигель в две совсем маленьких комнаты, где жили мальчики летом; вплотную к этому флигелю примыкал сарай для дров. Во дворе росло всего три дерева — акации, между двумя из них висел гамак и стоял

стол и два стула с плетеными продавленными сиденьями.

Бывшая бонна, засидевшаяся в девицах, Зинаида Ефимовна неожиданно для себя самой вышла замуж лет двадцать назад за молодого младшего полкового врача, каким был тогда Иван Васильевич (талант жалости к людям проявился в нем рано). Очень быстро раздалась вширь и перестала следить за тем, как ей лучше одеться, но каким-то образом умудрилась сберечь кое-что из жалованья мужа и купить этот старенький дом на улице имени Гоголя, а во дворе потом пристроить к бывшему сараю флигель.

Конечно, дом она купила на свое имя и это сразу подняло ее в собственных глазах, но все хозяйственные способности ее как-то навсегда были исчерпаны этим приобретением: дальше начались только ежедневные сокрушения, ахання, окрики на детей, потом вечные ссоры с детьми, когда они подросли, компрессы на грудь и валерьянка.

Денщик Худолея Фома Кубрик готовил обед в сарае, обращенном в летнюю кухню. Там сквозь отворенную настежь дверь на петлях из жженой проволоки видна была его белая рубаха и черноволосая голова в облаке пара от кастрюль. Володя лежал в гамаке и читал какую-то книгу в надорванном рыжем переплете. Рубахи на нем совсем не было, он подложил ее под голову; он «принимал воздушную ванну», как это и раньше слышал от него Еля. Ей бросались в глаза его длинные тонкие слабые руки и глубокие ключичные впадины; и пока еще была белой, — не успела загореть. И первое, что она сказала, хотя и вполголоса, обращаясь к отцу, как к военному врачу, едва только вошла вслед за ним во двор через калитку было:

— Разве такие могут воевать, папа?

Она сказала это с явным презрением и в голосе, и в словах. Она слишком много слышала от старшего брата оскорбительных слов, но ей ничего было возразить ему. Это было первое, чем она отзывалась на все, что от него вынесла и за последние месяцы, и раньше, и еще раньше: она ничего не умела забывать и не забывала.

Расплескавшись над столом жирным обвисшим телом, Зинаида Ефимовна резала ножом крозаго-красные помидоры, принесенные ею с базара. Жидкие волосы ее были собраны на затылке в трясуций кулачок; широкие рукава блузы засучены до плеч.

Вася (у него было скуластое лицо, как у матери, и глаза серые) мастерил что-то, — склеивал какую-то коробку из картонки, сидя на пороге флигеля. Он поднял было голову на вошедших во двор отца и сестру, но тут же углубился сно-

на в свое занятие. Он не перешел в пятый класс: ему дали переекзаменовку по двум предметам.

Еля наблудала все кругом так, как будто все для нее было внове: и акации, и гамак, и люди. Она очень остро отомгла про себя, как мать отозвалась отцу насчет золота и толков о возможной войне:

— Бабы на базаре тоже болтают..

Так было сказано это, как будто совсем ничего не стоила эта новость, и так оскорбило ее почему-то это, что она оставила вдруг в разговор отца с матерью:

— Говорят еще, что пожар начинался нынче утром кварталов в пяти от нас, а потушили ведрами бабы.

— Ты что это, а? — удивилась и словам, и тону ее мать, повернув к ней пласкую голову.

— Ничего, — так, — сказала Еля и отвернулась.

Белобородый древний старик Невредимов, говоривший на улице с ее отцом, неотступно стоял теперь перед ее глазами. Вещие были у него глаза, мерцавшие в глубоких глазищах. Не поверить такому было нельзя: он знал. Он сказал что-то такое о золоте и банках, — это было, между прочим, но он добавил: «война», и это вошло в Елю, как входит в дерево клин, — расширяя, готовясь расколоть его.

Пока она шла с отцом к дому, она ничего не спрашивала у него, — она поднималась сама на этом коротком, но многозначительном слове «война», как на крыльях. Она пережила очень много, пока шла и молчала, в эти несколько, — может быть, семь-восемь, не больше, минут. Горячее быстро в ее мозгу мчалось с гуляком топотом кавалерийские золки один за другим, сверкая обнаженными пашками.. Гремели орудия, и дым заволакивал все кругом, как на картинах Верещагина.. Потом отбрасывало дым, — и вот какое-то поле с желтой травой, на этом поле много лошадей и трагун, сбитых снарядами, и ближе всех к ней, так что всего его видно, — полковник Ревашов.. Он не убит, он только ранен.. И она подходит к нему с сумкой через плечо.. В сумке бинты и лекарства, — прежде всего иод, — на сумке красный крест..

Эта картина еще стояла в ее мозгу, когда она увидела другую: мать над поилорами, брата в гамаке, денщика Фому Кубрика в пару кухонных кастрюлек..

Вот брат, отведя чуть-чуть глаза от книги, говорит небрежно:

— Ерунда, — война!.. Бабы сказки..

— Сказки? — вскрикнула Еля, вся свернувшись, — Нет, не сказки!

— Че-пу-ха!.. Никакой войны не бу-

дет.. — И снова глаза в свою рыжую книгу.

— Будет! Будет! Будет! — вдруг сама не своя неистово закричала Еля. — Будет! Будет!.. Будет!.. Будет!..

Была и кончилась зима, наступила и кончилась весна, — шло лето, — полгода молчала Еля, и вот теперь вдруг этот крик о войне, этот призыв войны, которая все должна опрокинуть, переиначить, преобразить, переделать.. Как же можно дальше жить, если не будет войны?

И отец ее понял. В то время, как мать кричала Еле ответно: «Мерзавка! Паскуда!», а Володя, если не кричал еще, то сел уже в своем гамаке, готовясь к стычке; в то время, как Фома выглянул из сарая, а Вася оторвался от коробки и клея, — Иван Васильевич, обняв за плечи Елю, повел ее в дом и говорил ей тихо:

— Поди, полежи, голубчик.. Поди, успокойся, Елинька.. Выпей капель, милая, и все пройдет.

Еля шла, едва переставляя ноги, прижавшись плечом к отцу и крупно вздрагивая всем телом.

6.

Табунов по праздникам закрывал свою бакалейную лавку и ходил в церковь, где был свечным старостой. Полезнов тоже по праздникам был свободен.

В наступившее воскресенье он сидел за столиком в пивной, пил бокбир и закусывал раками. Угощал его Федор Макухин, его одноклассник по службе в 19-м пехотном Костромском полку. Хотя Полезнав был лет на двенадцать старше Макухина, и служили в этом полку они в разное время, но все-таки вспомнить им было что. Кое-кто из младших офицеров при Полезнаве стали уже ротными командирами в то время, когда служил Макухин; даже фельдфебелей мог припомнить Макухин таких, которые при Полезнаве только еще получили две лычки на погоны, выйдя из учебной команды.

Свой своему поневоле брат, но у Полезнава с Макухиным было теперь еще и другое, что их сближало: оба стремились нажиться на торговле хлебом, только Макухин уже начал вести эту торговлю, а Полезнав пока все еще собирался к ней приступить, — прикидывал, соображал, примерялся, выпытывал.

Знакомство у них было не со вчерашнего дня. Макухин, раньше живший на Южном берегу Крыма и занимавшийся поставками камня для построек, имел случай познакомиться с Полезнавым гораздо раньше, когда приезжал по делам в Симферополь.

Макухин был в новой панаме с красной лентой, в вышитой рубахе, забран-

ной в чесучевые брюки; широкий вязаный пояс его имел два кармана — для мелочи и для часов; белые туфли, палка с золотой монограммой, толстое золотое обручальное кольцо на правом указательном пальце и отливающие золотом толстые усы, тщательно закрученные в два кольца. По сравнению с Полезовым вид у него был барский, и Полезов в разговоре с ним иногда сбивался с «ты» на «вы»: ведь на нем самом был обыкновенный белый картуз, а рубаша подпоясана тоже обыкновенным шнурком с кистями. Отчасти потому, что стоял жаркий день, но больше из уважения к тому капиталу, который подозревался им у Макухина, Полезов с явным удовольствием пил пенистое холодное пиво и из раков высасывал все, что мог высосать, оставляя от них только красный их панцырь.

Они сидели не в общем зале этой большой пивной, хотя зал был далеко не полон, а в искусственном садике около, где был натянута тент от солнца, между столиками расставлены кадки с цветущими олеандрами, а настурции и вьюнок, тоже цветущие, отделяли, поднимаясь к тенту, полупрозрачной стеной этот уют от раскаленного тротуара.

Полезов придерживался еще скромных привычек и, если заходил в пивные, то в другие, попроще, а эта считалась лучшей в городе. Раки в мелководной речонке, на которой стоял город, к тому же почти пересыхавшей летом, не ловились, — их привозили с севера; а когда привозили, то попадали они прежде всего в эту пивную, на дверях которой появлялся тогда торжествующий призыв: «Кушайте раки!!!»

Деловой разговор между Макухиным и Полезовым начался раньше, даже и не в этот день, когда они случайно встретились на улице, теперь же он продолжался вяло, одними как бы выводами из предыдущего, притом же часто перескакивал на совершенно посторонние предметы.

— Говорится: «умей продать», — раздумчиво и точно наедине с собой сказал Полезов, вытирая пальцами усы, — а это нашему брату тоже надо прежде всего помнить: «умей купить», вот что!

— Об этом-то и толк, — поддержал его Макухин. — Продавать-то, раз требуется, всякий дурак продаст, да кабы себя самого не накрыть... А между прочим, конечно, деньги оборот любят, — это главное.

—оборот, это да: без оборота капитал это уж живая насмешка, — принимаясь за нового рака, решил Полезов, а Макухин, нето чтобы воодушевленно, однако назидательно рассказал старую историю о двух сыновьях деловитого отца:

— Дал отец один-дело было утром, — взвум своим хлопцам по рублю: «Вечером

мне скажите, куда вы их денете». А оба были такие, что ни в пивную, ни в ресторан — никуда, однако, ушли из дому. Ждет отец, — к вечеру являются, — оба трезвые. Он к старшему: «Ну, куда рубль девал?» — «Никуда, говорит, не девал, — вот он... Я, чтоб его зря не потратить, в землю его закопал, да от него ходу, — а вечер подошел, — выкопал!..» — «А ты?» — ко второму отец. — «А я, — этот говорит, — того-сего на него купил а потом продал, да еще купил, да опять же продал, — вот, одним словом, получай, папаша, вместо одного рубля — два. Какого же сына похвалить отец должен? — Вот к чему сказка сложена!

— Хотя, сказать, и другой сын тоже не прощелыга какой! — подхватил Полезов.

— Разумеется, тоже цену деньгам знает, только котелок не варит... — И внимательно приглядываясь к одной из подававшихся, добавил Макухин: — Невредная бабочка! — На что Полезов отозвался рассудительно:

— Ежели вредных сюда принимать, — хозяин тогда в трубу лететь должен.

Макухин, раскрывая рачий панцырь, некоторым сомнением поглядывая на желтую бурду, которая в нем содержалась, и откладывал ее снова на тарелку, принимаясь за шейку и за клешни если находил, что они достаточно крупны, чтобы с ними возиться. Наблюдая за тем, как все отложенное им забирал к себе Полезов, он заметил:

— Однако же ты к ним без милосердия, Иван Ионыч!

— К ракам? — О-о, брат! Я с ихними родичами смальства воевать начал, — очень охотно принялся объяснять свое пристрастие к этому деликатесу Полезов. — У нас же там, откуда я сюда-то забрался, река разве такая, как здесь? У нас она в половодье как разольется, — чистое море, только-что желтое. Ну, что касается раков, было их в ней там по обрывам целая гибель. Мы их, ребята, ки, по тыще в день из нор надирали так что все пальцы они нам клещами своими порасковыряют, бывало. Наловим, — варить. Наварим, — едим, пока уж с души начнет воротить, — вот мы как с ними... Конечно, кабы у нас там поблизу город какой был, чтобы продавать их могли бы раками прямо за богатесть, а у нас до города, почитай, верст пятьдесят было, да и то город такой, что там своих раков не знали, куда девать, — вот какое дело.

— Вот видишь, — подхватил Макухин, — что значит человека не было, какой бы за это дело влезся. Где их густо, а где совсем пусто, — значит, туда их и гоним. Получалось поэтому что? Капитал ребята из воды руками выгребали да сами же его транжирили. Что они, хлеба,

солью не могли поест? Да, кроме того, летом луку везде растет чорт-те сколько, — вот ребятам я давай, а раков — в эсправку... Так же точно и с зерном везде по хозяйствам, какие даже сроду не слышали, как паровоз гудки дает.

— Это верно, что не слышали, — тут же согласился Полезнов, наливая себе восьмой стакан. — Недалеко ходить, мой дядя родной из деревни нашей в город поехал, а туда уж железную дорогу провели, а он этого дела не знал. Едет себе парой по открытому месту, а с ним сынишка его — выходит, мой брат двоюродный, — едет, — а дело к вечеру, — смотрит: что за окaisia? — Далеко игде-то вроде бы пыль большая, а возле него тихо. Ну, не иначе, думает, вихорь там поднялся. Все-таки же вихорь он вечный: поднялся, — упал, — а тут что-то пыль эта, что дальше, то больше... И вот догадка у него: — конокрады, — не иначе, что так! Конокрады табун лошадей гонят! — Ну, с одной стороны, конечно, и конокрадов тех ему, дяде моему, боязно, — кабы и его цару к своему табуну не прихватали, а с другой стороны, — ехать, конечно, надо, а то уж ночь скоро: пока, дескать, тот табун доскачет, авось я проскочу. Он лошадей нахлестывает, а табун, брат ты мой, все ближе и так что слышно уж стало, какой от него топот: аж земля дрожит... Одна надежда, — впереди строения какие-сь, — видеть, люди живут. Он это поспешает к тем строениям, а табун уж вот он, — тоже спешит... Да как взялся весь дымом черным, да как засвистит, да как заорет вдруг голосом страшным, — тут от такого ужаса пара дядева, — а лошадки обе молодые были, — как повержет да вскачь, да с выбрыком, так что и дядю, и Степку, — это брата моего, — из телеги вытрясли наземь и скачут, и скачут, куда ноги их, бедных, несут. А Степка потом мне рассказывал: «Мало того, что расшибились мы с отцом оба, — главное страху натерпелись: ну, явный чорт или какой змей-дракон, — одним словом, конец жизни!» Вот какие дела: в пятидесяти верстах от деревни люди железную дорогу вели, так что и поезды уж ходить начали, а там хоть бы тебе сорока на хвосте принесла, — никто ничего не знал!

— Ну, это, конечно, давно дело было, — важно, однако, понизив голос, сказал Макухин, — теперь же всем известно, что в случае вот война, например, овес для лошадей в армию нашу доставлять надо будет? — Надо. — А кто его доставлять будет? — Кто же иначе, как не мы с тобой в компании, а?

Вопрос этот был поставлен прямо, и ответ на него ожидался тоже прямой: Полезнов понимал это, однако ответил, подумав:

— Сознаю, Федор Петрович, дело вы предлагаете вполне хорошее, — особенно, если в самделе война... А только, вот мы же с вами одного оказались Костромского полка, и вдруг начнется мобилизация, тогда как?

— Думаешь ты, что я сбухты-барахты тебе говорю, — усмехнулся Макухин, — не-ет, брат, я насчет этого застрахован: я ведь свои тринадцать лет запаса уж отбыл, теперь в ополчение зачислен. Ополчения трогать не будут, как его и в японскую войну не трогали. Обо мне не сомневайся.

— Конечно, тебе видней, раз это тебя касается, а не меня, как я уж и из ополчения вышел... Ну, ведь может случиться и так, что никакой войны и не будет, а так только, — смущение людей, — тогда как? — осведомился Полезнов.

— Не будет, так не будет, — плакать об этом не станем, а дело свое откроем. Конечно, если наотрез откажешься, тогда уж ты загодя мне скажи, — я другого компаньона искать буду, а то уж хлеб люди косить начинают, — как было, между прочим, сказал Макухин.

— Ячмень?

— Хотя бы ячмень.

— Ячмень уж косят, — это действительно... Нет, уж, другого пока погодите искать, Федор Петрович. Мы уж с вами все-таки не то чтобы...

Полезнов затруднился договорить то, что ему хотелось сказать, занятый тем, что ченью совсем уже маленького рачка последнего, какой еще оставался у них на століке, а потом случилось так, что договорить и вообще не пришлось: несколько раздвинув заросли вьюнков и настурций, молодая женщина в широкополой шляпке крикнула с тротуара:

— Федор! Ты здесь?

Потом она обернулась назад и сказала:

— Ну, вот, — я ведь говорила, что он здесь!

— Это — моя жена, — успел шепнуть Полезнову Макухин.

7.

В уютный садик пивной вошло с улицы четверо: жена Макухина Наталья Львовна, ее отец Добычин Лев Анисимович, полковник в отставке, с белыми зигзагами на погонах, ее мать, — толстая, старая слепая дама, и Алексей Иванович Дивеев, с недавнего времени близкий этой семье человек, в фуражке гражданского инженера, с молоточками крест-накрест на зеленом околыше и с кокардой на тулье.

Конечно, Макухин пытался было представить их Полезнову, но из этого, по многолюдству их, по новости для него самого такого сложного дела и по непривычке к таким положениям. Полезно-

на ничего не вышло, кроме невнятного бормотания и крепких со стороны Полезна рукопожатий. Если бы Полезнов имел в это время возможность присмотреться к своему собеседнику, он разгадал бы, что тот не выражал ни малейшего удовольствия при этом вторжении своих семейных и близких. Он только пытался скрыть это, суетясь, где бы и как бы их устроить. Ему помогла в этом та самая «невредная бабочка»: вместе с ним она приставила к их столу другую, пока пустовавший, а также еще четыре стула.

Конечно, тут же вслед за этим появились и новые бутылки пива, и новая порция раков. Перебегавшими по лицам этих четырех новых для него людей глазами Полезнов не мог не заметить того блаженства, какое разлилось по широкому, совершенно круглому лицу белоглазой слепой, когда она взяла обеими руками свой стакан с пенистым холодным напитком, но он думал, что ей просто жарко и хочется пить. Однако она сказала хрипуче:

— Сколько это бутылок нам дали, а, Наташа? Смотри, чтобы на мою долю подложини!

В пристрастии к пиву тестя Макухина, как военного, Полезнов не сомневался, и, как человек неглупый, понял, что деловой разговор наладить с Макухиным снова теперь уж конечно не удастся.

Главное же, чем обескуражен был Полезнов, это тем, что попал он в такую компанию: полковник, инженер, настоящая дама — жена Макухина, совсем непохожая на его жену... Да и слепая старуха, тоже не кто-нибудь, а полковница, привыкшая пиво пить не иначе, как дюжины бутылок!

О чем можно ему было бы заговорить с ними, он совершенно не знал, но они, видимо, совсем и не предполагали говорить с ним: они продолжали говорить между собою, о чем говорили, должно быть, на улице, когда сюда подходили.

Жена Макухина, одетая в такое легкое платье, что оно все могло бы, кажется, быть свернуто как носовой платок, и спрятано в любой карман, говорила инженеру:

— Нет, как хотите, Алексей Иванович, а вы просто никогда и раньше не умели жить на свете!

— Вполне возможно... Даже, может быть, вы совершенно правы... — бормотнул Алексей Иванович не особенно внятно; потом вдруг добавил громче и рездее: — Уметь жить, — вы знаете, что это такое? Это полнейшая безнравственность, тупость и безмозглость, — вот что!.. Умеет жить на свете свинья в хлеву, а порядочный человек тем-то и порадочен, что он не... того, как это говорится... простите!

Тут Алексей Иванович как-то, непонятно для Полезна, смешался, втянул голову в плечи и как будто тоже несколько покраснел.

Кожа лица его была вялая, дряблая, хотя он не казался старым. Он и не загорел почему-то, что удивило Полезна, так как даже и по лицу слепой старухи, сосредоточенно вливавшей в себя пиво, был разлит сильный южный загар. Впрочем он был блондин, с белесыми усами в обвис; когда же он снял фуражку, то оказалось, что спереди и до темени был начисто без волос.

Полковник Добычин был, правда, тоже лыс, но к нему, человеку старому, это шло, притом же лысина его сияла, как канделябр, — полнокровная, розовая, внушающая почтение. У него был большой с горбинкой нос, уткнувшийся в седые усы, подстриженные снизу, и очень заметен был кадык на морщинистой коричневой шее.

— Уметь жить на свете — это значит не волноваться по поводу пустяков разных, — вот что это значит, — уверенно высказал свое мнение полковник и, взявшись за самого большого из раков, обратился к Макухину: — А как, Федя, раки? Они не того? А?

— Самые заправские! — хозяйственно ответил Макухин, усевшийся рядом с женой.

— Свежее и быть не может, — подтвердил Полезнов. — Раков только здесь и есть!

— Эх, под такое пиво пульку бы разыграть на свежем воздухе! — повернув к Полезнову белоглазую маску лица хрипуче, но с искренней страстью в голосе сказала слепая.

Полезнов посмотрел в недоумении на Макухина, и тот объяснил за него любительнице преферанса:

— Здесь, мамаша, в карты не играют это — занятие домашнее.

— Ну, что же, что домашнее, — упорствовала слепая. — Вот и приходите к нам домой, — сыграем... Вы кто такой? Зовут вас как?

— Зовут Иван Ионыч, — поспешил Полезнов ответить на второй вопрос, затруднившись первым.

Заго Макухин, повернув голову к слепой, но глядя на жену и тестя, сказал как уже решенное:

— Это, мамаша, мой компаньон в деле. Фамилию имеет Полезнов.

— А-а! Хорошая фамилия какая! — задумчиво протянула слепая. — Компаньон? В таком случае нужно устроить звон стаканов.

— Действительно, это надо запить, — согласилась с матерью Наталья Львовна, подымая свой стакан красивой, огоренной почти до плеча рукою.

Ей можно было дать лет 25—27, — возраст, когда женщины отлично уже раз-

бираются во всей жизни кругом, — так думал, глядя на нее, Полезнов. У нее была высокая ровная шея, высокие полукруглые брови и высокий отцовский лоб, отчего она казалась, когда сидела, высокого роста. Полезнов не знал, какого цвета глаза были у слепой раньше, но так как у полковника глаза были серые, а у Натальи Львовны карие, то он решил, что этим она вышла в мать.

— Компаньон в деле, это, конечно, веселее гораздо, чем одному, — поддержал свою дочь полковник, тоже подняв стакан.

Алексей Иванович добавил к этому:

— Давно известно, что человек — животное социальное... Кажется, Аристотель еще это сказал.

А полковник оживленно поддакнул и ардекламировал вдруг:

— Аристотель оный.

Древний философ,

Продал панталоны

За сивухи штоф!

Это мы еще встарину в Чугуевском офицерском училище хором пели... Там есть еще и такой куплетец, помню:

Цезарь, сын отваги,

И Помпей — герой

Продавали плаги

Тою же ценой!

— Знаменитая песня. — я тоже ездышала, — сказал Макухин и чокнулся с Полезновым, а потом начали чокаться с ним все остальные, так что тот почувствовал, что неловко уж, пожалуй, было бы теперь отказаться от дела, предложенного Макухиным, хотя около него и устроилась для течения своей жизни какой-то все неделовой народ.

— Дай, бог, нажить нам, а не прожить, — говорил, кланяясь и привстав, Полезнов, понимая, что раз люди желают настроиться на праздник, то надо их подогреть в этом.

Что тестя у Макухина оказался полковник, хотя и в отставке, лестно почтуну-то было и для него, а насчет инженера он думал, что его просто прихватили на улице, — случайный какой-нибудь знакомый. Однако Алексей Иванович, архитектор по своей профессии, уже месяца три жил у Макухина, просто так как-то, потому что ему негде и жить было, кроме как у него.

Макухин взял его на поруки из тюрьмы, куда попал Дивеев за покушение на Лепетова, бывшего любовника его покойной жены. Покушался на убийство Лепетова Алексей Иванович в этом же городе из вокзала, и Макухина безусловно убежденно говорил тогда, как свидетель, дававший свои показания на следствии: «Считаю и считаю Дивеева неполноценным».

Он же поместил его, взяв на поруки, частную лечебницу, которую вздумал устроить здесь полковой врач Худолей, но лечебница эта существовала счас недоаго.

— Судя по вашей внешности, вы — купец? — неожиданно для Полезнова спросил его Дивеев.

— Торгуем пшенинкою, — ответил Полезнов, слегка улынувшись...

— Ну, да, да, — теперь я понимаю, — мне говорил Федор Петрович, — продолжал Дивеев, как бы только теперь разглядевший, что он — в пивной, что переносим какой-то совершенно новый для него человек. — Это хлеб, кажется? Насчет хлеба?

— Вот именно, по хлебной части хотим заняться, — отозвался Полезнов.

— Дело хорошее, всем нужное, а больше всего иностранцам, — быстро и четко проговорил Дивеев.

— Ячменя иностранцам, смотрите, не продавайте, а то пива не из чего будет варить, — встала ни к кому не обращаясь слепая.

— Ячменем нашим заграница мало интересуется, больше пшеницей, — успокоил ее Макухин. Он оглядывался при этом по сторонам с беспокойством, вполне понятным, — ведь за другими столиками сидели люди, кроме того, люди проходили и по тротуару. С одной стороны, было неплохо, чтобы люди, — те и другие, — знали, что вот тут не кто-нибудь такой сидит вместе с другими, вполне приличными людьми, пьет пиво и ест раков, а хлеботорговец (новое звание для самого Макухина), а с другой — он опасался, как бы слепая «мамаша» и «не совсем нормальный» Алексей Иванович не сказали чего-нибудь лишнего. Торговля, конечно, любит рекламу особенно если дело приходится только еще ставить, начиная с того, чтобы завербовать себе компаньона; однако в его планы не входило, чтобы вся его новая семья (он женился на Наталье Львовне недавно) явилась в то время, когда он еще не разговаривал как следует с Полезновым; это вышло совершенно случайно.

Он наблюдал и Полезнова, как он отнесся к его родне: больше ли стало у него доверия к нему, Макухину, или меньше? Действительно ли он приобрел в нем компаньона, или тот скажет ему завтра, когда встретится с ним один на один: «Подумаю еще, погоди: дело все-таки как-никак рискованное, — кабы не прогореть»... А это значило бы, что пошел на попятную, и еще в такое время, которого терять никак уже нельзя: люди покупают хлеб на корню, и у них уже все налажено, — и где покупать, и кому продавать, а ему это все надо еще наладить.

Наконец, колебания, братцы, а все-

рьез за это дело, и у него у самого были, и он, даже не совсем осознавая это, нуждался в поддержке кого-нибудь другого, тоже пока еще осмотрительного и осторожного, чтобы не попасть в лапы прожженных жуликов. Полезнова он ценил за то еще, что тот гораздо лучше его знал людей, с которыми пришлось бы ему теперь иметь дело, и был, по его наблюдениям, пока еще скромнее.

Вот он вполне толково отвечает «папаше» — полковнику на какой-то его вопрос:

— В нашем торговом деле, если вам хочется знать, большую самую роль играет кредит, а не то чтобы наличные! На наличные кто же дело ведет? Да их и не всегда достанешь, сколько их требуется, значит, что же прикажете? Лавочку на замок, а зубы на полочку? Сущий убыток. В торговом деле так: я тебе верю, а ты мне веришь, — выходит, обоюдная порука.

— Круговая, то-есть, — поправил полковник.

— Пускай круговая, — еще лучше... Одним словом, на кредите основано.

— Вся жизнь на кредите основана, однако же вся она, целиком и врозницу, личь и вранье! — вставил вдруг Дивеев, повысив голос.

Полезнов принял это, как шутку, и отозвался, усмехнувшись:

— Вся не вся, ну, конечно, не без того: попадаетесь, слова нет.

— Вся! — резко выкрикнул Алексей Иванович. — Сверху донизу вся!

— Однако же вот пиво вполне приличное, — прохрипела слепая.

— И раки тоже, — поддержала свою мать Наталья Львовна, — а вы, Алексей Иванович, несколько преувеличили, сознайтесь!

— Простите! — кротко сказал вдруг Дивеев и левой рукой сделал хватающий жест, как будто хотел показать, что сказанное берет обратно.

Он как-то, поник после того, еще больше втянув голову в плечи, так что Полезнову стало его даже почему-то жалко, а Макухин, считая нужным поддержать своего будущего компаньона, обратился к тестю:

— Вот, например, есть тут банк, называемый «Взаимного Кредита». Это же оно самое и есть, о чем вот Иван Иванович говорил: ты мне доверяешь, я тебе доверю...

Он хотел развить это общее положение на придуманном им примере, как вдруг до него донеслась от соседнего столика, не к нему лично направленная, однако хлесткая фраза:

— Не все, значит, еще насчет «Взаимного» знают, что на нем уж замок висит!

Макухин обернулся; посмотрел встревоженно в ту сторону и Полезнов.

Там сидело двое молодых людей в одинаковых белых рубашках и без шляп. Очень смуглые оба и горбоносые, они похожи были на греков. Прежде их не было слышно; они играли в домино и казались до того углубленными в это занятие, что даже и не желали слышать, что говорилось за другими столиками, — однако, выходит, слышали.

— Как так на замке «Взаимный»? — спросил Макухин, обращаясь сразу к обоим.

— Так и на замке, — ответил один, а другой добавил:

— Вчера с обеда.

— По какой же причине? — попытался Макухин.

— Учет идет, проверка, — объяснил один.

— Директор скрылся, — сказал другой.

— Вот тебе раз! Какой же директор?

— Какой же еще, как не Анжелло? — полувопросом ответил один, а другой добавил:

— Бежал, конечно, не иначе, как в Одессу, а оттуда в Италию... А разве кто бежит, так он это делает с пустыми карманами? Вот поэтому и проверка.

Макухин посмотрел на Полезнова, Полезнов на Макухина, и оба одновременно поднялись с мест и взяли свои шляпы, другой за белый картуз.

Не то, чтобы много, но кое-что все-таки лежало у каждого из них про запас в банке «Общество взаимного кредита», платившего по вкладам пять процентов годовых в то время, как государственный банк платил только четыре.

Продолжение следует.

ИЗ ДНЕВНИКА 1943 ГОДА

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ



ЗДЕСЬ ОТСТУПАЛИ ГОНВЕДЫ

Обежав с пригорка, торный путь победы
Змеится, извивается в логу.
А по краям дороги, на снегу,
Лежат вповалку мертвые гонведы.

Их жажда крови, жадная, шальная.
Раствившая и души, и тела,
Зда минувшим летом привела
От плесов дальней Тиссы и Дуная.

Зот здесь, у вязов, серые от пыли,
Дни в чужом, неведомом краю
Степной реки прозрачную струю
Касаньем губ нечистых осквернили.

Февраль

Просторы Волги, горный криж Урала
Им грезились июльским жарким днем
Но месть народа сталью и огнем
Настигла их и смертью покарала.

Плачь, Венгрия, кровавыми слезам
Страшна в России зимняя гроза.
Голодный ворон мертвецу в глаза
Заглядывает жадными глазами.

За око-око! Стали и огню
В жестокий год мы посвятили жизнь
Я хищников степных не разгоню.
Не помешаю их кровавой тризне



КОНТУЗИЯ

Фугаски выли, воздух рассекая,
Алая сосны, разрывая мох.
И, вдруг, настала тишина такая,
Что человек от тишины оглох.

И все сместилось в тишине несносной.
И невесомой сделалась рука.
Над головой воронки, люди, сосны,
А снизу — самолеты, облака.

И все вокруг, утратив постоянство,
Как пьяный бесшабашный хоровод.

Май

Сквозь полое, беззвучное пространство,
Раскачиваясь, прыгая, плывет.

Вздохнуть бы глубже, разорвать рубаху.
За облако схватиться на лету...
Но кто-то бьет по голове с размаху.
Как в деготь погружает в темноту.
И все...

Аптечный запах. Тент палатки.
В ушах звенит серебряная нить.
Сквозь звон далекий голос:

«Все в порядке.
Следить за пульсом. Лед переменить!»



ТАНКОВАЯ ЗАСАДА

Ложатся бомбы спереди и сзади.
От взрывов звон в груди и в голове.
Но молча ждут своей поры в засаде
По башни в землю врытые КВ.

Танкисты видят в смотровые щели
Высокие, бескрайные хлеба.
В хлебах еще невидимые цели
Ползут, неотвратимы, как судьба.

Ползут среди щемящего безлюдья,
Созревшей ржи и синих васильков.
Чтоб с ходу опрокидывать орудья
И плоскоступьем лап давить стрелков.

Вот, наконец, и выползли колонной.
Прицеливайся точно! Не спеши.
Звон крови, до предела напряженный,
Рассчетливостью воли заглуши.

Раскатом первых залпов степь седа
 Из самый горизонт потрясена.
 Пути тяжелым «тиграм» преграждая,
 Встают разрывов дымная стена.

И застигает дали сумрак мгlistый.
 И заползает в танки едкий чад.
 В азарте схватки потные танкисты
 Беззвучные проклятия кричат.

Июль

Ломают строй гремящие громады
 И пятятся, открытые огню.
 Тогда КВ выходят из засады,
 Прямой наводкой жгут и рвут броне

Раскалывая клиньями стальными
 Чужие батальоны и полки,
 В атаку мчатся танки, а за ними
 Бегут разгоряченные стрелки.

★

ТОВАРИЩ

Мать над ним не склонилась, чтоб веки
 смежить.

Так и смотрит, мертвый, во тьму.
 А ему бы, веселому, жить да жить,
 Умирать бы ему к чему?

На стволе пулемета лежит ладонь.
 И ладонь холодной ствола.
 Встать ему бы, кудрявому, взять

гармонь

И вести девчат вдоль села.

Подниматься бы парню ни свет ни заря.
 Плыть, рукой рассекая рябь,

Азист

Молотить бы в погожий день сентября.
 Чернотомом бы пахать под зябь.

Но война нас накрыла дымным крылом.
 А свинец несговорчив, лют.
 Мы зароем солдата здесь, за селом.
 Отдадим прощальный салют.

И пойдем на заре по обломкам штыка.
 Через речку вброд, через гать,
 Чтоб за каждого, кто за Россию пал.
 Десять жизней у немцев взять.

★

ГЛОТОК ВОДЫ

До чего же бывает речная вода хороша.
 Если пить ее в полдень большими
 глотками из каски.

Отлетает усталость и сразу теплеет
 душа,

Как теплела в недавнее время от девичьей
 ласки.

Ну, а если реку называют, к примеру,
 Днепром

И снаряды вдоль борта ложатся все
 чаще и чаще

Октябрь

И двенадцатый «юнкерс» заходит в пик
 на паром,
 Вам водица покажется меда пчелиного
 слаще.
 Мы сотрем рукавами холодного пота
 следы,

Вспомним прошлое лето, Волгу,
 кубанские плавни и Терек.
 И, хмелея от ветра и чистой
 днепровской воды,

Ураганом атаки сорвемся с парома
 на берег.

★

НА ЗАПАД

Скрежещет серый гравий под ногами,
 Горелый танк. Разбитый бомбой дот.
 На запад семиверстными шагами
 Народное возмездие идет.

На сотни километров пролегла
 Боями проторенная дорога
 В полесские болота от Орла,
 В преддверья Крыма из-под Таганрога.

Ноябрь

Над Киевом трепещет красный флаг.
 Слышна в Смоленске наша речь живая.
 А шквал испепеляющих атак
 Все катится вперед, не устая.

Час пробил. Все плотины снесены.
 Неудержимой яростью потока
 Во след багровым заревам войны
 Лавина гнева движется с востока.

★

БЕЛОРУССИЯ

1.

Это в память зарублено на века.
 Днепр — река,
 Сож — река,
 Припять — река
 И лесная Березина.
 А вода, как злая полынь, горька.
 Как людская слеза, солоня.
 На дорожных присадах трупы висят
 Пепел — мертвых рук холодней.
 День за днем,
 День за днем,
 Восемьсот пятьдесят
 Нестерпимых, жестоких дней.
 День за днем,
 День за днем —
 Без конца.
 Каждый день — тяжелей свинца.
 Из суглинка бьют кровавые ключи.
 Красный дым застлал небосклон.
 А бездомный ветер поет в ночи
 Про немецкий полон.
 Восемьсот пятьдесят ночей и дней.
 Кровь отцов и слезы сирот.
 Есть ли мера великой муке твоей,
 Белорусский народ?

2.

Перед ними знамена склонят века.
 Днепр — река,
 Сож — река,
 Припять — река
 И лесная Березина.
 А вода, как мстящее пламя, жарка.
 Как разящая сталь, холодна.
 Скат высокой, желтой насыпи гол.
 Глаз прожектора. Стук колес.
 Но гремит разрывающий рельсы тол.
 Под откос летит паровоз.

Декабрь

Над лесным большаком в ночной синеве
 Запоздалой ракеты свет.
 И лежат в траве,
 Голова к голове,
 Те, которым прощенья нет.
 По дремучим пущам, по диким местам,
 Где туман и трава дурман,
 За немецким волком, как тень, по пятам.
 Невидимкой идет партизан.
 Восемьсот пятьдесят ночей и дней
 Реки — вплавь, а болота — вброд.
 Есть ли мера ярости правой твоей,
 Белорусский народ?

3.

Эта осень легендой уйдет в века
 Днепр — река,
 Сож — река,
 Припять — река
 И лесная Березина.
 А вода, как резкие грани штыка,
 От немецкой крови красна.
 Через Днепр, через Припять летит снаряд.
 Настигает, разит врага.
 На лесистых угорях костры горят.
 Под ногами гудят луга.
 По над Сожем рекой и рекой Днепром.
 По над Припятью и Березиной,
 Артиллерии нашей железный гром,
 Наших танков топот стальной.
 Это ярость идет с пехотинцем в ряд
 И зовет, и торопит вперед —
 За разбитый дом, за убитый сад
 Покарать ненавистный род.
 Дождалось Полесье добрых вестей,
 Звонок первый декабрьский лед.
 С первопутком встречай дорогих гостей,
 Белорусский народ!



ПЕХОТИНЕЦ

Окоп. Блиндаж, прокуренный дотла.
 Вот наша жизнь. Она горька на вкус.
 Черпак борща из ротного котла
 Да кипятки, да хлеба черствый кус.
 Солдат в пехоте тем и знаменит,
 Что каждый день пешком идет сквозь ад.
 А от стрельбы в ушах звенит,
 А ноги от ходьбы гудят, гудят.
 Я оттого и больше всех герой,
 Что лишь земля — мой панцирь и броня,
 А на меня и танки прут горой.
 И пулеметы лают на меня.
 Крепка красноармейская семья.
 У всех одна повадка и задор.

Декабрь

Танкист и батареец — мне друзья,
 Родные братья — летчик и сапер.

Мы все равны и родине нужны.
 Но на полях и выжженных лугах
 Победа ходит по путям войны
 В разношенных пехотных сапогах.

Под воющими бомбами в лесу,
 Под пулями в пылающем доме,
 Я молча кладь солдатскую нессу,
 На тяжесть не поплачусь никому.

Когда кругом кипит жестокий бой,
 Мне не к лицу фунтами мерять кладь.
 Ведь Сталин знает, кто я есть такой.
 Чего ж солдату большего желать?

СТУДЕНОЕ МОРЕ

Повесть

Ю. GERMAN



1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Красной рукой отец взял полуштоф зеленого старинного стекла и аккуратно налил ледяную водку — сыну в старинную, червленого серебра, стопку, Анцыферову в тяжелый стеклянный стаканчик, себе — в любимую рюмку — «Ванька-встанька». Наливал он медленно, очень точно, по самый край, рука его не дрожала нисколько.

— Интересно получается, — заговорил старик, сдерживая свой могучий, раскатистый, сиповатый голос, — собрались в одной комнате, за столом три капитана. Анцыферов капитан да двое Ладынины — тоже, правда, один из них почему-то старшим лейтенантом называется, но все равно кораблем командует. И выбрали для встречи себе три капитана изольно шумный вечер..

Федор Алексеевич прислушался: опять затрещали зенитки, и нечто осязаемое дрожало над головами, над дощатым, полированным потолком, над крышей — там, в холодном осеннем небе. Анцыферов сморщился и едва заметно втянул голову в плечи.

— Не кукуйся, Пал Петров, — неприятно улыбаясь, сказал Ладынин, — на праздник пришел, водку пить, гулять пришел — обидишь. Давай чокнемся!

Улыбаясь бледной улыбкой, Анцыферов поднял хрустальный стаканчик. Водка пролилась на его толстые пальцы, закапала на скатерть. Но Федор Алексеевич точно и не заметил всего этого: он умел щадить людей в последние минуты. Обращаясь к сыну, глядя в его яркие голубые глаза, он говорил о том, как привык встречать дни своего рождения, как однажды встречал в Африке, под «паршивой сухой пальмой», и как все-таки была настоящая русская водка, первоортная, и русские маринованные грибы..

— Ты еще мал был тогда, — сказал

старик, — под стол пешком ходил и небось,...

Он не договорил, что «небось». Дрогнула земля, весь старик, прадедовский дом точно бы раскололся, черная пыль тучей поднялась в комнате, лопнуло стекло в старинной укладке и, когда все затихло, вдруг упала с полки модель шебеки, грохнулась на пол и разлетелась в сучочки.

— Чорт возьми! — со злобой сказал Федор Алексеевич и, грузно поднявшись с кресла, наклонился над тем, что было когда-то искуснейшей моделью полугалеры. Лет пятьдесят уже шебака стояла под стендом, в специальном колаке и никто, кроме самого капитана, нынче, а раньше деда Алексея Феоктистовича, не имел права касаться не только самой модели, но даже и колпака, чтобы стереть хотя бы пыль. — Чорт возьми! — повторил старик, краснея от злости и беспомощно сгребая ладонью по полу гнилые шкертики, изображавшие ванты, да мелкие щепки, да позасаснвшие медяшки..

Ему было жалко своей драгоценности до того, что он длинно и грубо выругался, а потом пнул башмаком остатки корабля, построенного руками слепнувшего шкипера-деда, и заговорил, сердито морщась на черную пыль, которая еще ходила по столовой:

— Вот и живем. Как собаки. Без жевской руки все какая-то чертовщина из щелей лезет. Вот возьму, да и женюсь, ну вас всех!

Александр тихо улыбнулся:

— Чего смеешься? — крикнул отец жалобным голосом, — дум-сшь, выжил старик хрен из ума? Женюсь, тогда будете знать! Глафира! — заторгал он своим совершенно громовым голосом. — Глафира!

Кривобокая и носатая Глафира высунула из передней бледное, спранно злое лицо с черными бровями.

— Выходи за меня замуж, — сказал Ладынин, — надоело мне бобылем жить. Вый-

дешь? С попом, честь-по-честью. Что смотришь?

Глафира прищурилась, плюнула и ушла.

Капитан захохотал.

— Зато бесстрашная, — сказал он, — ничего не боится. Хотя какая уютно бомбежка — только пипит.

Федор Алексеевич налил еще водки и рассказал, как штормовали в Японском море, и как, несмотря на шторм, он все-таки справил свой день рождения.

— На полчаса дал себе антракт, спустился в салон, буфетчик стол имел накрытым, пшеничная водка во льду, грибы — рыжики — в салатниках, икра — в хрустале, все как полагается: старпом и прочие крахмальное белье надели, брильянты, надушенные; только у старпома через всю морду заплатка из пластыря — на бритву напорослся, до сорока градусов крен доходил; тут побриться — подвиг.. Что ж, выпьем, капитаны?

Закусив после водки, Ладьянин закурил трубку и прислушался, но тотчас же начал рассказывать, точно заглушая раскатами своего веселого баса, то, что вновь началось там за окнами, за закрытыми ставнями, во тьме этой дикой воробьиной ночи. Рассказал анекдот не до конца, замолк и выругался:

— Всяко праздновал свой день, а так не приходилось. Ведь...

Он махнул рукой.

У Анцыферова вдруг затряслась челюсть, холодном заходили узловатые, тагуированные руки, лицо сделалось совсем стариковским.

— Вот Шурик, небось, думает, трушу, — крикнул он, — думает, небось, выдохся бывший капитан Анцыферов, ан нет, врешь, не выдохся, но только это я не могу терпеть, понял, не могу, эта какая ж война, когда они по городу швыряют, по женкам, да по ребятам, это что ж такое, я спрашиваю, а?

И точно в ответ ему со злобой начала бить молчаливая до сих пор ближайшая к дому зенитная батарея, с ноющим, жалобным звуком зазвенели стекла, вновь там, над крышей в холодном небе, прощали самолеты.

— Выйдем! — сказал отец.

Выходя, Александр заметил: старик Анцыферов налил себе полстакана водки, выпил залпом и, догоняя, сказал:

— Хорошо! Ой, хорошо! Теперь я любую фугаску полезу, не испугаюсь. А еще полстакана кипяченой, так и сам полечу хоть в стратосферу.

Толкнул Александра в бок и спросил: — Таким молчаливником и остался? Все помалкиваешь?

— Помалкиваю.

Во дворе было совсем темно и все трое остановились на крыльце, привыкая к звездному мраку. Луна еще не всходила

ла. Тонким голосом с крыши закричал Бориска:

— Тарелки какие-то бросают. Честное пионерское, мы с Блохиным оба видели. Скажи им, Блохин.

— Фосфорические поджигательные тарелки, — солидно сказал Блохин и чихнул.

Мальчики засмеялись там наверху.

Высоко в небе что-то жужжало. Лучи прожекторов отыскивали самолеты, и один — главный луч — сердито замалчивался на остальные, которые делали что-то не то. Самолет спикировал, и где-то далеко прогрехотали четыре взрыва. Свесив голову с крыши, Бориска сказал, что пожаров пока что нигде нет — немцы либо не попадают, либо ихние зажигалки хорошо ликвидируются.

— Ты вот гляди, чтобы тебя какой осколок не ликвидировал, — ответил отец, — и кастрюлю с башки не снимай.

Вновь загрелись разрывы, но значительно ближе, и опять в небе прошли самолеты, точно обдав землю смертельным холодом.

«Юнкерс» развернулся и пошел в пики.

— Ложитесь, вы, там! — крикнул Бориска сверху звонким и бесстрашным голосом.

Хрипый, холодный, захлебывающийся вой все приближался и приближался. Анцыферов присел. Отец и сын Ладьянины неподвижно стояли возле крыльца. «Юнкерс» все еще тянул.

— О, господи! — сказал Анцыферов.

Все ниже и ниже ложились нити траассирующих пуль. «Юнкерс» продолжал тянуть. Федор Алексеевич положил руку на неподвижное плечо сына. В это мгновение их обоих забросало землей и щепками, перевернуло, ударило об стену, но они, как бы ничего не почувствовав, крикнули в один голос:

— Бориска, жив?

— В болото кинул, — закричал Бориска, — он думал, что там мост. Шурик, слышишь, он в болото кинул!

Кряхтя и обчищая жилетку обеими ладонями, поднялся Анцыферов. Молча ушел в дом и вернулся через три минуты совсем веселый.

— Теперь в стратосферу полечу, — сказал он, — где моя сивка-бурка вещая каурка? Так куда ж бомбы попадали, молодые люди?

— А в болото, — охотно откликнулся Бориска, — или в озеро. Вот мы завтра с Блохиным пойдем глушеную рыбу искать. Пойдем, Блохин?

— В болоте рыбы не бывает, — солидно ответил Блохин, — а даром время терять я не намерен, тем более, что по плану я завтра должен клеить гербарий.

— Но воронки-то нужно осмотреть? — спросил Бориска.

Анцыферов сказал, что полезет к ребятам на крышу.

— Ну его, знаете ли, — добавил он, — не

могу вот эдак гнить. Там оно как-то по-виднее — что к чему.

— Крышу мне продавишь! — сказал Ладыйнин, — ходи полегче. Время военное, где мне новую взять?

Точно огромная кошка, старик Анцыферов взобрался по стремянке наверх, смешно мяукнула и спросил у ребят, берут ли они его в компанию. Опять загрохотали зенитки. Отец с сыном вернулись в столовую.

— Хороший мужик Анцыферов, — сказал отец, — подходящий мужичок. Много мы с ним попили, почудили много. Чего копаешься?

Александр достал из чемодана небольшой пакетик, аккуратно крепкими пальцами развязал шкертик, неторопливо его смотал и развернул хрустящую бумагу. У старика округлились глаза. Александр улыбался своей прекрасной, широкой и доброй ладыйнинской улыбкой, улыбался он вообще редко, но уж так, что против его улыбки устоять никто не мог.

— Чего такое? — с радостным детским любопытством, перевешивая грузное тело через стол, спросил старик, — чего это, Сашка?

Александр вынул из кармана портсигар, сунул в рот последнюю папиросу, закурил. Он все еще молчал, насаждаясь радостью отца, блеском его глаз, тем, как старик протянул к игрушке руку и отдернулся, испугавшись, — вдруг не ему.

— Чего молчишь, оглушило тебя, что ли? — закричал он. — Кому вещь принес, откуда взял, Сашка? Ну, чего смеешься-то, наказание мое!

— Подарок тебе, — сказал Александр, — лежал в госпитале и построил.

— Раненый?

Александр молчал. Это было ясно само собой — зачем же лежать в госпитале здоровому человеку? Он всегда молчал в тех случаях, когда можно было не отвечать.

— Смотри пожалуйста, — говорил старик, радостно и даже восторженно вертя в пальцах модель поморского корабля, искусно и необыкновенно точно вырезанную руками сына, — ну, скажи, пожалуйста, и откуда что берется в парне? Ведь точно, все точно. Это шестнадцатый век, правильно? В семнадцатом киль на английский манер начали строить, а это именно, что шестнадцатый. Лыкошитные они назывались по той причине, что лыком их спшивали. Молодец, право, молодец. Где ж ты лыко-то достал, чтобы пошить, ведь у вас там никакого лыка и в помине нет. Лапоть, что ли, разодрал старый?

Александр кивнул головой.

— Дед помер, — вздохнул отец, — дед бы оценил, дед это рукоделие как любил, как понимал, не то, что мы, гужееды. Дед

нашу старину поморскую вот как уважал...

Он все еще держал в руках ладью, и было видно, сколько радости она ему доставляет.

Потом поставил ее посредине стола и поглядел на сына, кусая седой ус.

— Военный моряк, — сказал он неожиданно. — Форменный военный моряк.

— От кормщика Алексашки Ладыйнина. Триста лет назад кормщик Алексашка шестнадцать рыбаков поморов от верной смерти спас и с того дня неустанно народ его помнит и память его чтит, а что до военного доверия — только нынче выпало. А? Что ж и настоящий корабль у тебя? С пушками?

Александр смущенно улыбался. Отец, вдруг, сделавшись серьезным, осмотрел его с ног до головы: парадную тужурку, подкрахмаленный воротничок, погоны с черными просветами, ордена, гвардейский знак, золотые нарукавные нашивки. Потом суровым голосом позвал:

— Поди сюда, военный моряк!

Александр обошел стол, от неожиданно го волнения едва не свалил плетенку с нарезанным хлебом и молча встал перед отцом, глядя ему в глаза твердым и чистым молодым взглядом. Отец поднялся и ладонь его крепко стиснула руку сына возле плеча, там, где под плотным сукном тужурки перекатывались упругие мускулы. Несколько секунд он молчал, вглядываясь пристально и жестко, и рука его все сильнее и сильнее сдавливала руку Александра, потом внезапно он спросил:

— Почему не лег, когда бомбы летели?

— А ты почему не лег? — спросил сын.

Отец коротко усмехнулся.

— Целесообразности не вижу в вашем поведении, — сказал старик, — и на грош не вижу. Или погоны мешают ложиться?

— А тебе что мешает?

Старик опять усмехнулся.

— Помор шапку никогда ни перед кем не ломал, — сказал он жестко. — даже перед морем и то не кланялся. Так меня дед учил, так я тебя учил, так ты своих сынов учить будешь. Что ж, перед морем не кланялся, а перед вонючим вражиной поклонюсь? Давеча мне на парход семьдесят штук высыпали — ничего, отбился. А тут ложиться стану? Пойдем, поглядим!

Вновь они вышли на тихий двор. Звезды покойно мерцали в далеком черном небе. На крыше о чем-то спорили Бориска с Блохиным, и в спор мальчиков настойчиво и не очень уверенно вмешивался капитан Анцыферов.

— Что, нет отбоя? — спросил отец.

— Одного сбили, — ответил Бориска, — только вы ушли, а его и сбили. Эх, и красиво было.

Через несколько минут пришла новая волна самолетов. Зенитки стали бить сна-

чала далеко, потом ближе, потом над рекой, потом у лесных складов. И внезапно в сухие, щелкающие звуки выстрелов вошел новый звук — подвывали моторы.

— Идут! — крикнул сверху Бориска, — ой, вы, там, поберегитесь!

В этом «вы там» было что-то пренебрежительное и вместе с тем очень смелое, мальчишеское, задорное, Александру стало смешно, а отец толкнул его в бок локтем — ему было приятно, что младший ничего не боится.

— Каков? — спросил он.

— Нам не страшен серый волк, — неверным голосом сказал на крыше Анцыферов, — плевал я на них на всех.

Самолеты приближались.

— Они все по мосту бьют, — сказал отец, — и потому у нас райончик такой шумный. А мост им никак не дается.

— Помнишь «Осетра»? — спросил он вдруг.

— Помню.

— А знаешь, что мы тогда вместе с тобой едва не накрылись?

Александр повернулся к отцу, чтобы спросить, как же это случилось, и в эту секунду услышал звук пикирующего самолета. Рука отца неподвижно лежала на его плече. Лицо было слегка поднято к звездному небу — спокойное, твердое, холодное лицо морехода.

Бомбы с воем ринулись на землю одна за другой, четыре штуки, Александр же без внутренней усмешки собрал силы для того, чтобы не дрогнуть под рукой отца. Это было глупо — он знал. Но отец с детства внушал ему глупости такого рода. И не раз в море он вспоминал эту странную науку с чувством благодарности к отцу.

Бомбы разрывались за соседним амбаром, так по крайней мере показалось Александру. Чудовищный, скрежещущий грохот, оранжевое пламя, камень, доски, чей-то длинный, захлебывающийся визг — все смешалось, наступила удивительная тишина, и тьма сомкнулась такая, что Александр не увидел даже отцовского лица.

И тем страннее было ему услышать пронзительный борискин голос с крыши:

— Мы живы, а вы как?

II. ВАРЯ

Тут он и встретил ее посередине улицы, на которой текла черная от сажи вода, меж каких-то брезентовых шлангов, в летящих по предугрошенному ветру хлопьях, копоти, в треске пожара, в уханье, столах, грохоте съедаемых пламенем бревен, досок, среди пожарных автомашин и пожарников в медных касках, среди измученных милиционеров, среди врачей, санитаров, саперов, которые работали вместе с пожарниками, среди домашнего скота — расколотых комо-

дов и шкафов, выброшенных со второго этажа на мостовую, швейных машин и узлов, среди плачущих детей и женщин с потерянными глазами, стариков, которые слабо охали, глядя на пожар, старух с трясущимися головами среди криков, плача, свистков, автомобильных гудков, сипения шлангов... Она стояла тут тихая, бледная, в белом платье, сложив руки на груди и глядя еветлыми глазами северянки в золотисто-белое тление углей, оставшихся от сгоревшего дома.

— Варя! — позвал он ее, не очень уверенный, что это она и есть. Голова ее с короткими косичками, заплетенными, наверное, на ночь, повернулась к нему, и он увидел ее лицо таким, каким оно представлялась ему все эти годы — доверчивое с веснушками у вздернутого носа и чуть припухшими губами, с ямочками на щеках.

Она глядела на него, не узнавая или не понимая, что ему нужно.

«Может быть, это не Варя?» — подумал Ладыйнин.

Но, нет, это была она: она и раньше, еще в детстве держала так руки, сложив на груди, и раньше умела смотреть, будто не узнавая, когда задумывалась, и раньше выражение особой радостной доверчивости вспыхивало в ее милых, светлоглубых глазах.

— Варя, — сказал он дрогнувшим голосом, — Варя, это я, Саша.

Она чуть откинула голову и вся точно осветилась изнутри, губы ее дрогнули, одну руку она протянула к Ладыйнину, будто собираясь обнять, но тотчас же отдернула назад и тонкими пальцами взяла его за рукав кителя, приглядываясь к нему с радостным, счастливым изумлением.

— Как я тебя искала, — негромко, глядя ему в глаза, сказала она, — как я тебя искала, Саша!

Сердце его забило от ожидания счастья, он весь вытянулся перед ней, замер, затих, но она ничего больше не сказала, только покачивала головой с торчащими косичками — она все еще не верила себе. Тогда он взял ее за руку и сказал, улыбаясь, не в силах скрыть, что было у него на душе:

— Пойдем отсюда.

— Куда? — спросила она. — Я же погорела. У меня ничего нет. Вот такая.

— Какая? — спросил он.

— Почти голая, — сказала она. — Я спала, устала очень, ничего не слышала и пожара не слышала. Саша, — вдруг воскликнула она, холодными, слабыми пальцами сжимая его руку, — Саша, неужели это ты?

— Точно, — ответил он, — точно, я!

Пожарные поволокли шланг мимо них, и мокрая кишка ударила Варю по ногам,

она пошатнулась, и Ладнин подхватил ее и поставил, точно она была совсем маленькой и легкой. Она и в самом деле была такой сейчас для него.

— Пойдем же! — сказал он, — тут все равно делать нечего. Пойдем! — Он взял ее под руку и повел в чернеющую улицу. Чем дальше они шли, тем гуще и темнее делалась ночь и тем ближе становилась Ладнину Варя. Так они вышли на набережную. Тут под тонкими, смутно белыми березами, у воды, в которой мелькали какие-то далекие розовые отсветы, он остановился и спросил:

— Ну?

Несколько секунд она молчала, потом вспыхнула и закрыла лицо руками.

— Вот и зря! — сказал он, испытывая счастье, что будет ее сейчас утешать, что они вдвоем, что сбылся давний, мучительный сон.

Она все плакала.

Ладнин отнял ее ладони от лица, но ничего не увидел, кроме смутно белющего лба, да спутанных светлых волос. Она плакала с открытым лицом, совсем близко от него и он не знал, что надо ей сказать, как утешить, какие найти слова.

Подъезжая калесоном, проехала машина санитарного транспорта, осветила на мгновение синим лучом варини глаза, и вновь стало темно, как в могиле...

— О чем ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, — сказала она дрожащим голосом, — наверное, обо всем.

— Не плачь. Не надо плакать. Все будет хорошо.

Одной рукой он взял ее за локоть, а другой стал гладить по волосам, по жестким косичкам, по мокрым от слез щекам. Тогда внезапно она вырвалась от него, решив, что он, наверное, ничего не знает.

— Ты думаешь... — спросила она, — ты можешь быть, думаешь...

— Ничего я не думаю, — спокойно и твердо сказал он, — Я все хорошо знаю.

Он чувствовал, что она смотрит на него с испугом. Но в голосе ее звучала надежда, когда она спросила:

— Все-таки? Что же?

— Все! — с ласковой, но неколебимой твердостью ответил он: — Все... пойдем!

Она повиновалась ему покорно, с радостью, ей было приятно слушаться его, солнцем долго она была одна. А у него за эти годы сделались такие твердые, сильные руки, так спокоен стал его взор. — Где ты был это время? — спросила она.

— Рядом.

— И на суше тоже?

— Также.

Так, то молча, то разговаривая, дошли они до пылающей поленицы — сюда попала зажигалка, и теперь дрова догорали

без всякой помехи, на пустыре, у воды. Всполох зарево осветило Ладнина, Варя остановилась со своей, так хорошо ему знакомой внезапностью:

— Я на тебя посмотрю сейчас, — сказала она, — я даже на тебя не посмотрела. Что это за ленточка на пиджаке?

— Это не пиджак, а китель, — сказал он немножко резко, — мы не носим пиджаки. А ленточка — гвардейская...

На мгновение ему представилось то ненавистное, длинное, суховатое лицо с трубкой в зубах и тот, в полосочку, пиджак и галстук, повязанный с умышленной небрежностью.

— Значит, ты — гвардеец?

— Значит! — сказал он.

— А ордена за что тебе дали? — спросила она.

— За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, — сказал он, — вот за что.

— А это? — спросила Варя, — вот эти нашивочки, что они значат?

— Они значат, что я был ранен, — сказал Ладнин. — Пойдем. Холодно.

— Но куда же мы пойдем? — воскликнула Варя, — нам же некуда идти. Разве ты не понимаешь?

Вновь он взял ее под руку и почти молча довел до дома отца. У калитки они остановились на мгновение.

— Твой отец меня ненавидит, — сказала Варя, — не позволит даже войти к вам. Ты же знаешь, какой у него характер.

Александр не ответил. Еще раз с нежностью и любовью он посмотрел на белокурую голову, на милый лоб, на покатые, худенькие плечи. И открыл громко заскрипевшую калитку. Варя не двинулась.

— Иди же! — сказал он.

Она оглянулась на него и покорно пошла.

Отец сидел в своем кресле и пил чай из огромной низкой чашки. Чай был крепкий, совершенно черный. Варя успела увидеть все, пока он на нее смотрел, сначала удивленно, потом с добродушным презрением.

— Здравствуйте, капитан! — сказала она тихо и робко, но в то же время с некоторым вызовом — в этом был весь ее характер.

— Здравствуйте, Варвара, — ответил старик.

Поднялся, протянул ей руку и, пряча усмешку в усах, вдруг заговорил о том, как на пожарнице поймал вора. А, рассказывая, сделал так, что Варя, помимо своей воли, оказалась сидящей в кресле, перед ней вкусно дымилась чашка горячего чая, стоял хлеб, заливное, нарезанный пирог, сахар. Дело было, конечно, не в том, как старик поймал вора на пожарнице, и не в том, как вор тащил краде-

ную шубу, и не в том, как старик остановил его, а дело было в удивительной сердечной деликатности отца, в том, как избавил он от трудного, быть может, даже мучительного первого разговора с объяснениями, вопросами, с неизбежными недоговоренностями и неловкостями. А когда Варя уже пила чай, он сказал:

— Что больно легко оделась? Ночи пошли холодные, осень...

— Она погорела, — ответил за Варю Александр, — вот выскочила.

— Тогда голосить надо, — сказал старик, — погорелец, он всегда голосит.

Подумал и спросил:

— Где же жить будет?

— У нас! — опять ответил Александр.

Снизу вверх, но не без удивления взглянула на этот раз старик на сына.

— У нас?

— У нас, — повторил Александр, со спокойной уверенностью в голосе.

— погоди, Саша, — заливаясь мучительным румянцем, вмешалась Варя, — погоди на минуточку, ты ведь даже не знаешь, у меня есть где жить, у меня подруга есть, Зойка Тарасова, я у нее поселюсь, мне ведь совсем даже просто устроиться...

Она никак не могла остановиться, гордость и стыд мучили ее, надо было говорить и даже посмеиваться, потому что иначе старик мог ведь сказать, что ей тут жить негде, или, что он не может ее устроить с пропиской, или еще что-нибудь такое, в этом роде, — холодное и казенное, но совершенно справедливое... На что могла претендовать она, какие у нее могли быть обиды при ее неизмеримой вине перед этой семьей?..

Но старик перебил ее. Он любил говорить еще более властно, чем сын. Пока она болтала, он не слушал, что-то обдумывал, упрямо и сердито морща лоб, а теперь вдруг залом допила холодный чай и сказал, что Александр нынче воюет и дома не живет, комната его свободна и, разумеется, очень будет приятно, если Варвара тут поселится. Да и веселее будет.

Варя потупилась, Александр свертывал шапирскую крепкими пальцами.

— Подходит? — спросил отец. — Дорого за комнату не возьмем, по государственной цене, рублей сорок пять-пятьдесят от силы.

В глазах у него прыгали веселые огоньки.

— Вишня хочешь с устатку?

— Не знаю, — тихо сказала она, и голос ее дрогнул, она могла расплакаться в эту минуту. — Я не очень устала...

— Не знаю, не очень, — передразнил старик. — то-то папаша все норовил в море не ходить, дома спал да книжки читал. Не знаю!

Он налил ей и сделал вид, что не ви-

дит, как выкатилась слеза из ее глаза и капнула на блюдечко, а потом поискал по карманам и вышел, будто отыскивать что-то.

Дрожащими пальцами Варя взяла бокал и отпила немного, а потом посмотрела в глаза Александру и вдруг сразу выпила все, засмеялась, точно не замечая своих слез, встала и пошла по комнате, держась пальцами за виски и приговаривая:

— Опять я тут. Боже мой, опять я тут. Точно в детстве. Точно в школе. Точно не было ничего этого...

Испуганно посмотрела на Александра и спросила:

— Я смешная? Ты смеешься надо мной?

— Нет, — ответил он, — ты не смешная.

— Ты правду говоришь?

— Правду.

Она подошла к нему близко, почти вплотную, взяла его за сукно тужурки и спросила:

— Вы оба хотите поразить меня своим великодушием? Убить?

— Как? — не понял он, и Варя почувствовала, что этого не стоило говорить, такие вещи были всегда ему чужды.

Ей было холодно, она прожала, стоя перед ним в своем белом платье, и все смотрела ему в глаза, стараясь что-то отгадать, прочесть, высчитать. Но он смотрел на нее чистым и добрым взглядом, и она опять не поняла, что он весь тут, в этом прямом взгляде, в этой твердой преданности, в этой простоте. Не поняла, но вспомнила, как его дразнили в школе, вспомнила не само слово, а что-то связанное с его прямоотой, простотой, с тем чистым и ясным, что всегда возникало в его присутствии. И вновь ей захотелось его поддержки, захотелось, чтобы он погладил ее по голове, как тогда в школе, когда она провалилась по алгебре, а он — старшеклассник — жалел ее и говорил ей басом:

— Да, это мы запросто нагоним. Тут и делов — одни пустяки. Ты сама сообрази, голова садовая, сама подумай..

А она редела, сморкалась и причитала, что все кончено, что ее не надо утешать...

— Холодно, — сказала она, — очень холодно. Какая ночь ужасная..

— Да, ночка! — ответил он, — Что ж, ежели устала, пойдем, я тебя устрою..

С бьющимся сердцем она пошла в мезонин, в ту комнату, в которой была три года назад. О, как прекрасно, как великолепно было тогда у нее на сердце и как она сама все это испортила, смяла, исковеркала...

И лестница — она так же скрипит и такие же странные у нее ступеньки, обитые медью, как на пароходе. И поворот на шестой ступеньке. И дверь так же светится там наверху.

Варя дрожала все сильнее. Еще не войдя, она уже видела комнату, которую пристроил отец Ладынин для своего первенца, чтобы был моряком, чтобы с детства привыкал к тому, что у них называется каютой и что для женщин связано со страхом за мужа, отца, брата, со свирепым, суровым, беспощадным морем...

Тут, на лестнице, она разом представила себе все: окна — странные и круглые, которые называются иллюминаторами, кровать с выдвижными деревянными ящиками, стол, книги, карты, линейки, какие-то приборы, названия которых она так и не могла запомнить, а на столе, в желтенькой, светлой рамке — она сама, ее фотография того времени. Конечно, теперь нет этой фотографии и, конечно, теперь все изменилось...

Она отворила дверь.

Комната была такая же, и первое, что она увидела, войдя, — это желтенькая рамка, которая стояла слева. Но кто, кто в этой рамке?

Очень быстро, так быстро, что он, наверное, это заметил, она пошла к столу и взяла в руки рамку: это был ее портрет, тот самый, и только в углу, внизу, была еще маленькая прошлогодняя карточка, та, где она снялась для удостоверения и которую фотограф выставил в уличной витрине.

— Откуда у тебя это, Саша? — спросила она.

— Я купил это у фотографа, — ответил он, — четыре штуки купил, больше у него не было.

Варя обернулась, все еще держа фотографию в руке. Ладынин раскладывал на своей высокой кровати свежие простыни, серебристо белые, хрустящие, добротные, как все в этом доме.

— Тут будет тебе полотенце, — говорил он, — и вообще запомни, где у меня что. А тут у меня есть отрез на костюм, так себе материальчик, но, поскольку ты теперь погорелец, — пригодится, построишь себе пальто или чего там нужно. Ну, вода в кувшине. Мыло, зубной порошок — вот, гляди, я тебе отсыпая. Свет здесь тушится, вот — выключатель...

Она молча следила за его движениями, смотрела, с какой свободой, умением и сноровкой перекладывает он вещи, белье, мелочи.

Потом, собрав для себя сверток, он сказал: «Что ж, валяй, спи», — и улыбнулся доброй школьной своей улыбкой.

Но вдруг ей стала невыносимой мысль, что он уходит, и она сказала ему, что еще рано, что она не хочет спать, пусть он посидит немного.

— Куда там рано, — сказал он, — утро на дворе...

И открыл окно.

Там, действительно, было утро — свежее, туманное.

— Ложись, нечего, — сказал он голосом отца, — укройся, да спи! — И пошел к двери. Но Варя опять окликнула его. И вновь он обернулся к ней.

— Саша, — спросила она, — скажи правду, кто мне деньги посылает?

Он перестал улыбаться. Краска выступила у него на висках.

— Ты знал, как я живу?

Он опустил голову и тихо сказал:

— Я знал, что твой брат погиб. Я знал, что... я знал, что ты одна. Я думал.

Варя все дрожала. Белый туман вливался в окно.

— Зачем же ты это делал? — со слезами в голосе спросила она. — Зачем ты был со мной таким, когда я... Нет, зачем тебе нужно было это делать?

Он смотрел на нее, недоумевая. Он опять не понимал, о чем она говорит, как никогда не понимал таких вещей. И почти сердито он спросил ее:

— Но разве, я не сказал, что всегда буду помнить о тебе? И какое мне было дело, что ты... — он пропустил слово, — это было не мое дело. Вот и все. Спи!

Ушел и закрыл за собой дверь.

Варя еще постояла на месте, взглядом провожая его шаги по лестнице. Потом сбросила стоптанные туфли с узких, маленьких ног, дрожая укрывшись с головой одеялом и замерла, точно неживая.

III. УТРЕННИЙ РАЗГОВОР

Окна в столовой были открыты настежь — за окнами сплошное стенообразование, ватный туман. На столе запыленно пел самовар. Отец по-прежнему сидел на своем месте — перед чашкой с черным чаем. Положив кисти рук на живот, навалившись боком на подлокотник кресла, сщутив умные, чуть дальновзорные глаза, он смотрел прямо перед собой на старинную гравюру, купленную прадедом в Голландии, и посмеивался в усы.

— Вот говорю, — сказал он, увидев сына, — вот сижу и думаю: под картинкой подписано — первые навигаторы вежливо беседуя, берут высоты светила инструментом, грандшток называемым, и астрономию изучают. Хороши первые! Наши-то в это время куда только не хаживали, вот на таких-то ладьях...

Он показал пальцами на модель, вырезанную Александром, и вновь залюбовался ею. Повертел в руке, поставил и налил сыну чаю. Потом спросил:

— Тоже полунощничать любишь? Пей вот, на заре хорошо почайнить.

Александр сел и подумал, что столовая в отцовском доме всегда чем-то напоминает кают-компанию на корабле в далеком походе. Так же, порою, заходя к отцу командиры после вахты выпить чаю, согреться, перекинуться двумя-тре-

мя словами, и так же засиживаются за большим уютным столом, как засиживаются в кают-компаниях в далеких плаваниях. Может быть, отец потому и любил эти ночные разговоры за столом, когда бывал на берегу, что ему тоже они напоминали парход, дальний рейс, уже убранный стол с одинокими стаканами чаю, поскрипывание переборок, плеск воды за отдраенными иллюминаторами.

Посапывая носом, старик неожиданно предложил:

— Ну что ж... Посидим, помолчим! Бывали у нас в роду молчаливники и не такие, как ты... — Он покрутил головой. — Ведь сколько мы с тобой не виделись, а? И что ты мне рассказал? Как тебя на корабле такого терпят?

— Тяжело терпят, — улыбаясь, сказал Александр.

— Ты и там молчишь?

— Молчу! — с виноватой улыбкой сказал он. — Когда спросят, — отвечаю, а больше — молчу.

— Что ж, они про тебя думают?

— Сухарь, наверное, думают.

— Да ты на сухаря-то непохож. И корабль у тебя гвардейский. Врешь ты все. Там, небось, вон как разговариваешь, с отцом только говорить не о чем.

Яркими своими глазами Александр посмотрел на отца. Подумал и сказал:

— Разговорами корабль гвардейским не сделаешь. Есть у меня один знакомый — Корнев. Вот тот действительно разговаривает...

Александр усмехнулся, и отец вдруг увидел, — какая у него взрослая, совсем невестная усмешка.

— Изменился ты, — сказал старик.

Сын большими глотками жадно пил чай. В левой руке дымилась у него папироса: «Тоже ладынинская привычка», — отметил про себя старик, — обязательно чай пить с папиросой и вот так ее держать. Да и все ладынинское — и вот эта новая усмешка. Только вот не женится, никак не женится». И неожиданно для себя старик спросил:

— Что ж с Варварой? Договорились?

— Нет, — сказал Александр. — Успеем.

Мелкие капли пота выступили у него на висках. Было видно, что ему трудно говорить о Варваре. Но он пересилил себя и, глядя прямо в глаза отцу — у него была такая манера: чем труднее для него разговор, тем прямее и тверже глядел он в глаза собеседнику, — заговорил:

— Кстати, я тебя хотел спросить. Попрошу, — он не умел произносить это слово, оно звучало у него больше приказанием, чем просьбой, — попрошу тебя лично, отец, как-раз по поводу Варвары. Одной женщине трудно. Пусть она тут живет...

Ему было так трудно говорить, что

отец даже пошевелился в кресле — оно затрещало.

— Так вот, — сказал Александр. — Вот, собственно, и все.

— Ясно! — ответил старик.

Александр вытер потное лицо платком. Ему казалось, что весь сегодняшний вечер, всю ночь и все утро он только и делает, что говорит, да еще на какие темы...

— Ясно! — веселым голосом, чтобы сыну стало легче, повторил отец. И перевел разговор на другую тему. — Это хорошо, что тебе нравится морская служба. Ты свою мамашу не помнишь, но я тебе должен сообщить, что женщина она была хоть и домовитая, и добрая, и красивая, но... сырая... И моря боялась, а потому была для нашего рода как-то посторонней. Понял? Врости не могла в семейство наше, а поскольку в семействе нашем не могло обходиться без покойников, — то одного море возьмет, то другого, — она, мамаша, вовсе море возненавидела и положила себе добиться того, чтобы я море бросил и перешел в морские чиновники, в пароходство старшим инспектором. Говорил я тебе об этом?

— Нет, — сказал Александр.

— То-то, что не говорил. Старшим инспектором — видишь ты — комнатным моряком. Ну, что ж! А надо тебе сказать, что я с детских лет своих мечтал в орлы вырасти, лихость в себе растил и думал, что люди должны на лихость мою смотреть почти что с восторгом. А тут вышло, что ей, мамаше, накакого восторга нет, а только одно беспокойство и порча нервов. Все она надо мной кулакала и всяко меня корила, что я об ней не думаю, об детях не думаю, о семье не беспокоюсь, а ради своего тщеславия колобужу. И вот, Саша, однажды, покричав так, дала она себе зарок, что никто из ее детей в моряки не выйдет и ни в какие моря ходить не будет, а будут, дескать, дети ее при ней, на берегу, в чиновниках, по воскресеньям на бульваре гулять и разное такое прочее. Что же касается до тебя, то мамаша решила твердо отдать тебя, когда вырастешь, в... аптекарские ученики! Чтобы открыл ты в будущем собственную аптеку и с вывеской золотом по черному пущенной: А. Ф. Ладынин.

Старик сердито усмехнулся и белыми, крепкими зубами закусил седой ус.

— А. Ф. Ладынин, — повторил он. — Ты мал еще, не понимаешь, как меня тогда это шибало. Чтобы мой сын, старший в семье мой, да чтобы он среди вонючих порошков жизнь свою провел, касторкой торговал, в клистирные мастера вышел... Совсем я тогда голову потерял от злости и тоже поднял крик. Ну, она молчит. Была у нее такая манера — помакивать, когда я кричу, за голову ладошкой держаться и все это с кроткой улыбкой.

Чтобы, значит, это я понял, какой я жулик и хам, и грубиян. И я, действительно, всегда робел до этого случая, а тут остервенел, и робость мою как рукой сняло. Подошел вот к этому самому буфету, налил себе стакан рому, хлопнул, — э, думаю, что в самом деле, еще подошел, еще налил, еще хлопнул и сказал: «Извините, говорю, Клавдия Никаноровна. Извините. Но Ладынины на берегу не живут. И будет у меня по-моему, а не по-вашему. А для того, чтобы без крику нам обойтись и нашу, так называемую, семейную жизнь закончить прилично, в рамках, решаю так: кем Александр надумает, тем он и будет»...

Старик вычистил трубку над пепельницей, вновь набил ее и сказал:

— Не дождалась Клавдия Никаноровна твоего решения. Померла. Что ж, может, теперь бы и одобрила. Но вряд ли. Серьезного характера была женщина.

Он все еще вспоминал прошлое и не заметил, как Александр вышел.

Варя спала, завернувшись в одеяло. Дыхания ее почти не было слышно. Туман рассеялся почти совсем. Лучи утреннего солнца били в комнату, в раскрытое окно, играли на зеркале умывальника, на чернильном приборе, на стеклах фотографий...

Присев на корточки, Александр близко заглянул в спящие, закрытые глаза и вдруг заметил, что подушка у глаз мокрая от слез. Конечно Варя плакала, так в слезах и заснула, как засыпают обиженные дети. А он, уходя давеча отсюда, видел, что ей тяжело и трудно и не мог найти ни одного человеческого слова — ушел сухарь-сухарем...

Варя тихо вздохнула во сне. Он посмотрел на нее, потом взглянул и упал на стоптанные, в дырках ее туфли. Он присел к столу и написал записку:

«В шкафу, в левом ящике лежит пара подметок. Подм. хорошие, спиртовые. Отдай починить туфли. А.»

И вышел.

В столовой надел плащ, молча, за руку, попрощался с отцом. Отец ждал его тут, покуривая, и Александру было приятно, что старик провожает его. Они не поцеловались, и ни отец, ни сын не сказали ни единого слова, и в том, как они пожали друг другу руки, тоже не было ничего значительного, ничего такого, отчего может прошибить слеза.

Потом старик проводил сына до двери столовой и вернулся, а Александр один вышел на крыльцо родного дома, вдохнул полной грудью свежего утреннего воздуха и пошел к калитке. Отворил и улыбнулся: тут, на улице, возле дома, стояли на утреннем солнышке Бориска и Блохин. У Бориски в руке было ведро, а у Блохина палка с приделанной к ней сеткой. Оба мальчика были какие-то

не выспавшиеся, у Блохина глаза не совсем открывались, и он был сердитый, а Бориска — розовый, со следами подушки на лице — за что-то его ругал.

— О! — сказал он, увидев Александра, — куда это ты? На корабль?

— На корабль, — сказал Ладынин.

Бориска с молчаливым восхищением и с завистью смотрел на брата.

— Что ж ты в плаще? — сказал он. — Орденов не видно. И гвардейского знака не видно.

— Ничего не поделаешь, — ответил Александр.

— Так ведь не холодно, — с досадой в голосе сказал Бориска. — Взял бы плащ на руку. А?

Ладынин молча улыбнулся. Бориска был смешон в кепке с пуговицей, в перелицованном пиджаке с заплатой на локте, очень розовый. Одно ухо у него подогнулось под кепкой. Блохин смотрел на Александра одним глазом, другой у него как будто еще спал.

Бориска сильно дернул носом и сказал, что они идут на речку посмотреть, нет ли гаушной рыбы. Ночью в речку упало несколько фугасных бомб, и рыба, на верное, найдется.

— Да вот Блохин никак проснуться не может, — сердито добавил Бориска. — Вот опять спит. Эй, Блохин! Спишь?

— Не сплю, — сухо и веско сказал Блохин. — Странно даже.

Не без труда он оторвался от забора, возле которого стоял, и тотчас же вырвал свою палку с сеткой. Поднял палку и вздохнул.

Пошли все втроем. Бориска норовил шагать по тротуару рядом с братом, а Блохин шел сзади и два раза под ряд наступил Бориске на пятку. Тротуар был дощатый, узкий, идти рядом было трудно, Бориска часто оступался, а порою шел возле тротуара, но не отставал ни на шаг. Когда вышли к собору, Александр сказал, что дальше им уж не по пути, но Бориска ответил, что они, пожалуй, проводят его.

— Проводим, Блохин?

— Прекрасно, — вяло сказал Блохин. — Чудесно.

Бориска начал рассказывать что-то длинное и, повидимому, смешное, потому что он сам часто и весело смеялся, но Александр почти не слушал его, думал о своем: о городе, по которому они сейчас шли, вспоминал свою юность, школьные годы, школу. Вот она сейчас будет за углом — старое кирпичное здание с двумя корявыми берегами у парадного, с каменными тумбами возле панели, с высокими узкими окнами. Тут учился он, и тут теперь учится Бориска и, быть может, сидит на той самой паре, на которой когда-то сидел он. И тут, возле школы, на выпускном вечере, они разговаривали с одним человеком, которо-

го уже нет в 'живых', клялись, что будут вечно друзьями, что никогда не поссорятся, что всегда будут писать друг другу и, если будет возможно, постараются попасть на один корабль.

С волнением, так несвойственным его спокойной натуре, Ладынин подходил к старому дому с мезонином, за которым был поворот и школа. Но что-то бессознательно удивило его — он не понял даже что именно, когда Бориска закричал и, показывая наверх рукой, побежал вперед и скрылся за углом. Александр поднял голову и увидел, что провода возле тротуара оборваны и висят, а столб на углу повален, в доме жес мезонином нет ни одного стекла и, кроме того, дом весь перекосялся, выгнулся и крыша на нем съехала набок...

Александр ускорил шаг и через несколько минут очутился перед тем, что было когда-то его школой. Тут уже стояло много мальчиков и девочек, девушек и юношей, и у всех у них были испуганные глаза, а многие были бледны и один бледный, черноволосый парень в сатиновой рубашке громко говорил:

— Я видел, как он сюда пикировал. И Вениаминов тоже видел. Помнишь, Вениаминов? Мы из слухового окна смотрели...

Маленький мальчик в фуражке военного образца, из-под которого виднелся только рот, измазанный черникой, громко и тонко сказал:

— Я сам видел. Он четыре штуки сюда положил. Ка-ак даст!

И руками он показал это «даст».

Какая-то длинноногая девочка плакала, вытирая слезы пальцем, и говорила, всхлипывая:

— А я учебники забыла. Зоология чужая, мне Лилька задала.

— Накрылась твоя зоология, — сказал мальчишка в военной фуражке. — Зоология что? А вот у Фурмана два живых воробья накрылись — он их для кабинета принес и в клетке оставил. Еще не знает.

Развалины школы густо дымили черным, тяжелым дымом. Пахло гарью, и все вокруг теперь странно и страшно изменилось по сравнению с тем временем, когда Александр учился. Точно голая, вылезла откуда-то глухая, закопченная стена. Разодранная береза повисла на проводах с другой стороны улицы. Вывороченные радиаторы, трубы, металлические баки — все это дико перемешалось, перепуталось.

Позеленевший Бориска вдруг подошел к Александру и спросил у него удивленно и злобно:

— Это что же, а? Это что, Саша?

Александр не ответил. Бориска стоял перед ним, широко расставив ноги.

— Которые ребята зажигалки со школы сбрасывали, погибли, — сказал он. —

Из девятого «а» Корелин Вова и Сережа Ивашкин. Вот Ивашкина Ольга Андреевна ходит — видишь?

Александр посмотрел туда, куда показывал Бориска. Там, в дыму, ходила женщина, полуодетая, со странной улыбкой на дрожащих губах, с нетвердыми жестами, прихрамывающая. Она что-то говорила, и всем, что тут стояло, было страшно на нее смотреть, и, когда она подошла ближе, дети отбежали от нее, пятась, тараща глаза.

— Сумасшедшая! — шопотом сказал Бориска и отступил за брата, — совсем сумасшедшая.

Ольга Андреевна со своей дрожащей, виноватой улыбкой шла к Александру. Глаза у нее были ясные, и он, знающий, что такое война, и навидевшийся на ней всякого, сразу же понял, что Ольга Андреевна вовсе не сумасшедшая, что она его узнала, и он пошел ей навстречу, чтобы поздороваться и увести ее отсюда. Но из первых ее слов он ничего не понял, она заговаривалась и только потом понял, что она все еще ищет своего Сережу и не верит, что ничего не осталось от ее мальчика.

— Пойдемте, Ольга Андреевна, — говорил он ей, — пойдемте, я вас провожу. Мне с вами потолковать надо, у меня к вам поручение от Валентина, он просил вас сказать кое-что и передать мне вам надо. Ну, пойдемте же...

Она слабо упиралась и пыталась что-то ответить ему, а он вел ее и не обращал внимания на людей, которые оборачивались к ним, не видел, что неподалеку шествует целая толпа. Голос у него у самого срывался, когда он уговаривал ее и, уговаривая, он все думал, как же ему рассказать Валентину, какие слова найти, с чего начать.

На половине пути Ольга Андреевна вдруг стала вырываться и говорить, что ей обязательно надо назад, в школу, и с внезапной силой вырвалась от Александра. Он догнал ее, когда она перебежала улицу и когда какая-то машина, визжа тормозами, остановилась в двух шагах от Ивашкиной.

Шофер приоткрыл дверцу автомобиля и стал грубо кричать, а Ладынин, держа одной рукой Ольгу Андреевну за рукав, подошел вплотную к шоферу и спросил, куда он едет.

— Вам какое дело? — сказал шофер.

Но Александр дверцу не пустил, наоборот, он еще сильнее потянул ее к себе и заглянул в машину, стекла которой были занавешаны зелеными шторами.

— Чья машина? — спросил Александр.

— Машина моя, — ответил сияющий голос. — В чем дело?

Александр, наконец, разглядел за бортом чемоданов, корзин и ящиков штатского человека средних лет, который держал на коленях большое зеркало.

— Прошу довести больную женщину до дому, — сказал Ладынин, и слово «прошу» прозвучало у него властно и твердо.

Штатский человек вдруг вытянул вперед шею и закричал, что это его персональная машина, а не скорая помощь и что он требует оставить его в покое и немедленно отпустить дверцу.

— Женщина больна, — повторил Ладынин. — Я спешу. Куда идет машина?

— А ну, отойди отсюда! — вдруг пронзительно закричал шофер и хотел захлопнуть дверцу, но в одно мгновение сам оказался выброшенным со своего места на булыжники мостовой, вскопчил, поскользнулся и снова упал под восторженный смех зевак.

Ладынин стоял возле машины очень бледный, не выпуская Ольгу Андреевну, прямой, какой-то даже вытянувшийся. Шофер, наконец, вскопчил. Усатое его лицо выражало бешенство. Медленно на кривых ногах он шел на Александра до того мгновенья, пока Ладынин вдруг не сказал своим негромким, стегнувшим точно бы голосом:

— Смирно!

Шофер остановился. Глаза Ладынина блеснули.

— Как стоите? — крикнул он. — Стоять смирно! Ну!

Краска отлила от лица усатого шофера. Мигая, под взглядом Александра, он непроизвольно, сам не замечая, весь вытянулся, вобрал живот и от усердия и страха даже приоткрыл рот.

Ладынин обернулся к штатскому. Короткими словами он потребовал, чтобы машина все-таки была отпущена. Штатский с зеркалом сказал, видимо, опасаясь скандала, что он не возражает, но вещи — что делать с вещами?

— Ничего особенного, — ответил Ладынин, — часть вы тут выгрузите, а остальное останется в машине.

Штатский послушно вылез, не оставляя зеркала. Но когда шофер начал вынимать чемоданы и ящики, штатский вдруг расшвыривал и спросил:

— А вы, собственно, кто такой?

— Гвардии старший лейтенант Ладынин, — сказал Александр. Помолчал и добавил: — Как видно, вы эвакуируетесь. Дело не спешное. Сегодня налета не будет, погода не такая.

Штатский молчал. Круглое его лицо с торчащими красными ушами покрылось потом.

— Вас это не касается, — сказал он. — Вывожу научный архив, это мое дело.

— И зеркало тоже научное? — спросил Александр, садясь в машину и захлопывая за собой дверцу.

На Ольгу Андреевну напало какое-то странное, полудремотное состояние. Она молчала, не плакала, только порою вся вздрагивала. Так, молча, доехали они до знакомого дома с палисадником и

скамеечкой у парадного. Шофер коротким голосом спросил — ждать ли. Александр ответил, чтобы подождать, и отвел Ольгу Андреевну в квартиру. Ее уже искали соседи, знакомый с детства врач покуривал у окна..

Ладынин вышел и сел в машину. Рукав у шофера сдвинулся, выше кисти был виден татуированный якорь, звенья цепи, буквы.

— Морях? — спросил Ладынин неприятным голосом.

Шофер, перебирая баранку, ответил, что когда-то плавал.

— Как фамилия?

— Мордвинов, — сказал шофер. — Кирилл Мефодиевич.

— Сына звать Семеном?

— Так точно, — вобрав голову в плечи, сказал шофер.

— Порадую сына папашей, — сухо и коротко произнес Ладынин, — будет ему праздник. Нашли время хулиганить. Сына два раза ранен, героем себя ведет, а папаша тут разворачивается..

Шофер молчал.

Потом прокашлялся и, не поворачиваясь, заговорил:

— Ожесточились. Война, товарищ старший лейтенант. Народ злой стал. Опять же трудности разные. Вы уж меня простите.

Ладынин молчал. Глаза у него сухо и сурово блеснули. Машина остановилась у пристани. Александр вышел и захлопнул дверцу.

— Вы уж извините, товарищ старший лейтенант, — высунувшись, сказал шофер, — очень я вас попрошу. Вы уж Сенке не говорите, ежели встретите. Попрошу вас, товарищ командир, сделайте такое одолжение.

Ладынин ничего не ответил. Шофер еще погодил, потом покрутил головой и так рванул машину, что она, точно жаба, прыгнула вперед и тотчас же исчезла в переулке.

IV. НА КАТЕРЕ

Только на катере, на жесткой скамейке в корме, Ладынин понял, что хочет спать и что хорошо бы сейчас принять душ на корабле, раздеться и вытянуться в кюте на удобном кожаном диване.

Катер шел медленно. Пассажиров было немного — все какие-то незнакомые. Хотя, впрочем, в салончике могли быть и знакомые, Ладынин туда не заглядывал, никого не хотелось видеть.

Свернув папироску, затянувшись, он еще раз посмотрел на город: старые, многовековые здания, приземистые, могучие, сложенные из камня, с окнами, похожими на бойницы, стояли над рекой, над клоками изжелта-белого осеннего тумана, угрюмо глядели вдалеку на широкую, полноводную, осеннюю реку,

на путь в море — в холодный мозглаый океан.

И Ладынин подумал, что этим самым путем приходили и уходили отец, дед, прадед — весь его род, от того самого кормщика, про которого рассказывал давеча отец, а теперь вот уходит он и когда-нибудь будет уходить его сын, также прожывая глазами низкие эти строения, бойницы, погогий берег...

Ах, если бы умел он писать, — какое бы письмо он написал об этом Варе, если бы умел говорить, — как бы рассказывал ей о том, что думает нынче, что передумал за длинные месяцы войны, что переживал, стоя на мостике, поджидая вражеский корабль, отыскивая врага в бескрайнем, огромном море...

Вновь вспомнилась ему школа и та девочка, которая смешно плакала из-за своей зоологии, и лицо Ольги Андреевны, и развороченные раиатор, щепки, стекла, скрипящие под ногами, — деды и прадеды называли бы это бедой. «Ох, беда!» — говорили они, и снаряжались в далекий путь, чтобы итти в море на своих, шитых лыком лаптях и там драться с неприятелем. И слово беда произносили они редко, а когда произносили, то звучало оно у них не жалостливо, не по-бабьи, а жестко, угрожающе, коротко, злобно.

Еще раз Александр посмотрел на город — чужому человеку ничего бы не было видно, но Александр угадывал его, и свою улицу, и место, где должен быть дом и где спит или, быть может, уже проснулась Варя, и где отец собирается на свой транспорт, и где ворчит Глафира, и где Бориска с Блохиным сейчас, наверное, удивляются, как это Варя попала к ним...

Почему он не поговорил с ней толком? Почему он не сказал ей, как мучился и тосковал без нее, как презирал этого ничтожного, с наглой улыбкой, с галстуком-бантиком? Почему не повторил перед ней те слова, которые шептал один во мраке своей жаркой каюты, такие убедительные, настоящие, точные слова?

Но что делать, если язык точно присыхает к глотке? Что делать, если нет для Александра худшего наказания, чем быть душою компании, шутить, валять дурака, говорить красивые, печальные, душевные слова! Что делать?

И вот город исчез, и исчезла Варя, и ничего не сказано. Ведь она даже не знает, что он ее любит, любит всем сердцем, любил всегда и будет любить вечно, до гробовой доски, как было написано в какой-то книге. Именно до гробовой доски, навсегда.

Он закрыл глаза и задумался.

И не заметил, как задремал, а когда проснулся, рядом с ним сидел старик Анцыферов, а немного поодаль Корнев со своей спокойно-самодовольной, сытой улыбкой. Поигрывая голосом, он расска-

зывал старику о том, как потопил лодку и как эту лодку до сих пор не хотят за ним признавать.

— Где же вы сидели? — спросил Ладынин у старика, здороваясь за руку.

— А в салоне, — сказал Корнев, — в шашки играли. Да вот товарищу Анцыферову не понравилось, угорел от бензина...

И Корнев покровительственно похлопал старика по широкому плечу.

«Нехорошо, — подумал, раздражаясь Ладынин. — Нехорошо похлопывает. И говорит нехорошо».

Он нахохлился и молчал, не вмешиваясь в разговор, который вел Корнев все о той же полводной лодке. Но раздражение мешало Ладынину сидеть спокойно, яркие, не умеющие врать, глаза его смотрели недоброжелательно, почти зло, — все не нравилось ему в командире тральщика: и то, как он курил толстую папиросу, и то, как пренебрежительно он усмехался, говоря о своем помощнике, и то, как поглядывал он по сторонам — с превосходством и даже надменностью, а главное не нравилось ему, как Корнев красиво и ловко говорит: каждая фраза сопровождалась у него жестом, голос играл, слова были не обычные. «Совсем артист, — подумал Ладынин, — прямо-таки художественный артист».

Но в это время Корнев обратился к нему.

— Вот, товарищ старший лейтенант может подтвердить, — сказал он. — Может свое мнение изложить полностью. Он присутствовал, когда мы эту лодку гробанули...

— Не гробанули вы ее, — сказал вдруг Ладынин.

— То есть, как?

— Я же вам уже сказал как, — сдерживая бешенство, заговорил Ладынин. — Я вам докладывал...

Корнев усмехнулся и слегка поднял руку.

— Но, позвольте!..

— Да что там позволять или не позволять, — почти крикнул Ладынин. — Вы у меня мое мнение спрашиваете, — он сдержался, — спрашиваете, так? Ведь так?

Корнев кивнул головой.

— И спрашиваете после того, как однажды уже спрашивали и заявили, что я поступаю не по-товарищески. Вы, следовательно, думаете, что стоит меня обвинить в нетоварищеском поступке, как я в лжесвидетели перекинусь? Так?

Хлопая глазами, Анцыферов смотрел на Ладынина. Александр ужасно сейчас напоминал ему старика в те годы, когда оба они были такие, как Корнев и Ладынин сейчас.

— Я, собственно, — усмехаясь, сказал Корнев, — я в ваших подтверждениях совершенно не заинтересован. Просто к слову пришлось.

— Так я вот прошу вас, чтобы больше к слову не приходилось. Агать я не собираюсь. И молчать, когда при мне агут, тоже не умею. Вы же сами отлично знаете, чего стоит соляр на поверхности в таком количестве.

— Но соляра было столько,—приятным голосом начал Корнев,—что сомнений ни у кого в команде не могло возникнуть. И пузырь кроме того. Да, вообще, если вы согласитесь меня спокойно выслушать...

— Это ни к чему,—сказал Ладынин.—в этом вопросе я ничего не решаю. Но мне кажется, что сообщать о потоплении врага мы должны только в том случае, когда совершенно уверены в этом, и даже больше чем уверены. Иначе — это преступление.

Злые искры мелькнули в глазах у Корнева.

— Таким образом, вы обвиняете меня в сознательном обмане, в том, что я нарочно распространяю о себе разные...

Ладынин взглянул в глаза Корневу и негромко сказал:

— Я вам уже однажды это сказал прямо. Разве вы забыли? Так вот я повторяю вам это. Да, вы сознательно распространяете неточную версию о том, что вами якобы потоплена германская подводная лодка. И кончим этот разговор.

Ладынин отвернулся. А Корнев тихо сказал Анцыферову:

— Удивительно, до чего раздражителен человек. Слышать не может об удачах своих товарищей. И не любят же его у нас, должен вам сообщить.

— А тебя любят? — почему-то на «ты» спросил Анцыферов.

И взяв Ладынина за плечо, сказал ему сердитым голосом:

— Пойдем, Шура. Забью тебе сухого. А?

Домно было занято и пришлось играть в шахматы. Анцыферов играл плохо и, как показалось Ладынину, вовсе не был заинтересован в том, чтобы выиграть, играл просто для разговора. Играл и урчал:

— Вот таким и будь, как есть. И правильно, что ему никакой лодки не засчитали. А ты так и режь. Как папаша твой резал. Нет, так нет. А есть, так есть. И стой на этом. Ты думаешь, почему люди столько годов твоего папашу уважали? Вот за это самое. Ты с ним дела не имел, а я имел. Он на какой точке стоит — до смерти стоять будет...

— Шах, — сказал Ладынин.

— И бог с ним, — равнодушно ответил Анцыферов. — А мои слова запомни.

Помолчал и спросил:

— Ты нас конвоировать будешь?

— Не знаю, — сказал Александр.

— Чего не знаю,—ворчливо сказал Анцыферов,—ясное дело и ты со своим ко-

раблем пойдешь. В случае чего, поглядывай—старые все-таки дружки.

Он смешно подмигнул, подтокнул Александра в бок локтем по своей манере и попросил:

— Ты к нам поближе, поближе, а? Под бочок к моей коробке. Пушек-то у тебя. небось, много, корабль, небось, огромный, команды человек тысяча, да?

Александр все улыбался.

— Не расстраивайся,—сказал Анцыферов,—дослужишься. Будешь капитаном первого ранга, встретишь меня на улице, старичка старого, да как закричишь: «Это что за безобразие? Почему тут посторонние старжки гуляют? А ну, убрать постороннего старика с моего пути». А я тебе так жалобно: «Шура, да это я—Анцыферов». А ты мне «Ах, Анцыферов? В таком случае вот вам от меня пятишница на пиво, чтобы вы по улицам не ходили. Не любля. Я, знаете ли, капитан первого ранга, и характер у меня нервный...»

Смеясь своим совсем уже стариковским смехом, он все толкал Александра в бок и говорил нето в шутку, нето серьезно:

— Большой человек будешь, большой будешь командир. Только резок ты больно, Шура, ох, резок. И так это с огнем в глазах прямо и смотришь, так это и поровишь правду-матку всю в глаза, в глаза. А люди всегда ли правду любят, вот где вопрос, вот тебе проклятый вопрос.

— Во время войны особенно нельзя врать,—сказал Александр,—и потому я не сдержался. А в остальном вы правы. Характер у меня плохой, верно...

Он понурился.

Анцыферов что-то говорил еще, потом похлопал его по плечу и ушел в салон спать.

Ладынин вновь вышел на корму кагера. Встречная, легкая, уже морская волна била катеру в скулу, он мерно постукивал мотором и бежал вперед, к морю, переваливаясь, как утка. Круто пахло сырою морской солью, прелью, ветер раскачивал золотые осенние кроны деревьев на низком берегу, срывал листья охапками, гнал навстречу катеру, и пригоршня таких листьев внезапно высыпалась с сухим шелестом Ладынину на колени, на складки серого прорезиненного плаща. Машинально он хотел было сбросить листья на палубу, но раздумал, собрал их в ладонь, крепко сжал и понюхал: совсем уже пожелтевшие, они все-таки пахли жизнью, деревом, на котором росли, лесом и только едва ощути-мо — увяданием...

Рулевой резко переложил руль. Катер, кренясь, стал поворачивать к морю, и Ладынин увидел совсем близко от себя знакомый мысок, а через секунду и остов баржи—полуразвалившейся, черной, сов-

сем иной, чем в тот день, когда они были тут с Варей вдвоем, в тот самый грустный и самый счастливый день его жизни.

Тогда была осень—такая же пора, может быть, и сейчас. Стоя на корме катера, он с необыкновенной ясностью, мгновение за мгновением, вспомнил весь тот день, все подробности того дня, даже цвет ваинового платя, даже ее косынку, даже кошелку, которую держала она в руке, а главное вспомнил выражение ее лица, когда, собрав пригоршню таких вот, пожелтевших листьев, она бросала их в него и улыбалась при этом такою доброю улыбкой, что он чувствовал себя совершенно счастливым.

Это был последний день той его жизни, и только много позже он понял, почему Варя тогда так грустно и так ласково улыбалась. Она просто жалела его. И даже сказала возле баржи, печально глядя ему в лицо:

— Бедный Шурик! Бедный ты, мой Шурик!

Он улыбнулся сейчас, вспомнив эти ее слова. Плохо, когда женщина говорит так, ох, как плохо. Но что он понимал тогда? Разве мог он предположить, что на следующий день она напишет ему то письмо, короткое, сухое, из тридцати двух слов—он до сих пор помнил—ровно тридцать два слова..

Катер обогнул мысок.

Ладынин даже встряхнул головою, чтобы отогнать от себя эти тридцать два слова. Потом вспомнил, что в руке у него все еще зажаты листья, взглянул на них и не выбросил, а повинувшись какому-то безотчетному чувству, сунул их в карман. Что ж, тогда он был молод, совсем молод, мальчишка. Но не так уж был плох тот день. И пусть на память о нем теперь,—он повторил в уме это слово,—теперь останутся у него эти листья.

— Что? Природа? Любуешься? Любишь, ничего. А мой возраст вышел. Я, брат, на тридцать два года тебя перебил. Я, брат, деду твоего, как тебя перед глазами вижу. Зверь был капитан, не то что мы.

— Чем же зверь?—спросил Александр.

— Тем, что капитан был настоящий, а мы так, — и Анцыферов принялся рассказывать про деда, как дед мог пить, сколько он мог съесть, как любили его дедушки и сколько у него в мире детей.

— Будь похосен,—хитро и весело, подмигивая одним глазом говорил Анцыферов,—я тебе, Шура, врать не буду—дед шутить не любил.

Улыбаясь, Ладынин выслушал рассказ о китайских и многих других приключениях деда. Анцыферов рассказывал с ув-

лечением, было видно, что деда он любил до сих пор и что рассказывать ему приятно.

Покуривая и поглядывая вдаль зоркими глазами, Анцыферов рассказал, как дед уже не очень молодым человеком влюбился в дочь одного лесопромышленника и как силой ее увез, хотя она его и не любила, обвенчался с ней в глухомани у пьяного попа, посадил к себе на пароход и ушел в рейс, а назад она вернулась влюбленная в деда на всю жизнь, только и делала, что в рот ему гаядела. Так и прожили в мире и согласии до самой ее смерти.

— Под старость он скромный сделался, — заключил Анцыферов, — все лоцию свою составлял, да модели-корабли строил. Это был капитан, да!

Все сильнее посвистывал ветер, все выше вздымались белые барашки в море.

«Так что же я такое? — думал Ладынин. — Неужели совсем ерунда? Нет. Не так это. Но я все в мыслях своих заносусь. Сужу других и к себе придираюсь. А это неверно. Неверно потому, что я только всего что честный человек. ORDINARY личность, но честный человек. Самый обыкновенный. Но честный. И вот еще кто я...» Он вспомнил Варю, вспомнил ее глаза, ее косички: «Я верный, — подумал он. Обыкновенный, честный и верный. С плохим характером. Сухарь. Э, да ну его к черту!»

Ему надоело думать про себя и он стал думать теперь о своем корабле. Всегда, если бывало ему тяжело или грустно, как только он начинал думать о корабле, все «настроения», как он выражался, точно рукой снимало.

Так было и теперь. Едва вспомнил он Чижова, кают-компанию, голос боцмана, — мигом полегало у него на сердце и все нынешние размышления показались вздором, несерьезной чепухой, чушью

V. НА КОРАБЛЕ

Шел десятый час утра, когда Ладынин поднялся на палубу своего корабля, поздоровался с вахтенным командиром и прошел к себе в каюту бриться, мыться и приводить себя в порядок.

Как и всегда, чувство покоя, свободы охватило его, едва он увидел знакомое до мельчайшей оспинки лицо вестового Колесникова, едва он снял ту-журку, едва отодраил иллюминатор и оторвал лист на календаре. И было приятно знать, что он возвратился, что ни нынче, ни завтра, ни вообще в ближайшем будущем не надо никуда съезжать, что весь уклад жизни предопределен, точен, ясен, — вот только побориться, начать и все пойдет само собой от часа к часу, от дня ко дню.

Ладынин любил отца, любил Бориску, любил Варю, любил старый дом с мезо-

нином — там, в городе, но странное дело — за немногие месяцы корабль сделался куда более родным его домом, чем то, что оставалось на берегу. И любовь к семье, любовь к отцу, сильная, верная и преданная любовь к Варе удивительным образом не только не мешала ему считать своим домом корабль, но и помогала ему в этом.

Как-то, в каком-то журнальчике прочитал он пословицу — «разлука любовь бережет» — и сказал об этой пословице Игнатию Васильевичу — пожилому своему помощнику. Чижов поморщил нос, что служило у него всегда признаком глубокого раздумья, почесал лысину и ответил, что это в высшей степени верно подмечено.

— Очень правильно, — повторил он, — и глубоко. Почти, я бы выразился, философично. Вот, например, моя Полина. Четырнадцать лет женаты, а тут, — он вместо сердца показал на «подложечку», — а тут — горит. Почему? Не избалован. Другой же, из береговых — годок проживет и здравствуйте, не удовлетворен, любовь погасла, чувство протыкло.

Несмотря на все то, что сказал Чижов, пословица продолжала нравиться Ладынину в том смысле, в котором она понравилась ему сразу, как только попалась на глаза, и он знал, что ему теперь — после того, как он нашел Варю во второй раз, а он не сомневался в том, что именно нашел ее окончательно, навсегда, — ему теперь не была страшна никакая разлука, потому что если человек любит — разве может ему быть страшна такая вещь, как разлука?

Не торопясь, раздумывая о Варе, о доме, об отце, — он достал из шкафчика бритвенные принадлежности, поточил широкое лезвие бритвы на ремне, разложил все перед зеркалом и, взяв в руки фотографию Вари, — в такой же желтенькой рамочке, что и на берегу, — посмотрел и покачал головой: «Изменилась, не похожа».

Колесников принес воду для бритья. А за ним, в двери, уже стоял Чижов в своем слишком высоком подворотничке с торчащими уголками, спокойный, рассудительный.

Пока командир брился, Чижов рассказывал ему корабельные новости, что произошло за сутки, какие были взыскания, как краснофлотец Мордвинов до того навалился на шлюпку, что сломал весло.

— Вот, кстати, — сказал Ладынин, — вы мне его потом пришлите.

— Есть прислать, — ответил Чижов. Попросив разрешения закурить, он рассказал, что получил от супруги письмо. Печальное.

Опять заговорили о корабельных делах. Пришел Хохлов жаловаться, что неладно с водой. Потом начхоз сообщил, что рыбаки привезли в подарок треску свежую и очень хорошую — брать, или неудобно? Трескоед Чижов страшно оживился и выскочил из каюты вслед за начхозом, а Ладынин сказал, что надобно поднимать пар.

— Есть поднимать пар! — вставая, ответил Хохлов, и в глазах его Ладынин прочитал тот мгновенный и сдержанный, но все-таки вопрос, который всегда возникал в глазах молодых командиров, когда дело касалось похода.

И, согласно своему твердому правилу, Ладынин никогда не отвечал на эти молчаливые вопросы.

— Есть, поднимать пар, — повторил командир БЧ-У и спросил, можно ли ему итти.

— Идите, — ответил Ладынин.

Вновь он остался один в своей каюте, у себя дома, один со своими мыслями.

Штурман и артиллерист только-что приехали из города поездом, и у обоих был тот особый, немного виноватый и чуть поблеклый вид, который бывает у командиров-моряков, когда, побывав на берегу, они, наконец, возвращаются на корабль, сердитые и на самих себя, и счастливые от того, что все «это позади» и что они дома, в настоящем, своем, родном доме, в котором, хоть и скучновато иногда, но зато чисто, ясно и, как бывает у настоящих мужчин, все честно и в открытую.

Когда Ладынин вошел, они оба с кислыми лицами играли в шахматы и все кругом понимали, что играют они не ради того, чтобы играть, а ради того, чтобы их не разыгрывали и не задавали им ядовитые вопросы.

— Прошу к столу, — вкусным, обеденным голосом сказал Чижов и первым сел на свое место — против командира. Подмигнул и спросил: — Чего это, штурман, на вас клеветают, будто вы..

Кругом засмеялись.

Чижов опять подмигнул и опять спросил:

— Правду говорят или, небось, врут?

— Не знаю, — сухо сказал штурман, — это вот Илья Ильич знает. Это ведь он изложил..

Артиллерист поперхнулся супом.

— А что, в самом деле, случилось? — спросил тонким голосом Тишкин и посмотрел на артиллериста.

Штурман совсем опустил голову над тарелкой и только порою с детски-опасливым выражением поглядывал на командира. Но Ладынин ел, как будто бы ничего не замечая.

— Придется лейтенанту рассказать, — попросил Тишкин.

— А что? — сказал артиллерист. — Ничего тут особенного нет! Сейчас расскажу. Начитался вот штурман разных рассказов из офицерской жизни — насчет кутежей там и всего прочего. Как там какую-то жженку варили, как на дуэлях сражались, одним словом, какая красивая жизнь была. И говорит мне: надо, Илюша, попробовать. Чего попробовать? А кутеж, говорит? Мне, говорит, уже двадцать два года. Станюкович в своих произведениях дает типы, которые в двадцать два года уже все понимают. А я, говорит, один раз в жизни под новый сороковой год выпил с товарищами ликер под названием абрикотин. А штурман вот теперь на меня сердится, что я его, видите ли, не удержал, а сам... Короче говоря, у меня в городе есть знакомые. Вот мы туда пришли. Ну, принесли с собой кое-чего. А там одна девушка есть, по имени Еля. Ничего, красивенькая. По специальности, зубной техник. Вот штурман немного выпил и сразу влюбился. Но как! Я сижу рядом и прямо ушам своим не верю: «Вы, говорит, моя сказка. Вы для меня сон. Дуну — и вас нет». Я его стал уговаривать, чтобы он не напирал. А он все свое. И какие слова, оказывается, знает — я даже и не думал никогда: «Прекрасная Елена! О, мои кудри! О, ты, как солнце»...

Артиллерист поглядел на Чижова веселыми глазами и поднял руку:

— Это еще что! Не в этом дело. Дело совсем в другом. Я его увел, и все обошлось чинно — благородно. Но только на улице он решил, что это он свою Елю провожает: она ему обещала, что он ее проводит, и это у него в голове засело. Вот он и решил, что дождался и что провожает. И прямо, вы знаете, с ходу мне предложение делает. «Выходите, говорит, за меня замуж. Я, говорит, очень детей люблю. Я всегда сестриного Вальку нянчу. Будем хорошо жить. Ну, тут я не выдержал и спрашиваю: «Штурман, на ком это вы жениться собрались?» А он хоть бы что. «На вас, — отвечает, — на Елю...»

— Неправда это, — грустно сказал штурман, — я помню, что я ей говорил. Не говорил я ей про женитьбу.

За столом смеялись все громче, все веселее.

— Так откуда же я знаю, что вы, товарищ штурман, любите детей и даже нянчите своего племянника по имени Валька? Откуда?

Штурман растерянно молчал. Чижов попросил разрешения курить. Обед кончился, но никто не уходил — все любили это

ленивбе, веселое, спокойное и какое-то семейное полсеобеденное время. Хохлов с начхозом сели играть в домино.

Штурман громко высморкался и сел читать газету. У него обиженный вид.

В это время заговорил Чижов. Видимо, он сам не ожидал от себя такой прыти, потому что, когда глаза командиров — всех, кто был тут, — с удивлением поднялись на него, он, на мгновение смешался, покраснел, но тотчас же заставил себя говорить дальше.

— Вот смешные были у вас приключения, — сказал он. — Слушал и смеялся, а теперь думаю: нехорошо. Ничего в этом хорошего нет.

Глаза у него сделались сердитыми.

— Не нравится мне все это, — заговорил он совсем строго. — Поняли, товарищи командиры? Вот товарища Тишкина как-то слушал вечером, он тут книжку принес и все разорвался с нею — размахивал, помните? Тишкин, какой это вы стишок тут читали?

— «На час запомним имена, — с готовностью продекламировал Тишкин, — здесь память долгой не бывает, мужчины говорят — война и наспех женщин обнимают». Этот?

Продекламировал и победно вздернул плечами.

— Этот самый, — с брезгливой злостью сказал Чижов и вдруг увидел, что командир смотрит на него теплым, как бы греющим взглядом. — Этот самый, — громче и злее повторил Чижов, — вот, вот: «наспех обнимают»... Нет, что выдумали, — обращаясь к командиру, воскликнул он, — что только выдумали, это даже нельзя себе представить, Александр Федорович.

Немолодое, курносое лицо Чижова совсем покраснело.

— Срам! — кашляя, сказал он. — Срам! Позор и срам! У меня брат под Сталинградом погиб и последнее письмо жене написал. Так и написал: «За тебя, дескать, Женья, иду в бой. За наш очаг семейный иду, за нашу любовь. За любовь!» — Чижов поднял паец, но внезапно сконфузился и заговорил скороговоркой: — У командира все должно быть красиво, ежели ты моряк. Красивая должна быть жизнь.

Все глаза обратились к Ладынину.

— Думаю, что верно, — сказал он. — Думаю, — очень даже верно.

Вестовой с шумом и звоном начал собирать стаканы. На него цыкнули.

— Треску-то, пожалуй, посылать начхоз и не распорядился, — вдруг с испугом сказал Чижов. — Начхоз, а начхоз? — Пойдите насчет трески. Слышите, начхоз?

— Есть, — неохотно сказал начхоз, вставая во весь свой богатырский рост.

Было видно, как не хочется ему уходить от спора. В двери он все-таки не выдержал, обернулся и сказал Ладынину:

— А я несогласен с вами, товарищ командир. И с помощником несогласен. Насчет любви не понимаю я.

Начхоз решительно вернулся в кают-компанию и заговорил, широко улыбаясь и постреливая вокруг своими зелеными глазами:

— Только не нужно обманывать...

Засмеялся и ушел. И Ладынину тоже стало веселее. — У каждого свое, теперь и вечером будет спорить — дня на два хватит с избытком — думал он, поднимаясь к себе в каюту.

На трапе он постоял, послушал. Слов не было слышно и не для этого он оставался тут. Просто приятно было послушать эти свежие, молодые, горячие голоса, эту шумную, разную и такую, в общем, дружную семью.

Потом лег на привычный и удобный кожаный диванчик в каюте, вздохнул и взял с полки, не поднимаясь и не меняя позы, первую попавшуюся книжку. Книжка называлась «Миноносцы». Он недавно прочитал ее всю и теперь, думая о посторонних вещах, рассеянно стал перелистывать страницу за страницей. «Да, — думал он, — это корабль. Это настоящий корабль». Вот командовать бы таким кораблем».

Но очень скоро от этих мыслей ему стало неловко перед самим собой, он отложил книгу и сел за стол, — читать и подписывать бумаги, которые наготовил ему Чижев за вчерашний день.

VI. НА ПОХОДЕ

В дверь постучали.

Ладынин крикнул — войдите! — и с удовольствием взглянул на Мордвинова, в его широкое, твердое и спокойное лицо.

— Краснофлотец Мордвинов явился по вашему приказанию. Он сказал эти привычные уставные слова негромко, с чувством собственного достоинства, спокойно.

— Садитесь, Мордвинов!

Краснофлотец сел. Под тяжелым его телом стул сразу же затрещал, и Мордвинов приподнялся, чтобы сесть поосторожнее.

Ладынин заговорил. Немного наклонив голову, он подбирая такие слова чтобы не обидеть сыновнее чувство краснофлотца и вместе с тем, чтобы дать ему почувствовать всю несообразность поведения отца.

Мордвинов слушал молча, разминая в больших пальцах папироску, которой его угостила командир. Нескоро раз он кашлянул, потом вдруг спросил:

— Что ж он там совсем с ума сошел, что ли?

Большое лицо его порозовело, в глазах появился суровый, жесткий блеск.

— Не знаю, — сказал Ладынин. Потом добавил, с трудом подыскивая слова, — ему всегда нелегко было разговаривать, особенно в таких сложных случаях, но он принуждал себя к разговорам и разговаривал с людьми даже тогда, когда за него это мог сделать тот же Чижев или кто-нибудь другой. — Не знаю, — повторил Ладынин, — но думаю, что вам, Мордвинов, следует написать вашему отцу письмо. В тяжелое военное время нельзя позволять человеку, чтобы он думал, будто все люди друг другу волки. В такое время иначе надо жить, Мордвинов, хорошо надобно жить с людьми, рука об руку, рядом. А то что ж получается? Какой вывод для себя можно сделать после такой истории? Что человек вроде волка?

Когда Мордвинов ушел, Ладынин отдал приказание изготовить корабль к походу.

И вновь сел за бумаги, за мелкие строчки Чижева, за его аккуратные цифры. Покончив с бумагами, Ладынин достал из ящика толстую, серую тетрадь, полистал ее, подумал и размахисто, крупно написал в углу чистой странички день, месяц, число, потом улыбнулся одними глазами, — так умели улыбаться все Ладынины, и стал писать в дневнике, который вел уже семь лет без пропусков, где бы и что бы ни случилось.

«Варя теперь живет в моей комнате», — написал он. — «Что будет дальше, мне не известно, но надеюсь на самое хорошее для себя. Отец стареет, но не меняется. Видел Корнева и могу сказать, что он катится вчист. В кают-компанию завелся разговор о любви. Скверно сознавать себя плохим собеседником».

Писал он долго, и чем дальше писал, тем больше находил у себя дурных проиступков, проявлений слабодушия, находил вспыльчивость, зазнайство, успокоенность и еще много всяких грехов, за которые строго с себя взыскивал.

Потом достал из стода бланки почтовых переводов и принялся расписывать по бланкам свое денежное довольствие. Отец от него денег не брал, Варе оставить он постеснялся. Ему же самому деньги не были нужны, и он расписал почти все на три адреса: сестре погибшего в морской пехоте своего товарища, вариной матери, которой он помогал уже пять лет, и, наконец, маленькому Блохину, усыновленному стариком Ладыниным, таким способом, ему удавалось переводить деньги отцу в хозяйство. Потом он приготовил четвертый бланк — для Вари, но почувствовал, что оби-

дит этим отца, и сделал фальшивку — еще один перевод на имя Блохина от какого-то Воронкова. Фамилию он долго придумывал, кусая перо. Но так как Ладынин был человеком абсолютно честным, то ему и в голову не пришло, что никто ни в какого Воронкова не поверит, потому что почерк-то ладынинский.

Написав переводы и разложив деньги, он спустился вниз — ужинать.

Ладынин ел, слушал и думал о том, как, в сущности, непохожи и разнообразны люди — хоть тот же Чижов. Сам уже не молод, пришел из запаса — человек глубокого мирной профессии — рыбак, а вот зимой, увидев германскую подводную лодку, ни секунды не раздумывая, не дожидаясь командира, пошел на таран, и, когда его, Ладынина, разбудили, немец уже был потоплен, и Чижов в радостном и восторженном азарте простуженным тенором кричал на ходовом мостике:

— Не ходить в мое море! Тут я хозяин! Не ходить, расшибу! И расшиб!

Потом перешел на сухой, официальный тон и доложил все, как положено, а под конец опять не выдержал и тем же тенором, сбиваясь на неофициальные слова и тараща глаза, стал сыпать подробностями:

— Я только хотел пеленг взять, только подумал — возьму, мол, пеленг на «Товарища Серпухова», только мне эта мысль в голову сыпчилась, — в это время сигнальщик и закричи... Ну, я сразу...

Когда подали чай, опять завязался разговор о морской тактике, потом, как часто бывает с молодыми спорщиками, переехали на что-то совсем иное, совсем противоположное и долго не могли вспомнить, с чего же, собственно, начался спор.

У себя в каюте Ладынин, не торопясь, натянул брезентовые на меху брюки, свитер, теплую куртку с капюшоном, бурки. Положил в карман спички, папиросы и долго искал мундштук. Постоял, вспоминая, где он может быть, сунул руку в карман плаща и вынул оттуда мундштук вместе с желтыми осенними листьями. Посмотрел на них, чему-то улыбнулся, сунул вместе с мунштуком в карман куртки и, когда затрещали звонки, вышел из каюты...

По трапам и палубам уже гремели шаги краснофлотцев, направлявшихся по своим местам, а голос Чижова, спокойный и вкусный, раздавался в репродукторах:

— По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам...

Медленный и нудный сыпался с черного неба осенний дождь. Но дождь этот не был неприятен Ладынину. Поднявшись на ходовой мостик, он с удовольствием

набрал в легкие сырого, соленого, привычного воздуха, с удовольствием оглядел смутно белеющие во тьме плащи сигнальщиков, с удовольствием послушал, как урчит на полубаке боцман — подумал — ну, вот, началась совсем нормальная жизнь — и, без мегафона, сильным отрывистым голосом приказал во тьму:

— Отдать носовой!

— Есть отдать носовой, — с веселой готовностью гаркнул боцман и вновь для порядка длинно заругался в чернильной тьме.

Ровно в шесть тридцать вышли в точку randevu и повели транспорты по назначению. Пароходов было всего два, тяжело груженные, они двигались медленно, а корабли шли противолодочным зигзагом — это были нехорошие места, и Чижов два раза приказывал:

— Усилить наблюдение!

С корабля, на котором шел комдив, просемафорили тоже, чтобы усилить наблюдение и тотчас же самолет, круживший над караваном, выпустил красную ракету.

— Перископ, что ли? — спросил вахтенный командир.

Самолет пошел на посадку. Он тянул низко над тихой водой и, когда сигнальщик крикнул, что видит перископ, — все были к этому совершенно готовы.

Ладынин повернул ручку машинного телеграфа на полный, крепко зажал зубами пустой мундштук и взглянул на тахометры. Корабль выходил в атаку.

Утро было ясное, чистое, свежее. Светлоголубое небо висело над морем. Сердито закричал какие-то слова артиллерист, в свисте ветра, возникшего на этом бешеном ходу, ничего не было слышно. За кормой поднялись розоватые на солнце, пенистые столбы воды, там рвались серии глубинных бомб.

У Чижова глаза блеснули от азарта, он скинул фуражку, лысина его сверкала на солнце. Розовые дымы возникли спереди — носовое орудие било ныряющими снарядами.

Опять пошли в атаку, опять сбросили бомбы. Лицо у Ладынина было мрачное и к чаю в кают-компанию он тоже пришел мрачным.

— Что стало с лодкой? — спросил Хохлов. — Удачно или неудачно пробомбили, как вы считаете, товарищ командир?

— А вы? — резко спросил Ладынин.

Хохлов промолчал. Тогда Ладынин спросил у артиллериста.

— Поскольку наша задача была загнать ее на глубину, — сказал артиллерист, — постольку...

— Постольку, поскольку, — передразнил Ладынин. — Не надо сигнальщиков дергать, вот это действительно постольку.

Когда им десять раз говорят, что надобно усилить наблюдение, они любой тепляк за перископ примут — даже такие сигнальщики, как Карпушенко или Жук...

Закурил папиросу и вышел, не договорив.

На мостике Чижов попрежнему без фуражки ел из глубокой тарелки вчерашнюю треску.

— Хорошо, — сказал он командиру, — холодная, прямо-таки объединение. Но в консервах еще лучше. Эх, товарищ командир, приглашу я вас после войны к себе в Мурманск треску в масле кушать. Из бассейна. Поставим возле бассейна постулу, вилки соответственно и, конечно, поменьше, Чего это вы будто сердитый?

Ладынин молчал.

А за несколько минут до обеда германец привел тройку торпедоносцев и десяток бомбардировщиков. В десять сорок пять начался бой. Торпедоносцы крутились в набежавших облаках, а «Юнкерсы», вызывая на себя огонь кораблей, старались отвлечь внимание моряков от торпедоносцев.

Ладынин, выпятив нижнюю губу, неподвижно стоял на мостике. Внизу оглушительно били автоматы и он почти ничего не слышал, что кричали ему сигнальщики, а он командовал негромко и раздельно, — спокойнее, чем на учебных стрельбах, и все время защищал своим огнем исповоротливые тяжелые транспорты, увертываясь от бомб, которые швыряли «Юнкерсы», и ждал атаки торпедоносцев, которые хитрили и все еще крутились в рваных, серых облаках.

Глаза у него сузились, — когда все три машины вывалили из-за облаков и строем пеленга пошли на корабли. Это были какие-то бешенные немцы — они упорно шли вперед, несмотря на сплошную стену огня военных кораблей и транспортов.

Одна машина от прямого попадания снаряда взорвалась и мгновенно исчезла, но ведущая сбросила торпеду и тотчас же Ладынин повернул ручку машинного телеграфа на самый полный и очень громко крикнул на штурвал:

— Два градуса вправо!

— Есть, два градуса вправо! — так же криком ответил рулевой и, увидев совершенно белое лицо своего командира, побелел сам.

Чижов до крови закусил губу. Такие секунды не часто приходится на судьбу человека. А если и приходится, то очень редко случается человеку рассказать потом об этих секундах.

Защищая транспорт, Ладынин решил подставить торпеду борт своего корабля. Это решение созрело в нем мгновенно. Он почти не думал, поступая так, — это было, как инстинкт.

Но торпедка не сработала.

Первым понял, что она не сработала,

Чижов. По всей вероятности, виноват был прибор Обри — торпедка пошла на циркуляцию, и Чижов с удивлением, глупо улыбаясь, сказал:

— А? Командир? А?

— Что, а? — спросил Ладынин.

Лицо его, шея, руки, спина, все покрылось потом.

Где-то далеко в небе зудели, уходя, вражеские самолеты.

— Что же случилось? — спросил Ладынин.

— Да не сработала, — закричал Чижов, — не сработала она, ну вот, не сработала и все тут, не наша, видно, была.

Но внезапно лицо Чижова стало серьезным, он близко подошел к Ладынину и сказал:

— Товарищ командир, да вы... Да знаете ли вы?

Щека у него задрожала. Ладынин ждал. Но Чижов так ничего и не выдумал. Вздыхнул и отвернулся.

...А внизу, в кают-компаний, между тем, умирал краснофлотец Мордвинов.

Тишкин сделал уже все, что мог, и все-таки Мордвинов умирал. Страшно изменившееся лицо его покрылось смертной синевой. Нос заострился. Губы стали узкими и серыми. В глазах появилось строгое выражение.

Лежать он не мог и полусидел на диване, тяжело дыша и порою задыхаясь. Но несмотря на ужасающие муки, лицо его до самого последнего мгновения не выражало страданий. Он не любил, чтобы его жалели и, когда германская бомба разорвалась у кормового ската, сразу же приказал, себе держаться и быть мужчиной до самого последнего конца.

Теперь он ждал командира и, увидев Ладынина, еще не остывшего после боя, нашел в себе силы улыбнуться серыми губами и, сохраняя суровость в лице, спросил:

— Тут старшина Сизых перевязывался, говорил, будто мы корабль наш под торпеду подставили за транспорт — верно это, товарищ старший лейтенант?

— Верно, — ответил Ладынин, вглядываясь в Мордвинова теплым и пристальным взглядом.

Несколько секунд Мордвинов молчал. Из рта у него пошла кровь. Тишкин вытер подбородок его и грудь куском марли.

— Это ничего, — сказал Мордвинов, — ничего, хорошо. Как морякам положено, так и сделали.

Рука его, поймав в воздухе, нашла руку командира и со слабым усилием сжала ему пальцы. Сердце Ладынина часто забилося.

— Побеспокоил вас, товарищ командир, — пытаюсь еще улыбнуться, заговорил опять Мордвинов, — насчет письма хотел сказать. Я папаше давеча написал все, как на сердце было. Письмо там, найдут. Попрошу вас, товарищ командир,

про меня сами допишите. Что погиб на посту.

Он немного вытянулся вперед и тотчас же стал оседать, слабее с каждой секундой все больше и больше. Холодеющая рука его выпустила пальцы командира, но Ладынин крепко сжал руку матроса и наклонился над ним. Мордвинов что-то шептал. Кровь лилась из его рта.

— Все, — сказал Тишкин.

Мордвинов еще раз коротко вздохнул. Потом дыхание его стало слабеть. Ладынин снял фуражку и отошел в сторону.



Ладынин вдруг вспомнил, что одним из транспортов командует Анцыферов. и сообразил, что поставил свой борт торпеды, защищая транспорт старика-капитана. И теперь, конечно, никак не разубедишь Анцыферова, что в секунды боя ему — Ладынину — и в голову не могло прийти, кто каким транспортом командует.

Теперь пойдут рассказы..

— Сигнальщик, спите? — крикнул Чижов.

Флагман передавал ратьером благодарность командиру и всему личному составу корабля.

— Ясно вижу, — сказал Чижов, — разбалуешь вас благодарить каждую минуту.

Жук передал «ясно вижу».

Ладынин прикурил у вахтенного артиллериста и спросил:

— Что, Василий Петрович, задумался?

Калугин странно посмотрел на командира, поехал и пошел брат пеленг.

— Мордвинова жалеет, — сказал Чижов, — у него сердце доброе, у Калугина; совсем белый был, когда узнал, что Мордвинов помер. Да и то, Александр Федорович, молодой ведь он.

В глазах у Чижова Ладынин заметил что-то новое, помощник теперь четче и точно бы серьезнее называл командира по имени и отчеству, да и Жук, и Хохлов, и Тишкин, и командиры, и краснофлотцы за эти последние часы стали иначе смотреть на Ладынина. Он чувствовал это, и не понимал. А потом вдруг вспомнил, как изменились все к Чижову после его тарана, как смотрели на него другими глазами, — будто удивляясь, что не заметили в нем чего-то, будто приглядываясь к его хлопотливому, курносому, русскому лицу, будто отыскивая в этом лице какие-то новые, необыкновенные черты.

Сигнальщик сердитым голосом доложил, что там-то и там-то видит круглый предмет. Ладынин взглянул в бинокль: в серой воде, точно живая, шевелилась оторвавшаяся мина.

— Несет их чертей, — сказал Чижов, — это штормом посрывало, тут и напороться не трудно...

Вновь заблестело зеркало ратьера — флагман предупреждал насчет мин.

— Вот сейчас туманом накроет, — сердито сказал Чижов. — Там поплывем.

Спереди стояла плотная, серая, вязкая стена. Чижов фыркнул носом, глядя на нее, и высал дополнительные сигнальщики на бак.

Флагман нырнул в туман и скрылся в нем — точно пропал бесследно. За ним растаял тяжелый анцыферовский транспорт. Чижов еще раз фыркнул носом. Когда-то, лет десять назад, у него в тумане была авария. С той поры он боялся туманов, нервничал, когда корабль попадал в туман, начинал фыркать, скрести ногтями лысину, ругался и изводил себя куда больше чем следовало.

Сигнальщик опять доложил, что видит круглый предмет. С правого мателота тоже доложили, что по носу мина. Чижов поскреб голову.

Длинный краснофлотец Сидельников пронзительно крикнул с бака, что видит мину. Тотчас же ее увидел и Ладынин. Круглая, мокрая, черная, она медленно и зловеще покачивалась на воде совсем близко от носа корабля. Рулевой Нестеров мгновенно положил три градуса влево. Мина, все так же зловеще покачиваясь, прошла вдоль борта. Чижов фыркнул.

Вестовой принес на мостки чаю. Ладынин пил маленькими глотками, наслаждаясь теплом, и щурился на едва видневшуюся спереди корабля, воду. Потом мгновенно туман рассеялся, сделалось тепло, засинело небо, заблестало солнце.

— Вот она, жизнь моряка, — сказал Чижов. — Раз-два и в дамках. Идите обедать, товарищ командир, пора вам кушать.

— Хорошо, — сказал Ладынин.

В кают-компании уже был разостлан ковер и на столе лежала скатерть. Только на одном диванчике нехватало чехла, на том самом, на котором давеча умер Мордвинов. И немножко, чуть-чуть, пахло лекарством. А больше ничего не напоминало о том, что всего несколько часов назад тут был полевой госпиталь и любитель стихов Тишкин сражался со смертью.

— Прошу к столу, — сказал Ладынин.

Обедали молча. И не раз во время обеда Ладынин чувствовал, что на него смотрят, — смотрят как-то особенно, не так, как смотрели раньше. А потом вдруг перехватил взгляд зеленых глаз начо-за — удивленный и почтительный.

«Вот еще, — подумал Ладынин, — как будто на моем месте он поступил бы иначе».

Пришел рассыльный, доложил, что пост «Зуб» передает воздух.

— Ладо, — сказал Ладынин, — идите. Рассыльный ушел. Ладынин налил себе еще супу.

— Хорош сегодня супец? — спросил начхоз.

— Ничего, — сказал Ладынин, — главное, что перцу много. По вашему вкусу.

Начхоз помолчал, потом спросил дру-
гим голосом — негромко и значительно:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, а правда, что мы сегодня... подста-
вили...

— Правда, — не дослушав и раздражаясь чему-то, сказал Ладынин, — правда. И, кроме того, — прошу всех командиров запомнить, что в том, что было сделано, в том, что... — он запутался в этих «что» и помолчал секунду: — короче — был выполнен прямой долг и прошу это запомнить. Было бы крайне неприятно, если из этого всякая чепуха... — Он раздражался все больше и больше. — Надо понять, что морская война, наша работа на море содержит несколько обязательных предпосылок. С этого надо начинать. Это — первая ступень. Обязательная ступень. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю, — не твердо ответил начхоз.

— Значит, кончен разговор! — сказал Ладынин.

«Теперь начнется», — сердясь сам на себя, думал он после обеда. — «Вот придет и начнутся расспросы, какие у меня ощущения».

«А в самом деле, — вдруг с интересом подумал он, — какие у меня были ощущения? Ну, вот, если Варя спросит — что я в это время чувствовал? Страшно было? Было! Очень? Очень. Понимал я, на что иду? Вполне! И я шел на это? Шел! Позвольте, значит, я тогда герой?»

От этой последней, робкой и неясной мысли он, сам того не замечая, покраснел до испарины и, рассердившись на себя, пошел на мостик, по-ладынински пригибая голову к плечу.

VII. ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Теперь все осталось позади. Еще один бой, — длинный, трудный, — и похороны, короткие похороны погибшего краснофлотца моряка в море, под унылым свист осеннего морского ветра, и слово, которое сказал на похоронах артиллерист Калугин, и покрасневшие глаза, и плавающие мины, и шторм, после которого Ладынин проспал под ряд в своей каюте полных два часа да еще тридцать две минуты, и туманы, и подлодка — все это позади.

Скоро Большая земля.

Не такая, где меж скал стоит одинокий танкер и поджидает заветных коротких гостей, — чтобы отпустить им мазуту — слова путного от них не услышишь, разве обругает в мегафон помощник, что мало разворотливы...

Другая, настоящая Большая земля.

Под свист ветра, под однотонный, заунывный шелест дождя слышно, как разговаривают, внизу зенитчики. Голоса у них уютные — домашние, удивительно, как умеет русский человек в любой обстановке устроиться, словно у себя дома, как умеет он со вкусом помечтать, поговорить, поделаться самыми сокровенными помыслами...

Потом была большая приборка — совпала и суббота, и окончание большого похода. Командиры, уже бритые, сонные, в трусах, то один, то другой подходили к душевой кабинке, чтобы вымыться и, наконец, лечь спать, а там, внутри, за дверью, охал и стонал банным голосом Чижов — и, если кто, потеряв терпение, дергал дверь, Чижов строго откликался: — В чем дело? В чем, я спрашиваю? Прошу дверь не дергать!

Наконец, вышел, пошатываясь, — его совсем разморило, и сказал начхозу, грозя пальцем:

— Чтобы завтрак был, как полагается. Слышите, начхоз?

И завтрак действительно был, как полагается. Вместо унылой зеленой клеенки, что лежала на столе весь поход, была постлана чистая, даже подкрахмаленная скатерть. Все в кают-компании сверкало и блестело — от медяшек на двери до подстаканников на столе. И голоса у командиров сделались совсем другие, отдохнувшие, звучные, сильные. И вид у всех был иной: вместо рабочих кителей надели парадные тужурки, запахло одеколоном, хорошим табаком, свежестью...

Чижов сидел, приосанившись, посмеивался, покуривал из парадного своего янтарного мундштука. Разговоры шли легкие — будто и не было тяжелого, изнурительного похода, штормов, боев, атак. Опять подсмеивались над давешними приключениями штурмана, шутя предостерегали его от дальнейших таких же приключений, наставляли, где и как надобно себя держать. Гостей еще не было, — кто придет в гости на маленький военный корабль в девятом часу утра? Вестовой разносил по третьему, а кому и по четвертому стакану чая. За отдраенными иллюминаторами сыпал частый, осенний дождь, постукивал катер, проходя мимо, — там была настоящая поздняя осень...

— Вот она — жизнь моряка, — сказал Чижов, вставая, — чего только не насмотрелся, а вот пришли и будто ничего с нами никогда нигде не было. Рассеялись, разговоры разговариваем. Верно, штурман?..

Сюда, в кают-компанию принесли и почту. И не было человека в кают-компанию, который не получил бы меньше трех писем, а Хохлов получил двадцать семь штук, и, прежде чем начать читать, долго устанавливал по штемпелям, — какое письмо от какого числа.

Читали свои письма командиры больше по своим каютам — дело это было серьезное, глубоко личное — каждому хотелось остаться с письмом наедине, — мало ли что там написано? Один Чижев остался в кают-компании — сидел возле шахматного столика и вслух читал вестовому Колесникову письмо от своей двенадцатилетней племянницы.

— Она у меня артисткой будет, — говорил он, — вот увидишь. Прямо-таки артистка. Поет и танцует. От кого письмо получил?

— От девушки, — сказал Колесников. — Ждал-ждал и получил.

— Чего пишет?

—| Соглашается.

— Чего соглашается? — рассердился Чижев. — Говори толково, ясно, как матросу положено.

— Замуж соглашается итти, — сказал Колесников, — можете меня поздравить, товарищ гвардии лейтенант, всю войну не соглашалась, а сейчас ничего, выразила согласие.

— Поздравляю!

— Есть! — почему-то ответил Колесников.

— «Спасибо» — надо отвечать, а не «есть», — сказал Чижев. — Разговор у нас с тобой, Колесников, нынче не служебный, частным порядком разговариваем.

Он про себя принялся перечитывать письмо от племянницы, потом от жены и, моргая, сказал:

— Смотри пожалуйста! Мой-то орел чуть в бочке не утонул. Тоже моряк будет, а, Колесников?

Ладынин в это время вошел в свою каюту, сел в кресло у стола, аккуратно, ножом разрезал конверт и медленно, стараясь сдержать нетерпение, не пропускать ничего, не заглядывая в конец, очень медленно стал читать варины размашистые строчки:

«Милый, дорогой Шурик, — писала Варя, — здравствуй, Шурик, только мы встретились и минуточку даже не поговорили как следует — вновь тебя нет и опять я одна, и кажется мне, что, может, все это приснилось — и пожар, и как ты окликнул меня, и как я все смотрела и не могла себе представить, что это ты и есть и что ты меня окликнул, нашел.

Но все это потом, а сейчас другое, то, что я тебе не сказала и что должна сказать подробно, как оно случилось и кто тут виноват или вовсе не виноват, — уж не знаю, но тебе я должна все написать, чтобы ты все знал и понял меня и чтобы или простил мне мою ужасную перед тобой вину или не простил, но чтобы я уж знала, как мне жить раз навсегда.

Ты даже представить не можешь, как трудно писать мне это письмо. Наверное,

говорить об этом было бы легче, но на нет и суда нет, мы не поговорили, а ждать тебя, жить в твоей комнате — среди твоих вещей и книг, встречаться по нескольку раз в день с твоим отцом, с братом — видеть твоих знакомых, которые заходят ко мне, точно я совсем вошла в вашу семью, мне трудно, очень трудно.

Шурик, милый мой! Виновата ли я, что девчонкой, а право же была я тогда совсем девчонкой, — влюбилась в него? Помнишь, каким он был тогда? Как умел смешно рассказывать, как хорошо и подолгу играл на рояле, сколько знал разных удивительных историй, как неожиданно приходил из своих морских странствий, сколько видел всего, сколько испытал, и как несправедливо, и нехорошо, и нечестно поступила с ним его жена...»

Ладынин отодвинул письмо. Нет тягостнее ревности, чем ревность к прошлому, нет чувства более мучительного, беспомощного, беспокойного, неутолимого, чем такая ревность.

Откинув голову, глядя в слепой от дождя иллюминатор, затаиваясь крепким табачным дымом, Ладынин точно и ясно увидел перед собою этого человека — в черной клеенке, в фуражке с большим лакированным козырьком, увидел, как человек этот пренебрежительно и медленно усмехается, сбрасывая с плеч клеенку, и увидел самого себя тогда, в то время, лейтенантом, только-что окончившим специальные курсы усовершенствования командного состава, увидел себя, как стоит в дверях и, стараясь улыбаться гостеприимно и непринужденно, никак не может улыбнуться, не может принудить себя к улыбке, а все хмурится — и как чувствует, что хмуриться и молчать незачем, что он хозяин дома, что надобно быть веселым, а веселья нет, и возникает тот ужасный глупый, мальчишеский разговор, который он до сих пор не мог забыть и не мог простить себе, что вмешался и произнес никому ненужную, удивительную для него самого, пламенную речь...

И Варя, ах, Варя...

Если бы не видел он в ее глазах осуждения, если бы не видел он, что ей стыдно за него, что она хочет всем сердцем только одного, чтобы он замолчал, может быть, не наговорил бы он такого вздора, и если бы этот человек...

Вновь увидел он его лицо, снисходительную улыбку, насмешливый блеск глаз. И как этот человек потом сам заговорил, какие у него были гладкие, точно притертые друг к другу фразы, как умел он не смеяться тому смешному, что рассказывал, как умел, не хвастая, рассказывать о таких вещах, которыми можно похвастать, и как Варя вдруг сделалась послушной ему и робкой,

сделалась послушной чужому человеку...

А ведь еще накануне того дня они были вместе у моря, и все было так прекрасно, так хорошо...

Да, но это все прошло, давно прошло и давно уже отболело.

Он усмехнулся: разве может отболеть то, что он чувствовал? Можно не думать об этом, можно заставить себя не думать об этом, но уж если вспомнишь — равнодушие и спокойствие сохранить трудно, пожалуй, невозможно.

Стараясь ничего не вспоминать, он вновь взял письмо и вновь принялся за чтение. Прочитал раз и второй раз, стараясь отгадать, любит ли Варя еще этого человека, помнит ли о нем, или, может быть, ненавидит его — это было бы самым тяжелым, самым трудным для Ладина: если ненавидит, значит, не все еще кончено, — он опять представил его себе в черной клеенке, — потом что ведь, когда женщина не любит, тогда она равнодушна, — он это хорошо знал, — равнодушна и спокойна, совершенно спокойна и абсолютно равнодушна...

Но вдруг он нашел эти же мысли в ее письме и с радостью стал их перечитывать.

«Вот тогда, — писала Варя, — помнишь тот день и твои слова о любви, о вечной любви, и то, с каким убеждением ты говорил, и то, как В. С. посмеивался с видом превосходства, — если бы ты мог представить себе, как я тогда возненавидела тебя! Я не могла слышать самый звук твоего голоса. Дома я плакала от ненависти к тебе, от того, что ты такой еще мальшк, такой теленок, так краснень и так кричишь, когда никто даже тебе не возражал. И за то, что ты тогда сразу уехал, не дождавшись конца отпуска, из ненависти к тебе, из глупого чувства девчонки я убедила себя, что действительно влюбилась в В. С., пошла с ним в театр, на зависть всем. И, как на зло, встретила там твоего отца. А В. С. все говорил мне и говорил, и рассказывал, и мне на душе было горько, — мы с ним на лавочке сидели, на набережной, на нашей с тобой лавочке нарочно сели, — это я там села, и вот с этого вечера все и началось. И не надо думать, Шурик, что я в него в конце-концов не влюбилась по настоящему, в него можно влюбиться, ты сам мне это сказал, когда мы только-что познакомились, но это прошло месяца через два. Я перестала ходить угорелой, видеть я его не хотела больше, и морские рассказы его мне надоели, все надоело и ходила я, как потерянная, а ты больше не писал, не писал, не писал.

Какие это трудные были времена.

Сколько я тебе тогда писала и все рвала, и снова писала, и ничего не отправила — гордость не позволяла ничего отпра-

вить, — я ведь твоим словам о верности и о вечной любви не очень верила, думала — книжек читался, вот и болтает, и думала еще, что ты себе другую девушку завел, и так мне страшно было себе это представить: тебя и с тобой кого-то другого!..»

И еще и еще раз прочитал он письмо от строчки до строчки, и вдруг кровь точно бы ударила ему в лицо.

«Любит, — подумал он, — любит меня, а его не любит и не любила никогда. Да и почему же меня не любить? Да, я скучнее многих других. Но ведь я все понимаю, все. Говорить я не умею и хмурюсь, наверное, часто. Но ведь любит же, любит. Ах, если бы мог я писать, хорошо писать, по-настоящему писать, какое бы я ей письмо написал, как бы рассказал все, про все свои мысли, и ночи и дни, про то, как я ждал этого дня, как верил и надеялся, как опять потом не верил и все-таки ждал чего-то, и в каждой почте чудилось мне, что вижу я ее письмо, конверт, на котором ее рукою написана моя фамилия — написать бы ей это все подробно. Большое письмо сейчас напишу, все расскажу ей, пусть знает и пусть ждет, и все будет хорошо, прекрасно».

С бьющимся сердцем вынул он из стола лист бумаги, быстро написал: «Здравствуй, Варя!», — померидил секунду и, вздохнув, продолжал: «Очень я обрадовался, получив твое письмо. Сердечное тебе спасибо, что сразу написала мне. Я, признаться, намучился за это время. А теперь все хорошо. Так хорошо, что даже и написать не могу. Ты живи спокойно. Эти глупости, о которых пишешь, выбрось из головы — мы никаким опасностям ныне не подвергаемся, про войну только в газетах читаем. Будь здорова, целую тебя, моя Варя».

Потом прочитал письмо от отца.

«Я лично только-что кое-откуда возвратился, — писал отец, опасаясь военного цензора. — Путешествие мое протекало почти-что благополучно, если не считать, что одна все-таки залепила в коробку возле четвертого номера. Ты, наверное, догадываешься, как моряк, о чем идет дело. Жалел, что близости тебя не было, интересно бы посмотреть на твою посудину и как ты на ней разворачиваешься. Слышал от знакомых людей похвалы про тебя отзывы, чему сердечно рад. Рад был слышать о твоём поступке об одном. Рад, хоть и встревожился, понимаешь почему? Поступок же связан с твоей посудиною и с коробкой, ради которой ты кое-что сделал, не будем уточнять, что именно. Так и должно поступать. Варваре, разумеется, ни полслова, она сама кое-что прослышала и допрашивала меня с пристрастием, я же ей ничего, смеялся только и довольно натурально, сам потом на себя удивился — артист, да и все, ни-

чего не скажешь. Из своего путешествия кое-чего доставил — сходил с пользой. В четвертом номере повреждений серьезных не случилось, но была угроза и прочее тому подобное, связанное с пожарными командами, — догадываешься? Боюсь, что ничего ты не поймешь из моего письма. Живем мы хорошо. Я нынче отдыхаю после рейса, Варвара взялась за хозяйство и, должен тебе сообщить, холостяцкое наше житьишко совершенно переменялось. И постираны, и заштопаны, и Бориска с Блохиным более похожи на сыновей капитана Ладынина, нежели на беспризорников и малолетних бичкомеров. В отношении питания тоже внесены значительные улучшения. Проклятая старуха Глафира несколько причесмирела и теперь не кричит на меня так, как позволяла себе кричать раньше. Но Варвара ее жалеет и еще недостаточно резко заострила перед ней все вопросы. Будь здоров. Остаюсь любящий тебя твой отец, капитан Федор Ладынин».

Последнее письмо было от Бориски и Блохина.

Едва распечатав конверт, Ладынин улыбнулся. От письма осталось всего несколько строчек. «Привет, товарищ Ладынин. Мы с Блохиным решили побаловать вас письмом. Как поживаете? Слышали кое-чего про ваши дела и дни. Надеемся, что и дальше будете «так держать». У нас нового ничего нет. Ваша Варвара очень нас мучает, чтобы мы мыли уши, а вчера сама стригла неряхе Блохину ногти. Но она ничего, с ней еще можно ужиться. У нас опять...»

Дальше цензор вымарал полстраницы. Потом была фраза: «А у нас хоть бы что». В заключение сохранился рассказ о том, как Бориска и Блохин набрали глухой рыбы, как Варя наварила ухи и как все семейство два дня ело уху. Кончилось письмо просьбой: «Если про тебя будет что-нибудь напечатано в газете, прошу прислать на наш адрес. Нам с Блохиным пригодится, а тебе ни к чему. Прими наш привет. Твой Борис и Блохин».

Посмеиваясь, Ладынин написал ответы, запечатал письма, вновь вынул из стола варено письмо и стал перечитывать, счастливо улыбаясь и покуривая папиросу.



К вечеру дождь прекратился, вышло солнце и черные, мокрые скалы внезапно сделались багряно-золотыми. На влажных еще досках пирса матросы играли в волейбол, радио передавало вальсы и возле корабля было оживленно и весело, шумно илюдно. Откуда-то взялись девушки. И едва кончился дождь, сразу же начались танцы под музыку из репродукторов, под крики чаек, метавшихся

над водой, под шутки и смех моряков.

— Матрос везде развернется, — говорил вестовой Колесников, танцующий с одной девушкой, то с другой. — Вы даже не поверите, что такое жизнь моряка. Именно, как сказал поэт: сегодня здесь, а завтра там.

Командиры в парадных тужурках, некоторые в щегольских перчатках, выбритые, веселые прохаживались возле корабля, переговаривались друг с другом, улыбались. В Дом флота итти было еще рано, сидеть по каютам не хотелось, и вот смотрели на танцы, прогуливались, ждали чего-то праздничного, что, несомненно, должно было наступить.

Ладынин тоже вышел — постоял, поглядел, покурив.

Старшина Говоров уже успел достать велосипед и показывал желающим всякие невероятные номера — мчался по пирсу, просунув голову в велосипедную раму и подняв ногу высоко над головой, то управляя ногами, а педали крутил руками, то вдруг, вцепившись зубами в седло и изогнувшись напоподобие огромного кота, мчался, дико виляя руль и выкрикивая при этом хриплым голосом в седло:

— Э-э-э!

— Вот наездник, — сказал Чижов. — Видите, товарищ командир. Я думаю, что в конце-концов свалится-таки в воду.

— А вдруг и не свалится? — сказал Ладынин. — Мало ли что, всякое бывает.

— Нет, свалится, — убежденно ответил Чижов. — Я его знаю. Он еще как следует не распахнулся. Вот погодите, войдет в раж, тогда увидите. Он обязательно свалится и велосипед сломает. Какой это чулак ему машину дал?

— Поломает — починит, — сказал Ладынин. — Я его тоже знаю. Он за время войны два велосипеда изломал и два починил. Помните? Пускай ездит, матроса в таких делах трогать не надо. Когда еще ему придется.

Возле командира Говоров резко затормозил, соскочил с машины, потом сказал:

— Кончится война, буду стараться на велосипедные гонки от нашего флота попасть. Увлекаюсь, товарищ командир, этим делом. На корабле только вот тренироваться никак нельзя.

Подошел штатский в кепочке, владелец велосипеда и, о чем-то умоляя, увел Говорова.

— Нет, теперь уже поздно, — сказал Чижов. — Теперь он впился в велосипед. Так как? Пойдем, товарищ командир?

— Пойдем, что ж..

Медленно по пирсу они дошли до тропочки и кружным путем, чтобы прогуляться, отправились в Дом флота. В самом конце пирса стоял какой-то груст-

ный ботишка. На палубе, на табуретке играл патефон и два краснофлотца с кислыми лицами ждали, что, может быть, и сюда, к ним, придут потанцевать, но никто не уходил от гвардейцев, и краснофлотцы мрачно поплевывали в воду.

— Не заманивайте, не заманивайте! — сказал им Чижов. — Не отбивайте у наших народ.

Один краснофлотец сказал, вздохнув:

— Как же, заманишь от гвардейцев!

А другой добавила:

— Мы для себя музыку поставили, то варищ гвардии лейтенант, отдыхаем кулечурненько.

— А ну, на здоровье...

В Доме флота был большой концерт и Чижову все решительно нравилось. С детским простодушием он аплодировал каждому номеру программы и только когда какой-то артист слишком долго читал вслух стихотворение, Чижов рассердился и шопотом сказал:

— Что ж, он танцевать не может, что ли? Походил бы тогда на голове.

После концерта Ладынин и Чижов одернули перед зеркалом тужурки, поправили галстуки и пошли за билетами в клуб начсостава или, как говорилось тут, на третий этаж.

Александр представился. Начальник клуба коротко, но с любопытством взглянул на Ладынина и протянул ему билеты, сказав бархатным баритоном:

— Очень приятно познакомиться. Вы тот самый Ладынин?

Ладынин покраснел, не зная, что ответить, и ответил слегка раздраженно:

— Нет, я другой Ладынин!

«Теперь начнется, — думал он, поднимаясь наверх, туда, где играла музыка.

У них спросили билеты, и они вошли в ярко освещенный коридор, в котором было много командиров, прогуливавшихся парами или просто стоявших маленькими толпами. Здесь совсем уж громко играла музыка и из раскрытой двери доносилось сухое постукивание киев о шары. Чижов замедлил шаги у билиардной и тут же выяснил, какая очередь и когда можно рассчитывать сыграть партию.

Чем дальше они продвигались по коридору и потом по комнате с диванами и с лампами в виде матовых круглых шаров, тем больше попадалось им знакомых лиц: тут было несколько знаменитых на всю страну Героев Советского Союза подводников, были летчики, портреты которых часто появлялись на страницах газет и журналов, были артиллеристы.

В зеленом зале танцевали. Оттуда лились звуки музыки и доносилось шарканье ног. Народу тут было очень

много, и Ладынину приходилось протискиваться меж командиров и девушек, многие из которых были тоже во флотской форме — военврачи или там лейтенанты административной службы. Тут Ладынин и встретил Корнева, который стоял с какой-то девушкой, очень хорошенькой, очень беленькой, очень молодой, порозовевшей от танца, который только-что окончился. Корнев, высокий, красивый, встретил Ладынина, как истинного и старого друга, даже положил ему руку на плечо и слегка потряс, будто был в восторге, что они тут увиделись, и будто своим появлением Ладынин доставил ему радость и счастье.

— Вот это так удивил, — говорил он, когда прибыл? Да что ты так смотришь? Давай знакомься. Знакомься Верушка, это Ладынин — гвардии старший лейтенант, тот, про которого давеча рассказывали, помнишь? Везет человеку — не то что мы грешные...

И, взяв одной рукой Ладынина за локоть, а другой полуобняв свободно и непринужденно свою Верушку, Корнев пошел в зал со столиками, покрытыми белыми скатертями, туда, где ужинали и пили чай. Чижов, как-то внезапно погрузнев, шел сзади.

Уходить было уже неловко, и Ладынин, тоскуя в душе за погубленный вечер, сел против Корнева и закурил корневскую толстую, красивую папиросу.

— Из военфлотторга вынул, — сказал Корнев. — У меня все есть, и вот Верушке-чем обеспечил. А там у начальника я задам страху, будь покоен. Для того, говорю, мы каждодневно жизнью рискуем, чтобы вы тут прохладжались и преспокойненько жир нагуливали? Мы в море бьемся, воюем, нас никакая погода не держит, а вы...

Он на секунду запнулся, заметив выражение безразличности на лице Ладынина, но тотчас же с удивительной, только ему свойственной ловкостью свернул на другую тему, а потом сразу же стал рассказывать о том, как только-что он сбил два самолета бомбардировщика, которые норовили сбросить бомбы на его корабль.

Корнев распалялся с каждой секундой, потому что видел по Ладынину, как тот не верит ни единому его слову и не возражает только потому, что считает весь разговор тут ненужным и неуместным. Невысоко подняв свою стопку, Корнев сказал тихим голосом:

— За твой подвиг, Саша! — и красиво выпил спирт, слегка запрокинув голову.

Говорил он долго и горячо, а Ладынин и Чижов все переглядывались, чтобы встать и уйти. Хотелось домой, на корабль, выпить по стакану чая и

лечь с книжкой или поговорить тихими голосами в полутемной кают-компании, или поиграть в шахматы, а потом немножко заняться делами...

Наконец, встали, расправились, вышли. — Плохо отдохнули, — сказал Чижов, когда они с Ладыниным остались вдвоем — совсем плохо. — И Корнев этот ерунда. Пить можно, когда разговор душевный, настоящий. Тогда можно. А так не хорошо.

Мимо, в кромешном мраке что-то быстро и легко пробежало по доскам.

— Артюков, — узнал Чижов, — опоздать боится. Всегда все до последней секунды. Хорош моряк, ах, хорош. И ведь никогда не опоздает, в самую наихудшую секунду, а явится.

Новость на корабле была одна и смешная: старшина Говоров свалился-таки на поломанном велосипеде с пирса в воду. Но не только вылез сам, но и достал велосипед, и не только достал велосипед, но и успел его починить.

VIII. НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ

Они встретились возле каменных ступенек, на мокрой от дождя и снега дороге, сверили часы и выяснили, что минут тридцать можно погулять, было слишком рано.

Решили пройтись по пирсу...

Настроение и у Ладынина, и у комдива, и у других офицеров было приподнятое. Уже два дня они ждали этого часа и вот, наконец, почти дождались. Прогуливаясь, сейчас говорили мало и только один Корнев все что-то рассказывал и даже показывал руками, как на него напали эти два стервятника, откуда заходил один и откуда шел другой, как они сбрасывали и как один пошел все ниже, ниже и врезался в воду.

— Последнее пике! — говорил Корнев. — Ох, интересно было. Последнее. Ну, у меня комендор Картухин — это я вам скажу, человек. Так давать, как он дает, — редко кто может давать.

— А вы? — спросил комдив. — Разве вы не можете давать?

— Это в каком же смысле? — спросил Корнев. — Вопросы не понял, товарищ капитан третьего ранга.

— Поняли, — усмехнувшись, сказал комдив, — вы все поняли. Целиком и полностью...

На пирсе было ветрено, вода рябила, опять прошел снежный заряд, дохнул холодом, закрутил вихри, а потом сразу вышло вечернее солнце и все вокруг заиграло, заблестало, засветилось. Неторопливо к своей базе, прошла подлодка.

— Чья? — спросил Ладынин.

— Внимание! — холодным, служебным голосом сказал комдив, и командиры повернулись, отдавая честь.

По пирсу в кожаном реглане шел командующий.

Опять налетел снежный заряд, все вновь покрылось пеленою колючего, жесткого снега. В этой пелене загрохотали оружейные выстрелы.

— Прослушайте концерт, — сказал из туманной снежной мглы голос диктора. — Бетховен, «Застольная».

— «Налей, налей бокалы полной», — сказал комдив. — Хорошая песня. Четыре выстрела. Ничего себе, работают подводнички.

— Еще надо, чтобы признали, — сказал Корнев. — Бывает, что и не признают.

— Уже признали, — усмехнулся комдив. — У них дело ясное, летчики видели.

Снег валил густо сбоку и в то же время ярко светило солнце — шуточки Заполярья.

— Ну, вот, Ладынин, — сказал комдив, — такие то дела. Все у нас ничего, да вот Корнев, ах, Корнев. Нехорошо с ним, нехорошо...

Ладынин молчал. В приемной он повесил шинель на вешалку с рогами — круглую, в углу, обдернула тужурку, растер горящее от снега лицо ладонями и сел в тень, рядом с катерниками, которые шептались и пересмеивались, как школьники. Тут же что-то лихорадочно записывал и шевелил при этом губами сухопарый интендант. Тут же шелестел газетой, порой беспокойно поглядывая кругом, солидный майор. Поодаль у стены стоял в картинно-небрежной позе, известный на флоте бесстрашием, лихостью и пылкостью характера командир катера-охотника. Было тихо, немного тревожно и торжественно.

Катерники все шептались и пересмеивались, и Ладынин слышал, как они произносили слова «фитиль», который, видимо, ими ожидался от контр-адмирала, но все-таки они не унывали, а продолжали посмеиваться.

Интендант, наконец, кончил записывать, спрятал свою книжку в карман, но тотчас же опять что-то вспомнил и опять вынул книжку и опять записал, а потом сказал Ладынину:

— Так-то, гвардии старший лейтенант! Вот, за вашего брата отдуваюсь, все порт да порт. А порт что? Порт тоже человек!

Ладынин улыбнулся. Катерники опять зашептали про «фитиль» и опять начали смеяться, прикрывая рты ладонями. Корнев, сидя неподдалку от Ладынина, все покачивал ногой и часто вынимал портсигар, но не закуривал, а только щелкал портсигарной крышечкой до тех пор, пока его не вызвали вместе с комдивом. Тогда он вскопич, толкнул при этом солидного майора и, причесываясь на ходу, исчез в двери того кабинета, где принимал контр-адмирал.

Вновь стало тихо в приемной. Только

изредка у адъютанта звонил телефон, да катерники все шептались, да майор кричал, шелестя своей газетой. Так прошло минут десять-пятнадцать. Потом дверь быстро растворилась, и на пороге ее показался очень бледный Корнев. Лицо у него дрожало, и Ладынин еще до того, как Корнев начал ему говорить, понял, что произошло.

— Плохо, — подойдя к Ладынину, сказал Корнев и попытался было улыбнуться, заметив, что на него смотрят молодые моряки, но улыбнуться не смог и даже махнул рукой в отчаянии. — Плохо, совсем плохо. Пойдем, поговорим...

Он взял Ладынина, по своей манере, за локоть и пошел с ним на площадку лестницы. Лицо его все еще дрожало. Он заговорил, злобно глядя на Ладынина:

— Ничего не признали. Про лодку сказали, что ее вовсе не было. Что я никакой лодки не потопил и что я ввожу в заблуждение своими рапортами. И, вообще, я даже повторить не могу, что они мне там сказали. Про бомбардировщика... скандал получился, большой скандал, ужасный, ох...

Он задохнулся и в отчаянии поглядел на Ладынина.

— Под какой-то, будь он трижды неладен, показал, что видел весь бой и видел, как самолеты от нас ушли.

— А вы? — холодея от ужаса спросил Ладынин. — А вы видели, что самолеты упали в воду?

Корнев моргал, будто не понимая, чего от него хотят.

— Вы же вчера говорили, что видели? — спросил опять Ладынин. — Так как же вы могли видеть, если на самом деле они не упали?

— Но ведь там скалы, — пытаюсь улыбнуться, ответил Корнев. — Я ведь вам уже разъяснял обстановку. Там скалы, самолеты за скалами и пропали. А контр-адмирал и начальник штаба... они, они ничего не признали и начальник штаба сказал, что он за всю войну первый раз видит такого способного юношу, а потом все время смеялся. Вот так прикрыл глаза рукой и смеялся. Ладынин, что мне делать?

Ладынин молча на него посмотрел.

— Подать рапорт о посылке вас в морскую пехоту, — сказал он не без труда. — Там вы, может быть, загладите это... это... — Он хотел сказать преступление, но сказал из брезгливой жалости: — это свое поведение.

— И когда война кончится, все-таки не так стыдно будет.

— Рядовым?

— И то большая для вас честь, — сказал Ладынин. Ему нестерпимо трудно было разговаривать с Корневым, ужасно хотелось вернуться и уйти.

Но он не ушел, пока не сказал короткими словами все то, что хотел сказать.

А Корнев все стоял на площадке и жал папиросу белыми губами.

В приемной Ладынин встретил катерников — всю группу, которые выходили из кабинета контр-адмирала красные, но веселые, крутили головами, восторженно посмеивались и говорили — вот это так, да, вот это так штука получилась, а? И тотчас же туда прошел интендант, за ним майор. Интендант, выйдя, долго и тяжело отдувался, выпил с жадностью два стакана воды, подумал и выпил еще полстакана, пригладил редкие волосы, вздохнул и присел возле Ладынина. Посмотрел в свою записную книжку и сказал Ладынину:

— Вот эта цифра, вот она. Она меня съела. Кто я теперь такой? Не знаю. Кем я проснусь на завтра? Не знаю. Где буду послезавтра? Тоже не знаю. А как все хорошо было, как спокойно. Кончилась сказка, гвардии старший лейтенант.

Отдуваясь, вышел майор.

— Дали дяде Пете бобы, — сказал он, — ох, дали. А с другой стороны, за дело дали. И вам и мне за дело. Ох, за дело! Закурив папироску и, попыхивая дымком, добавил:

— Пойдем, интендант. Знал я, так будет и с вами, и со мной. Ничего, вот отправимся на фронт, станем людьми. Пойдем...

И они ушли, а через несколько минут адъютант вызвал Ладынина и его штурмана в ту продолговатую комнату, где принимал контр-адмирал.

Тут, на стуле, возле стены, неподалеку от контр-адмирала сидел комдив и разглядывал какую-то карту, а контр-адмирал с начальником штаба чему-то смеялись и переговаривались с комбригом, который стоял спиной к двери, против стола и тоже смеялся, разглаживая волосы ладонью.

— Товарищ Ладынин? — слегка наклонившись в сторону, чтобы увидеть вошедшего из-за широкой спины комбрига, спросил контр-адмирал и, точно бы продолжая начатый разговор, произнес: — А вот вам совершенно другая картина в таком же деле, разве неверно? Садитесь, товарищ Ладынин. И вы, лейтенант, садитесь.

Ладынин сел рядом со штурманом и потупился, чувствуя, что неудержимо краснеет, что вся кровь кинулась в лицо и что ничего решительно сделать с этим нельзя.

— Ну, вот, — посмеиваясь, сказал комбриг, — если бы в бою был таким застенчивым... Чего краснеете-то, Ладынин?

Контр-адмирал, будто не замечая, перешел к делу. Комдив взял у штурмана папку с картами. Начальник штаба, комбриг и контр-адмирал молча выслушали то, что говорил комдив, потом задали несколько вопросов штурману и, наконец, очередь дошла до Ладынина. Он от-

вечал четко, коротко, необыкновенно ясно и в то же время без всякого щегольства точностью. Слушая его, контр-адмирал с каким-то сердечным интересом к нему приглядывался.

— А что вы думаете про ту подлодку врага, которую вы атаковали? — спросил он неожиданно.

Ладынин ответил, что, по его мнению, лодки никакой не было.

— Зачем же вы в таком случае атаковали?

— Считаю, что лучше атаковать ошибочно, нежели, боясь ошибиться, не выйти в атаку и тем самым подставить себя или корабли, охраняемые мною, под торпедный удар.

Контр-адмирал улыбнулся в подстриженные усы и взглянул на комдива.

— Засчитывать вам эту лодку не надо? — не то в шутку, не то всерьез спросил он.

Ладынин почти испуганно сказал, что «как же ее засчитывать, когда ее вовсе не было».

— Ну, хорошо, — сказал контр-адмирал. — Картина ясная. Ясная картина, комдив?

— Ясная, товарищ контр-адмирал, — произнес комдив.

Несколько секунд все молчали. Потом контр-адмирал пожал Ладынину руку своей большой горячей ладонью и почти весело сказал:

— Хорошо воеете, гвардии старший лейтенант Ладынин. Как положено гвардейцам. И без лишних слов. Главное, без лишнего слов. Идите, отдыхайте! И вы, штурман, идите. Хорошо. Отлично.

Когда они были уже у двери, контр-адмирал окликнул Ладынина и спросил у него напоследок веселым, явно шутливым голосом:

— Так не засчитывать вам эту подлодку, Ладынин? Вы хорошо продумали? А? А то еще раскаетесь, рапорт напишете? Ну, идите, идите, отдыхайте...

IX. КОРАБЛИ УХОДЯТ В МОРЕ

Дни идут за днями. Свистит осенний ветер над холодным заливом, с воем проносятся снежные заряды, все короче становится день, каменные сопки покрываются снеговым покровом, по утрам на корабле краснофлотцы скалывают лед. Наступает зима.

За утренним чаем командиры напряженно слушают радио. Чижев раскладывает карту перед своим стаканом и подолгу рассуждает насчет клещей, обзатов и дальних рейдов в тыл противника. Он полон сложных тактических планов, спорит с Тишкиным и с начхозом, и со штурманом, со всеми, кто так или иначе ему противоречит. Он ни с чем и ни с кем никогда не соглашается. Только иногда он соглашается с командиром,

если, например, Ладынин говорит, что все это чепуха и одна болтовня. Тогда, почесывая лысину, Чижев бормочет:

— Конечно, у нас беседы любительские, каждый посылно рассуждает.

По вечерам в кают-компании заводят патефон и подолгу слушают наскучившие пластинки, играют в шахматы, разговаривают о прочитанных книгах. Книг на корабле не очень много и главный их читатель Тишкин. Говорит он, обычно, так:

— Читал давеча писателя Гюи де-Моассана.

Или:

— Густав Флобер в романе «Воспитание чувств»...

Или еще:

— Александр Сергеевич Пушкин...

Но это все шутки, а иногда заходят и нешуточные, душевные разговоры и споры. Разговаривают тут и спорят, как в родном доме, в большой семье. И Ладынин любит помолчать и послушать за стаканом крепкого чая; светлые, яркие глаза его смотрят то на одного спорящего, то на другого. Вмешивается Ладынин очень редко, в самых крайних случаях, все знают его молчаливость, но все в то же время уверены, что он слушает с интересом и всегда при этом что-то думает, особенно, по-своему, и при этом никого не осуждает, никого не собираются грубо одернуть, никогда никого не унизит в глазах товарищей, прекрасно понимая, что такое для командира честь, что такое уважительный спор, что такое спокойствие, корректность, сдержанность.

На берег командиры ходят редко.

Ладынин не любит «болтания», и все это хорошо знают. Да и некогда болтаться командирам его корабля. Какое там «болтание», когда целый день идут учения: то артиллерийское, то комбинированное, и воздушная тревога, и лодка противника, и пожарная тревога, и химическая, и заделывается пробойна, и мало ли еще какие бывают учения, и какие требования, может поставить перед командирами и краснофлотцами такой человек, как Ладынин.

Лечь бы у себя в каюте после всех этих учений, после горячего спора за чайным столом, взять бы книжку, а потом, минуток через десять-пятнадцать, заснуть мертвым сном. Мало ли что будет впереди, мало ли, какой будет поход и чего в нем придется хлебнуть.

Ветер становится уже морозным, ледяным.

Быстро бегут дни ремонта, учений, опробований механизмов, и вот уже корабль выходит на мерную милю, на девиацию, вот уже уходит Ладынин на катере в штаб и возвращается ночью, вызывает к себе Чижева и разговаривает с ним, посмеиваясь глазами, прикиды-

вая новости в уме, высказывая кое-что вслух, нето советуясь, нето решая. Потом решает точно, и голос его звучит твердо, спокойно, уверенно. Так они расходятся спать, а поутру, когда еще совсем темно и когда ревет над заливом буря, Чижов в тулупчике выходит на мостик и, нажимая соответствующие кнопки, говорит в телефонную трубку своим сипловатым голосом:

— Корабль к походу изготавить! Корабль к походу изготавить! Корабль к походу изготавить!

Грохочут по скользким трапам, по ледяным палубам тяжелые матросские сапоги. Высвистывают по тьме заполярной ночи дудки. Кто-то выругался быстро и весело, кто-то поскользнулся, а Чижов все похаживает по мостику в белесой, снежной, воющей тьме, прислушивается к шумам своего корабля, поспывает носом... Как бы ни было, а засиделись, пора и прогуляться, небось, забыли моряки, какое оно море, а оно дает, ох, и дает...

Командиры боевых частей один за другим докладывают в телефон Чижову, что у них и как, а потом он начерно, совсем по-походному, без единого почти слова, думает, хмурится, курит длинными, глубокими затыжками и, зайдя к себе, окончательно переодевается на весь поход: валенки с кашошами, штаны, принесенные сюда еще с тралового флота, с мирного времени, они еще рыбкой пахнут — той, полузабытой жизнью, свитер тоже тех времен — тресочкой отдает, потом полушубок, потом шапка теплая, спичек в кармане четыре, коробка, папирос в карманах четыре пачки, мундштук, трубка, курительная бумага и кист резиновый, в нем особо ценный табак — номерная махорка, очень помогает от усталости, особый дает «продер» голове, действует магически, когда уже ни крепкий чай — ничего не работает. По началу хорошо ее заворачивает в виде козьей ножки, а когда и козья ножка перестает действовать, — засыпается номерная махорка в трубочку. Тут-то она себя и показывает.

На прощанье Чижов затягивается ремешком поверх полушубка, еще оглядывает каюту, не забыл ли чего, и валкой походкой, цепко расставляя короткие ноги, отправляется на мостик. До окончания похода вряд ли он сюда заглянет больше, чем на несколько минут. Нечего ему тут делать на походе.

А командир только-что проснулся. Заложив сильные, смуглые руки под голову, он никак не может толком прогнать от себя сон. Ему снилась Варя, как он входит к себе в комнату, там, в далеком отцовском доме, как она, — Варя — с косичками, с дрожащими губами поднимается, идет навстречу, что-то гово-

рит, но он не слышит, что она говорит, не слышит ее слов, ее голоса, а только смотрит на нее и никак не может насмотреться.

Но вот он долю секунды подумал, взглянул на часы и мгновенно встал.

Он одевается быстро, в раз навсегда установленном порядке, быстро полощет у рукомойника, и поднимается на мостик, где постукивает валенком о валенок Чижов, где застыли уже фигуры сигнальщиков в огромных шубах, где свистит ветер, где с воем мчатся тучи снега.

Негромким голосом Чижов докладывает командиру, что и как происходит в эти секунды на корабле.

Они разговаривают в рубке, — тут не так хлещет ветер. Корабль готов к походу. Еще немного времени — минут пятнадцать-двадцать, ровно столько, сколько полагается, — и Чижов возьмет телефонную трубку, подмигнет сам себе и заговорит на все палубы, на все корабельные помещения ровным, спокойным, негромким голосом:

— По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься.

И начнется другой этап жизни корабля, тот этап, которому подчинено все остальное, то, для чего учения, ремонты, базы, то, для чего принимается боезапас, — начнется боевой поход корабля.

— По местам стоять, — говорит Чижов, — со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять... — Едва брезжит холодный, мутный рассвет.

— Отдать кормовой, — командует Чижов в мегафон, — боцман, живее. Пошевеливаться, боцман!

Положив руку в перчатке на обвес ходового мостика, прищурившись, — смотрит Ладыгин, как отдаются швартовы. Смотрит, молчит. Еще несколько секунд корабль разворачивается на рейде. Волна ударила в скулу. Мерно задрожала палуба. Иначе запел и засвистал ветер — другой ветер, настоящий ветер, ветер похода.

— Пар на средний, — веселым, хрипловатым голосом командует Чижов.

— Есть пар на средний!

— Пар на полный! — следует команда.

— Есть пар на полный.

— Три градуса право...

Свистит, поет, воем морской ветер. Зарывается носом в огромную волну корабля. Колокола громкого боя бьют тревогу. Рвет ветер облака, блистает в драных облаках ярко-голубое небо, там где-то у самой кромки облаков ходят германские самолеты...

X. ПОДНЯТЬ ФЛАГ

Подолгу и всегда с удовольствием приглядывался Ладынин к своему помощнику на походах. Особая, спокойная, уверенная сила никогда не покидала этого небольшого ростом, веселого, попыхивающего папироской человека.

Вот и сейчас, зажав зубами мундштук, напевает Чижов на свой, им сочиненный мотив старую поморскую песню — унылую и печальную на самом деле и совершенно залихватскую у Чижова.

Грумант-батюшко грозен
Кругом льдами окружен
И горами обвышен..

Грумантом поморы называли Шпицберген.

Холодно. От ледяного ветра и соленых брызг у сигнальщиков слезятся глаза. Шторм не страшен большому, тяжело груженному транспорту. Но маленькому военному кораблю трудно: с грохотом огромные валы обрушиваются на палубах и пенящимися потоками стекают по верхней палубе. Швыряет так, что люди привязали себя кантами, что бы не снесло за борт. Кое-кто, стыдливо озираясь, травит.

Все, везде обмерзло.

Артиллеристы непрерывно отогревают пушки и пулеметы. Небо ясное, самолеты могут появиться в любую минуту, как уже появлялись дважды, и если появятся, — а вооружение не будет в полном порядке — мало ли что может случиться.

А попробуй-ка, поработай на таком ветру, когда корабль бросает из стороны в сторону, точно щепку, когда штормовые леера так обмерзли, что их не охватить рукой, когда лед слоем покрыл верхнюю палубу и слой этот непрерывно, после каждой волны утолщается.

Полушубки тоже обмерзли и сверкают на морозном солнце. Люди кажутся в них точно бы покрытыми зеркальным бронем, сверкающим панцирем, обыкновенные, бараньи полушубки превратились в сказочную одежду.

Ладынин тоже обледел. Чижов с головы до ног покрылся хрустящей коркой.

— Вот в чем наше преимущество перед авиацией, — говорит он, — самолет при обледенении лететь не может, а мы сколько угодно. Сделайте одолжение. Нам не страшен серый волк..

Корабль то вздымается на волну, то рушится вниз, — в бездну. Боцман Коровин совсем выбыл из сил и ругается последними словами. Вот опять ударом волны сбило бомбовую тележку, и Коровин с подветренной стороны, хватаясь, за что попало, побежал на корму. Туда же за ним пробирается Артюхов и два других краснофлотца.

Через четверть часа боцман доклады-
вает:

— Все в порядке.

Лицо у Коровина разбито. Из переносицы сочится кровь. Руки потрескались и распухли.

Боцман уходит. Соленая, ледяная вода раздвигает трещины на руках, это очень больно и, на ходу, боцман забегаёт к Тишкину, чтобы тот чем-нибудь намазал. Тишкин мажет.

— А во внутрь ничего не дадите? — хмуро спросил боцман.

Тишкин моргает, делая вид, что вопрос боцмана ему не понятен.

— Валерьянки могу накапать, — говорит он, наконец. — Валерьянка хорошая вещь для нервного человека.

Внезапно корабль кидает так, что Тишкин ударяется затылком о перегородку, а боцман налетает на него всей тяжестью своего тела. В это мгновение боцман шепчет сладко и унывно:

— Ежели бы спиртику. А! Спиртяшки? Колонуть бы, товарищ доктор. Колонувши, оно всегда легче.

Корабль вновь швыряет.

Огромная волна вновь обрушивается на полубак, с ревом катится по верхней палубе, клокочет и пенными потоками уходит за борт.

Грумант-то наш и ох, как грозен.

И ох, как сердит наш батюшко Грумант...

Сюда, на мостик, вестовой Колесников приносит им четвертый, уже с сахаром, горячий чай. Тут он наливают его из кувшина по стаканам и, пожелав хорошего аппетита, исчезает. Чай пить на мостике в такой шторм, когда корабль валает из стороны в сторону, очень трудно, но Ладынин и Чижов все-таки пьют, и Чижов при этом бормочет:

— Ай, и хорош. Ай, Колесников...

Потом сладким голосом спрашивает:

— А что, товарищ командир, если вот в таком безобразии морском — да минка? Эдакая, бродячая? Да, стукнет? А? Накрылись тогда наши с вами размышления? Как вы считаете?

Огромная волна надвигается на корабль...



Шторм кончился, и море стало совсем тихим, когда сигнальщик Жук доложил, что видит неизвестные корабли. Ладынин взял бинокль и сразу же сам увидел их: они шли строем фронта, — один, два, три, потом, через секунду, он увидел четвертый корабль.

— Миноносцы как будто, — сказал Чижов.

Не отрывая глаз от фронта вражеских кораблей, он объявил боевую тревогу и посмотрел на командира, ожидая приказаний.

Сердце Ладынина билось резко, толчками.

Это было то мгновение, то высшее, необыкновенное, неповторимое и никогда невозвратимое мгновение, которого ждет каждый настоящий военный моряк, то мгновение, в которое решается судьба, честь, победа, то мгновение, которое определяет вечную славу или несмываемый позор.

Конечно, они могли еще уйти. Они могли уйти почти спокойно, и германские эсминцы не стали бы за ними гнаться: транспорт в двенадцать тысяч тонн водоизмещением совершенно устроил бы немцев. Транспорт ничего не сделает с четырьмя вражескими миноносцами. Но разве можно допустить, чтобы он погиб вместе с людьми, с ценными грузами, с вооружением...

Впрочем, Ладынин так не думал в эти кратчайшие мгновения. Он только представил себе транспорт, даже не взглянув на него. И представил себе, что может выгадать время для того, чтобы транспорт ушел под защиту береговых батарей.

Вот и все.

Сердце билось теперь спокойно, абсолютно спокойно.

— Эсминцы типа «Маас», — сказал он ровным голосом и приказал ставить дымовую завесу.

Чижов сдвинул теплую шапку на затылок. Лицо у него сделалось хлопотливо-озорным и сердитым, как всегда в бою. Корабль набирал ход.

Не отрывая бинокль от глаз, Ладынин смотрел на германские миноносцы: со срезанными трубами, стремительные, темные, низкие, они шли на сближение, рассчитывая без боя расстрелять русский маленький военный корабль и тяжелый транспорт.

Струя черно-серого дыма вырвалась из трубы за спиною Ладынина, он обернулся, посмотрел, как ложится на воду завеса, и, прищурившись, взгляделся в корму. Но пелена черного дыма из трубы уже закрыла все то, что происходило за шканцами, и он ничего не видел там и перевел взгляд на транспорт, который тяжело разворачивался для того, чтобы, как приказал ему Ладынин, уйти под защиту береговых батарей.

— Ничего, успеет, — сказал Чижов, — у него ход хороший, он наддаст...

В это мгновение эсминцы дали первый залп, но дымовая завеса спутала их расчеты, и снаряды разорвались далеко от корабля.

— Перелет! — ругаясь, сказал Чижов, — на вот — выкуси!

Теперь корабль совсем укрылся за дымовой завесой, и Ладынин начал маневрирование. На полубак пробежал артиллерист в кожаном реглане, что-то кричал комендору и быстро исчез. Палуба

под ногами Ладынина вибрировала, механик позвонил по телефону и сказал, что, большего хода дать невозможно. Эсминцы дали второй залп, потом еще, и опять без всяких результатов.

— Как там транспорт? — спросил Ладынин.

— Уходит, ничего, — сказал Чижов, — он уйдет, мы тут им поднапорим крови...

В это время корабль начал отстреливаться. Носовое орудие било раз за разом — без пропусков, желто-оранжевое пламя выскакивало из ствола, красно-флотцы вновь заряжали, на секунду появлялся артиллерист, уже без реглана, что-то кричал и убегал к другим пушкам, так до тех пор, пока не содрогнулся весь корабль и не донесся откуда-то издали далекий воющий крик.

— Попали! — сказал Чижов.

Он перевесился вниз и вбок, чтобы увидеть, куда попали, но не успел — его швырнуло взрывной волной в рубку, он перевернулся и встал, как кошка, с перекошенным от злобы лицом. Телефонная связь больше не работала, и механик сам прибежал на мостик, чтобы сказать, какие у него повреждения.

— Пластырь подводите! — закричал ему Ладынин, — пластыри!

— Подводим! — тоже закричал в ответ механик, — уже подводим, товарищ командир.

— Ну и правильно!

Откуда-то полз едкий, рыжий дым, что-то горело, и там, в дыму и пламени, распорядился обожженный и окровавленный боцман, — туда волокли шланги, кошмы, песок. Носовое орудие, после короткого перерыва, вновь начало стрелять. Но люди там были уже другие, Ладынин не успел посмотреть — кто. Его внезапно ударило в грудь, он боком налетел на пеленгатор и хотел было выругать рулевого за то, что корабль поклатился вправо, но увидел, что рулевого нет вовсе, а потом и сам понял, что не выговаривает слов, а только хрипит и открывает рот. Тогда рукой он взял за плечо Чижова, показал ему на свой окровавленный рот и знаками стал командовать, что и как надо делать.

Но командовать было почти нечем.

Правда, на смену убитому, рулевому встал другой, но он ничего не мог сделать: с беспомощным бешенством он кричал сквозь грохот боя, что штуртросс перебит, что руль не слушает, что корабль управляться не может.

Потом, — один за другим пошли доклады.

Разумеется, это не были доклады по всей форме, — приходили обожженные, раненные, изувеченные люди, но все они свяжно говорили то, зачем были посланы.

— В корме пожар... Меры приняты, огонь идет на убыль.

— Антенна оборвана, восстановить невозможно.

— Шапки уничтожены артогнем противника.

— Сушилка разбита!

Тяжело дыша, пришел артиллерист, сказал, что носовое орудие больше стрелять не может.

Придерживая ладонью разбитую челюсть, Ладнин вдруг выяснил, что так, не отнимая руки, он может говорить, приказывать, командовать и приказал лейтенанту итти на кормовую пушку и стрелять до последнего.

— Сами стреляйте! — сказал он, — понимаете? Сами! Живо!

И он как бы даже легонько толкнул артиллериста итти и стрелять, а потом закричал ему вслед:

— Хорошо стреляли! Молодцы! Хорошо!

Горячая кровь лилась по рукаву его куртки, голова мutilась от нестерпимой боли, но он еще приказывал мертвому боцману, рухнувшему на обвес, — никак не мог понять, что боцман мертв, что он ничего не слышит, ничего не понимает, ничего не может выполнить. Потом увидел густой, рыжий дым на полубаке и острый, мечевидный язык пламени, увидел обгорелого Тишкина, который тащил куда-то тело механика, и понял, что все кончено.

«Теперь все равно», — с внезапной ясностью понял Ладнин, — «теперь конечно. Теперь надо только драться, только драться!»

Он нашел в себе силы снять с мертвого сигнальщика бинокль и посмотреть, где транспорт. Тот был уже далеко, он ушел от германских эсминцев, и в бинокль Ладнин видел, как он входит в бухточку, под защиту береговых батарей.

От пламени, которое все разгоралось на полубаке, было жарко, языки огня лизали разрушенную и развороченную рубку, Ладнин хотел повернуться к пламени спиной, но в это мгновение его вновь ударило, швырнуло и, когда он встал, то увидел, что теперь он один тут живой, все остальные умерли — и вахтенный командир, и тот краснофлотец, который подменил рулевого, и Чижов. Он наклонился к Чижову и понял, что тот еще жив, еще шепчет почерневшими губами, силится что-то сказать или объяснить, или посоветовать.

Зажимая рот, из которого лилась кровь, Ладнин низко наклонился к помощнику и погладила его по щеке... Весь жив у Чижова был разворочен, но он, не чувствуя боли, сосредоточенно и серьезно смотрел вверх и что-то при этом шептал, укоризненно шевеля бровями.

— Умираем, — вдруг громко сказал Чижов, — гвардейцы. Нельзя. Надо.

Ладнин не понимал. Было ясно, что

Чижов хочет сказать что-то иное и у него нет сил выговорить это иное и объяснить.

— Надо! — с силой сказал Чижов, глядя вверх. — Вот, командир. Надо!

Он стал задыхаться и рука его куда-то показала.

— Надо же! — повторил он. — Надо! Нельзя!

Ладнин повернулся в ту сторону, куда показывал Чижов и увидел, что флага на гафеле нет. Там осколками все изломало и исковеркало, и об этом-то и говорил, умирая, Чижов.

— Сейчас! — сказал Ладнин, — сейчас! Сейчас, дорогой мой, сейчас...

Он привстал, повернулся, обжег руку о пламя, которое появилось уже тут, и медленно начал спускаться по трапу, но остановился, пораженный тем, что на мачте появилась фигура краснофлотца. Прошло еще несколько секунд, и новый флаг развернулся на гафеле, а краснофлотец пополз вниз. А, может быть, прошли не секунды, а минуты или даже часы — время теперь остановилось для Ладнина. Он шел по развороченной, горящей, исковерканной палубе своего корабля, узнавал мертвых командиров, краснофлотцев, старшин, — какая-то сила вела его на корму, к живым людям, там еще были живые. И точно — он увидел Артюхова и Говорова, которые возились у пушки, пытались выстрелить.

— Кто поднял флаг? — спросил Ладнин.

— Он, — сказал Говоров, укачивая раненую руку и показывая на Артюхова, — полез и сделал.

— Порядок! — сказал Артюхов. — Будьте покойны!

— Ой, рука моя рука, — сквозь зубы сказал Говоров, — ой, чтоб ты пропала...

— Ничего! — ответил Ладнин, — ничего, теперь уж скоро. Уже совсем скоро!

Он не знал, что скоро, — но старшина и Артюхов поняли его, а потом дали ему бинокль, чтобы он посмотрел, как горит эсминец.

— Вот! — сказал Артюхов, — дали мы ему маку. Вон они там крутятся. О!

— Нам надо, — сказал Ладнин, — нам обязательно надо сделать так, чтобы...

Мысли путались в его голове, и он никак не мог закончить начатую фразу. Но черный, кровотокающий Артюхов понял его, а вслед за ним понял и старшина. Втроем они кое-как зарядили орудие, втроем кое-как выстрелили. Конечно, это был уже не выстрел, это был символ выстрела, символ доблестного и высокого конца корабля.

— Все! — сказал Артюхов и рукавом голландки вытер кровь с лица, как вытирают пот. — Выстрел дали, флаг на месте, транспорт наш ушел. Теперь можно покурить. Желаете покурить, гвардии старший лейтенант?

Он наклонился к Ладынину, и его черное, в запекшейся и свежей крови лицо, осветилось яркой и доброй улыбкой. Но Ладынин ничего не мог ему ответить. Все плыло перед ним и качалось. Он хотел спросить, куда делся Говоров, но не смог. Эсминцы вновь начали обстреливать корабль. Все вокруг рвало, трещало и горело. Ладынин попытался еще встать и упал, но Артюхов обнял его за плечи и поставил.

— Ничего! — сказал Ладынин, — ничего!

— Покурите! — громко, в самое ухо Ладынину крикнул Артюхов, и поднес к его окровавленным губам толстую, крепкую махорочную самокрутку. — Вот так! Насильно потяните! Во хорошо будет, порядок.

Ноги у Ладынина подгибались, но Артюхов поддерживал его, ему почему-то хотелось, чтобы умирающий командир стоял с ним рядом до самой последней секунды, чтобы они вместе, вдвоем смотрели на далекий, суровый, каменистый, снежный берег — на свою землю, на свое небо, на свое море...

— Ничего! — опять сказал Ладынин. — Ничего.

— Порядок! — ответил ему Артюхов.

Опять разорвался снаряд, и Артюхова не стало возле Ладынина. Непонимающими глазами Ладынин осматривался — потом шагнул в сторону и, никого не найдя, свалился лицом в горячий, разорванный металл. Его залило кровью, невыносимо болело в боку и он потрогал там, в свежей ране, рукой, но попал не в рану, а во что-то другое и поднес это другое к спящим глазам.

Это были листья, те самые листья, сухие, осенние, которые собрал он на боте, возле родного города.

— А, Варя! — подумал он с радостью.

И вдруг почувствовал, что боли никакой нет.

Боли не было, и наступила тишина, удивительная тишина, такая, какой не бывает среди живых людей. И он все глубже и глубже уходил в эту тишину, не зная, что корабль горит и погружается носом, что вместе с его жизнью кончается жизнь его корабля.

XI. БЫТЬ, КАК ОНИ!

Как-то сырым и мозглым весенним вечером тяжелая машина контр-адмирала, разбрызгивая жидкую уличную грязь со снегом и полурастаявшим льдом, остановилась возле дома старика Ладынина. Контр-адмирал отворил дверцу, вышел на досчатый тротуар и, прищурившись, прочитал фамилию домовладельца.

Потом вошел во двор.

Старик Ладынин в очках, в теплой байковой домашней тужурке и в меховых гуфлях, очень постаревший, той внезапной старостью, в основе которой всегда лежит огромное горе, долго не понимал,

кто стоит перед ним в темной передней, а когда понял, со спокойным достоинством помог контр-адмиралу снять шинель и проводил его в прохладную столовую, где вместе с Анцыферовым топил изразцовую печь.

Контр-адмирал отворил дверцу печки, сел в низенькое кресло, с удовольствием протянув руки к жаркому пламени, потом хрустящим платком вытер усы.

В передней хлопнула дверь, сразу же взволнованно зашептались два голоса.

— Кто это? — спросил контр-адмирал.

— Младший мой сын! — сказал Ладынин, — и его товарищ, усыновленный мною сирота, покойного Блохина сынок, может быть, изволили слышать, штурман Блохин погиб на танкере «Лермонтов».

Контр-адмирал кивнул головой, прислушался к разговору в передней и слегка улыбнулся.

— Полный адмирал! — говорил один голос, — всегда ты, Блохин, путаешь. Одна звезда это вице-адмирал, а уж две — это полный. Тут одна — значит вице.

— Ну, а контр-адмирал тогда, по-твоему, что носит? — спросил другой голос. — Какая у тебя манера говорить, не зная.

— Ну-ка, идите сюда, полные адмиралы, давайте сюда, тут выясним, что к чему, — сказал контр-адмирал.

Мгновенно в передней наступила тишина, потом что-то упало и разбилось, потом оба голоса зашипели какие-то полусердитые, полуиспуганные слова, и два подростка, багровые от смущения, толкая друг друга, появились на пороге.

— А, похож, — сказал контр-адмирал, приглядываясь к Бориске, — глаза те же, взгляд такой же. Рот, подбородок... Да и на вас они тоже очень похожи, товарищ Ладынин.

Старик молчал, грустно улыбаясь.

Потом контр-адмирал немного поговорил с Бориской и с Блохиным, спросил у мальчиков, что за модели кораблей стоят на полочках по стенкам, и Борис, стесняясь, но толково и раздельно рассказал и про лыкоштитный поморский корабль, вырезанный руками Александра, и про казацкий челн, и про модель нефы тринадцатого века, и про модель скандинавского драка с надстройками на носу и на корме для воинов.

Контр-адмирал слушал молча; старик Ладынин попрежнему грустно улыбался; Анцыферов покуривал в печку, искоса глядя на Бориску.

— Дай-ка мне лыкоштитный корабль, — сказал контр-адмирал и поставил модель перед собой на край стола.

Любуясь, поглядел, огладил пальцами крутые бока ладьи и спросил Ладынина, можно ли создать домашних сюда.

— Да тут почти что все, — сказал старик, — вот только Варя да Глафира. Позови Варвару, Бориска!

Варя пришла тотчас же в темном

платье, очень похудевшая, спокойная. Глафира остановилась возле порога.

— Ну, так, — сказал контр-адмирал, — вся семья в сборе, насколько я понимаю. Добро!

Глаза у него потемнели.

Спокойным жестом он достал из кармана сверток, разорвал тонкую обертку и раскрыл красную коробочку. Потом бережно на ладонь положил мягко сверкавший Орден Отечественной войны первой степени и протянул его через стол старику Ладынину. Губы под усами у старика дрогнули.

— Возьмите, товарищ Ладынин, — сказал контр-адмирал, — это орден вашего сына. Пусть он вечно хранится в вашей семье. Вот Борис вырастет и тоже будет хранить орден брата-героя. Берите!

Плача и не замечая слез, текущих из-под очков, старик взял орден, поцеловал его и отвернулся, не в силах больше владеть собой. Варя быстро вышла из комнаты, бегом пробежала коридор и замерла возле лестницы на антресоли. Тут ее и нашел Бориска:

— Варюша, — сказал он шопотом и взял Варю за руку холодными и дрожащими пальцами, — контр-адмирал спрашивает про тетрадки Шурины. Спрашивает, нельзя ли посмотреть. Они там у тебя? да? у тебя?

— У меня! — сказала Варя, — я сейчас, сию минуту. Я — быстро!

Прикусив нижнюю губу, она поднялась в ту комнату, в которой когда-то жил Александр, открыла ящик стола и достала оттуда несколько тетрадок, исписанных юным почерком — его почерком. Потом спустилась в столовую и положила тетради на белую скатерть, рядом с коробочкой от ордена и моделью поморской ладьи.

— Разрешите посмотреть? — спросил контр-адмирал.

Анцыферов толкнул задумавшегося старика Ладынина, и тот сказал, что, пожалуйста, — это просто детские записки Шуры, разные выписки из книжек, размышления...

— Понятно, — рассеянно ответил контр-адмирал, — понятно...

Читая про себя, он переворачивал страницу за страницей — тут были строки и строфы стихов, описание Ленинграда, цитаты из великих флотоводцев, заповеди самому себе, какие-то звонкие, пламенные и юношеские слова, короткие размышления, и так и эдак подчеркнутые цитаты, опять стихи...

«Сегодня пьяный опять колотил на улице женщину — свою жену», — вслух прочитал контр-адмирал. — «Я очень то-попился и не помог этой женщине, а вскочил в трамвай. Вот сейчас записываю, и всего кинуло в жар от стыда. Никогда не забыть мне этого гадкого и мерзкого позора».

«Ветер дует с моря — здешний, балтийский, не похож на наш северный, а все-таки море. И даже сердце бьется».

«Быть верным. Самое главное быть верным. Верным не тогда, когда легко быть верным, а когда трудно. Когда так трудно, что труднее нельзя. Вот, например, если Варя разлюбит меня...»

Контр-адмирал пропустил несколько строчек

— Это ничего, — сказала Варя, — тут все можно читать. Читайте, пожалуйста.

«Быть верным всегда, — продолжал контр-адмирал, — везде, вечно. И в стужу, в непогоду. И в бою, и в работе. Быть верным своему собственному чувству. Быть верным до конца, до самой последней минуты».

Контр-адмирал читал, не торопясь, ровным голосом, сдерживая волнение. Когда глаза его находили место, слишком близко касающееся внутренней жизни Александра, любил его к Варе или еще чего-нибудь в этом роде, — он пропускал несколько строчек и никто, кроме Вари, этого не замечал.

Так он просмотрел одну тетрадку, потом другую, потом еще одну. Старик Ладынин слушал внимательно, почти напряженно. Выражение лица у него стало твердым, сидел он прямо. Анцыферов глядел, не отрываясь, на ладью, что стояла возле тетрадок. У Вари горели щеки. Бориска и Блохин стояли за спиной контр-адмирала, глаза у мальчиков жадно пылали.

«Говорить и думать только правду, — читал контр-адмирал, — быть честным и прямым. Если любишь, то любить так, чтобы умереть за любовь. Не думать о своих удобствах или неудобствах. Во всем быть одинаковым. Это трудно, но я буду таким, иначе не стоит жить».

Когда часы на стене в столовой пробили десять, контр-адмирал поднялся, положил тетрадь на стол и попросил показать ему комнату, в которой жил Александр.

Варя пошла впереди, молча отворила дверь со стеклом, пропустила контр-адмирала и встала у дверного косяка, прижимая руки к груди, тонкая и страшно бледная в своем черном платье.

— Если что понадобится, — сказал контр-адмирал, — прошу меня известить. Может быть, сейчас что-нибудь нужно семье?

Варя покачала головой — она не могла сказать ни слова, слезы душили ее.

— Ну, полно, — теплым и тихим голосом сказал контр-адмирал. — Пойдемте отсюда!

Надев шинель, контр-адмирал попрощался со всеми и вышел в темный двор. Попржнему лил холодный дождь. В калитке без пальто и без шапки стоял Бориска. Глаза у него светились. Контр-ад-

мирал сначала не узнал его в темноте, а потом сказал:

— Что ты, брат, стоишь? Простудился! Мало отцу горя?

— Я хочу быть военным моряком, — громко и очень тонко сказал Бориска. — Я хочу быть таким, как он. Таким же!

Медленная, грустная улыбка появилась на лице у контр-адмирала. Он погладил Бориску по голове, по мягким, влажным от дождя и снега волосам, посмотрел ему в лицо и сказал:

— Что ж... И будешь моряком. Вот построим эсминец, назовем его «Гвардии старший лейтенант Ладынин», и будешь ты служить на новом корабле так же, как служил твой брат. Договорились?

— Договорились! — сжимая руку контр-адмирала холодными пальцами, сказал Бориска.

— Ну и добро!

Северный флот, 1943 г.

Контр-адмирал еще провел по борискиной голове своей сильной и горячей ладонью и сел в машину.

Захлюпала под покрывками грязь со снегом, красный огонек стоп-сигнала медленно проплыл у ног Бориски.

Зашумел ветер, вновь понесло снег вперемежку с дождем.

— Быть таким! — упрямо и зло сказал Бориска, — быть таким. Только таким!

Больше он не плакал. Он еще немного посмотрел вслед уехавшей машине и вошел в теплый дом, в столовую, расставил по местам модели кораблей и сел за стол читать дневники Александра, чтобы быть таким, каким был брат. Варя подошла к нему, села с ним рядом, обняла его за плечо и сказала тихим голосом:

— Давай читать вместе!

— Давай! — согласился Бориска.

СТИХОТВОРЕНИЕ

В. РУДИМ



Дрожал блиндаж, метался ветер в травках
Кудлатым псом, сорвавшимся с цепи.
Гредел жестокий бой на переправах
В непаханной, неезженной степи.

От взрывов мин над вспугнутою ранью
Земля цветами черными цвела.
И странно — здесь, над луговой

геранью,
Как капля солнца, плавала пчела.

Бросалась вниз с подрутой вперегонки
На голубую россыпь чебреца,

Ныряла в венчик, и на ножках тонких
Едва виднелась белая пыльца.

Ей нипочем слепая ярость боя,
Железа лязг и трепеты огней.
Она пылала, как торжество живое,
Всего, что смерти выше и сильнее.

И смерть бежала на неверных лапах,
Сверкнула степь, росой напоена.
И полевых цветов медовый запах
Была не в силах заглушить война.

СКАЗАНИЕ О МАРДИСТАНЕ

АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ



*Двадцати восьми героям, павшим
смертью храбрых, но не пропустившим
врага к родной Москве, посвящаю
эти строки.*

1.

В далекие века в одной из стран
Селенье было, звалось Мардистан*.
Но женщины одни с детьми там жили
И, хоть различных лет, все юны были:
Любая среди жен того села
Другую мужа именем звала:
С почтением звала женою Сама,
Женой Сангина иль женой Бахрама...

Вблизи села под синевой небес
Раскинулся прекрасный, стройный лес.
Немало там тенистых кедров было
И тополей, подобных стану милой.
Куда ни глянешь, статуя стоит:
Здесь бронза, дальше мрамор иль гранит...
Всю рощу оживляли изваянья
Мужей, когда-то живших в Мардистане.
И каждый памятник со всех сторон
Был цветником приветным окружен.
Там песни соловьиные звучали
И розы в лад головками качали...

Обычай был у жен деревни той:
В день, полный солнца, каждую весной
Они халву, шербеты в изобилии
И явства ароматные варили.
В корзины дичь и хлебы положив,
Карманы множеством сластей набив,
Концы ногтей намазав алой хною,
Смочивши косы розовой водою,
Сурьмой бровей отметив красоту,
Одеты в шелк и нежную тафту,
При звуках сазов, бубнов и свирелей,
Забыв заботы, полные веселья,
Они, детей нарядных взяв с собой,
Пускались в путь к заветной роще той...

Там каждая, целуя изваянье,
Лила над ним кудрей благоуханье
И с мужем недвижимым и немым
Усаживалась рядом, как с живым.
Слова любви шептала, как бывало,
И пела для него, как встарь певала,
И речь неторопливую вела
Про все заботы дома и села...
Вспоминала верная подруга
О доброте, о нежности супруга,
И стоны из груди ее рвались,
И слезы, как весенний дождь, лились.
Вспоминала подвиг, полный славы,
Плоды его кончины величавой
И ту любовь, что братские сердца
Хранят к бессмертной памяти борца,
И разом высыхали вдовьи слезы
И вновь на щеки разворачивались розы.
— Ты вечно жив! — шептала. — Милый
друг,

Ты гордость сыновей, ты сила рук...
Речами сердце уладив такими,
До вечера она с детьми своими
То тешилась, и ела, и пила.
То про отца-героя речь вела.
И, уходить собравшись, на прощанье
Вновь нежно целовала изваянье...

2.

В подобный день однажды в
Мардистан
Явился путник из далеких стран.
Глядит: мертво цветущее селенье.
Тишь, пустота, ни слова, ни движенья.
Прошел его и вдоль и поперек,
Нигде живой души найти не смог.
В невольном страхе весь затрепетал он:
«Где люди здесь? Эй, люди!» — закричал он,
На голос этот из одних дверей
Безмолвно вышла, мертвеца бледней,

* Мардистан — жилище мужчин, мужественных людей.

РАССКАЗЫ

МИХАИЛ ПРИШВИН



1. БОТИК

На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-Залесского, на красивом холму расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого, один из дедушек русского флота. В летние тихие дни отсюда виднеются с противоположного берега спокойные отражения в тихих водах древних церквей, холмов с городищами, собор XI века и много такого, на что и сам Петр, со своим Санкт-Петербургом, смотрел, как на древности.

Мало найдётся под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять верст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем, направо часто из дымки выступает древний город, как невидимый град, налево — леса не дачные, а дикие с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север.

Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединённо, в белом дворце среди старинных берез, будто бы екатерининского времени. Только один раз в году, в Петров день, когда расцветают все травы, сюда во множестве собирались переславльские граждане почтить память Петра. В другое время редким случайным посетителям усадьбы мы показывали памятник, поставленный в 1852 году владимирским дворянством Петру Великому. На этом памятнике золотыми буквами по серому мрамору был написан грозный указ царя о неминуемом возмездии потомкам переславльских воевод, если они не будут беречь остатки его потешного флота. После чтения грозного указа всегда оставляя на нас тяжёлое впечатление вид ботика с перепревшими канатами, единственного уцелевшего суденышка от многих петровских галер и фрегатов.

Характерным для натуры Петра было непрерывное стремительное движение вперед, и это так было прекрасно понято Фальконетом и Пушкиным, давшими нам образ гиганта на бронзовом коне. Трудно себе вообразить после этих памятников что-нибудь более жалкое, чем это мраморное пресс-папье на Ботике. В пределах сил наших мы решили устроить из Ботика памятник чисто в духе Петра: устроили в прекрасном белом каменном доме географическую станцию.

Помнится, один из учёных, работавший на этой станции (если не изменяет мне память проф. Ласточкин), предлагал ставить научные опыты здесь не больше, как лет на пять, потому что через пять лет берега красивейшего озера средней России должны быть плотно заселены санаториями, курортами и дачами.

Не сбылось профессорское пророчество. Берега Плещеева озера ещё остаются пустынными. После географической станции на короткое время здесь мелькнула станция биологическая, потом здесь был дом отдыха, потом техническая школа и другие учреждения, вытеснявшие друг друга.

Год тому назад, во время блокады Ленинграда, сюда эвакуировали детей, которым матери отдали остатки жизненных сил и погибли в Ленинграде от голода. Дети были очень истощены, косточки да мешечки, но наша простая и сильная природа пришла им на помощь и, к тому времени, когда запел соловей, детишки оправались, забегали, запели, защебетали.

Вот тогда прошлое потешного флота Петра и наличие самого детского ботика — все вместе связалось, как будто сам Петр обрадовался детям и отменил свой суровый указ о возмездии.

2. ДЕТИ

Двадцать лет тому назад мы пришли на Ботик и, прикоснувшись к местной природе, в себе самих открыли детей, способных радоваться при добывании себе пищи ружьем в лесу и сетью в озере. С нами был пожилой художник, совершенный ребенок душой и, глядя на него, нам приходило в голову, что, может быть, каждый настоящий художник хранит в себе ребенка своего, как нежная мать, и воспитывает его, как разумный отец. Мы сами тогда, благодаря художнику, настроились, как дети, и восхищались природой.

Какие были тогда над Ботиком звезды!

Теперь мы пришли сюда измученные не своим личным горем, а ужасным бедствием всего человечества на земле, общим горем, ломающим личную жизнь.

И вот они опять над Ботиком те же самые большие, блестяще-лучистые звезды. Какие они теперь стали холодные, какие стойко-равнодушные к человеческому горю! Очень больно было при виде этих пустых звезд расставаться со всем лучшим в своём прошлом: никаких сказок мы больше не видели за этими благополучно неизменными украшениями небесного свода. Но, конечно, это были только сокровенные поэтические чувствования, мы не могли к звездам предъявлять какие-то требования: все разочарование было только от того, что мы сами больше уже не были просты, как дети. Но когда потом прибежали к нам дети, в их глазах мы узнали сказки детства, теперь как будто сошедшие со звезд. Мы очень обрадовались этому чувству, как будто вдруг нашли своё лучшее распределенным в этих карих и синих, и черных, и голубых детских чистых глазах.

Мы брали их за руки и на руки, мы позволяли каждому прикоснуться к нашей одежде и очень внимательно слушали их щебет и лепет.

Ленинградские дети, никогда ещё не имевшие тесной близости с живой природой, рассказали прежде всего о сером, быстро-бегающем зайце.

— С огромным хвостом! — выкрикнул голос из толпы.

— Неправда, — ответили мы, — у зайца хвост небольшая белая пуховочка и у охотников называется не хвостом, а цветком.

— Неправда, — выкрикнул тот же голос, — у всех зайцев может быть и цветок, а у нашего все мы видели: вот какой огромный хвостик!

Еще рассказали нам о котенке, который забрался к вороне в гнездо, и ворона выклевала ему глаз.

— Глядите, вон он идет одноглазый.

— Ах, бедный!

— Нет, он не бедный, так ему и надо: зачем он лез в чужое гнездо.

Ещё рассказали о лягушке: она прыгала, ее поймали, пожалели немного, чтобы удержать, а она после того прыгать больше не стала.

— Ах, вы безобразники — вы замучили лягушку, а это, может быть, и была сама лягушка-царевна.

И рассказали им по-своему, как выйдет, о лягушке-царевне. Вероятно, вышло неплохо, все дети были растроганы, все жалели лягушку-царевну и обещались никогда лягушек не душить.

— Пусть себе прыгают!

— Лягушек не будем душить, — сказал один маленький бутузик, — но если медведь придет?

— Медведей тут близко нет, медведь не придет.

— Как же так: вчера ночью к нам медведь приходил. Ночью я сам слышу: стук-стук! — отворяется дверь и входит огромный медведь, и прямо ко мне, а я во весь голос орать. Прибежали скоро няни, а медведь убежал.

— Медведей, сказали мы, не бойся: они очень человека боятся.

И рассказали им действительный случай с нами на севере, когда мы целый месяц в тайге искали встречи с медведем и не могли встретиться. Но когда сели в лодку и поплыли, то медведь вышел из леса и долго смотрел нам взад, как мы плыли вниз по реке.

— Чего же вы его не били?

— А не видели.

— А как же узнали, что он глядел?

— После один охотник рассказал: он видел с другого берега из своего шалаша.

И еще этот охотник рассказал, будто бы, когда река повернула и мы скрылись из вида, медведь залез на высокое дерево и оттуда опять долго глядел. А под конец помахал нам лапой, язык нам показал, слез с дерева и убежал в лес.

Рассказывая о медведе, мы сидели на широком пне, а дети, плотно прижались к нам, как, бывает, многочисленные отпрыски обступают тесно пенёк материнского дерева. Все дети были чистенько и заботливо убраны, вполне здоровые, с розовыми и загорелыми личиками. Но только как-то уж очень плотно они к нам прижимались, сlishком тянулись к нам. Так бывает в лесу, когда срежут дерево и корневая сила выбрасывает пуки свежих отпрысков, и листики на них как-то очень уж зеленые, кора слишком нежная, стволики чересчур частые,

кругом обнимают пустое место: дерева-матери нет, а внизу пеня.

Один из этих отпрысков, маленькая девочка Мария Тереза, дочь испанской комсомолки, умершей в Ленинграде, гордая, нелюдимая, робко-застенчиво опустив глаза, спросила: не позволим ли мы ей называть нас папой и мамой. Вслед за Терезой, конечно, все начали просить нас об этом.

Так мы были на месте умершего дерева-матери, и бедные человеческие отпрыски спрашивали нас:

— Не вы ли пришли, наши папа и мама?

Что нам было сказать... Когда видишь крошечные существа 4—5 лет, тянущиеся к нам с вопросом: «не вы ли папа и мама?», — это потрясает и сразу открывает и делает понятными потерявшие от частого повторения первоначальный свой смысл слова: родина-мать.

3. ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ ПНЯ

Нигде не найдёшь в лесу жизни более страстной и обильной, как возле старого пня. И мы тут сидели на пне, радуясь, что ребяташки так жадно слушают нас. Мы спросили одного мальчугана:

— Скажи, милый мой, кого ты больше любишь: папу или маму?

— Папу, — ответил мальчик, — я, конечно, больше люблю: папа с нами играл, наш папа был, как мы.

— А мама?

— Мама готовила в кухне, стирала бельё.

Это значило у мальчика, что папа мог играть с ним, а маме было трудно. И еще это значило: мама умерла, но это страшно, об этом лучше молчать, а папа жив.

— Твой папа на фронте, что он там делает?

— Пишет письмо.

Значит, есть надежда, что он вернется и опять будет играть. Короче говоря, мальчик ответил, как ответил бы любой из побегов, обступающих старый пеня:

— Мне хочется жить и это я «больше люблю».

Бедный мальчуган. Сколько весен еще надо петь соловью свою песенку, чтобы ребячьему сердцу победить пережитое, чтобы снова вошла в это испуганное сердечко и навсегда там осталась прекрасная мама его первого детства.

4. ПАПА-ДОКТОР

Доктор в колонии чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человека в триста. Приводят к нему мальчика Мишу с на-

кожной болезнью, последствием ленинградского голодания. Приходится сделать небольшую операцию.

Доктор готовит инструменты. Мальчик бледнеет.

— Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь, не будешь бояться?

— Не буду.

— Начинаю, держись.

— Держусь.

— Больно?

— Не хочу больно, держусь.

— Молодец, вот и всё.

Миша счастлив, Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности.

Неуверенно, робко, вспыхнув, Миша говорит:

— Доктор, разреши мне звать тебя папой?

— А разве нет у тебя папы?

— Папа на фронте, далеко, тот папа мой, а ты будешь здесь нашим папой.

Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне.

Вечером, при обходе, в спальне все дети разом закричали доктору:

— Наш папа идет!

Доктор не обрадовался этому назначению своему — быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину, он им доктор, а не папа. Да так и запретил и тому мальчику Мише, запретил за то, что он не сохранил тайны.

— Болтун! — сказал он ему.

И повернул в нашу сторону:

— Извольте понимать эту мудрость: «будьте как дети», если дети эти плауты и разбойники.

После занятий доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змей для детей, запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок.

Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова:

— Извольте понимать эту мудрость: «будьте, как дети».

5. ПАПА-ГЕНЕРАЛ

Однажды приехал на своей машине знатный военный в генеральском чине и в больших орденах. Он вышел к детям с кулечком конфет и поровну всем сам разделил. Когда кончилась суeta разбора конфет, все дети начали молча жевать и только один Ваня преодолел страсть к конфетке и предпочёл сначала поблагодарить генерала.

— Разрешите мне, — сказал он генералу, — называть вас своим папой.

— А у тебя разве нет своего?

— Был у меня папа, — ответил сирота, — а теперь нет папы.

Генерал взял мальчика за руку, пошёл к маме-директору. Там они долго о чём-то говорили и что-то записывали. После того военный посадил мальчика в машину свою и увёз.

Через месяц от мальчика получилось известие: генерал увёз его на Дальний Восток.

Где же такая страна — Дальний Восток? Какая это страна, что там? Стали допытываться и узнали, что там Тихий океан, что вороны там не серые, а чёрные, что сороки там голубые, и много прекрасного, чего у нас нет. И всем захотелось попасть в эту чудесную страну с голубыми сороками, но ведь без папы не попасть туда, может быть, потому-то он и папа, что он увозит детей на Дальний Восток.

— Почему же он, — спрашивали мальчики с завистью, — одного только Ваню выбрал себе?

— Вы же сами знаете, — отвечала им воспитательница: — прежде чем класть конфетку в рот, Ваня поблагодарил генерала.

6. КОЗОЧКА

Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая ласковая женщина, Аграфена Ивановна: никогда к детям она не придет с пустыми руками, и одевается всегда чистоенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим, бывало, ходила, как за ребенком, но муж потерялся на фронте. Поплакала, люди утешили: не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна.

Очень полюбились этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя — маленькая, тонкая в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны маленькая Валя после болезни вообще забыла свое прошлое в Ленинграде, и где там жила, и какая там у нее была мама и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого.

— Вы только посмотрите, — говорили они, — на её личико, нето она чему-то удивляется, нето вслушивается, нето вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы.

— То-то вот и боюсь, — отвечала Аграфена Ивановна, что она удивлённая и как

будто силится что-то вспомнить, возьму я ее, а она вдруг вспомнит, что ж тогда?

Крепко подумав, всё взвесив, совсем было решила вдова взять себе в утешение Валю, но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб, об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы: погиб у них на глазах, — но казенной бумаги о смерти не было, значит, по закону нельзя было на сторону отдать девочку.

— Возьмите, — говорили ей, — условно, придет отец — возвратите, а может быть, и замуж за него выйдете.

— Будет вам шутить, — отвечала Аграфена Ивановна, — замуж я не выйду, а дочку так брать страшно, всё будет думаться — придет час и отберут, нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж, что уж тут.

После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала, а девочка тоже не могла утешиться ничем: мама ее бросила! А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими горстинцами, — вот была встреча! И опять все уговаривали взять условно, и опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое:

— Брать так брать, а то уж, что уж так-то брать.

Так длилось месяца два и, наконец, в августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево.

Кого прельстил рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеева болота, обезображенного торфоразработками! Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого: всё ведь тут сделано руками своих близких людей, тут они жили, рождались, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом и то бывает пузатый кутенок озирается вокруг мутно голубыми глазами, хочет что-то узнать, покусывает. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна, и чтобы девочке свой домик совсем, как рай, показать, завела патефон.

Сейчас и на Ботике есть патефон, а в то время, когда Валю брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла понимать патефона, да и маленькая же она еще. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза.

«Соловей мой, соловей, — пел патефон, — голосистый соловей...»

Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озираться, что-то узнавать, вспоминать...

— А где же клеточка? — вдруг спросила она.

— Какая клеточка?

— С маленькой птичкой. Вот она тут висела.

Не успела ответить, а Валя опять:

— Вот тут столик был и на нем куклы мои...

— Погоди, — вспомнила Аграфена Ивановна, — сейчас я их достану.

Достала свою хорошую куклу из сундука.

— Это не та, не моя!!

И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот миг верно девочка и вспомнила все свое ленинградское.

— Мама, — закричала она, — это не ты!

И залилась. А патефон всё пел:

«Соловей мой, соловей...»

Когда пластинка кончилась и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна всё что-то вспомнила, закричала; заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она — то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет и всхлипывает. Эта беда переселилась в Валино горе, девочка обнимает её, тебрит и повторяет:

— Мамочка, милая, перестань. Я всё вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же теперь моя настоящая мама.

И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга, как равные.

7. РОМАН

Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно в полном сознании всё рассказал о гибели своей матери, и этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна: эта обыкновенная женщина, с обыкновенными слабостями в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией и, когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни.

Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом и после «чуда» — делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало по-малу Вовочка, выздоравливая, выходил из старой жизни в новую с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады.

Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник.

Осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного: каждая мать во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь...

Стороной от людей узнал, наконец, отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое.

— Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи и ты их испугался и закричал и мы с муравьиной тропинки перешли на чистую...

Конечно Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое.

«Боюсь вам сказать, — писала она, — как это «забыть». Может быть, вы возьмете, большой Вовочка, пример с вашего маленького: он болел и со мной выздоравливал и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я осмелюсь напомнить вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького, тоже ведь, как мать, и что вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую: сейчас у нас поют соловьи и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного: дождик начинается, на него уже капает, а он все поет, и одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул и поет. Трудится он и не для себя поет и будет петь на другой год, пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя Вовочке та же и вы тоже свою жизнь отдаете. И все это вместе складывается и выходит родина, для которой мы все живем: кажется для себя, а выходит для родины»

Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки: от та то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдоме получались все чаще и чаще.

В последнем своем письме он писал:

«Соловьи и у нас тут на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь после ваших писем слышу: поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии.

Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот

эта благословенная страна, где, как вы меня пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю и не благодарю вас: за такое хорошее, не благодарят».

На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов... Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала от него письма, все ждала и ждала.

Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды подвечер он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей, он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся и сон прошел. Вечерело, мелко убористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать. Тогда недалеко от наших батарей он увидел яркий огонь — это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползущим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и читая его, пошел невольно вслед за пожаром.

Может быть, и видел его кто-нибудь так идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром? А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже с письмом шел за огоньком...

Рассвет остановил этих странников и вернул из страны соловьев к обычному делу.

Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка-отец писал:

«Милый друг, я кончаю письмо: слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах, о силах, — этого хватает у нас, я думаю лишь о том, чтобы хватило в артиллерии ваших материнских сил для победы».

Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме на уголок маленькую приписочку: «Милый друг, не согласитесь ли вы...» Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало.

8. БАБУШКА И ВНУЧКА

При детстве на Ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна, ей нужно бывает три раза в день спускаться вниз по крутой лестнице покормить своих цыплят. Трудно ей старой, недужной

спускаться, но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится как-нибудь, по-своему ответится и примет участие.

Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этой детской колонии исходит больше всего от этой, как будто никому и не нужной бабушки. Вся свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей и так верно служила, что о себе-то, пожалуй, что и забыла, и вот теперь только, на Ботике, вспомнила и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, — это соловей.

Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хоть бы раз весной попасть на острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных: от хороших не убежишь.

И вот, после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же Ботике, если бы повторились прошлогодние морозы, пришла весна и, наконец-то, для нашей бабушки запел соловей.

— Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный.

— Что вы, милые, гроза еще не прошла.

— Смело открывайте, гроза прошла, радуга.

Открыли окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акаций, сирени, черемухи и ясеней.

— Ну, вот слушайте же, бабушка, вот это поет соловей.

— Где соловей?

— А вот и слушайте: вот свистит.

— Слышу.

— Вот колено выводит, а вот покатился...

— Дивно как! — шепчет бабушка.

И села у подоконника. Да так всю ночь, как молоденькая, и просидела. И была ей песня соловья, наверно, мила и прекрасна больше, чем нам: мы слушали с детства без понимания и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтобы самому, вот такому-то, еще один раз услышать, — и пропустили.

— Озонтник-то какой! — повторяла, радуясь, бабушка.

И мы, завидуя ей, говорили друг другу: — Зачем живем мы не как надо, зачем спешим и все смешиваем. Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка.

Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь уже их сотни

поют кругом в кустах, уже цветет шиповник и слышно бьет в полях перепел, и в сырых лугах горло дерет дергач.

Маленькие дети выпалились, позавтракали, свеженькие выходят группами из дома и направляются — какие к огородам, какие просто в траву и цветы между старыми березами.

Каждую группу, как агнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась какая-нибудь овечка.

Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую, совсем маленькую и скоро узнала: это Мария-Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизнь со времени, когда прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо, Марию-Терезу. Ну, вот она теперь идет, испанка в русской траве, в цветах, видна только ее головка со вздернутым носиком, вся девочка светленькая, похожая на крошечную парижскую цветочницу.

Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится, и потом через какое-то время еще один и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает, как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и за-

мечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой.

— Вот уж хитрая-то, — бормочет она и улыбается.

Но бледное личико и горячие слезы испаночки между березами смутили даже и бабушку.

— Чего ты плачешь?

— Головка болит.

— А, может быть, и животик?

— Животик тоже болит.

Бабушка все поняла и делать нечего, приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка, за ней медленно движется Тереза, за Терезой большая курица, за курицей бегут частенькие цыплятки.

Вот добрались наверх, в комнату бабушки. Тут на постели такое местечко, где Тереза знает, что она у себя.

Бабушка ничего не спрашивает, а только одно:

— Так у тебя головка болит?

— Болит, бабушка.

— На-ко, вот тебе от головки.

И дает ей чашечку молочка с сухарем.

А когда выпила:

— Что у тебя еще, кажется, животик болит?

— Да и животик.

— Ну вот, на тебе и от животика.

И даст ей ломтик хлеба с морковным повидлом.

Тереза поела, повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:

— Ну, вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло.

— Вот и хорошо, дитяtko, иди с богом! — благословляет русская бабушка испанскую внучку.

ПЕСНЯ

В. ГЛОТОВ



Поют бойцы. Гремит равнина.
И немцам кажется, что вот
Пршпелестит, провое мина
И песню в клочья разорвет.

Они палят, палят, как черти,
Им не осмыслить, не понять,
Что песня не боится смерти,
Что песню им не расстрелять.

СБОР ВИНОГРАДА В МУКУЗАНИ

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ



Снялись туманы с Алазани
И показались цепи гор, —
Раскинулся перед глазами
Незабываемый простор.

Яснеет свод небес. Устала
Земля сырая от дождей.
С рассветом на сады упало
Сиянье яркое лучей.

Уже в просторах неоглядных
Давно созрели гроздья лоз, —
И в Мукузани виноградный
Сбор начал поутру совхоз.

Соседним селам сообщили:
«Совхоз подмоги вашей ждет.
Тот, кто работать в поле в силах,
Пусть в виноградники придет».

Арба проходит за арбою,
И стар, и млад на сбор идут, —
И караульщики спокойно
Оружье в сторону кладут.

Подростков и детей, и женщин
Толпа рассыпалась везде
И двести сборщиков, не меньше.
Здесь соревнуются в труде.

Ножи сверкают, — и лавиной
Туда, где груза ждет арба,
Идут корзина за корзиной,
За коробами короба.

С какою быстротой снимает
Гроздь виноградную рука!
Она усталости не знает,
И мускулиста, и легка!

Снуют заботливые парни,
Покрыты липким потом лбы,
И поднимаются к марани*
Перегруженные арбы.

В марани женщин много тоже
И старики седые здесь.
Мотора грохот слух тревожит
И тяжело ложится пресс.

В давящие шум, как будто ветер
Крылами трепетными бьет,
И, полны грусти, гроздья эти
Покорно падают в нее.

Как нектар, сладкий сок струится,
Неиссякаемый, густой,

И в чаны емкие ложится,
Покрывшись пеною седой.

И, легкость чувствуя в коленях,
Идут волею в обратный путь, —
Подняли выи с облегчением,
Ярмо не давит их ничуть.

Полна спокойствия природа,
Горит янтарным цветом день
И о полуденном уходе
Вещает, повернувшись, тень.

Баранов трех освеживали
И развели костер большой, —
Какие руки, где ковали
Котла вместительный такой?

Час наступил прервать работу,
«Уже обед готов!» — кричат,
Но на обед итти охоту
Отбил у многих виноград.

Особо старики садятся, —
Там место им отведено. —
Торопятся за чаши взяться, —
Для них привычно пить вино.

За сыновей сначала пили,
На фронте льющих кровь свою,
Потом они благословили
Родимый кров, друзей, семью.

Из-за стола все вскоре встали,
Хоть и хотелось пить еще.
Толпою шумной люди взялись
Вновь за работу горячо.

Когда ж закат, багрово-розов,
Ширь алазанскую одел,
Тогда закончился в совхозе
Страды осенней первый день.

И каждый труженик прилежный
Идет под кров родной, устав,
А в воздухе прозрачном нежнётся
Вечерних красок разлита.

И самолет по небосклону
Вдали парит, как ястребок.
С той стороны спиной дракона
Спускается хребта отрог.

Врагу все тропы преграждая,
Величья грозного полна,
Туманом синим закрываясь,
Стоит Кавказских гор стена.

* Винный погребок.

ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТУ

Роман об авиазаводе

ДЖОН Б. ПРИСТАИ

Перевод с англ. М. Е. Абкиной



ОТ АВТОРА

Прежде всего я хочу заверить многочисленных друзей и знакомых, которых приобрел на авиазаводах во время моих посещений, что я не стремился отобразить в этом романе ни их заводы, ни их самих. Здесь все — художественный вымысел. Затем прошу иметь в виду, что отсутствие в романе всяких технических подробностей не случайно и объясняется не моим невежеством или ленью, — хотя я порою грешу и тем и другим, — а соображениями безопасности. Кроме того, я полагаю, что, если не загромождать фон романа такого рода деталями, то на этом фоне будет лучше виден человек в промышленности, а это, в сущности, и есть главная задача писателя.

В заключение позволю себе еще раз напомнить, что это — не репортаж, а роман, и его следует читать и критиковать именно как таковой.

Март, 1943.



1.

Когда мы с вами проникнем внутрь завода, нам придется уже там остаться, — поэтому давайте сперва бегло посмотрим на него снаружи. Это самый большой завод Акционерного Общества «Эмдаунская Самолето-Строительная компания», и, как известно, работает он отлично. Он приютился в туманной ложине одного южного графства, а за ним тянется длинная плоская равнина, которая служит испытательным аэродромом. Словом, место самое подходящее. Конечно, оно немного в стороне, — отсюда до ближайшего города десять миль, — но это как-раз то, что нужно. Летчики-испытатели неоднократно подтверждали, что с большой высоты завод почти не заметен. Крыши искусно замаскированы, а туго натянутая пестрая сетка, скрывающая острые углы, придает зданию сказочный вид. В иные дни не только сверху, но даже с земли нелегко разглядеть гигантские ангары. Когда смотришь сквозь туман на эти раскрашенные стены, можно подумать, что перед тобой какая-то необычайная игрушечная деревня.

Если бы кто-либо из наших дедов очу-

тился вдруг в этом месте, он решил бы, что сошел с ума. Людям старого века все здесь должно представляться совершенно фантастическим. Самая дорога к заводу выглядит так, словно не имеет ничего общего с окружающей местностью, словно ее наспех раскинули здесь, как большой кремнистый ковер. А озаводе — в те часы, когда он не бывает похож на игрушечную деревню с нарисованными деревьями и лугами, — можно подумать, что он не выстроен в ложине, а привезен из каких-то далеких мест и брошен тут у дороги. Словно какое-нибудь дитя великана, для которого все графство — только кучка песка, подобрало эту игрушку и небрежно воткнуло в песок, поправив ее громадным указательным пальцем. Полдюжины судов, затиснутых между этими низкими зелеными холмами, вряд ли показались бы здесь более неуместными, чем этот завод.

Утром, лишь только рассветет, в главные ворота льется огромная толпа людей, — население целого городка. В сумерки она выливается обратно. Приезжают и уезжают в автомобилях, на велосипедах, в битком набитых автобусах. Наблюдателю это кажется похожим на

магический фокус. Это и на самом деле настоящее колдовство. Откуда приходят все эти люди? Куда уходят? Кто они такие? Они возникают у ворот внезапно, огромной лавиной, смутно различимые в полумраке — ибо дневной свет в эти часы или еще только занимается, или уже померк — и сразу рассеиваются, исчезают. Скрежет колес, гудение автомобильных рожков, звонки велосипедов, два-три громких возгласа то тут, то там, — и толпы уже нет.

Так бывает каждый день — кроме субботы. В субботу дневной свет видит их, и они видят дневной свет. Такова их жизнь, а сейчас, пожалуй, и жизнь каждого из нас. Дневной свет — только в субботу. Не раньше.

Но что же происходит после того, как вы миновали грозные надписи «Вход посторонним воспрещается», охраняемые ворота и колючую проволоку, прошли мимо полицейских сержантов с кирпично-красными физиономиями, предъявили свой пропуск и отщелкнули на контрольных часах время прихода? Не доберется ли все-таки до вас рано или поздно дневной свет внутри завода?

Нет, здесь не увидишь дневного света. Здесь нет окон. Потолки затемнены. Завод внутри похож на колоссальную низкую пещеру, залитую зеленовато-белым призрачным светом бесчисленных ртутных ламп. Здесь в три часа ночи и в три часа дня освещение одинаковое. Только по ритму работы можно определить, полдень сейчас или полночь. Вы словно заточены в глубине горы или на дне моря. Блистательное шествие часов, от утренней зари до яркого полудня, от заката — в сияющую ночь, извечная смена времен года, расцветание, созревание, увядание в окружающем мире, — все осталось там, снаружи. — А здесь — пещерная жизнь.

Пещера эта волшебная. Здесь купят для вас деньги, — столько, сколько вы никогда раньше не видывали, здесь в электрических печах кипят и дымятся тушенная баранина и имбирный пуддинг, и текут бесконечные потоки густого темного чая, здесь музыка, то бурная, то сладостная, звучит сквозь грохот и ляг машин, здесь сколько угодно ультрафиолетовых лучей и лучистого тепла. И сколько угодно срочной работы. Быть может, это та самая пещера, куда волшебник заточил Аладина и где спрятана чудесная лампа. Кто эту лампу отыщет и будет знать, как обращаться с нею, тот может требовать для себя дворцы и сады — и получит их. Да, возможно, что это — та самая пещера.

Это зеленовато-белый улей, где в сотах хранятся отливки цветных металлов. Это — термитник, из которого выходят громадные крылатые твари. Это — силовая станция страны. Отнимите у нее эти

чертежные, эти инструментальные цеха, длинные ряды машин, этих рабочих, занятых сборкой самолетов, — и через каких-нибудь десять дней по вашим спинам будет гулять кнут. Никакие армии храбрых, хорошо обученных солдат, готовых ринуться навстречу смерти, никакие знамена, национальные гимны и патриотические речи не могут спасти сейчас ни один народ в мире. Без таких заводов он обречен на гибель или поражение. А эти заводы — сила. Не будь их, мы бы не выжили в нынешней войне, да и после войны вряд ли сможем без них существовать. Разумеется, тогда здесь будут другие машины, и они будут производить другие предметы, и темп работы будет иной, — но в остальном не будет больших перемен. Заводы останутся и тогда силовыми станциями страны. Но нам еще не известно, на кого будет работать эта сила! Мы можем только надеяться, ждать дневного света в субботу.

Итак, мы уже на заводе Элмдаунской компании и останемся здесь. Солнце, месяц и звезды для нас исчезли, здесь царит призрачный лунный свет ртутных ламп. Вокруг, куда ни глянь, лица, тысячи лиц, выступающих с какой-то неестественной и порой пугающей четкостью в этом театральном освещении. Даже сквозь визг и грохот, и скрежет металла о металл пробиваются голоса работающих. Глаза прикованы к станкам и прессам, к винтам и колесам, к моткам изоляционного провода, к большим изогнутым стенкам самолетов, а в мозгу мечутся мысли, загораются и гаснут мечты. Здесь люди. Познакомимся же с некоторыми из них.

2.

Управляющий заводом, мистер Джеймс Чевит, стоял на внутренней галлерее, идущей вдоль северной стены главного цеха. Отсюда открывалось внушительное зрелище. Цех был огромный и казался еще больше, чем был в действительности, благодаря необычайному освещению, погружавшему все в сверкающий туман и увеличивавшему перспективу. Мистер Чевит питал к своему заводу нежные отеческие чувства и его до сих пор еще поражала неожиданно открывавшаяся отсюда панорама производства — в особенности, когда он показывал ее посетителям. Но сегодня он был озабочен и, занятый своими мыслями, смотрел вниз рассеянно, не испытывая ни гордости, ни эстетического удовольствия. Он заметил, однако, что целое отделение, по видимому, недостаточно загружено работой, но тут же вспомнил, что здесь ждут доставки деталей с одного из подсобных заводов. Он мысленно отметил, что нужно будет позвонить по телефону на этот

завод и затем подогнать работу в отделениям.

В эту минуту его секретарь, мисс Барроус, просунула голову в дверь и объявила, что его вызывают из министерства.

Он пошел за ней по коридору, опоясывавшему галлерею, мимо кабинетов всей заводской администрации. Его комната находилась в самом конце. Войдя в нее, он тяжело плюхнулся в кресло — Чевит был грузный и рыхлый человек, которому давно перевалило за пятьдесят, — и взял телефонную трубку.

Он слушал и время от времени вставлял несколько слов, а его лохматые, черные с проседью брови (самое заметное в его широком заурадном лице) непрерывно двигались вверх и вниз, похожие на крохотных пушистых зверьков, живущих своей отдельной жизнью.

Окончив разговор, он, шумно отдуваясь, повесил трубку и крикнул в открытую дверь мисс Барроус, чтобы она отметила у себя в календаре, что в четверг утром на завод приедут из министерства мистер Сэди и мистер Монтэгю. Потом попросил ее позвать к нему его заместителя мистера Блэндфорда и главного инженера мистера Эрика, — но через час, не раньше. Ибо он рассчитал, что куча бумаг, лежавшая перед ним на письменном столе, потребует доброго часа работы. Среди них, он знал, было несколько таких, над которыми придется крепко поломать голову.

Чевит был способный инженер и хороший организатор. Поэтому он отлично разбирался не только в той работе, которую делал и громадное значение которой хорошо понимал, но и во всех новых идеях техники и организации. Если он, как принято теперь говорить, и был представителем нового правящего класса завтрашнего (а может быть, и сегодняшнего?) дня, — ничто в его образе жизни не давало повода думать, что он из тех, кто унаследует землю. Он жил очень скромно (если вообще можно говорить о какой-либо его жизни за стенами завода) на маленькой даче неподалеку, и миссис Чевит, уютная маленькая женщина, лишенная всякой способности мыслить, большую часть домашней работы делала сама. У них было двое взрослых детей — сын в береговой авиации и дочь, которая недавно вышла замуж за военного и проводила мужа на фронт. Мистер Чевит зарабатывал в последнее время много денег, но у него не было времени тратить их, если не считать того, что он иной раз покупал по баснословной цене коробку сигар или ящик виски. Он понимал, что в его руках большая власть, что скоро, быть может, будет еще гораздо большая — и, разумеется, считал, что он на это имеет полное право. Но в то же время он ни

когда не думал о себе, как о представителе нового правящего класса, о большом человеке Джеймсе Чевите, и не чувствовал никакой особенной разницы между собой и любым рабочим его завода. «У каждого — свои обязанности, вот и все», — рассуждал Джеймс Чевит.

Одним словом, он не рассматривал себя, как человека особого сорта, подобно некоторым пожилым членам Правления, которые считали, что имеют право жить совершенно по-иному, чем все люди, работавшие на них. В этом отношении Чевиту, хотя он и занимал пост главного управляющего и мог считать себя равным членам Правления, если не выше их (ибо сейчас, во время войны, он мог обойтись без них, а они без него не могли), — любой делегат от рабочих был ближе, чем все те, с кем он разделял власть.

Свой старый коллектив квалифицированных рабочих, которые быстро выдвигались по мере того, как завод рос и на работу принимали все больше и больше новых, необученных людей, Чевит не только высоко ценил, но и любил. А масса новых рабочих, хлынувших на завод во время войны, — все эти бывшие лавочники, перли из гаражей, продавщицы, официантки, теперь вставшие у станка, его и раздражали, и в то же время вызывали в нем жалость и отеческое участие.

Ему хотелось помочь им, чем только возможно, и помочь не откладывая, но он не знал, что же именно нужно делать. Его целиком поглощало ответственное дело изготовления самолетов усиленным темпом, несмотря на замену опытных рабочих неопытными. Но в часы передышки он был полон самых добрых намерений и растерянно и пылливо искал путей к лучшему будущему. В редкие часы досуга он упорно пытался читать книги по социологии, которые частенько нагоняли на него сон, или вел глубокомысленные разговоры с разными «высоколобыми» мужиками, с которыми еще несколько лет назад он не подумал бы обращаться запросто. То, что он в своих исканиях ушел не очень далеко, объяснялось не только недостатком свободного времени, но и тем, что он вот уже три года работал с огромным напряжением и теперь постоянно ощущал усталость — не поверхностное утомление, а очень глубокую усталость.

Последние четверть часа он диктовал мисс Барроус. Диктовал он отрывисто и невнятно, фразы летели галопом и всегда казались неоконченными. Впрочем, мисс Барроус умела превращать эти бормотания в четкие и лаконичные письма. Она была первоклассная стенографистка, но отличалась довольно угрюмым характером. Эта брюнетка с длин-

ным унылым носом настолько была занята своим продвижением по социальной лестнице, что ее усилия быть «утонченной» и сознание собственного достоинства просто мешали ей жить. Она очень заботилась о своей наружности, прибегала к помощи жидкого парафина и медленно прокладывала себе дорогу сквозь дебри мировой литературы, как будто перебираясь через громадные пространства вязкой глины. Чевииот давно оставил свои попытки увидеть в ней живое человеческое существо. Она не желала быть человеком.

В кабинет не вошел, а вихрем влетел главный инженер Эрик, — к явному неудовольствию мисс Бэрроус, сильно недолюбливавшей его. Он с иронической усмешкой посмотрел на нее, а она опустила веки.

— Простите... Я слишком рано?

— Нет, нет, — сказал Чевииот, доставая папиросу. — Пока мы на этом закончим, мисс Бэрроус. Попросите ко мне мистера Блэндфорда.

— Вот он идет, — сказала мисс Бэрроус, отступая в сторону с грацией светской дамы и подарив входившего Блэндфорда каким-то подобием улыбки. Мистер Блэндфорд ей нравился, он был настоящий джентльмен, не то, что этот Эрик.

Чевииот с минуту молча смотрел на своих помощников. Снова подумал о том, какой между ними резкий контраст, и спросил себя, долго ли смогут работать вместе эти столь разные и враждовавшие друг с другом два человека. Даже «расцветка» у них была совершенно разная. Эрик — малиновый с синим: румяное лицо, синий подбородок, темно-синий костюм, вишневый галстук. Это был зрелый, брызжущий здоровьем человек, бывший рабочий от станка, выдвинувшийся благодаря кипучей энергии, настойчивости и умению строгостью или лаской добиваться от других максимального усердия к работе. Он умел подойти к рабочим, он понимал их, так как в глубине души оставался человеком их среды.

Блэндфорд, наоборот, был выдержан в светлых, серых тонах: седеющая голова, бледное лицо, элегантный серый костюм, светлый галстук. Он отличался умом трезвым и точным, и в его холодной корректности сквозило легкое высокомерие. Он окончил с отличием математическое и механическое отделения Кембриджского университета, у него в обеих Палатах парламента были братья и дядюшки. — словом, он был человеком совершенно иной социальной среды и держался поодаль от остальных служащих завода. Но работал он великолепно — в тех случаях, когда ему приходилось разрешать проблемы на бумаге и иметь

дело с машинами, а не с живыми людьми.

К Эрику, которого он считал беспутным болтуном, он относился с вежливым презрением. А Эрик, со своей стороны, все меньше и меньше скрывал свое губочайшее отвращение к холодному и благовоспитанному Блэндфорду, которого он раз навсегда — и совершенно незаслуженно — объявил снобом.

Сейчас оба ждали, пока заговорит Чевииот.

— Мне звонили из министерства, — начал Чевииот, и брови его взлетели на фантастическую высоту. — Я им сказал насчет задержки деталей у Устенбро и Финчема и объяснил, как это тормозит нашу работу. А они говорят, что с магией сейчас заминка... Впрочем, оставив это, — добавил он поспешно. Эта фраза вошла у него в привычку, но сейчас он сказал ее еще и потому, что Эрик явно собирался подать реплику. — Главное то, что в четверг приедут к нам на завод представители министерства.

— А кого именно они командировывают? — спросил Блэндфорд. Благодаря своим фамильным связям он лучше других знал всех сотрудников министерства.

— Во-первых, какого-то мистера Сэдли, — ответил Чевииот с оттенком иронии, как люди дела обычно говорят о чиновниках.

— А, знаю. Он раньше служил в Министерстве авиации. Безобидный человек. И, конечно, ничего в нашем деле не смыслил.

— Ну, а второй — можете себе представить! — наш старый сослуживец, Монтэгу, — продолжал Чевииот, на этот раз уже с подчеркнутой иронией.

Теперь наступила очередь Эрика вмешаться, что он и сделал достаточно шумно.

— Неужели наш старый Втируша Монтэгу, мистер Чевииот? Не может быть, чтобы он попал в министерство! Кто угодно, только не Монтэгу!

— Он там служит вот уже с полгода, — отозвался Блэндфорд сухо, с таким видом, словно хотел сказать, что только Эрик может не знать столь известного факта.

— Я тоже от кого-то слышал, что он там, да не поверил, признаться, — заметил Чевииот, посмеиваясь. — Оказывается, он действительно подвизается в министерстве и в четверг утром прибудет к нам, чтобы поучить нас уму-разуму... и, разумеется, припомнит мне то, что в 1939 году я его уволил за непригодность к работе, — добавил он бесчечно.

— Господи, помилуй, вот так номер! — воскликнул Эрик, которого до того распирало от возбуждения, что, казалось, на нем сейчас лопнет тесный синий костюм. — Еще бы мне не помнить! Его

иначе и не звали, как Втируша Монте-ю! И он — в министерстве!

Чевииот повернулся к Блендфорду:

— Ну, как там дела с турелями?

— Я звонил к Стенбро, — ответил Блендфорд с обычной невозмутимостью. — От них, как всегда, трудно добиться толку. Но сегодня к концу дня я представлю вам обстоятельный рапорт. Утром мне нужно уделить часок бюро рационализации. Кстати, о бюро — молодой Энглби работает отлично.

Чевииот кивнул головой.

— Вы и ему это сказали?

— Нет, пока не стоит. Он и так уж очень доволен собой...

— Ничего, ничего, — возразил Чевииот. — Раз у него дело идет на лад, пускай будет доволен собой. Чорт возьми, всем нам следовало бы больше ценить себя. Это было бы нам только полезно. Но оставим это...

Коротким дружеским кивком он отпустил Блендфорда, и тот, правильно поняв этот кивок, вышел.

Элрик не уходил и беспокойно ерзал на месте, устремив темные, горячие, немного воспаленные глаза на широкое и доброе лицо начальника.

— Ну, что, Боб? — спросил Чевииот. Некоторая натянутость, созданная вражды между Блендфордом и Элриком, теперь не ощущалась больше. В комнате дышалось как-то легче. — Что скажете?

— Проскота надо подвинтить, мистер Чевииот, — начал Элрик своим хриплым голосом, в котором было что-то общее с его налитыми кровью глазами. — Не знаю, до чего у нас дойдет, если он не заставит инспектора национальной повинности притянуть к ответу некоторых злостных прогульщиков. Все они врут безбоянно. Прогульщики врут инспектору, инспектор повторяет их басни Проскоте, — и никакие меры не принимаются, а у меня в табелях сплошные черные квадратики: прогулы. И всё одни и те же люди.

— Нет, Боб, вы преувеличиваете, таких немного, — с расстановкой возразил Чевииот. Он был расположен к Проскоте, которого недавно назначил заведующим отделом личного состава и бытового обслуживания рабочих. Про себя он отметил, что Боб Элрик, видимо, опять сильно пьян и сейчас, наверное, злословит. И хриплый голос, и воспаленные глаза свидетельствовали о том, что виски выпито много — и притом скверного виски.

— Я и не говорю, что их много, мистер Чевииот. Но я хочу, чтобы у меня в табелях не было черных квадратиков. Будь моя воля, я бы отдал их под суд так быстро, что они бы у меня опомниться не успели. Нагнали мы сюда толпу красномордых пастухов, и цырюльников, и бог знает кого, — ни опы-

та, ни квалификации, ничего... Поставили их к машинам, у которых может работать малый ребенок, учат их, платят им основную ставку плюс еще премию, так что денег они зарабатывают больше, чем когда-либо видели некоторые наши старые мастера и их помощники. И что же? Они работают только тогда, когда им вздумается! К середине недели они уже успевают заработать столько, сколько им никогда и не снилось, — и смыкаются с работы: отправляются в гости к старой тете Кэти или в парикмахерскую прихорашиваться, или валяются в постели да почесываются. И это называется борьбой за жизнь страны!

— Вы неправы, Боб. Большинство знает, как важна наша работа. Они только не говорят об этом.

— Хотел бы я верить этому, мистер Чевииот, очень хотел бы. Но, по-моему, большинство из них пришли на завод ради того только, чтобы получить для себя все, что можно. Добрая половина вообще не знает, из-за чего и где идет война. Они даже радио не слушают. Понять не могу, что у них в голове! — Элрик крепко потер ладонью собственную голову. — Ну, да уж это куда ни шло, только бы они на завод аккуратно являлись каждый день и делали свое дело. А эти систематические прогулы хоть кого из себя выведут! Мне обещали их подтянуть, но никто их не подтягивает. Я этого так не оставляю!

— Я поговорю с Проскотом. Быть может, тут есть какие-нибудь обстоятельства, которых вы не учли, Боб. Что еще?

— Больше ничего, мистер Чевииот. Сегодня у меня совещание с заводскими старостами, но я не ожидаю от него никаких неприятностей. Надо отдать справедливость старостам, — они прогульщиков не одобряют так же, как и мы. У нас может выйти спор разве только из-за расценки работы на тех шести американских машинах. А серьезных разногласий не будет.

Чевииот кивнул головой и посмотрел на Элрика внимательнее.

— А что, Боб, хлебнули вчера маленько?

Элрик криво усмехнулся.

— Совсем капельку. Я встретил в «Каунти» двух старых товарищей, — один сейчас с фронта в отпуск приехал. Нельзя было не выпить с ними. Но я в полном порядке.

— Смотрите, Боб, только меру не перехватывайте, — заметил Чевииот отеческим тоном. Затем, помолчав, спросил с легкой нерешительностью:

— Ну, как жена?

Не только улыбка, но вся живость и напористая энергия Элрика сразу испарились, — теперь он казался растерянным, неуверенным в себе и печальным. Десять лет назад Элрик страстно влю-

бился в золотоволосую красавицу, продащицу одного большого лондонского магазина, и женился на ней. А пять лет спустя она в сильных мучениях родила мертвого ребенка и долго болела. Теперь она казалась физически вполне здоровой, но умом не отличалась от шестилетнего ребенка. И на исцеление ее, очевидно, уже не было никакой надежды. Ее старшая сестра переселилась к ним, чтобы смотреть за больной и вести хозяйство. Вне завода Эрик был потерянный человек, матавший в тунике.

— Она здорова, — ответил он неохотно. — Все такая же. На днях она виделась с миссис Чевит и сама мне об этом рассказала. Но, конечно, не могла припомнить, о чем они говорили. Вы, ведь, знаете, в каком она состоянии...

Да, Чевит знал. И оба понимали, что продолжать разговор не к чему. Глаза их встретились и сказали это за них. Чевит посмотрел на свой письменный стол. И Эрик, увидев в этом намек, пробормотал, что ему нужно еще потолковать с одним из мастеров, повернулся и быстро вышел.

В комнате как будто осталась какая-то тень. Невидимые голоса шептались о тайнах и трагическом бремени жизни. Чевит слышал их, но торопливо сказал себе, что, если бы люди знали о бедном Бобе Эरिकе все то, что знает он, Чевит, они бы не спешили осуждать его. С чувством облегчения вернулся он к работе. Итак, что же на очереди? Опять больной вопрос относительно шасси?

3.

Эрик ринулся к себе в кабинет и, как всегда, шумным вторжением испугал секретаршу, юную Мюриэль Ллойд. Мюриэль все никак не могла решить, какую роль — героя или злодея — ответить мистеру Эрику в той захватывающей драме, героиней которой, маленькой и большеглазой, была она сама. Эрик угадал ее тайну и, когда вспоминал о ней, не упускал случая сыграть на этом. Сегодня он избрал роль злодея.

— Мюриэль, Мюриэль, — прикрикнул он на нее оскорбительным и прямо-таки зловещим тоном. — Нечего вам сидеть сложа руки и мечтать об этом прыщавом мальчишке из чертежной! Ничего в нем нет хорошего...

— Мистер Эрик!.. — ахнула Мюриэль, широко раскрыв глаза и заливаясь багровым румянцем. — Никогда в жизни...

— Не спорьте со мной. Ступайте лучше скажите мистеру Прокоту, что я зайду к нему сегодня перед собранием старост. А если меня кто спросит, так я — внизу, в номере четвертом, мне там надо потолковать с Клитоном.

Побольше жизни, Мюриэль! Встряхнитесь и займитесь делом!

Он сгреб со стола пачку папирос и вышел в коридор. Но здесь остановился, чтобы закурить, и опять ощутил и главную боль, и противный вкус во рту. В нем поднялось отвращение к самому себе. Слишком много выпито вчера... И потом он, кажется, вел себя в «Каунти» неподобающим образом, и хозяйке, миссис Филиппс, с которой он всегда был в самых приятельских отношениях, это не очень-то понравилось. Пожалуй, лучше не ходить в «Каунти» неделю-другую. Но куда же?.. Опять ездить в Фоули, в «Лев»? Нет, «Лев» всегда набит армейскими офицерами, купающимися в пиве свои комичные, словно наклеенные усы. В «Корону»? Это еще дальше, — и к тому же там он может опять напороться на ту тощую истерику, с которой ему с самого начала не следовало связываться. Оставаться вечерами дома и не принимать близко к сердцу того, что там делается? Но это значит все время иметь перед глазами свояченицу Филлис, которая сделала доброе дело, переехав к ним, чтобы заботиться об Элен, но с тех пор всегда ходит с такой негодующей миной, как будто во всем виноват он. Сидеть и смотреть на бедную Элен, как она играет в куклы или вырезывает что-нибудь из бумаги, слушать ее болтовню и хихиканье? Он с нею нежен и терпелив, это признает даже Филлис. Но, видит бог, если он будет сидеть дома, долго ему не выдержать.

Усилием воли он переключился на другие мысли и пошел в цех искать Клитона. То тут, то там он останавливался, чтобы перекинуться словом с кем-нибудь из мастеров или их помощников. В третьем цехе работала новая партия женщин и девушек, только-что переведенная сюда из учебного цеха. Эрик шел вдоль ряда. Какой-то поверхностный участок его мозга был занят мыслями о работе, но в то же время другой Эрик в нем, изголодавшийся мужчина, видел перед собою у станков не работниц, а женщин.

Об этих вещах не принято говорить прямо. Вот здесь, в заводском цеху, такие неуместные в этой обстановке теснятся молодые женщины. А он, Эрик, мужчина, не автомат. Конечно, он не хуже всякого другого способен сосредоточить все внимание на работе, — не будь этого, страна получила бы на несколько сот самостоев меньше. Но... Как остаться равнодушным к тому, что в цеху, где он в течение двадцати лет привык видеть только мужчин — пожилых и молодых, — теперь появились женщины. Большинство, правда, таковы, что смотреть не на что, но есть и такие, которых мужчины не может не заметить.

Невольно притягивает взгляд тут изгиб тела под рабочим халатом, там — влажные от пота кудряшки над белым затылком, пара блестящих глаз, или иной раз только узкая кисть, девичьи пальцы. И эти волнующие мелочи, собираемые жадным взглядом, дают такую же отраду, как глоток воды, когда сильно хочется пить.

Проходя мимо ряда новых женщин и девушек и примечая некоторые такие подробности, Эрик испытывал какое-то раздражение, почти злость. И козлом отпущения на этот раз явился мастер четвертого отделения Клитон. Но Клитон отнесся к этому довольно спокойно. Это был человек средних лет, весьма степенный и положительный, с виду совершенно такой, каким рисуют ремесленника в детских книжках с картинками: сдвинутые на кончик носа очки в серебряной оправе, растрепанные усы, пустая, потемневшая от времени коротенькая трубка в зубах, и засаленный коричневый комбинезон. Клитон был тугодум (хотя не в такой мере, как это казалось людям), но человек надежный и преданный делу. Эрик, был, в сущности, очень к нему расположен, но сегодня его сердила даже столь знакомая медлительность Клитона.

— Ну, давайте живее, Клитон, — сказал он ворчливо после того, как они обменялись несколькими замечаниями, — мне некогда стоять тут с вами целый день. Раскачивайтесь! Послушаем, что вы имеете сказать.

Клитон вынул изо рта свою трубку-коротышку и пытливо посмотрел на нее, как будто она могла объяснить ему, отчего люди, подобные Эрику, ведут себя так глупо.

— Я поставлю этот вопрос на ближайшем заседании объединенной производственной комиссии, — начал он с растстановкой.

— Вечно вы со своей производственной комиссией! — рассердился Эрик. — Ну, да, знаю, это замечательная идея, это демократизм в промышленности, это новый порядок, это — в своем роде так же важно, как Атлантическая хартия.

Лицо Клитона приняло глубоко-укоризненное выражение.

— Те из нас, кто учился кое-чему, крепко верят в эти вещи, мистер Эрик. А насмешками дела не двинешь, в них проку никакого.

— Не больше проку и от того, что компания болванов заседает и выносит резолюции — это в такое-то время! — насчет чаю и пудинга в столовой! Впрочем, обсуждайте это, если хотите, в производственной комиссии. А мне скажите-ка, да поскорее, почему вы установили такие нормы для новой работы? Мне это нужно знать. Потому что, имей-

те в виду, я не вижу в этом ровно ни какого смысла.

— Смысла не видите? — Клитон с внезапной решительностью сунул трубку обратно в угол рта. — А вот пойдёмте со мной да взгляните сами на шесть машин с их новыми подсобными. Все имеет свои причины, — добавил он важно, с оттенком сентенциозности.

Они осматрели станки. Эрик вникал во все и все учитывал, в том числе и убедительные аргументы Клитона. А в это время второе его «я», мучимый голодом человек во мраке, словно в бреду, видел за машинами и нечто другое. В ближайшем ряду стояла девушка, — должно быть, из последней партии, потому что он раньше не замечал ее, — в новеньком рабочем халате из яркого ситца в цветах. У этой высокой девушки была стройная шея, каштановые с медным отливом волосы, густые и на вид мягкие, тонкое задумчивое лицо. Она была так же не на месте здесь за станком, как он, Боб Эрик, был бы не на месте в ателье дамских шляп.

Он испытывал непонятное чувство досады. О, господи, и откуда такие берутся? Он все время поглядывал на ее опущенную голову, на эти длинные тонкие пальцы, которые иногда медлили, словно не зная, что им полагается делать.

— Фреду на этой неделе дали несколько новых, — заметил Клитон, перехватив взгляд Эрика.

— А? Что? — сердито посмотрел на него Эрик. Ему показалось, что Клитон угадал его чувства. И, чтобы показать, что он всецело занят вопросами производства, Эрик пошел обратно вдоль ряда и сыпал словами, в которых было не слишком много смысла. Остановившись в конце зала и обернувшись, он как будто уловил в глазах Клитона лукавые искорки, но благоразумно решил, что это его фантазия. Он закончил разговор с мастером деловым и подчеркнуто-серьезным тоном, который, как он знал, не мог не показаться нелепым Клитону. И в заключенье объяснял, что ему нужно поговорить еще с Фредом Скобли.

— Фред стоит вон там, — сухо ответил Клитон. — На этот раз все, мистер Эрик?

Эрик, пытливо посмотрев на него, утвердительно кивнул головой и направился к Фреду Скобли, одному из лучших работников, которого уже выдвигали в начальники цеха. Фред был кругленький, рыхлый, благодушный человек, неизменно веселый краснбай. Он очень недурно исполнял комические номера в дивертисментах, но дальше этого его честолюбие не шло. Он вообще был даже чересчур неприятелен и беспечен. Если бы не эти свойства, то.

при его опытности и ловкости в работе, он давно бы выдвинулся.

— Некоторые из них только впервые начинают работать, мистер Эларик, — сказал Фред, обводя рукой ряд новичков. — Так-что дайте им время освоиться...

— Ладно, Фред, я ведь никого пока не ругаю. А что они за люди?

И он с видом беззаботного фланера зашагал по проходу.

— Ничего, ничего, подходящие, — ответил Фред, пыхтя у его локтя. — Конечно, среди них есть всякие. Одни стараются для того, чтобы нам выиграть войну, другие гонятся за легким заработком, а есть и такие, что просто не знают, чего хотят.

— Вот как эта, например? — И Эларик, словно под влиянием внезапного импульса, остановился подле хрупкой медноволосой девушки с опущенными плечами. Она метнула на него испуганный взгляд и еще ниже наклонилась к машине. Эларик мгновенно почувствовал, что он ей не нравится, и стал еще заискивать.

— Фамилия? — спросил он сердито.

— Это — мистер Эларик, наш главный инженер, — поспешил объяснить Фред.

Девушка на миг подняла глаза. Они у нее были карие, но где-то в глубине отливали зеленым.

— Джойс Дирхерст, — ответила она так тихо, что Эларик с трудом расслышал.

— Так. И вы только начинаете работать?

— Точно так, — вмешался Фред, как будто девушка не могла ответить сама.

Эларик сделал вид, что не слышит. Напротив, через проход, работал юный Браймбер, игравший в заводском оркестре. Он смотрел на них, широко и глупо ухмыляясь, как будто ему больше делать было нечего, как стоять и пялить глаза. Эларик немедленно нахмурился и, грозным взглядом призвав Браймбера к порядку, сразу же стер улыбку с его лица. Потом опять посмотрел на девушку.

— Ну-ка, объясните, как это делается? — тон его был все так же резок.

Девушка прикусила губу и, глядя не на него, а на Фреда, забормотала что-то невнятное. Работа ее состояла в простом сверлении. Не работа, а детская игра!

— Говорите громче, — приказал он грубо. В выражении лица Фреда ему почудился упрек, и это не улучшило его настроения. Что же, Фред воображает, что он будет нянчиться с ними?

— Да вы не волнуйтесь, мисс Дирхерст, — сказал Фред елейным тоном. — Мистер Эларик хочет только убедиться, что вы понимаете, в чем тут суть. И вы, конечно, понимаете, потому что очень хорошо это проделывали сегодня все время, с восьми часов утра.

Девушка выпрямилась на своем стуле и, откашлявшись, не отводя глаз от машины, несколько высокомерным тоном объяснила, в чем состоит ее работа. Эларик, чтобы скрыть свои чувства, стал обсуждать с Фредом какую-то незначительную подробность, говорил отрывистым деловым тоном, щеголяя техническими выражениями и не обращая больше внимания на девушку. К счастью, он услышал, что громкоговоритель выкликает его имя, и одновременно заметил, как на указателе зажглись три цветных лампочки — условный сигнал, означавший, что его требуют наверх, в заводоуправление. Он сразу замолчал и торопливо ушел, сохраняя озабоченный и важный вид.

А тот, другой Эларик, скрывавшийся в нем, голодный и неопределенно тоскующий, не мог забыть Джойс Дирхерст, которая явно отличалась от большинства остальных работниц не только внешностью, но всем своим обликом, явно была из другой среды. Этому, второму, Эларiku, слишком чувствительному к женским чарам, она представлялась существом хрупким, обворожительным, таинственным, из далекого и бесконечно желанного мира, в который он может попасть лишь через тесную близость с ней. И неотступно глядя сквозь мрак своей души на ее расплывавшийся образ, Эларик чувствовал себя человеком, безнадежно погибшим, ограбленным, лишенным всего.

4.

В это утро никто на Эмдаунском авиазаводе не чувствовал себя так странно, как Джойс Дирхерст. Все окружающее представлялось ей таким необычайным. Сегодня она в первый раз в жизни работает по-настоящему, в большом цеху. До этого она три недели под наблюдением мастера училась в учебном цеху вместе с десятком других женщин и двумя-тремя юношами. А сейчас началась настоящая работа. И Джойс каждую минуту спрашивала себя, справится ли она с нею.

Джойс приехала сюда из северного предместья Лондона, где жила с отцом, пожилым вдовцом, который служил кассиром в какой-то экспортной конторе Сити. Окончив местную женскую школу, она два года просидела дома, потом поступила ученицей в модное ателье дамских шляп на Брутон-стрит, в Мэйфер. Ей там очень нравилось. Она обожала и свою работу, и всю атмосферу ателье, — уютченную роскошь, смесь «шика» с изысканностью, дамскую болтовню, громкие имена заказчиц, большие муляжирующие автомобили у входа. Ее совершенно удовлетворяла роль восхищенной и ослепленной Золушки среди всего этого великолепия. Но вот наступила осень 1940 года, ателье разбомбили немцы, а з

маленькой мастерской, которую «мадам» открыла где-то в другом месте, для Джойс не нашлось работы. Она стала неопределенно подумывать о какой-нибудь оборонной работе, потому что была очень сердита на фашистов. Но отец настаивал, чтобы она оставалась дома. Через год отец умер — у него было большое сердце. Да, это случилось ровно год тому назад, в октябре 1941 года. Она продала домик и мебель, и, покончив со всеми делами, поселилась у своей тетки Хильды в одном из южных графств, по ту сторону Фоули, милях в двенадцати от завода. Пробовала заняться то тем, то другим, — и, наконец, приехала сюда, потому что это был ближайший большой военный завод, и Джойс знала, что здесь всегда требуются рабочие и что их каждый день возят из Фоули и в Фоули на заводских автобусах. Джойс некоторое время колебалась. Легко ли такой разборчивой девушке, как она, для которой главное в жизни — уют, изящество, красота, идти работать на завод? Но пора было чем-нибудь заняться, нужны были деньги, к тому же в ней еще не остыло возмущение после тех страшных бомбежек. И вот она — на военном заводе.

Сейчас она с беспокойством спрашивала себя, справится ли, выдержит ли. Пока работа сама по себе не трудная. Например, сегодня ей поручили сверлить отверстия в тщательно размеченных местах, в этих металлических пластинках. Она была уверена, что сумеет выполнять и гораздо более трудную работу, и очень хотела испытать себя.

А все кругом так терпеливы и добры к ней — вот хотя бы тот шотландец в учебном цехе, а здесь — всегда улыбающийся мистер Сколби. Впрочем, это и неудивительно, — ведь некоторые из новых работниц ужасно бесполовые, совсем необразованные и такие косопалые.

...Да, на людей она не может пожаловаться, но все остальное мучительно!

Вот хотя бы шум. Говорят, к нему скоро привыкаешь. Но Джойс не была уверена, что и она привыкнет, — ведь она не совсем такая, как остальные. Ох, этот грохот и скрежет железа! На другом конце цеха, далеко от нее (но ведь в любой день ее могут переместить ближе к ним) работали какие-то страшные машины, которые визжали, как большие раненные животные. Разве может человек утонченный работать подле них? И потом этот необычайный резкий свет — он придавал людям такой вид, как будто они больны какой-то странной болезнью. Здесь уверяют, что он похож на дневной свет. Ну, нет, во всяком случае не на обыкновенный, нормальный дневной свет! Может быть,

таков дневной свет на луне или в другом подобном месте...

А каким долгим теперь кажется день! Умываешься и одеваешься в темноте, покрываешься гусиной кожей, бежишь просеком к автобусу, потом в автобусе дрожишь от холода, а вокруг все зевает, ворчат (кроме завязанных оптимистов, отпускающих все время глупые остроты. Эти — всех несноснее). Путешествие длится целую вечность, — а день начинается, собственно, только тогда, когда приезжаешь на завод, и день этот такой долгий, такой долгий, что вот сейчас кажется, будто с раннего утра прошла уже целая неделя, и каждый час — в особенности после обеда — тянется медленнее предыдущего, так что лучше совсем не думать о времени! Да и не говоря уже о шуме, и свете, и этом бесконечно долгом дне, здесь все какое-то не совсем обыкновенное. Вот в мастерской на Брутон-стрит и в других местах, где она работала, — там все было просто и понятно, а здесь нет. Здесь все — как долгий, оглушающий, нестерпимо яркий сон. Чутьочку похоже на то, что ощущаешь, когда у тебя высокая температура.

Но вот уж в этом главном инженере Элрике, — или как его там, — в нем нет ровно ничего необычайного и таинственного! Ни в его красной опухшей физиономии, ни в налитых кровью глазах, ни в противном, глумливом голосе. Видно было, что он презирает ее, Джойс, за то, что она непохожа на остальных. И это первый человек здесь, на заводе, при котором ей было ее себе. Сразу видно, что он человек не из приятных. И мистер Сколби (он, хоть и смешной, всегда потный, но добрый малый и сразу заметил, что она огорчена) так прямо и сказал о нем.

— Видите ли, мисс Диржерст, — сказал он очень мягко и вежливо, — у мистера Элрика, как я слышал, свои заботы не только на заводе, но и дома. Ну, и ответственность на нем большая — вы не можете себе представить, сколько у него дела! Значит, не стоит обращать внимания... Это уж у него привычка такая — каждого отбрасывать, что мое почтение. Не то, что я, — я парень-золото, никого не обижу.

— Вы очень любезный человек, мистер Сколби, — подтвердила Джойс.

— Это все говорят, все как есть, — сказал Фред, широко осклабившись. — Вот оттого-то вас, молодых леди, всех отправляют прямо ко мне. «Фред, — говорят, — знает, как с ними обходиться». Да. А что касается мистера Элрика, так вы его, может, целый месяц и в глаза-то не увидите, так-что не стоит расстраиваться... И вот что, мисс Диржерст: как кончите всю пачку, не забудьте сдать вашу розовую карточку

вон тем девушкам за конторкой. Ну, ладно. Не унывайте!

Вот и все в порядке, раз этот мистер Эрик редко будет приходить сюда и фыркать на нее! Джойс перестала думать о нем и старалась сосредоточить все внимание на работе, но это ей не удавалось уж просто потому, что работа была такая несложная. Нет, надо будет попросить, чтобы ей как можно скорее дали другую, потрудней.

— Ну, как у вас, все идет гладко?

Она с удивлением подняла глаза. Это тот парень, что все время посматривал на нее через проход и ухмылялся, теперь подошел и заговорил с нею. Она ответила лаконично и сухо.

— Я все время смотрю на вас, — продолжал он, ничуть не обескураженный, — оттого, что вы мне кого-то очень напоминаете. Одну из кино-звезд. Но кого? Лоретту Юнг, что ли? Не могу сообразить.

Джойс сказала: «Не знаю» таким тоном, как говорят: «какое мне дело?» Этому малому не следовало бы улыбаться во весь рот, раз у него такие плохие зубы.

— Смотрите, завтра обязательно приходите в столовую, — сказал он убедительно. — Знаете для чего? Нет? Я так и думал. Завтра в столовой, ровно в четверть двенадцатого, выступает Эмдаунская Шестерка. И я — один из шести, Джек Браймбер. Играю на саксофоне. А позволите спросить, как вас зовут?

— Мисс Дирхерст, — церемонно ответила Джойс.

— Так. — Он помолчал, видимо ища темы для разговора, и, не найдя, сказал в заключение:

— Что ж, мисс Дирхерст, очень рад с вами познакомиться. И если я могу вам быть полезен... если захотите, например, узнать что-нибудь насчет нашего цеха или чего другого, — вам стоит только спросить.

«Нет, хватит с меня», — подумала Джойс. Она находила его слишком юным, слишком глупым и самодовольным. Теперь она вспомнила, что видела его и слышала его игру в заводском оркестре как-то на прошлой неделе во время обеденного перерыва. Этот малый с его саксофоном несомненно мог произвести впечатление на деревенских девчонок — дочерей фермеров или работниц, никогда раньше не выезжавших с фермы, — но она, Джойс, — жительница Лондона и совсем из другого теста.

Через некоторое время к ней подошла миссис Григсон, у которой остановилась машина. Миссис Григсон проходила обучение на заводе одновременно с Джойс и поэтому упорно обращалась с ней, как с доброй знакомой. Это бы-

ла худая, костлявая женщина с неподвижными глазами, черными и блестящими, как бусинки, и раздражающе заунывным голосом. Муж ее находился на фронте, в танковой части, но она говорила об этом без всякой гордости, напротив — тоном возмущения, словно его отъезд на фронт был самой последней и самой безумной из его многочисленных причуд.

— Представьте себе, милочка, машина моя сломалась и окончательно не работает, — объявила миссис Григсон. — Я тут не при чем, я делала все точно так, как мне велели. И все шло отлично, а она вдруг ни с того, ни с сего возьми да и остановись... Понятия не имею, для чего служат эти куски железа. А вы? Мой муж, наверное, мог бы объяснить, да что толку, раз его здесь нет и нельзя у него спросить. К тому времени, как придет от него ответ, я уже, наверное, буду на другой работе и успею забыть, о чем спрашивала... Интересно, который час? Я не прочь пообедать. А вы, милочка? Как приятно, когда не надо самой готовить и не знаешь, что сегодня к обеду.

Не отрывая глаз от машины, Джойс подтвердила — уже не в первый раз — что это приятно.

— А у вас работа ладится, милочка! Да, наверное. И халатик у вас очень славный. А я своим недовольна. Как только я его надела, так и подумала: «Ну, Флори, опять ты поторопилась». Под мышками режет, милочка! Мне бы надо припустить, а я скроила в обрез — и все испортила... Знаете, около меня все утро работали сегодня две девушки, совсем молоденькие. Не такие, как вы, милочка, нет, совсем другого сорта, настоящие фабричные. Они перекрикивались так громко, что я поневоле все слышала. Что они рассказывали! Ужас! Нет, я бы не хотела, чтобы вы слышали, потому что вы еще не замужем. Но, честное слово, после того, что я сегодня слышала своими ушами, я верю всему, что говорят и пишут о нынешних девушках — все это ни чуточки не преувеличено. Ну и штучки! Я вас спрашиваю — куда же дальше? Одно можно сказать, — добавила она мрачно, словно увидев предел человеческого падения: — Дальше некуда!.. Ох!

Последним восклицанием, похожим на крик, миссис Григсон реагировала на гудок, возвещавший сорокапятиминутный обеденный перерыв. Она крепко уцепилась за Джойс, и обеих толпа увлекла с собой из цеха в нижний коридор, затем вверх по лестнице в огромную столовую. Посреди столовой огорожено было шнуром место для выступлений, и над ним горело четыре больших лампы.

— Интересно, что здесь будет сегодня

ня? — заметила миссис Григсон, когда они с Джойс стояли в очереди за талонами на обед.

— Ах, бокс! Вот еще что выдумали! Кому это нужно — смотреть во время обеда, как мужчины тузят друг друга?

— Я не стану смотреть, — сказала Джойс решительно. — По-моему, это идиотство.

К ней немедленно повернулось широкое, грязное, давно небритое лицо.

— Это вы так думаете, Мэйбл, — промолвил его обладатель сурово, но тут же подмигнул ей, чтобы смягчить резкий отпор. — А хотите знать, что думаю я? «Валяйте, ребята, валяйте!» — вот что я говорю. У вас есть свои фиgili-мигли чуть ли не каждый день, так отчего же мне нельзя иной раз посмотреть несколько раундов?

— Какой грубиян! — шопотом сказала миссис Григсон. Затем громче, в высшей степени светским тоном: «Тушное мясо по-ирландски. Пирожки на пагоке». Какой неинтересный обед! Возьмем еще по чашке чая к этим пирожкам, милочка!

Обед не доставил Джойс никакого удовольствия, хотя все было вкусно. Она и миссис Григсон оказались втиснутыми среди целой компании мужчин вроде того с грязным лицом, который называл ее «Мэйбл». Все они, торопясь насладиться зрелищем бокса, наскоро проглотили обед и затем закурили вонючие трубки. Приятного в этом было мало. И Джойс, едва допив крепкий перестоявшийся чай, под каким-то предлогом ускользнула от миссис Григсон, раньше, чем та успела удержать ее. Деваться как будто было некуда, да и, выглянув наружу в открытую дверь нижнего коридора, Джойс убедилась, что идет дождь. Она вернулась в большой зал, где работала утром и где сейчас было до странности тихо.

На ящике сидел, привалившись спиной к машине, мастер Клитон, которого она сегодня уже видела мельком. Он жевал толстые сэндвичи и задумчиво смотрел перед собой в пространство поверх очков в серебряной оправе. Джойс невольно улыбнулась — и как-раз в этот момент Клитон поднял глаза.

— Знаю, девушка, знаю, над чем вы смеетесь, — пробурчал он невнятно, так как рот у него был набит сэндвичем.

— Я вовсе не смеялась, — возразила Джойс. — Я только улыбнулась — сама не знаю, почему.

— А я знаю. Вы подумали: «Зачем это он приносит с собой из дому сэндвичи, тратит на них свой мясной паек, когда за девять пенсов он может получить здесь, в столовой, отличный горячий пирог с мясом, подарок лорда Вултона». Верно? Думали так?

— Нет, не думала, — сказала Джойс, которая перед мистером Клитоном не очень робела. — Но раз вы уже заговорили об этом, объясните мне, почему вы не ходите в столовую обедать?

— Ага! — У мистера Клитона был прямо-таки торжествующий вид. Раньше, чем продолжать, он стряхнул крошки с усов. — Вы не первая спрашиваете об этом. Видите ли, девушка, я поступаю так отчасти по-привычке, а отчасти из принципа. Я не сторонник этой затеи со столовыми и добавочных пайков для рабочих военных заводов. Солдатам и матросам — да. Шахтерам и рабочим вредных цехов — да. А нам, рабочим авиазаводов, — нет. Да и вообще не верю я во всю эту заботу о рабочих. Платите мне то, что следует, а я уж сам о себе позабочусь, спасибо. Человек должен стоять на собственных ногах, — добавил он, строго посмотрев на Джойс. — Ну, что вам говорил сегодня мистер Эзрик? Я видел, что он остановился подле вас. Впрочем, я заранее знал, что он остановится.

— Мне показалось... — Джойс запнулась, — мне показалось, что он очень злой. Не понравился он мне.

— И отлично. И держитесь от него подальше, — сказал мистер Клитон. — Что касается работы, тут мистер Эзрик молодец. Он свое дело знает, так же, как все мы.

Он с минуту задумчиво смотрел на нее, потом улыбнулся с неожиданной теплотой.

— У меня дома три таких, как ты... Да только дома-то они бывают редко. Мои как будто ростом пониже, и мяса на них побольше, но разница между вами не такая уж большая... И помни, девушка, не робей, — тут тебя никто не съест.

Он кивнул головой, и, вынув из кармана газету, начал читать ее, хмурясь, как будто не замечая больше присутствия Джойс.

Но Джойс, уходя от него, чувствовала, что на душе у нее стало веселее. Мистер Клитон, может быть, и суров, и чужак, но он славный старик.

5.

Альфред Клитон опустил газету на колени, чтобы посмотреть вслед уходящей Джойс. «Красивая девочка», — размышлял он. Но его это мало трогает, он, ведь, не Боб Эзрик. Да, он сразу понял давеча утром, что Эзрик исподтишка ее разлаживает. Альфреда Клитона провести не так-то легко.

Оставшиеся до гудка четверть часа он провел очень приятно, наслаждаясь чтением газеты и мысленной критикой почти всего того, о чем читал. Он, в сущности, вовсе не был придирчивым

брюзгой. Он просто дорожил своей независимостью и желал иметь на все свою собственную точку зрения. В результате тори считали его «красным», а левые объявили реакционером. А был он в действительности радикалом старого толка, какие полвека назад встречались гораздо чаще, чем в наше время. Он был большой охотник до чтения, медленно, но упорно размышлял о прочитанном и очень любил разбираться во всяких явлениях жизни. Он презирал все существующие формы религии, но еще больше презирал неверие, пустоту и ветренность современной молодежи. Где-то в глубине души он поклонялся созданному им для себя божеству, которое представлялось ему чем-то вроде мастера-гиганта, озирающего поверх громадных очков в серебряной оправе безумные миры и их обитателей.

Клитон готов был работать на оборону, что называется, до упаду (и действительно чуть не свалился летом 1940 года) не из каких-либо надуманных патриотических чувств, а потому, что он искренно верил в свободу и демократию, чего нельзя сказать о большинстве людей, рукоплещущих этим словам. В производственной комиссии, в которую он был избран одним из первых, он работал весьма активно и подгонял остальных.

К концу перерыва он отложил газету и, готовясь приступить к работе, сунул в угол рта незажженную трубку. Этим летом, после падения Тобрука, он в порыве возмущения объявил, что не будет больше курить до тех пор, пока Роммеля не выгонят из Египта, — и теперь только сосал пустую трубку.

Большинство рабочих уже вернулись к своим станкам. Клитон зорко оглядел все. То, что для Джойс Дирхерст было шумной, спящей суматохой, для Клитона, прекрасно разбиравшегося во всей работе, было разумной организацией массового производства — настолько разумной, насколько этого можно добиться при беспрестанном наборе новых рабочих вместо уходящих в армию старых. То, на что раньше опытный рабочий затрачивал целый день, теперь на новых станках могла сделать за полчаса любая из этих девушек. Так и должно быть сейчас, когда нацисты и фашисты свирепствуют повсюду. Но один бог знает, к чему это в конце концов приведет.

Он поговорил с тем, с другим, отдал несколько распоряжений двум установщикам, которые, как ему показалось, не работали, а мечтали, опять неодобрительно осмотрел те три старые машины, что ему навязали, и медленно повторил про себя то, что намеревался высказать на ближайшем совещании про-

изводственной комиссии, не считаясь с тем, нравится это Эрику или нет.

У толстухи Грин, которая всю жизнь до поступления на завод только доила коров да сбивала масло и, кажется, воображала, что она все еще у себя на ферме, опять с машиной что-то не ладилось.

— Ну, что у вас тут такое, миссис Грин? — спросил он серьезно. — Опять подойник опрокинули?

— Ах, мистер Клитон! — обиделась она, утирая потное лицо. — Вечно вы со своими шутками насчет подойника! Напрасно я рассказывала вам... Вот взгляните сами. Сегодня утром он сказал, что, когда вон та штука — видите, о какой я говорю? — отскребет столько, сколько ей полагается, тогда появится красный огонь. Утром он появлялся, а сейчас — нет.

«Ну, и работнички пошли! — подумал Клитон. — Не завод, а школа для малолетних! «Штука отскребет». «Появится красный огонь!» Ох! Ничего не поделаешь, надо и с этим мириться, только бы выиграть войну».

— Я пришлю Чарли проверить, в чем тут дело, — сказал он. — Лампа как будто в порядке, но, может быть, нет соединения. Потерпите минутку. И вообще не расстраивайтесь. Вы что-то слишком быстро начали худеть.

— Да что вы, мистер Клитон! — воскликнула она польщенная.

Клитон важно уставился на нее.

— Ну-ка скажите, кто сейчас командует армией в Египте?

— Нашли у кого спрашивать. Я не особенно, знаете ли, интересуюсь военной.

— Не особенно, миссис Грин? А, может быть, совсем не интересуетесь? Признавайтесь.

— Что ж, признаюсь. Зачем мне врать, мистер Клитон? — сказала она, недоумевая, шутит ли он, или говорит серьезно.

Он погрозил ей пальцем.

— Вы не интересуетесь войной, да война интересуется вами. Ведь это она привела вас сюда, не так ли? Она принесла и то, и другое, и третье вам, и вашим родным, и друзьям... и миллионам русских, и китайцев, и французов, и греков... кому только она не принесла горя... А вы мне заявляете, как ни в чем не бывало, что вы о ней ничего не знаете и знать не хотите! Миссис Грин, честное слово, ума не приложу, что мне делать с вами... Вот и Чарли.

Громкоговорители передавали «законсервированную музыку», как ее мысленно называл Клитон, с граммофонных пластинок. Она заглушала шум самых назойливых машин. Под нее могли бы плясать обезумевшие гиганты. Клитон не одобрял музыки. То-есть, против му-

зыка вообще, даже танцевальной, он не возражал, но считал ее неуместной на таком заводе. Это все — новая политика... нет, если люди работают лучше под такую музыку, значит, они ненормальные. И кто включает радио в рабочие часы, тот как бы допускает, что работа не требует всего внимания тех, кто ею занят. Это нелепость.

В конце зала работала молоденькая девушка, Роза, — фамилии он не помнил. Она была приставлена наблюдать за двумя автоматами. И Клитон увидел, как эта курносая девчонка покачивала головой в такт музыке. Рот полуоткрыт, волосы прядями падают на щеки, и вообще у нее вид полоумной!

— Вы чем это заняты, а, Роза? — крикнул он ей. Он ничуть не сердился, нет, он просто хотел, чтобы голос его был слышен.

Не только голова, но даже халат Роза ритмично колебался, — можно подумать, что у нее пляска святого Витта. Ишь, как ее разбирает! Но глаза глупой девчонки так сияли, что Клитон не мог не улыбнуться. В сущности, приятно видеть всех их веселыми! В нынешней жизни не слишком много радости.

— Ах, мистер Клитон, — жалобно прокричала в ответ Роза: — Это все музыка виновата... Мотив такой чудесный! Слушаешь и думаешь... ох, и сама не знаю, о чем.

— И я тоже не знаю, — в тон ей отозвался Клитон.

В эту минуту он заметил неподалеку двух парней, загружавших токарный станок. Они вели себя не лучше Розы. Что ж, так оно есть... Не завод, а что-то среднее между дансингом, благотворительным базаром, модным кафе и клубом христианского союза молодежи. И здесь делают самолеты с такой легкостью, как будто это мышеловки! Если бы кто из его старых товарищей, с которыми он работал в то время, когда механический цех был механическим цехом и ничем больше, — например, Джек Андерсон или старый Рейли, — очутились здесь опять да увидели, что тут творится, они бы, наверное, взвыли и помчались в трактир за виски.

С такими мыслями Клитон вернулся к своему месту на другом конце зала и застал здесь инспектора охраны женского труда, мисс Шиптон. Она пришла переговорить с ним относительно миссис Купер, работника его цеха (ничем решительно не замечательной), которая не явилась на работу, вероятно, потому, что ее муж приехал в отпуск с фронта. Мисс Шиптон была здесь новым человеком, хотя она уже несколько лет работала инспектором труда на заводах. Клитон ничего не имел против мисс Шиптон (правда, она, на его взгляд, была немного слишком манерна и суетлива, и

он не понимал, зачем ей понадобилось носить огромные очки в малиновой оправе), но он предпочел бы, чтобы она не держала себя, словно какой-нибудь миссионер в Индии. Мисс Шиптон была дама лет тридцати пяти, несколько суровая на вид, очень корректная и элегантная, говорила быстро, глотая слова, заискивающим тоном. Она была совершенно лишена чувства юмора, и Клитон любил подразнить ее. Впрочем, относительно миссис Купер они сговорились в какие-нибудь полминуты.

— Да, знаете, мистер Клитон, — сказала она в заключение, — я хочу организовать здесь драматический кружок. У нас на одеяльной фабрике была такой и работал отлично. Это очень полезно для девушек и доставляет им массу удовольствия. Вы, я полагаю, не захотите вступить в него? — осведомилась она, скривив губы.

— И правильно полагаете, мисс Шиптон, — ответил он сухо. — Держу пари на яблоко, что вам не удастся здесь организовать никакого драматического кружка. Мы не одеяла шьем, а готовим военные самолеты. Не забывайте, что у нас работают по одиннадцати часам в смену. Люди каждое утро приезжают бог весть откуда и каждый вечер путешествуют обратно. У нас остается время только на сон, — какие уж тут любительские кружки!

Выражение наигранной бодрости на лице мисс Шиптон несколько потускнело.

— Я знаю. Очень трудно что-нибудь организовать, когда люди живут все в разных местах. Ну, и времени не хватает, конечно... Но, ведь, в субботу все свободны.

— Нет, не всякую субботу. И даже если бы так, — у каждого в этот единственный день найдется уйма дела, и он не станет торчать на заводе и разыгрывать пьесы. Мы хотим в субботу быть дома. Я говорю, конечно, только за себя, но ручаюсь, что большинство скажет вам то же самое.

— Боюсь, что вы правы, — огорченно согласилась мисс Шиптон, на сей раз вняв голосу благоразумия. — Это как раз то, с чем я постоянно борюсь.

— А я бы на вашем месте перестал с этим бороться, — с грубоватой прямой возразил Клитон. — И чего вы так стараетесь? У вас и без этих затей довольно дела, мисс Шиптон: выслушивать все их претензии да жалобы, постоянно хлопотать за кого-нибудь. У одной — муж приехал с фронта, другая — рожать собирается, у третьей — уж не знаю, что... У вас в свободный день найдется и дома чем заняться — верно я говорю?

— Ну, еще бы! — воскликнула мисс Шиптон, моргая глазами. Потом, с «про-

фессиональной» веселой улыбкой промолвила: «Благодарю вас, мистер Кли-тон» и выплыла из цеха, мягко ступая в своих «гигиеничных» туфлях на низких каблучках.

Кли-тон хмуро смотрел ей вслед. Он думал о том, что ее восклицание «Ну, еще бы!» звучало совсем неубедительно. В том-то и беда ее, что вне завода, без своей «миссионерской» деятельности она чувствует себя лишней на свете. Старая дева, которой дома нечем заняться, кроме разве стирки чулок или утюжки платья, которая знает жизнь только по книжкам, взятым в библиотеке, которая хандрит в меблированных комнатах и ложится спать рано, с грелкой, проглотив парочку облачков аспирина.

6.

Уходя от мистера Кли-тона, Эдит Шиптон с досадой констатировала, что мысли ее отвлеклись от дела, и в душе опять поднимается тревога за Герберта. Целую неделю от него нет писем! Вот уж пять лет, как она любила Герберта, заведующего небольшой начальной школой в южном Ланкашире, человека семейного, у которого боляная жена и трое детей, и последние три года тайно жила с ним. В первый год их связи они виделись довольно часто и проводили иногда вместе ночь, а то и две под ряд. Тогда это было не особенно трудно, но в последние два года война создала множество всяких препятствий и ограничений, и тут для них началась кошмар: отчаянные попытки увидеться, наспех набросанные записки, постоянные разочарования, когда встретиться не удавалось. И даже когда удавалось провести вдвоем несколько часов, оба они порой бывали настолько измучены всей этой суетой, и свидания происходили в таком враждебном и убогом окружении, что все выходило не так, и прежней радости не было и следа. Эдит мужественно переносила это, постоянно твердя себе, что Герберту гораздо тяжелее, чем ей. И подчас неосторожная фраза в его письме, или подмеченное во время свидания мимолетное выражение глаз подкладывали ей, что их любовь становится для него обузой, еще новой обузой в жизни. У Герберта всегда был такой утомленный вид — что ж удивительно, как-никак ему пятьдесят лет, и приходится теперь, помимо заведывания школой с сокращенным штатом, выполнять в деревне еще всякие новые, связанные с войной, обязанности, а дома — много забот и мало радости.

Иногда Эдит хотелось сказать ему, что им пора расстаться. Но чаще всего он первый начинал придумывать, как устроить следующее свидание, и она, конечно, не решалась его огорчить.

Беда в том, что бедняга Герберт не способен так храбро, как она, мириться с трудностями и опасностью их свиданий. Эдит вспомнила ужасные дни, когда хозяйка маленькой гостиницы в Стокпорте так оскорбительно обращалась с ними обоими... Потом один унылый субботний вечер в Бирмингеме, когда им пришлось несколько часов бродить под проливным дождем. Их прежние веселые товарищеские отношения, шутки между поцелуями, разговоры, в которых оба спешили излить душу, — для всего этого сейчас просто не было подходящих условий. Их любовь была, как разбитый бурями корабль, который уносится все дальше и дальше от белых гаваней и золотых островов, где он некогда бывал, в туманы и лед или под хлещущий ураган. Женщины на заводе, рассказывавшие мисс Шиптон о своих невзгодах, удивились бы, если бы знали, какой тяжкий груз забот носит в себе их внимательная слушательница.

Однако, когда Эдит Шиптон порою, в часы усталости, чувствуя, что работа ее засасывает, жаловалась, что девушки и женщины, с которыми ей приходится иметь дело на фабриках и заводах, сами себе портят жизнь, она искренно это думала. Ее собственная личная жизнь казалась ей явлением совершенно иного порядка, чем личная жизнь фабричных работниц, — как будто они жили на другой планете. Та мисс Шиптон, которую все видели на Элмдаунском заводе, и Эдит Шиптон, возлюбленная Герберта, которая, сняв очки, целовала его озабоченное постаревшее лицо, были две разные женщины. И сейчас, уходя от мистера Кли-тона, «заводская» мисс Шиптон увещевала Гербертову Эдит не подавать голоса, пока она не вернется в свою комнату.

Она поднялась наверх, к мистеру Проскоту, заведующему отделом личного состава и бытового обслуживания. Он, собственно, был ее начальником, но предоставил ей все обслуживание женщин. У нее в этом деле было больше опыта, так как Проскот еще полтора года тому назад состоял главным агентом одного из предприятий, влившихся в Элмдаунскую самолетостроительную компанию. Когда эта фабрика, производившая какие-то хозяйственные изделия, перешла на новую работу, Проскот остался без дела, и мистер Чевит, стремясь наладить снабжение и обслуживание рабочих, поручил это дело Проскоту, который, как опытный агент по продаже, отличался обходительностью и умением ладить со всякого рода людьми. Мисс Шиптон нравился Проскот, но она считала его не особенно дельным и энергичным и подозревала, что он не вкладывает души в работу.

Сегодня, во всяком случае, он не проявлял к ней ни малейшего интереса и вообще был далек от обычного своего веселого благодушия. Его круглое красное лицо, все в заборных, хитрых морщинках, сейчас являло собой сплошную гримасу недовольства. В нем незаметно было и следа привычной позы «души общества», позы, которая иной раз нестерпимо раздражала, но в общем помогала сразу установить с ним неприязненные отношения. После первых же минут разговора мисс Шиптон осведомилась, чем он расстроен.

— Да все эти прогулы, мисс Шиптон, — вздохнул он, тяжело шлепнувшись в свое кресло. — Опять Эрик поднял бучу. Должно быть, он сегодня злой с похмелья. А мне — замечание от мистера Чевииота. Хоть бы вы меня выручили, мисс Шиптон.

— Вы хотите, чтобы инспектор национальной повинности не привлекал их к суду?

— Вот именно. Я им десять раз твердил, что некоторые из этих прогульщиков не являются на работу по уважительным причинам, но не хотят объяснить их нам и сообщают их только вам, по секрету. Вы можете подтвердить это? Тогда начальство успокоится.

— Конечно, могу, — с живостью отозвалась мисс Шиптон. — Вам нужно мое письменное заявление?

Она никогда не отказывалась писать всякого рода заявления и докладные записки, даже любила сочинять их, уже хотя бы потому, что это придавало ее работе солидный и официальный характер.

— Пока нет. Только в том случае, если поднимут скандал, — сказал мистер Проскот, любивший говорить о скандалах, хотя он был человек вовсе не агрессивного типа. — Я просто скажу мистеру Чевииоту, что вы готовы меня поддерживать. Надо же считаться с тем, что в этом деле у вас такой громадный опыт.

— Да, порядочный, — согласилась она, польщенная. Но, как честный человек, сочла нужным добавить: — Впрочем, до войны прогулам не придавали такого значения, как сейчас, не правда ли?

М-р Проскот развел пухлыми руками.

— Да, но психология у рабочих была та же самая. В этом-то все дело. А им как-раз эта психология и непонятна. (Мистер Проскот любил рассуждать о психологии.) Я уверен, что Эрику такие соображения и в голову никогда не приходили. А Бэндфорд еще безнадежнее Эрика. Этот думает только о машинах, а не о психологии. А я вам говорю: в такое время нельзя игнорировать психологию. Мы с вами это понимаем, не так ли, мисс Шиптон?

Она торжественно заверила его, что понимает, и охотно распространилась бы и дальше на эту тему, если бы Проскот не перебил ее. Проскот любил в разговорах выдвигать психологию, но быстро «завдвигал» ее обратно.

— Тут у нас работает одна девушка, — начал он, роясь в беспорядочной куче бумаг на столе, чтобы отыскать нужное ему заявление (ибо его стол был далеко не в таком идеальном порядке, в каком держала свой мисс Шиптон).

— Эта девушка жалуется на наши автобусы. Пишет, что ей приходится идти пешком до автобуса несколько миль, когда в этом совершенно нет необходимости, и что мать хочет из-за этого взять ее с завода. Да где же ее заявление?.. Ага, вот оно. Нелли Диттон. В цехе номер два. Деревенская девчонка, но она у нас уже почти полтора года и работает отлично. Вы бы потолковали с нею, мисс Шиптон. Там помощник мастера — коммунист Огмор, и мы не хотим с ним связываться. Лучше всего сходите к ней сейчас же.

М-р Проскот шумно вздохнул и еще больше насупился.

Мисс Шиптон сказала, что пойдет сейчас же, но задержалась, чтобы спросить у м-ра Проскота, почему он сегодня так мрачен.

Он тряхнул головой.

— Жена беспокоится о мальчике. (Сын его недавно отправился на фронт, на Средний Восток.) Да и вообще, знаете, как теперь: то одно, то другое... Мало радости... А такая жизнь не по мне, мисс Шиптон, — добавил он с чувством. — Я люблю быть в движении, жить весело, встречаться с людьми, выпить иной раз в компании, делать дела, бывать в театрах. Я не такой серьезный человек, как вы, мисс Шиптон. Вы, наверное, не так скучаете, как я, по прежней беззаботной жизни.

Много он знает о ней! Ей в эту минуту невольно вспомнился один чудесный день в вересковой степи. Она увидела себя и Герберта на ярком солнце. Вокруг все так сладко благоухало, пели жаворонки, и они были одни, счастливые любовники, вдали от всех, в скрыве от чужих глаз уголке золотого мира. «Ах, да перестань ты думать об этом, проклятая дура!»

— Да, наверное, не так, мистер Проскот, — сказала она вслух без улыбки. — Ну, пойду поговорю с Нелли Диттон.

Опять она шла среди машин. В глубине души она боялась и не любила их, но научилась щеголять в разговоре всякими «умными» общими фразами о промышленности. В цехе номер два работали какие-то особенно свирепые небольшие машины. С грохотом и визгом они врезались в твердый металл, и во все

стороны летели из них белые искры. Мисс Шиптон втайне находила, что не женское это дело управлять такими машинами. Мужчины — еще куда ни шло, но девушкам это не годится. Если бы какая-нибудь из работниц работала плохо просто оттого, что и она тоже не чавидела машины, мисс Шиптон отнеслась бы к ней с большим сочувствием. Но их всех тревожили разные другие вопросы — расценки, автобус, отпуск, какое-нибудь недомогание. Некоторые — как, например, эта чудачка, миссис Оклей — даже любили свои станки. Мисс Шиптон это было непонятно, несмотря на то, что она несколько лет тому назад добровольно бросила преподавание чтобы заняться своей нынешней работой на заводах. Подходя к грохочущему и сверкающему цеху номер два, она, как всегда, внутренне дрогнула и сжалась.

Как только м-р Омгор указал ей Нелли Диттон, она припомнила эту полненькую белокурую девушку со скошенным на сторону лицом. Она не скандалистка, не спорщица, как некоторые другие. Обыкновенная деревенская девушка с застенчивым взглядом и бормочущим робким голосом.

Жалоба Нелли на автобус ее района состояла в том, что он в последнее время изменил свой маршрут, и теперь ей и еще нескольким девушкам из той же деревни приходится идти пешком две мили до остановки. Летом это еще ничего, — ну, а теперь дни становятся все короче, и скоро придется утром и вечером идти в полной темноте.

— А мать этого не позволит, — добавила Нелли довольно вяло, как будто дело должны были решать между собой ее мать и Эмдаунская компания. «В особенности по вечерам, говорит, когда на дороге слоняются солдаты». — Я ей сказала, что не боюсь солдат — и вправду не боюсь, а вот подруга моя боится, — но мать твердит свое: что не имели права отменять нашу автобусную остановку и что, если ее не восстановят, так она заберет меня с завода.

— Этого она сделать не может, — возразила мисс Шиптон спокойно. — Вы на трудовом фронте, Нелли.

— Вот это самое я ей говорю — про трудовой фронт, — сказала Нелли без гордости. — Но она ничего знать не хочет. Она у нас немножко отсталая. Не хочет, например, слушать сообщений по радио. Уверяет, что большая часть их — выдумки: все, что передают про бомбежки и про войну в России. Будто бы все это — выдумки.

Мисс Шиптон даже брови нахмурила, услышав такую ересь.

— Что за чепуха! Чего ради стали бы выдумывать такие вещи?

Но у Нелли ответ был готов.

— Она говорит, что все это — штуки правительства, которое хочет иметь еще больше власти над народом. Знаете, моя тетья приехала к нам жить, потому что ее квартиру в Лондоне разбомбило, и здорово разбомбило. Так она просто из себя выходит, когда мать уверяет, что про бомбежки все выдуманно. А у моей подруги жених — летчик на фронте, и он тоже спорит с моей матерью. Но мать не переубедишь.

Мисс Шиптон ощутила вдруг острый приступ тоски. Она вспомнила свои бесконечные разговоры с Гербертом, человеком передовым, со смелыми мыслями, — сначала о грядущей войне, об Испании, о Мюнхене и всем прочем, позднее — об уже начавшейся войне. Герберт хорошо разбирался во всем и говорил очень интересно о политической подкладке этой войны, о том, какова должна быть стратегия союзников, о реконструкции мира после войны. Она слушала его часами, — (хотя по временам ей и хотелось, чтобы Герберт перестал говорить о войне и поговорил немножко о ней, Эдит) — и не смея равнять себя с ним, так тонко разбиравшимся в высоких материях, все же считала себя хорошо осведомленной. А тут эта мать Нелли чуть ли не утверждает, что никакой войны нет! Такие моменты, когда ей внезапно открывалась темная бездна человеческого невежества, очень волновали мисс Шиптон.

Нелли, видимо, кое-что заметила.

— Не думайте, мисс Шиптон, что и я тоже такая, — промолвила она серьезно. Ее большие голубые глаза утратили свое робкое выражение. — Но ведь она мне мать. Она уверена, что может, если захочет, взять меня отсюда. И, я думаю, она это сделает.

— Нет, не сделает. В особенности, если вы сами не захотите уйти с завода. А вы ведь этого не хотите? Вам здесь нравится?

— Да, ничего. Я непрочь работать здесь.

Так отвечали неизменно девчонки девять из ста. Они не высказывались решительно ни «за», ни «против», — и это бесило мисс Шиптон. Каким приятным разнообразием было бы встретить женщину, которая объявила бы напрямик, что любит свою работу или что терпеть ее не может. Но почти все они высказывались так же неопределенно и уклончиво, как Нелли. И не только о работе, — обо всем. Некоторые из этих девушек забеременели и на вопросы мисс Шиптон признавались, что будущий отец ребенка — какой-нибудь Джо или Чарли, который находился в соседнем лагере, а теперь куда-то исчез. Но и тут в их рассказах была та же неопределенность, безразличие и терпеливая безропотность. И та мисс Шиптон, кто-

рая старалась не думать о Герберте, испытывала к ним презрение за вялость и смутность их переживаний, а та Эдит Шиптон, что слишком много думала о Герберте и плакала бессонными ночами, вспоминая о нем, презирала их за то, что им незнакома страсть.

— Ну, вот что, Нелли, — сказала она деловым тоном, — вам следует помнить, что в последнее время движение наших автобусов сокращено, а к зиме его, может быть, еще больше сократят. Но вы скажите матери, что я наведу справки относительно этого маршрута. Откуда идет ваш автобус?

Она записала подробности, которые словоохотливо сообщила ей Нелли. Затем, опасаясь, что, может быть, слишком сухо разговаривала с девушкой, прибавила:

— Мы непременно хотим удержать вас здесь, Нелли. Мне говорили, что мистер Огмор очень высоко ценит вашу работу. Мне сказал об этом сам мистер Проскот — вот видите!

Следовало ожидать, что от этих слов лицо Нелли просияет, но оно только выразило замешательство, как будто она не совсем поняла сказанное. «Честное слово, — подумала, уходя, мисс Шиптон, — некоторые из этих девушек какие-то полуживые». Как же создать жизнеспособное, подлинно демократическое общество (которого требовал Герберт) с этим народом? Взять хотя бы такую вот Нелли Диттон. Ее интересует только одно, — чтобы не нужно было ходить далеко к остановке автобуса и чтобы утомилась ее идиотка-мать.

7.

Стоя у станка, Нелли думала:

«Эта мисс Шиптон выглядела бы много моложе и лучше, если бы причесывалась не так гладко и сняла свои смелые очки. Хотя она и старая дева, но зачем же так стараться, чтобы все это заметили? А лицом она ведь недурна. Во всяком случае, оно у нее не скривлено, как у меня».

Нелли все больше приходила к мысли, что люди, у которых нормальные лица, должны быть хозяевами жизни и всю наслаждаться ею. Она постоянно остро помнила, что ее собственное лицо, начиная от носа, скошено на правую сторону. Все говорили, что, если бы не это, она, Нелли, была бы прехорошенькая. Эту особенность ее лица нельзя было назвать настоящим уродством, но она придавала Нелли странный вид. А фигура у нее была прекрасная, особенно хороши были ноги, которые в последнее время вышагивали целые мили под одобрителный свист молодых армейцев и летчиков. Нельзя сказать, чтобы мужчины, увидев ее лицо, шарахались от нее, но она их

не волновала, как другие девушки, и до сих пор все они были очень далеки от того, чтобы стать для нее «мистером настоящим», как выражалась ее тетка. (Этот «настоящий» должен был быть высокий брюнет с сочным, волнующим голосом, готовый целовать землю, по которой она ступала. Нелли никогда не наблюдала в жизни такого «целования земли», но читала о нем в романах.) Одно время она целыми часами пробовала выравнивать нижнюю часть своего лица. В течение многих месяцев, ложась спать, туго обвязывала лицо большим носовым платком, — но ничего не помогло.

Это было великое горе ее жизни. Меньшим горем было то, что она не умела играть на рояле. У них никогда не было пианино, но сейчас тетка привезла свое из Лондона, — красивое, блестящее пианино, причинявшее Нелли танталовы муки. В этом ящике розового дерева заключены были чудесные мелодии, а она не могла их выпустить на волю. Иногда она одним пальцем правой руки подбирала какой-нибудь мотив, а левой рукой в то же время бодро барабанила по клавишам, нажимая ногами обе педали, — но ничего из этого не выходило, и мать протестовала, потому что не любила шума. А тетка, любившая шум и сетовавшая на то, что теперь вокруг нее не так шумно, как бывало, тоже протестовала, говоря, что это — не музыка и что Нелли испортит ей пианино. Так что Нелли приходилось дожидаться, когда их обеих не будет дома. А так как и сама она почти не бывала дома, то ей не часто представлялась возможность поиграть на пианино. Иной раз она жалела, зачем тетка привезла его к ним.

К Нелли подошел м-р Огмор и спросил, о чем с нею беседовала мисс Шиптон. М-р Огмор был высокий брюнет с густым и, пожалуй, даже волнующим голосом, но он не целовал землю, по которой ступала Нелли. Предметом его поклонения была не Нелли, а Россия. Несколько месяцев тому назад, услышав, что м-р Огмор — коммунист, Нелли не знала, как отнестись к нему, и каждую минуту ожидала от него чего-нибудь отчаянного. Она с интересом разглядывала его, словно ища на его лице красных знаков. Она часами разговаривала с ним с подругой, Моной Фокс, тоже работавшей на их заводе. Иногда они приходили к заключению, что м-р Огмор — не настоящий и коммунист, но все утверждали противное. У него было худое желтоватое лицо, темные усы и очень суровый вид, но эта суровость, как убедилась Нелли, не мешала ему быть всегда благожелательным и отзывчивым. Кто приходил на работу аккуратно и работал усердно, всегда мог рассчитывать на м-ра Огмора —

но не потому, что м-р Огмор любил таких работников, а потому, что он хотел, чтобы завод выпускал побольше самолетов в помощь России. Как-то раз прошлой зимой сюда приезжало трое русских осмолетреть завод — и м-р Огмор тогда чуть с ума не сошел от радости и волнения.

Не прерывая работы, в которой она была уже достаточно опытна, Нелли пересказала ему свой разговор с мисс Шиптон. М-р Огмор выслушал ее с серьезным видом. Он всегда был очень серьезен, за исключением тех случаев, когда хотел пошутить. Для шуток у него было специальное выражение лица и, когда он делал такую мину, все уже знало, что сейчас последует какая-нибудь шутка.

— Мисс Шиптон, кажется, очень рассердилась, — добавила в заключение Нелли, — когда я сказала ей, что мама считает почти все сообщения с фронта выдумкой. Вы бы слышали, мистер Огмор, каким голосом она сказала: «Чепуха!»

— Мисс Шиптон пора бы знать, — с важностью промолвил м-р Огмор, — что наш народ больше всего нуждается в политическом воспитании. У нас есть люди (даже и в рабочей среде, не говоря уже о правящих классах), которые еще не понимают самих себя, не понимают того, что творится в мире, и даже того, что происходит у них перед носом. И — уж извините, Нелли, — ваша мать, видно, тоже такова. Живи она в России, она бы все понимала. Она бы знала, что это рабочие борются за свое право на существование. Она бы, может быть, и сама ушла в партизаны.

Нелли не знала, что такое «партизаны». Поэтому она промолчала и только еще ниже наклонилась к работе.

М-р Огмор тоже посмотрел на стенок.

— Возьмите хотя бы эту машину, — начал он снова. — Откуда она пришла к нам? Из Германии, за какой-нибудь год до войны.

— Да что вы говорите! — ахнула Нелли.

— Да, эта самая машина. Мистер Чевилот ездил туда и купил их десять штук. Я это слышал от него самого. Мало того: знаете, откуда взяла Германия свои первые сверхмощные авиационные моторы? Отсюда, из Англии. Один мой товарищ проектировал их и еще тогда рассказывал мне об этом. Так-то, Нелли. Теперь соображайте сами.

Нелли не стала соображать. Но ей было очень приятно, что мистер Огмор стоит и беседует с нею, как с равной. Мистер Огмор был женат. Жена, по его словам, тоже была коммунистка, а двое детей станут коммунистами, как только

подрастут и поймут, что происходит. Нелли видела миссис Огмор раз на заводском вечере. Это была маленькая, кругленькая женщина с коротко остриженными волосами и ненакрашенными губами. Наверное, муж и жена говорили между собой только о России.

— После войны, — продолжал между тем м-р Огмор, — мы попрежнему, верно, будем работать здесь, но готовить уже не самолеты.

— Надеюсь, что нет, — встала Нелли. — За полгода, а то и скорее, если возьмемся за это как следует, общими силами, мы сможем реорганизовать завод и выпускать холодильники, «титаны», радиоприемники, все что хотите. Их будут обменивать на сырье, они улучшат условия жизни рабочих. — М-р Огмор говорил с большим воодушевлением. — И нам будут нужны такие люди, как вы, Нелли. Вы — способный и добросовестный работник. И вы охотно будете работать для такой цели, правда?

— Не знаю, право, мистер Огмор, — нерешительно сказала Нелли. — Я, конечно, люблю все делать как следует, но я не так увлекаюсь работой на заводе, как некоторые. Даже моей подруге Моне она больше нравится, чем мне. Знаете, Мона уже записалась в группу «передовиков».

— Да, знаю, — отмахнулся м-р Огмор от разговора о Моне. — Однако вы меня удивили, Нелли Диттон. Это, должно быть, влияние вашей матери. Такая молодая работница, как вы...

Но Нелли осмелилась перебить его. — Я взялась за это дело только из-за войны, — сказала она. — Я вовсе не хочу работать здесь вечно.

— Имейте в виду, работать будете меньше, чем сейчас, — поспешил он заверить ее. — На этот счет можете быть спокойны.

— Дело вовсе не в этом, — возразила Нелли. — Просто, я думала, что... мне хочется после войны заняться чем-нибудь другим. Работать не на таком большом заводе, а в каком-нибудь магазине, например, или...

— Магазины! — воскликнул м-р Огмор тоном человека, которому ненавистна всякая торговля. — Все вы, девушки, толкуете о магазинах...

— Что ж, магазины будут и после войны. Разве нет?

— Нет, — отрезал в негодовании м-р Огмор. — Никаких магазинов того сорта, который вы имсете в виду, десятков тысяч грязных кроличьих нор, в которых орудуют кровопийцы-спекулянты! Нам нужны будут большие государственные магазины, где рабочий человек сможет покупать все, что ему нужно, по твердым ценам. Магазины! Держу пари, что эти тоже только и

ждут возможности опять вернуться в свои магазины!

Он указал на двух девушек, работавших на одной машине. Они непрерывно тянули какую-нибудь заунывную песню. Вот и сейчас они пели: «Я мечта-а-аю о веселом Ро-о-ждестве». Они способны были продолжать так часами без передешки, и странно: их тусклые, заунывные голоса всегда были слышны, несмотря на оглушительный шум машин.

— Ну и народ! — возмущенно начал м-р Огмор, но не успел ничего больше сказать, так как в эту минуту кто-то крикнул ему, что его ждут, и он убежал.

Нелли не любила этих певуний, которых здесь называли «сестрами», и считала, что ей не повезло, так как вблизи нее теперь работало очень мало симпатичных ей людей. Каких только чудачков ни приходилось наблюдать за три месяца работы здесь! Рядом, на такой же машине, как у нее, работала миссис Дэфф, раздражительная женщина с сильно выдвинутой нижней челюстью. Она жила вместе со своей невесткой и постоянно говорила о ней. Как только ей удавалось найти слушателя, она сразу же переходила к бесконечным жалобам на эту невестку. «Теперь она пожирает весь мой паек», — начинала она, и ее маленькие глазки злобно сверкали. По другую сторону работал мистер Тэйлор, бывший владелец кондитерской, который так осторожно отвечал всем, заговаривавшим с ним, как будто боялся, что ему зададут какой-нибудь коварный вопрос. Это был уже пожилой и всегда хмурый человек, не любивший мистера Огмора. Еще в соседстве с Нелли находились два юнца, они громко и по-ребячески перебрасывались шутками, понятными только им одним, и весело хохотали. Дальше работала девушка по имени Эльси, крашенная блондинка с потрясающим «перманентом», служившая прежде в баре. Ее постоянно встречали с одним слесарем инструментального цеха, женатым человеком. Потом тут была еще миссис Флинн, миниатюрная, похожая на цыганку, очень подозрительная и озлобленная, — может быть, оттого, что муж причинял ей много горя.

Но самым любопытным из всех был м-р Стонбер, не так давно работавший на заводе. У него была седая голова и густые черные брови, а его глаза, удивительно светлого оттенка, иногда ярко блеснули, а иногда были совсем тусклыми, какие-то мертвые. Он все что-то бормотал про себя и, хотя голоса его не было слышно, — стояло только взглянуть на него, чтобы увидеть, что губы его шевелятся. Миссис Флинн уверяла, что он религиозен и на этом помешался. Нелли заговаривала с ним только тогда, когда это было необходимо, пото-

му что в м-ре Стонбере было что-то пугающее. Подумав о нем сейчас, она посмотрела на него. Губы его шевелились, как будто он говорил сам с собой или молился. Он в эту минуту тоже поднял голову и перехватил внимательный взгляд Нелли. Он не улыбнулся ей, не нахмурился, только смотрел на нее словно незрячими глазами. Да, решительно в этом человеке было что-то жуткое!

Самое страшное, что Нелли могла предположить, когда думала о нем, снова склонясь над работой, — было убийство. Быть может, мистер Стонбер — убийца или замышляет убийство? Ей мерещились трупы в мешках, трупы, затиснутые в чемоданы, спрятанные в погребах и вырытые полицией. Эти мысленные экскурсии в страшный мир кошмаров вызвали дрожь ужаса, но в то же время не лишены были приятности. Затем она вообразила себя в лесу, где мистер Стонбер гнался за нею. Она изнемогла и больше не в состоянии была быстро бежать, а потом, от страха, не могла уже и совсем двинуться с места.

Воображение ее работало, а глаза между тем ни на миг не отрывались от станка, и пальцы двигались с обычной быстротой, ловкостью и точностью.

Примчалась ее подруга Мона Фокс. Мона всегда куда-то спешит. Она очень уж беспокойная и неуугомонная, неудивительно, что она так худая. Наверное, оттого, что она такая бойкая, ее и выдвинули в группу «передовиков». Мона гораздо больше, чем Нелли, интересовалась работой завода. Она обожала еще танцы.

— Слушай, Нелли, — начала она, как всегда, запыхавшись. — Я насчет субботы. Вечер будет не возле аэродрома, — там танцулька закрылась. Он будет в Фоули, в Доме собраний. Начал в половине восьмого.

— А мне это ни к чему, — сказала Нелли негрубо, но решительно. — Я не пойду.

— Да ведь ты же говорила, что пойдешь!

— Нет. Я сказала «может быть».

— Но почему бы тебе не пойти? — настаивала Мона. — Мне не хочется опять идти с Элис. Ты знаешь, как она себя ведет в обществе мужчин. Сразу же распоясывается. В прошлый раз я не знала, куда деваться от стыда. И одному из кавалеров — знаешь, тому блондину-сержанту — это тоже не понравилось. Он сам мне потом говорил. «Вот что, девочка, — сказал он мне, — ты лучше не водись с нею». Ну, пойдём, Нелли, ведь ты же обещала! Билеты достану я, если хочешь.

— Не в том дело, — возразила Нелли

упрямо. — Просто меня на эти танцальки больше не тянет.

— Ну, почему? Я позабочусь, чтобы у тебя была куча кавалеров, — сказала Мона и, сказав это, тут же сообразила, что совершила тактическую ошибку.

Нелли побагровела и бросила ей яростный взгляд.

— Спасибо, я не нуждаюсь в том, чтобы ты и вообще кто бы то ни было искал для меня кавалеров. И я в субботу не могу никуда пойти, я буду занята дома.

— Не хочешь — не надо, — крикнула Мона с сердцем.

— Я говорила с мисс Шиптон насчет автобуса, — продолжала Нелли без всякого раздражения, но холодно. — Она устроит все... Ты прямо тонешь в своем халате, Мона, я тебя предупреждала, что он будет велик.

— У меня будет другой, можешь не беспокоиться, — отрезала Мона и убежала.

Нелли тотчас перестала о ней думать. Она решила, что в субботу днем, по дороге домой (можно будет доехать автобусом до Фоули, а оттуда дойти домой пешком или, может, кто подвезет) купит себе какой-нибудь самоучитель игры на пианино, а вечером, если мать и тетка уйдут к миссис Кросли, начнет по-настоящему учиться играть. Она уже словно видела и слышала, как извлекает из пианино чудесные мелодии. Скоро ее будут просить: «Сыграй нам, Нелли». Люди будут говорить друг другу: «Замечательная пианистка, эта Нелли Диттон! А ведь самоучка. Вы только послушайте ее игру».

Впрочем, не это главное. Главное то, что можно будет в одиночестве сидеть за пианино, заставляя его слушаться, заставляя его быть печальным или веселым, смотря по тому, как ей захочется...

Случайно подняв глаза, она даже вздрогнула от неожиданности. У ее станка безмолвно стояло трое мужчин, сосредоточенно глядя вниз. Это были м-р Огмор и м-р Блэндфорд, помощник мистера Чевииота, красивый, холодный, всегда так странно растерявшийся слова. Третьего Нелли видела впервые. Он был помоложе, в очках, такой серьезный, похож на ученого или на доктора. Нелли смотрела на трех мужчин, но они не смотрели на нее, точно ее здесь не было. Это вызывало в ней чувство обиды, потребность закричать, сделать что-то, показать им, что она такой же живой человек, как они.

— Ничего, ничего, Нелли, — промолвил м-р Огмор, должно быть, подметивший кое-что. — Не обращайтесь на нас внимания. Продолжайте.

Затем, обратившись к двум другим,

сказал что-то о машине и процессе работы. Она, Нелли, в счет не шла.

Молодой в очках записал что-то в свой блокнот и затем, встретив вопрошающий взгляд Нелли, ответил на него застенчивой полуулыбкой.

— Вы, кажется, хорошо справляетесь с этим делом? Никаких затруднений?

— Нет. Работа легкая.

Он кивнул головой.

— Моя фамилия Энглби. Я заведу бюро рационализации и изобретательства. Слыхали что-нибудь о нем?

— Нет.

— Мы занимаемся тем, — пояснил м-р Энглби, — что придумываем, как побыстрее и попроще делать то или другое. Это очень важно, не так ли? И мы всегда рады выслушать предложения каждого рабочего.

— Вот это правильно, — вставил м-р Огмор.

М-р Блэндфорд, как всегда, сдержанный и высокомерный, не сказал ничего. Он пошел дальше и двое других вынуждены были пойти за ним. Этот эпизод вначале расстроил Нелли, ей не понравилось, что на нее смотрели, как на придаток к машине, но, когда они ушли, настроение ее улучшилось уже по тому, что мистер Энглби так любезно поговорил с нею.

Он похож на доктора и совсем не в ее вкусе, но насколько он проще и человечнее мистера Блэндфорда!

Наступало время чаепития. Это чувствовалось по внезапно замедлившемуся темпу работы. С другого конца ряда донесся смех девушек, и Нелли сразу догадалась, что сегодня чай развозит Сэмми Хэмпи. Ну, конечно, — вот он идет, широко ухмыляясь, рядом с тележкой, на которой стоят чашки. Славный старикан!

8.

Сэмми Хэмпи исполнял на заводе всякую простую работу, — подметал, дезинфицировал, разносил чай и прочее. Это был инвалид лет пятидесяти с лишним, не человек, а развалина: он хромотал, и одна рука у него не действовала. Он был тяжело ранен в прошлую войну, а позднее пострадал еще во время несчастного случая на том заводе, где раньше служил и мистер Чевииот. Перейдя на Элмдаунский завод, мистер Чевииот взял с собой Сэмми. Сэмми не получал никакой пенсии. Он с утра до вечера трудился и честно зарабатывал каждый грош. На его широком обветренном лице всегда сияла широкая улыбка, а глаза у него были ясные, голубые. Все на заводе знали и любили Сэмми.

Если бы вы вздумали записать на бумаге все обстоятельства жизни Сэмми, призвав на помощь парочку экспертов,

мы, несомненно, пришли бы к заключению, что такая жизнь ничего не стоит. Искалеченная нога, почти бесполезная левая рука, никакой специальности, ни гроша сбережений, впереди одинокая старость и нищета, ибо жена умерла, а детей нет и своего угла тоже нет. При этом — некоторая психическая неустойчивость и хронический бронхит. Таков был этот унылый перечень.

Но, оказывается, жизнь человеческая не исчерпывается такого рода фактами. Жизнь Сэмми была блестящим тому доказательством. Несмотря на все эти печальные обстоятельства, он не только радовался ей, но и доставлял радость множеству других людей. В нем сохранился большой запас веселья и бодрости. Он являл собой превосходный пример того, как ценна древняя христианская добродетель, смирение: ибо, так как он ничего не требовал и не ждал для себя, то все мало-мальски приятное в жизни рассматривал как чистейший дар судьбы. Каждое утро, в то время как большинство людей еще досадовало на необходимость вставать, он чудесно проводил время, наслаждаясь своей кружкой горячего чая, кусочком ветчины с двумя-тремя ломтиками хлеба, трубкой после завтрака, путешествием в автобусе на завод, которое в его глазах было чем-то вроде увеселительной прогулки. Сэмми получал три фунта в неделю, а стоил, пожалуй, трехсот. Впрочем, установить цену таким людям определить так же невозможно, как невозможно ни за какие деньги купить секрет их жизнерадостности.

Сейчас Сэмми разносил рабочим чай, что он всегда рассматривал, как приятную и общественно-полезную обязанность.

— А где товарищ Огмор? — спросил он, поровнявшись с Нелли.

— Обходит цех с мистером Блэндфордом и мистером Энглаби, — ответила Нелли, гордясь своей осведомленностью.

— Вас Нелли зовут, я помню, помню, — сказал Сэмми, улыбаясь. У него была замечательная память на лица и имена. Он запоминал тысячи людей. Для него завод не был ни просто предприятием авиационной промышленности, ни громадным и таинственным местом, где вам полагается следить за машиной и за это вам платят деньги. Нет, для Сэмми это был родной мирок, где каждый человек имел свое лицо и свое имя, раз навсегда ярко запечатлевшееся в его памяти. Кто бы ни были эти люди, стоило им проработать здесь месяц-другой, и Сэмми уже знал их, и, разумеется, они знали его, хотя бы как некую деталь окружающей обстановки, ежедневное явление заводской жизни.

— Помню вас, как же. Это ведь вы говорили, что не можете заняться чем-то,

что вам нравится? — сказал он, передавая Нелли кружку чая. — Что же это? Нет, нет, не говорите, я сам вспомню: Танцы! Верно?

— Нет, неверно, Сэмми. Танцевать я не особенно люблю. Ага, вот и не вспомнили! Попробуйте еще разок!

Сэмми прикрыл глаза рукой и сделал серьезное лицо.

— Игра на фортепьяно, вот что! — объявил он через минуту. — На этот раз угадал!.. Слушайте-ка, Нелли, вы знаете мисс Эрмitedж — ту, что работает наверху, в чертежной? Она здорово играет на фортепьяно. И живет она в ваших местах. Что, если попросить мисс Эрмitedж подучить вас, а?

— Она ни за что не согласится, — возразила Нелли. — Да мы с нею и не знакомы. Я только слышала ее игру на концерте. Я ведь совсем играть не умею. Не знаю, с чего надо начинать.

— Вот она бы вам и объяснила, с чего начать! — воскликнул Сэмми. — Не, я вам советую серьезно об этом подумать, Нелли... Здравствуйте, миссис Дэфф. Ну, как поживает ваша невестка?

— Ох, не спрашивайте! — отозвалась миссис Дэфф, принимая от него чай. — Такая стала злущая, житья от нее нет. Вот только вчера вечером говорю ей: «Целый паек масла, говорю, сам себя скушать не мог, ты мне зубки не заговаривай». И вам надо было слышать, как она расходилась! Можно подумать, что не я ее, а она меня кормит!

— Да, бывают такие женщины, — сказал Сэмми. — Счастье еще, что вы — такая терпеливая, миссис Дэфф. Здорово, мистер Тэйлор! Чайку хотите?

М-р Тэйлор, тот немолодой рабочий с меланхолическим лицом, что раньше был кондитером, кивнул головой и невинно поблагодарил. Сегодня он даже решился подать реплику.

— А вести-то с фронта неважные, мистер Хэмп, — сказал он осторожно.

— Ничего, мистер Тэйлор, дайте срок, — ответил Сэмми. — Через недельку-другую мы заставим немцев призадуматься. Вот увидите!

М-р Тэйлор возразил, что пока заметно никаких признаков близких перемен. В ту неделю октября 1942 года так говорили и думали многие.

— Как-раз, когда меньше всего ожидаешь чего-нибудь, тогда оно и приходит, — сказал Сэмми, подмигивая. — Какое ваше мнение, Эльси?

Эльси, крашеная блондинка с перманентом, объявила, что ей до смерти надоела проклятая война и пусть все так и знают, ей все равно.

— Это вы оттого так рассуждаете, что вы молоды и красивы, Эльси, — сказал Сэмми. — Я сам говорил так в прош-

ую войну, когда я был молодой красавчик.

Эльси хихикнула, потом шумно отхлебнула из своей кружки. Сэмми задумчиво и внимательно наблюдал за ней. Многие недолюбливали эту девушку за то, что, она, по их мнению, слишком весело жила и шаялась с Билли Пирсоном, женатым и беспутным слесарем-инструментальщиком. «А между тем этой Эльси, наверное, вовсе не так уж хорошо живется, — думал Сэмми. — Видно, что у бедняжки на душе кошки скребут».

— Не надо унывать, Эльси, — сказал он тихонько.

Она, вздрогнув, с недоумением посмотрела на него.

— О чем это вы, папаша?

— Ваша жизнь еще впереди, Эльси. У вас больше времени, чем вы думаете. А сейчас, конечно, не все так, как бывало. Что же делать, надо потерпеть.

— Ладно, потерпим, папаша, — улыбнулась Эльси.

Да, она уже улыбалась, а вот тот чулак — как его? Да, Стоньер — тот не улыбался. У него была такой вид, словно он забыл, зачем он здесь.

— Стаканчик чаю, мистер Стоньер? — крикнул ему Сэмми довольно громко.

— А? Что? — Стоньер, казалось, вернулся из какого-то далекого мира, где не нашел для себя ничего хорошего. — Да, да, разумеется, чай. Дайте, конечно, спасибо.

— Ну, как, нравится вам здесь? — спросил Сэмми весело.

— Здесь? Что ж, работа не трудная, работа ничего. Я... гм... — на этом Стоньер застрял.

«С ним что-то неладное творится», — мысленно решил Сэмми. Стоньер и раньше был какой-то странный, а теперь стал много хуже. Он как будто смотрел внутрь себя, в темную глубину. А что в этой глубине происходит — один бог знает.

— Ну, когда же мы выиграем войну, а? — спросил Сэмми таким тоном, словно Стоньер должен знать об этом больше, чем всякий другой.

— Не одна идет война, — изрек Стоньер, уставясь на Сэмми вдруг заблестевшими, дикими глазами.

— Не пойму я что-то... — сказал Сэмми, которому стало не по себе.

— Чем занят бог?

— Не знаю. Наверное, как всегда, печется о нас, — ответил Сэмми, пытаясь сохранить веселую непринужденность.

— О нас? О нас печется? — крикнул Стоньер с уничтожающим презрением. Потом, помолчав, спросил:

— Вы по ночам спите?

— Да, почти всегда. Сон у меня крепкий. А что?

— А я не сплю. Если бы я спал, я бы

так же, как вы, ничего не знал и не помнил. Но я не сплю. Поэтому я узнаю кое-что. Вам этого не понять. Говорила с вами когда-нибудь женщина с лицом, похожим на маску?

— Женщина...

— Да, да, с лицом, как маска. Она напоминает кого-то, кого я раньше знала, но я не могу вспомнить, кого. Она беседует со мною. Иногда я думаю, что она тоже работает здесь.

— Погодите минутку, — остановил его ошеломленный Сэмми. — Я не разобрал, о чем это вы. Где она, та женщина, разговаривает с вами?

— Не каждую ночь, но почти каждую, — продолжал Стоньер странным беззвучным голосом. — И еще старики тоже приходят. Но его я только вижу. Он молчит. Когда он заговорит, тогда я все узнаю.

— Что узнаете?

— Насчет войны и всего прочего, — глаза Стоньера сверкнули.

— Послушайте... — начал Сэмми.

Но Стоньер тряхнул головой, поставил на поднос кружку и отошел. Сэмми некоторое время смотрел ему вслед.

Свихнулся он, что ли?

Подошел Огмор, взял свой стакан, закурил папиросу.

— Товарищ Огмор, — промолвил Сэмми серьезно. — Тут у вас один парень Стоньер, по ночам видит и слышит разные странные вещи...

— Пока он не видит и не слышит их в рабочие часы, меня это не касается, — отозвался Огмор. — К тому же он не плохой работник. Немного туповат, но добросовестный и не имеет ни единого прогуга.

— Когда с ним уже среди бела дня начнут твориться такие вещи, тогда беритесь! По-моему, у него голова не в порядке, вы бы присмотрели за этим беднягой, товарищ Огмор.

— Я за всеми тут присматриваю, не беспокойтесь, Сэмми.

— На вас можно положиться, товарищ Огмор, — сказал Сэмми, уже снова улыбаясь. — Ну, как дела Красной Армии?

— Красная Армия попрежнему показывает нам, что может сделать республика рабочих. Гитлер до сих пор не взял Сталинград, и мое мнение, что он его никогда не возьмет. А пока вы мне вот что скажите, Сэмми: известно вам, как дела у нас с выпуском продукции?

Улыбка исчезла с лица Сэмми.

— Мне говорили, что выпуск все снижается.

— Вам сказали правду, — мрачно подтвердил Огмор. — Несмотря на все наши затеи, — группы «передовиков» и отдел изобретательства, и все прочее, — нам не удается поднять дело на должную высоту. А отчего? Да оттого, Сэм-

ми, что рабочие не представляют себе ясно положения вещей. Они не могут с уверенностью сказать, в чем правильный выход. Дело идет не о их государстве.

— Может быть, вы и правы, товарищ, — сказал Сэмми задумчиво. — Но я объясняю это немножко иначе. Вот мне как думается: наши люди не любят работать только ради работы, — и я их не виню. Невозможно из месяца в месяц, из года в год лезть из кожи — и не сдаться. Это противно человеческой природе. Если бы немец вторгся к нам, как в Россию, — мы бы, конечно, ради обороны жили из себя тянулы, — как это было после Дюнкерка. Или, если бы наши ребята дрались сейчас где-нибудь во Франции, — вы бы увидели, как производительность труда на заводе пошла бы скакать вверх!

— Значит, второй фронт, — произнес Огмор с миной человека, козырнувшего лузом.

— Да, второй фронт поможет, — согласился Сэмми. — И запомните мои слова: он у нас скоро будет, товарищ Огмор. Но не оттого, что мы постоянно требуем его на митингах...

— Что худого в митингах? — спросил Огмор, сам организовавший несколько таких митингов по поводу второго фронта.

— А вот что: во-первых, митинги не помогают воевать. Во-вторых, терпеть не могу, когда соберется куча балбесов в штатском, которые сами палец о палец не ударят, а вопят — подавайте им второй фронт или какой-нибудь другой фронт. Поверьте мне, дружище, половина этих балбесов, которые вопили на ваших митингах, закричат караул, как только очутятся где-нибудь среди колючей проволоки под пулеметным огнем немцев.

— Послушайте, Сэмми, — сказал Огмор, вспыхнув. — Если бы я — или кто-нибудь другой — думал, что я могу быть полезнее в хаки (я имею в виду службу в действующей армии, потому что в местной обороне я уже состою), я бы завтра же пошел и записался.

Сэмми ни на минуту в этом не усомнился. Он легко мог себе представить, что Огмор, чье мужество было всем известно, спражася бы, как лев.

— Ну, конечно, конечно, — воскликнул он. — Я вовсе не вас имел в виду. Мне это и в голову не приходило. Я только хотел сказать, что...

— Тотальная война, — перебил его чей-то спокойный, уверенный голос, — означает, что каждый человек обязан служить родине на том посту, где он может быть наиболее полезен..

Это сказал мистер Блэндфорд, неза-

метно подошедший к ним вместе с молодым Энглби.

— Это верно, — протянул, немного смутившись, Сэмми. — Чаю не угодно ли, мистер Блэндфорд?

— Нет, благодарю. И лучше бы вы отвезли вашу тележку обратно в столовую. В это время дня у нас всегда начинают работать как-то вяло, и мы намерены с этим бороться.

— Правильно, сэр, — не совсем искренно согласился Сэмми и поспешно начал собирать кружки. Когда он вернулся к своей тележке, мистера Блэндфорда и мистера Энглби уже не было.

— Не пойму я этого Блэндфорда, — сказал он тихо Огмору. — Он почему-то меня недолюбливает, хотя я ему ничего худого не сделал. Бьюсь об заклад, что, если бы мистер Чевият ушел, этот барин в два счета выставил бы меня с завода.

— Возможно, — ответил Огмюр уклончиво. — Он способный инженер, но иной раз мне кажется, что у него фашистский образ мыслей.

— Я в таких вещах мало разбираюсь, — сказал Сэмми, опять повеселев. — Знаю одно — подойти к рабочему по-человечески он не умеет. Не то, что мистер Чевият — тот душа-человек. А Блэндфорд всегда смотрит как будто сквозь тебя и что он там видит за тобой, господь его знает!

9.

Фрэнсис Блэндфорд привел молодого Энглби к себе в кабинет, где их уже ожидал чай. И за чаем они продолжали работать. Они вместе проверили сделанные сегодня записи и затем включили их в отчет бюро рационализации. Составлением отчета Блэндфорд считал нужным руководить сам, пока недавно еще назначенный Энглби, так сказать, не встанет прочно на ноги. Бюро рационализации производства, подробнейшим образом исследовавшее и проверявшее каждую часть производственного процесса для того, чтобы его ускорить и до минимума сократить число человеко-часов, было любимым детищем Блэндфорда. Блэндфорд создал его, несмотря на шумную насмешливую оппозицию Элрика и некоторых его приятелей. Он же пригласил Энглби, чтобы укрепить это начинание. В сущности, Энглби ему не особенно нравился, он находил его несколько вульгарным и самонадеянным. Но он сразу заметил, что этот молодой человек — дельный специалист-техник, очень умен и наблюдателен и исключительно трудолюбив. Впрочем, Энглби пока держал себя прекрасно. Вероятно, кабинет Блэндфорда, типичный кабинет инженера, в то

же время каким-то непонятным образом носивший на себе отпечаток личности Блэндфорда, помогал держать его в узде. Сейчас в нем не чувствовалось никакой самонадеянности. Он вошел в роль расторопного, усердного и скромного помощника, настороженно внимательного к малейшему критическому замечанию старшего товарища.

— Ну-с, — промолвил Блэндфорд, делая передышку, — отчет у нас получается не такой уж плохой. Отдам его переписать на машинке.

Он позвонил, вызывая своего секретаря.

Энглиби выжидающе смотрел на дверь. Эта секретарша Блэндфорда, высокая брюнетка, была ослепительная женщина, — королева всех секретарш. Звали ее Фреда Пиннель, и Энглиби от кого-то слышал, что она кузина жены Блэндфорда и поэтому очень важна. До сих пор она удостаивала Энглиби только холодного рассеянного взгляда. «Наверное, — думал Энглиби, — она страстно влюблена в какого-нибудь увешанного медалями великана-командира».

— Фреда, — сказал Блэндфорд этому обворожительному созданию. — Мне нужно четыре копии отчета. Можете приготовить их еще сегодня?

— Могу, — ответила спокойно мисс Пиннель. — Но очень не хотела бы...

— А я бы очень хотел, — резко сказал Блэндфорд.

— Слушаю, — она посмотрела на отчет. — Вы намерены ждать его?

— Я еще пробуду здесь некоторые время. Может быть, секретарь мистера Энглиби поможет вам?

— Разумеется, поможет, — поспешил подать реплику Энглиби. — Вы мне разрешите...

Но она остановила на нем все тот же равнодушный взгляд.

— Нет, спасибо, не трудитесь, мистер Энглиби, я сама ее попрошу.

И мисс Пиннель удалилась, лишив их зрелища своей красоты.

Вероятно, для того, чтобы дать понять Энглиби, что он еще не склонен отпустить его, Блэндфорд открыл и протянул ему через стол свой очень красивый серебряный портсигар.

Оба некоторое время молча курили.

— Неудобство иметь эту девушку секретарем, — начал Блэндфорд небрежно, — заключается в том, что она пришла сюда, желая работать на оборону. Я полагал, что будет лучше взять девушку интеллигентную и с приличным образованием вместо кого-нибудь из наших канцелярских роботов. Но я ошибся. Я прихожу к заключению, что роботы гораздо лучше. Фреда считает, что делает мне одолжение. Это чорт знает как раздражает!

— А вы можете обменяться с кем-ни-

будь секретарями, — посоветовал Энглиби, стараясь говорить безразличным тоном.

— Могу. Но Фреда вряд ли согласится. Она пришла сюда, чтобы работать с мной. Это — двоюродная сестра моей жены. Они из очень хорошей норфолькской семьи. Впрочем, таким вещам вы должны быть, не придаете значения, а Энглиби?

— Нет... не очень...

— Я так и думал. Кстати, надо поговорить с Стенбро насчет турелей. — Он снял телефонную трубку и вызвал Стенбро. Затем иронически посмотрел на молодого помощника.

— Честный инженер и демократ, а! Энглиби хотелось понравиться начальнику, но вовсе не любой ценой.

— Да, надеюсь что так. Мне кажется одно связано с другим.

Блэндфорд слабо усмехнулся.

— Вы так думаете? А я нет. Вот почему я считаю, что у нас в последнее время болтают много всякой ерунды. Может быть, это полезно, как пропаганда, — не знаю. Но это вздор, Энглиби, уверяю вас, это просто сентиментальный вздор.

— Я этого не нахожу, мистер Блэндфорд, — возразил Энглиби упрямо.

— В самом деле? Ну, давайте, возьмем хотя бы следующие факты: мы проповедуем демократизм, а что у нас фактически происходит? Все больше и больше людей втягивается в военную промышленность, так? Хорошо. А ведь массовое производство отнюдь не демократично. Имеется меньшинство, к которому принадлежим и мы с вами, которое работает, так сказать, вне всего механизма, — проектирует, проверяет, улучшает, управляет им, — и огромное большинство, которое действует внутри механизма, является просто его частью. В действительности между нами и ими — пропасть, более глубокая, чем та, что отделяла когда-то моего отца от ломавших перед ним шапки арендаторов. Эта пропасть не бросается в глаза только потому, что все мы, чтобы «поддерживать дух» в массах, усердно ее маскируем, делаем вид, что ее не существует. Не погодите. Увидите, что будет.

— «Революция в управлении предприятиями» — так, что ли? — спросил Энглиби.

Блэндфорд усмехнулся.

— Мне следовало иметь в виду, что вы читали умные книги, Энглиби. Но вы, конечно, заметили, что тот, кто написал эту книгу, американец Бэрнем, предвзвешенно исключил Англию из своей схемы. Да, да, знаю. — ему следовало бы познакомиться ближе с нашими военными заводами... Впрочем, его книга, вероятно, написана до того, как мы сделали огромный шаг вперед. То, что он говорит, достаточно верно в отно-

шении Америки и России — а, может быть, и Германии. Но Англия — дело другое. У нас все протекает иначе, ибо у нас классовая система.

— Эта система уже изживает себя, — хихикал Энглби.

— Вы наслашались ораторов, дорогой мой. Ничуть она себя не изживает. Она выросла в нас. Никто и не хочет вовсе ее уничтожения, кроме, разве, кучки интеллигентов левого крыла. Они либо лсихопаты, либо страдают вредным комплексом социальной неполноценности.

— Постоите, постоите, мистер Блэндфорд, — воскликнула Энглби, задетый только же смыслом всего сказанного, школьным тоном, которым оно было сказано. — Возьмите, к примеру, меня. Я не интеллигент левого толка и не психопат, — и, по-моему, не страдаю комплексом социальной неполноценности...

— Вы в этом уверены? — спросил Блэндфорд. — Способны вы, например, отнестись к Фреде точно так же, как относитесь к любой из наших конторских служащих? Вы в этом крепко уверены? Ручаетесь за себя?

Энглби мысленно с досадой констатировал, что он смущен и не умеет скрыть этого. Сознание, что мисс Пиннель, вероятно, — в двух шагах, за дверь и всякий его мало-мальски энергичный протест может быть ею услышан, мешало ему ответить Блэндфорду.

— Нет, нет, — продолжал Блэндфорд убедительно. — Мы, англичане, дорожим нашей социальной иерархией. Мы не могли бы обойтись без нее.

— Если это так, — возразил Энглби довольно резко, — то откуда же все те протесты, которые мы слышим, насмешки над традициями и кастовым духом привилегированных школ и всем прочим?

— Очень просто. Даже и наш народ не так глуп, чтобы спокойно смотреть, как представители высших классов забавляются лошадьми и собаками в такое время, когда спасти нас могут одни лишь машины. Другими словами, протестует он — и протестует справедливо — не столько против феодального строя, сколько против феодальных нравов. Спасти нас от нацистов могут только машины и высоко организованное производство. Только то и другое спасет нас и от развала государства и вынужденной массовой эмиграции после войны.

— Вот в этом вы правы, — вставил Энглби, довольный, что можно хоть с чем-нибудь согласиться.

— Я знал, что вы со мной согласитесь. Прямо скажу, я бы в вас разочаровался, если бы вы не способны были лонять меня. Все протесты и насмешки, о которых вы говорите, направлены не против высшего класса, как такового

(учтите популярность Уинстона и то, что почти все наше военное руководство, за которым мы обязаны идти в огонь и воду, безусловно принадлежит к этому высшему классу). Нет, они направлены против отсталых и бесполезных людей, которые имеются среди правящего класса. Они как бы говорят: «Оставьте свои поместья и идите на заводы и в государственные учреждения. Бросьте родословные своих лошадей и собак и познакомьтесь с чертежами». У народа для этого достаточно здравого смысла...

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — пробормотал Энглби, до странности взволнованный и огорченный.

Тут Блэндфорду позвонили с завода Стенбро, и в течение нескольких минут обсуждался вопрос о турелях. По окончании этого разговора Энглби встал, собираясь уйти, но Блэндфорд удержал его.

— У меня не часто является желание поговорить, — сказал Блэндфорд спокойно. — Так что, если вы не возражаете, я хочу высказаться до конца. Вот вы говорили о высмеивании так называемых «традиций закрытых школ». Опять-таки это только протест против бесполезности известной группы людей. — и больше ничего. Я сам воспитанник привилегированной школы. Но никто никогда меня этим не корил, оттого что я знаю свое дело и знаю его гораздо лучше, чем ораторствующие левые. Даже Эрик (впрочем, он не оратор и не левый) — и тот ни разу не попрекнул меня этим.

— Вы с ним, кажется, не ладите? — спросил Энглби.

— Не ладим. И, повидимому, одному из нас скоро придется уйти, — ответил, понизив голос, Блэндфорд. — Полагаю, что не мне. Да, так вот я к чему клоню, Энглби: когда я избрал профессию инженера, это был жестокий удар для моей семьи, так как в нашем роду до меня были только лентяи, бездельничавшие в своих поместьях, дипломаты, военные и политические деятели и несколько крупных чиновников. Но я замечаю, что сейчас их уже не шокирует моя профессия. И скоро, они с облегчением будут думать о ней. А почему? Да потому, что они начинают понимать, что умелое руководство промышленностью — новый и бесспорный вид власти. Люди моего класса, Энглби, может быть, и грешат кое-чем — например, ^и их литературные вкусы убийственные! — но они удивительно быстро умеют присоседиться ко всякой новой власти. Вместо того, чтобы бороться с нею, как пытались делать в других странах многие представители высших классов, они знакомятся с нею, обхаживают ее, роднятся с нею и в конце-концов забирают ее в руки. И запомните, Энглби, что в основе своей наша новая промышленность, как я уже

говорил, глубоко недемократична, ибо никакие производственные комиссии и административные советы не могут перекинуть мост через зияющую пропасть между меньшинством вне машины и бездумной толпой, работающей внутри машины, составляющей как бы часть ее. В нашей промышленности уже образовалась своя аристократия, конечно, еще не совсем настоящая. Но когда она объединится с более старыми, более резко определившимися группами и, в том числе, конечно, с победителями, увешанными медалями, у нас будет такой правящий класс, какого мы не видавали со времен Ватерлоо. И тогда чернь будет рада признать его настоящим, и прекратится эта дурацкая болтовня о демократии.

— Мистер Блэндфорд, — сказал Энглиби, краснея и волнуясь, — мой отец — рабочий, заводской староста в Вуверхемптоне, он жертвовал всем, чтобы я имел возможность получить солидное техническое образование...

— И я с удовольствием замечаю, что его жертвы не напрасны, — воскликнул Блэндфорд со своей обычной полуулыбкой. — Однако вы, кажется, решили, что я самый обыкновенный сноб. Вот тут-то вы и ошибаетесь, мой милый. Я чистейший тори, случайно оказавшийся и хорошим инженером. А насчет будущего не беспокойтесь. Способным и трезво мыслящим людям всегда найдется место в «верхушке». Таланту дорога по-прежнему будет открыта. Только не затемняйте своего зрения сентиментами военного времени. Предоставьте всю эту ерунду пропагандистам, для которых она — средство к существованию или военная обязанность... Ну, до свидания. Я прикажу послать вам один экземпляр отчета, как только он будет переписан.

Оставшись один, Блэндфорд спросил себя, не слишком ли он сегодня разговаривал. Энглиби сообразителен, с ним легко работать, но, в сущности, этот человек с акцентом ученика начальной школы, кругозором рядового студента-техника и предрассудками мелкобуржуазной среды — ему не компания. Да, скверно, что работа на Элмдаунском заводе, в глуши, разлучила его с людьми его круга. Но лучше сидеть здесь, чем изображать из себя шута в министерстве... Впрочем, в будущем, пожалуй, можно будет занять в министерстве какой-нибудь ответственный пост. Его, Блэндфорда, никогда не пугает ответственность, он презирает людей, которые бегут от нее. И вообще он обожает всякую организационную работу, начиная от крупного проектирования и кончая самыми кропотливыми процессами производства.

У Блэндфорда было несколько очень близких ему людей, к которым он питал

эгоистическую, но крепкую привязанность. Вообще же он людей не любил. Его идеалом был такой завод, где не было бы массы рабочих, всегда чем-нибудь недовольных, неопрятных, бестолковых, и работало бы только несколько специалистов и технических помощников, да длинный ряд безропотных машин. И он с наслаждением занимался проблемой замены рабочих усовершенствованными машинами. Война вынудила заводоуправление принять на работу множество женщин и девушек, но человеческое в них меньше лезло в глаза, они казались Блэндфорду менее требовательными, чем старые квалифицированные рабочие. В его глазах все эти женщины были чем-то вроде деталей тех станков, на которых они работали.

При всей своей глубокой недемократичности Блэндфорд был не из тех, кто легко становятся квислингами. Он терпеть не мог нацистов, успев присмотреться к ним еще до войны. Их вождей он считал шайкой низких жуликов и кровавых шутов, а окружавшая их атмосфера театрального пафоса, половой извращенности и запугивающего ложного мистицизма вызывала в нем омерзение. Он не встречал ни единого видного члена нацистской партии, мысли которого были бы не затасканы и чувства не фальшивы. С другой стороны, он был знаком с несколькими прусскими штабными офицерами, к которым с первой встречи почувствовал симпатию, так как они на многое смотрели так же, как и он. Но он осуждал их за то, что они позволяют командовать собой полуграмотным хамам-нацистам, которые, опьянев от сознания своего совершенно незаслуженного могущества, неизбежно погубят и самих себя, и всех, кто с ними связан. «Но из всего этого еще не следует, — говорил себе мысленно Блэндфорд, — что я сочувствую массам, с которыми носится демократия, и новоиспеченным политикам, которые заискивают перед ними».

Покончив с отчетом, Фреда Пиннель снова пришла в кабинет, села и закурила папиросу.

Блэндфорд поднял на нее глаза.

— Располагайтесь, как дома, Фреда, — пробурчал он. — Извините, что не могу предложить вам коктейль.

— Не смотрите на меня так уничтожающе, Френсис, на меня эти грозные взгляды не действуют, — сказала она спокойно. — Как поживает Элисон?

Упоминание о его жене, кузине Фреды, ясно указывало на то, что в данную минуту Фреда здесь не в качестве секретаря, а на правах родственницы. Вынужденный, таким образом, уделить ей больше внимания, Блэндфорд пожал плечами и отложил в сторону работу.

— Спасибо, она молодцом. Не так занята, как ей это кажется, но, пожалуй, больше, чем вы думаете. Но неужели вы пришли сюда только затем, чтобы справиться о здоровье Элисон?

— Пришла я, собственно говоря, не за этим. Но кстати решила справиться о ней. Потом мне хотелось знать, можно ли приехать к вам в субботу стем, чтобы заночевать?

— Я спрошу сегодня у Элисон, — сказал Блэндфорд, уверенный, что жена будет рада случаю поболтать с Фредой. — А что, с жильем у вас все еще так же плохо?

— Гнусно. Теперь в соседней комнате поселился какой-то толстяк, который будет работать на Бирже труда. Он жутко храпит во сне, а сквозя стену слышно все так, как будто она картонная... Можете себе представить, какие приятные ночи я провожу... Так смотрите же, не забудьте спросить Элисон... Я бы ей позвонила, да сейчас это так сложно...

— Ладно. Это все? — Вопрос был задан весьма выразительным тоном. Блэндфорд явно хотел подчеркнуть, что у него есть дела поважнее, чем слушать жалобы Фреды.

Она посмотрела на него в упор своими умными глазами.

— Нет, не все, Фрэнсис. Не спешите так, чорт возьми! Мой рабочий день окончен, да и ваш вы могли бы тоже считать оконченным, если бы не воображали себя чем-то вроде верховного жреца авиационной промышленности. Дело вот в чем: мне надоела бессмысленная секретарская работа.

Это заявление нимало не тронуло Блэндфорда. Взять Фреду к себе в секретари уговорила его жена, ему самому эта идея вовсе не улыбалась.

— Вот как! Что же вы намерены делать? Вступить в какой-нибудь женский вспомогательный отряд?

— О, господи, конечно, нет! — воскликнула Фреда. — Вы можете себе вообразить меня стоящей на-вытяжку перед какой-нибудь из этих отвратительных мужеподобных старух, изображающих командиров? Ну, нет, Фрэнсис, я намерена остаться здесь. Ага, я так и думала, что вы всполошитесь!

Фреда была очень красивая девушка — это признавали все, — но сейчас Блэндфорд смотрел на нее с заметным неодобрением. Он подумал, что ему никогда не нравилась семья Пиннель, члены которой все находили какое-то злое удовольствие в том, чтобы заставлять других людей испытывать то же ощущение неустойчивости и неустроенности, какое постоянно испытывали они сами. Весь их род как будто попал на землю по ошибке с другой планеты и никак не мог здесь обосноваться и не прощал

этого людям, чувствовавшим себя на земле отлично.

— Хорошо, допустим, что я «всполошился». Чем же вы хотите заняться? Перейти здесь на другую работу?

— Вот именно. Надеть халат и встать у станка. Насколько я могу судить, — а я все разузнала подробнейшим образом — работать придется не больше, чем я работала здесь у вас, притом работа в цеху интереснее, а заработок почти вдвое больше. Мне до смерти надоело с утра до вечера барабанить для вас на машинке, Фрэнсис. И вы даже не цените моей верной службы.

— Пожалуй, что и так, — отозвался он сухо. — Но не могу же я остаться без секретаря...

— Это легко уладить. В общей канцелярии есть одна девушка, Уитли (я встречаюсь с нею иногда в столовой), которая умирает от желания быть вашим секретарем. Она говорит, что вы такой интеллигентный и такой воспитанный. Эта белая мышка очень мила, она будет работать для вас, сколько хотите, и обожать вас. Чего же вам больше? Это можно устроить в два счета.

— Хорошо, подумаю. Но не забывайте — вам придется сперва пробить недели две-три в учебном цехе.

— А нельзя ли без этого?

— Нет, нельзя, моя милая. Вы должны наравне со всеми новичками пройти подготовку.

— Ну, хорошо. Но с условием, что мне сократят срок.

— Это будет зависеть от вас. — Блэндфорд записал себе что-то в блокнот. — И не приходите ко мне плакаться, Фреда, если вам не понравятся люди, с которыми вам придется общаться там, внизу.

— Почему же не понравятся? Вряд ли они хуже тех, кто работает здесь, наверху, в конторе. Некоторых я знаю — и они гораздо приятнее ваших служащих.

— Вы еще не пробовали работать с ними рядом одиннадцать часов в день. — возразил Блэндфорд. — Среди них есть порядочные грубияны. И большинство — в особенности женщины — всегда производят на меня впечатление полоумных. Но, может быть, это как-раз то, что вам нужно.

— Мне нужно уйти подальше от честной компании здесь, наверху, — воскликнула Фреда, глядя на него с ненавистью. — От этих ограниченных и самодовольных обывателей, прилизанных, в высшей степени респектабельных. А если рабочие вам кажутся полоумными, так это все от вашего противного холодного самомнения, Фрэнсис Блэндфорд. Я уверена, что они в своей сфере так же хороши, как вы в своей, а может быть, и лучше.

— Нет, — возразил Блэндфорд, сдерживая

заясь, потому что ему хотелось высказаться. — Вы сами не знаете, что говорите. Меня ничуть не трогает ваша ангипатия ко мне. Это оттого, что вы работали под моим началом. Да, это у вас такая фамильная черта — я давно ее заметил: озлобляться против всех, с кем вы приходите в тесное соприкосновение. И не воображайте, что публика там, в цехах, вам больше понравится. Нам достаточно вздора твердят и радио и политические деятели о «наших замечательных рабочих». Я вовсе не намерен выслушивать подобный вздор еще и у себя в кабинете. Большинство этих людей по своему умственному развитию не выше двенадцатилетнего ребенка. Всем им платят вдвое больше, чем они того стоят. Среди них очень мало таких, которые хоть сколько-нибудь интересуются войной. С ними приходится нянчиться, как с малыми детьми. Они неспособны мыслить. Любой южноевропейский крестьянин или хотя бы негр из Восточной Африки постиг технику жизни лучше, чем наш народ. Он утратил средневековые добродетели и не приобрел еще современных. Эти люди ничего не знают и не хотят знать. Вы сказали, что они хороши в своей сфере, как я в своей. Неправда, у них и «сферы»-то своей нет. Они слепы и идут туда, куда их гонят.

— Господи помилуй! — ахнула Фреда, пристально глядя на него. — Знаете что, Френсис: за вами не мешало бы последить. Слава богу, что это не моя обязанность.

— Да, слава богу. Ну-с, о вашем перемещении поговорим окончательно завтра утром. А сейчас я занят, Фреда. До свиданья.

10.

Кончалась дневная смена. Темп работы, несколько замедлявшийся всегда перед чаепитием и после него, вдруг опять оживился, как будто все разом делали последнее отчаянное усилие, от которого темнело в глазах. Как будто и люди, и машины последним решительным натиском хотели одержать победу, выиграть сегодняшнее сражение.

Обычные звуки стали как-то резче и громче, в них чувствовалась истерическая нота. Шум строгальных, фрезерных, сверлильных станков, грохот молотов — все сливалось в оглушающую симфонию. Визг металла звучал, как последний протест, и белые искры сыпались бешеным дождем. Ряд освещенных пещер, где колебался мерцающий зеленоватый туман, казался бесконечным — словно здесь внезапно выросли новые громадные ангары. Падавший сверху беспощадный свет превращал тысячи лиц внизу в какие-то карикатуры на нормальных людей, пришедших сюда

сегодня утром. Глубоко сидящие глаза казались просто пугающими впадинами. Небольшие носы превращались в пуговку, а большие — в жуткие клювы, на которых туго натянутая кожа грозила каждую минуту лопнуть; запавшие старческие рты исчезали совершенно, а сочные и молодые, на которых остатки малиновой губной помады принимали оттенок темнопурпуровый, выпячивались и раскрывались с какой-то жадной чувственностью. Лица напоминали лица трупов или гальванизированных кукол. Казалось, накопившаяся здесь энергия сейчас вырвалась на волю, и, если не прозвучит сигнальный звонок, металл вот-вот врежется в металл, не считаясь ни с каким манометром или микрометром, и машины целиком исчезнут в пылающих фонтанах искр, и даже ртутные лампы начнут извергать зеленый жидкий огонь, адрожавший воздух — с треском взрываться.

Мистер Чевитот опять стоял на галерее и задумчиво обзирал развернувшуюся перед ним широкую картину, как режиссер смотрит генеральную репетицию своего величайшего спектакля. И у него тоже позади был долгий рабочий день, слегка похожий на одиннадцатичасовую скачку с препятствиями. Его тревожило, что производительность труда у них на заводе опять понизилась. На то были веские причины. Чевитот мысленно перебрал их все, — но ему было ясно, что не в них одних дело. В конечном счете, все зависит от настроения рабочих. Конечно, их можно немного подтянуть. Поощрением сделаешь больше. Но в конце-концов их личные усилия, в сумме своей дававшие заводу продукцию, зависят от того, какие мысли и чувства вызывает в них война. Если они относятся к ней безразлично, если она им надоела, если они в унынии (а это замечается сейчас у очень многих), — тогда они не в состоянии делать чудеса. Это вполне естественно. Мистер Чевитот, как человек справедливый и не лишенный мудрости, не винил их за это даже мысленно. Он только говорил себе, что их так или иначе необходимо «подвигнуть».

Человек в небрежно напяленном пальто и с шляпой на затылке, — из чего явствовало, что человеку этому все равно, оставаться здесь или уходить, — появился на галерее, закурил папиросу и стал угрюмо смотреть вниз, в кишевший людьми грохочущий зал.

Мистер Чевитот обернулся.

— Что, Боб? Захотелось бросить последний взгляд?

Эрик не поднял головы.

— А знаете, когда смотришь на них вот сейчас, можно подумать, что они работают до седьмого пота, себя не жалея. Правда, мистер Чевитот?

М-р Чевииот утвердительно кивнул головой.

— Я все думаю о наших показателях. Они никуда не годятся, не так ли, Боб? Никуда не годятся!

— О, господи, мне этого говорить не надо! — воскликнула Эларик с горечью.

— Знаю, что не надо, — сказал м-р Чевииот мягко, повернувшись теперь совсем к своему главному инженеру и внимательно глядя на него. В лице и манерах Эларика сквозила какая-то бесшабашность и способность каждую минуту взорваться.

— Не огорчайтесь так, Боб. Надо легче относиться ко всему, — сказал м-р Чевииот, дружески тронув его за плечо.

— Вот в том-то и беда, что они чорт знает как легко ко всему относятся, — воскликнул Эларик, с такой злобно-презрительной миной затягиваясь папирсой, как будто это она вызывала его неодобрение.

— Зато вы этим никогда не грешили, я знаю, — ни на работе, ни вне завода. — М-р Чевииот сделал паузу, потом круто опустил свои устрашающие брови. — Что вы делаете сегодня вечером, Боб?

— Что делаю? Я? — Эларик словно отбрыкнулся от себя этот вопрос. — Домой пойду, я полагаю. Не беспокойтесь, в графитр не смоюсь под каким-нибудь предлогом. Ведь вы этого опасаетесь?..

— Нет, нет, не в том дело. Мне просто пришло в голову... Если вас дома не ждут...

— Обо мне там вспоминают только, когда увидят, — бросил Эларик резко. — И вообще мне на это решительно наплевать.

— В таком случае приходите сегодня к нам обедать, Боб, — сказал м-р Чевииот. — Я могу позвонить моей жене, и она, конечно, будет очень рада вас видеть. А у нас с вами найдется, о чем потолковать, не так ли, Боб?

Хмурое, несколько опухшее лицо Эларика вдруг сразу утратило следы лет, — с него словно сорвали маску, и оно выглядело мальчишескую застенчивость.

— Большое спасибо, мистер Чевииот. Если я не помешаю... Как-раз сегодня тасок в вашем обществе... — Голос его дрогнул и оборвался.

Резкий гудок прозвучал по всему громадному залу, и вмиг грохот и визг машин перешел в приглушенное жужжание, сквозь которое скоро стали слышны веселые голоса. Тысячи фигурок в белых, зеленых и лиловых халатах хлынули в оба конца цеха. Угасали один за другим ряды ламп, и там, и здесь уже вторгались полумрак и тишина. Отошла еще одна дневная смена. И два человека на балконе, усталые, удрученные, но

согретые теплом взаимного понимания и товарищеского чувства, направились к выходу.

11.

Перси Проскот пришел к себе в кабинет несколько позже обычного и не в лучшем настроении, чем вчера, когда он просил мисс Шиптон поговорить с Нелли Дитон. Он с глубоким отвращением посмотрел на кучу бумаг у себя на письменном столе. Вступая в новую должность, Проскот рисовал себе, как будет устраивать спортивные игры и развлечения, играть роль распорядителя на заводских танцевальных вечерах, вообще, делать для всех жизнь праздничной. Он ведь это умеет. Всегда был мастер на такие дела. А оказалось, что почти все время и энергия уходят на то, чтобы разбирать жалобы или заниматься бумагомараньем, как простой конторщик. Уж один этот злосчастный подоходный налог, которым чуть ли не все рабочие яростно возмущаются, не желая слушать никаких доводов, отнимал у него добрую половину дня. Да, нечего сказать, развлечений хоть отбавляй!

Его секретарша сегодня отсутствовала по случаю сильного насморка. Он сам настоял на том, чтобы она ушла домой, потому что один вид ее воспаленного лица и покрасневшего носа вызывал в нем такое ощущение, словно и у него с минуты на минуту начнется насморк. Но, разумеется, работать без секретаря было очень неудобно.

Из общей канцелярии позвонили по телефону, что общество культурного обслуживания напоминает о концерте, который оно сегодня устраивает в заводской столовой. «Да, да, разумеется, — сказал Проскот в трубку, — я помню. А они не говорили, кого из артистов приглашают на этот раз?»

Общая канцелярия ответила, что ОКО называло имена артистов, но имена эти никому в конторе неизвестны, что их, наверное, и запоминать не стоит, и концерт, без сомнения, будет убийственным.

Услышав о предстоящем сегодня концерте, Проскот сначала повеселел, так как обожал всякие развлечения. Он уже предвкушал удовольствие выступить у микрофона с краткой речью, затем в качестве хозяина угощать двух-трех известных артистов, среди которых, может быть, будет какое-нибудь обворожительное создание... Но, когда он услышал, что не придет никто из популярных артистов, а только какие-то старые, давно сошедшие со сцены, веселость его немедленно улетучилась. Он отметил у себя в блокноте, что надо сходить попозже в столовую и подготовить к спектаклю заводской оркестр, ту самую

«Эмдаунскую Шестерку», в которой Джек Браймбер играл на саксофоне. Затем неохотно стал рыться в бумагах на столе.

Через полчаса в кабинет заглянул Элрик.

— Доброе утро, Перси! — крикнул он с усмешкой. — Подберите-ка вы свою нижнюю губу, не то она у вас сейчас шлепнется об стол. И дайте папироску.

Довольный тем, что его оторвали от скучного занятия, Проскот протянул свой портсигар лишь настолько, что Элрику, чтобы взять его, пришлось войти в комнату.

— Есть что-нибудь новенькое, Боб?

— Есть. Чевииот сейчас звонил, что должен ехать в Лондон, а оттуда к Стенбро — значит, вернется не раньше четверга. В четверг к нам придут представители министерства, так-что к этому времени ему вернуться необходимо.

Элрик зажег папиросу и продолжал, все с той же улыбкой глядя на собеседника:

— Это значит, что несколько дней всеми нами будет командовать Блэндфорд.

— Что ж, я могу это пережить, — заметил Проскот. — Да и вы тоже. Ведь вам не впервые.

— Да. Но с каждым разом мне все труднее, Перси. Он меня терпеть не может и сейчас уже даже не скрывает этого. По-моему, он решил выжить меня с завода и теперь ему представляется удобный случай, потому что как-раз в эти дни сюда нагрянут люди из министерства.

— Что это вы вбили себе в голову, Боб! — воскликнул Проскот. У него часто бывали перепалки с Элриком, но это не мешало ему очень хорошо относиться к нему уже хотя бы оттого, что Элрик был свой брат, — гуляка.

— Чевииот вас ни за что не отпустит — я сам слышал, как он это говорил. Что же может сделать Блэндфорд?

— Очень многое. Правда, два-три дня — срок небольшой, но... — Лицо Элрика стало серьезно. Он заговорил тише и выразительнее. — Производительность труда падает, Перси. Это не наша вина. Это все — из-за унылых вестей с фронта.

— И из-за подоходного налога, — подхватил Проскот. — Сколько у меня из-за него хлопот и неприятностей, если бы вы знали!

— Знаю. Но главное, конечно, — вести с фронта. Людям это надоело — им кажется, что ничего не делается... Знаете, как это бывает... Но представители министерства — да, забыл вам сказать, что один из них — бездельник, которого Чевииот уволил три года тому назад, — не захотят считаться с такими доводами.

Все свалят на нас. Вернее сказать — на меня, если я не буду на-чеку. Легко себе представить, как будет говорить Блэндфорд с чиновниками, которых командируют сюда, — будьте уверены, Перси, они найдут общий язык. И как назло, я сейчас повздорил с некоторыми старостами. Пожалуй, в этом я сам виноват. Вчера был не в своей тарелке и обошелся с ними немного грубо. Знаете, иной раз уж от одного вида их постных и серьезных физиономий у меня печенка пухнет. Как начнут бубнить, — например, Клитон, так...

— Знаю. Ну, а мне приходится свою печенку унимать и со всеми ладить, — сказал Проскот. — Господи, если бы мне кто-нибудь сказал два-три года тому назад, когда я был главным агентом по продаже всей продукции Модформов, что скоро мне придется умасливать заводских старост да учить уму-разуму ребятишек, теряющих штанишки, так я бы...

— Да, да, Перси, вы бы тогда хохотали до колик. Но теперь вы только начинаете узнавать жизнь. Вы воображали, что так и будете до конца дней только ставить выпивку покупателям, не жалея хозяйских денег, да рассказывать свеженькие похабные анекдоты. Нет, это было слишком прекрасно, а все прекрасное недолговечно. — Кстати, — добавил он вдруг преувеличенно-небрежным тоном, — у Фреда Сколби работает новенькая, Джойс Дирхерст. Вам известны о ней какие-нибудь подробности?

— Эге, Боб! — погрозил ему пальцем Проскот.

У Элрика потемнело лицо, глаза сверкнули гневом.

— Не будьте идиотом, Перси. Я не бабник какой-нибудь. Я вам задал деловой вопрос.

— Ну, ну, извините, — сказал Проскот, обеспокоенный такой внезапной переменой в собеседнике и смутно пристыженный. — Как ее зовут, вы сказали? Джойс...

В эту минуту вошла мисс Шиптон и, увидев Элрика, хотела ретироваться, но тот удержал ее, сказав, что сейчас уходит. Мисс Шиптон в это утро была на себя не похожа. Лицо у нее вытянулось, и она явно нервничала, — хотя это можно было отчасти объяснить присутствием Элрика. Проскот знал, что она побаивается Элрика и считает его неотесанным грубияном.

— Вот мистер Элрик справляется насчет одной нашей новой работницы по имени Джойс... как ее?

— Дирхерст, — подсказал Элрик, уже совершенно спокойно.

— А, знаю, — отозвалась мисс Шиптон. — Я разговаривала с нею, еще когда она была в учебном цехе. Разрешите

те, я посмотрю у себя в записях... — И она торопливо вышла.

— У нас сегодня концерт бригады ОКО, — промолвил Проскот, чтобы нарушить молчание, которое почему-то обоим казалось неловким.

— Если он будет вроде последнего, так спасибо, лучше не надо, — отозвался Эрик. — В прежние времена, когда я имел возможность ходить в театр, я считал, что на меня легко угодить, — почти все нравилось и веселило. А теперь — то ли я к старости становлюсь привередлив, то ли эти концерты, что они для нас устраивают, просто дряннь... Впрочем, если они развлекают рабочих, так это все, что нам нужно. Оповестите же поскорее всех по радио, Перси, что сегодня концерт, и, может быть, работа у них пойдет веселее.

Он обернулся к мисс Шиптон, которая вошла со своей тетрадкой в руках.

— Должен вам сказать, мисс Шиптон, что вы сегодня очень плохо выглядите.

— Нет, я совершенно здорова, благодарю вас, мистер Эрик, — ответила она сухо.

— Рад это слышать. — Голос Эрика звучал вполне искренно. — Значит, дело во мне. Я все вижу в таком мрачном свете. Ну, что же у вас записано?

— Джойс Дирхерст, — объявила мисс Шиптон официальным тоном, — поступила к нам только несколько недель тому назад. Она из Лондона. Отец ее служил в Сити и внезапно умер... Это девушка довольно интеллигентная... Окончила среднюю школу... работала некоторое время в Вест-Энде, в ателье, которое разбомбили. Вы, вероятно, хотите направить ее на специальное обучение, мистер Эрик?

— Нет, во всяком случае не сейчас, — возразил Эрик несколько угрюмо. — Что еще вы знаете о ней?

— Я спросила только потому, — чопорно пояснила мисс Шиптон, — что, хотя благодаря образованию и среде, в которой она выросла, эта девушка принадлежит к не совсем заурядному типу, но у меня здесь записано, что она, по видимому, своей работой мало интересуется. Она вероятно пошла на завод только для того, чтобы избежать национальной повинности. По правде говоря, она меня определенно разочаровала. Очень мила и говорит приятно, но жизни и ума в ней не заметно.

— Так. Благодарю вас, мисс Шиптон, — сказал Эрик, и голос его звучал сердито и как-то подавленно. Собираясь уходить, он пытливо посмотрел на Проскота и сказал тихо:

— Смотрите же, Перси, не забывайте того, что я вам говорил. Я знаю, что меня ожидают неприятности. Так, если увидите, что они начинаются у меня за спиной, предупредите меня. Хорошо?

Когда Эрик вышел, Проскот лукаво посмотрел на мисс Шиптон.

— А что, эта Дирхерст — хорошенькая девочка?

— О да, безусловно, хотя не из тех, которые бросаются в глаза и за которыми здесь бегают все мужчины. Ее красота гораздо скромнее и тоньше. Она совсем не во вкусе мистера Эрика... если вы это предполагаете, — Мисс Шиптон с улыбкой посмотрела на Проскота.

Проскот в ответ едва заметно подмигнул ей.

— Я ничего не предполагаю. А, если и предполагал, то, значит, ошибся, так? — Он весело захохотал, но тут ему снова бросился в глаза странный вид мисс Шиптон, и он с некоторым беспокойством вгляделся в нее. — Вы действительно здоровы, мисс Шиптон? Вид у вас сегодня не особенно хороший.

Она прикусила губу и быстро заморгала глазами.

— Я плохо спала ночь, вот и все. Я получила... тревожную весть... Но это ничего... У вас здесь работает человек по фамилии Болтон, — продолжала она поспешно. — Он, должно быть, в родстве с моими хорошими знакомыми, а между тем я его не знаю. Можно посмотреть его карточку в вашей картотеке?

— Разумеется. У нас есть один новый рабочий — да, именно его фамилия Болтон, — у которого жена и дети погибли во время воздушного налета где-то на севере. Я потому и запомнил его фамилию. Бедняга! Это тот?

— Да, тот самый, — ответила она, стоя к нему спиной и роясь в картотеке.

Он с любопытством посмотрел на нее, так как голос ее звучал как-то странно и глухо, словно что-то сдавило ей горло, а плечи — он это видел ясно — вздрагивали.

— Мисс Шиптон...

Она не обернулась, и только головой мотнула. Но у нее вырвалось что-то вроде рыдания.

Проскот подошел ближе.

— Что с вами? Случилось какое-нибудь несчастье?

Мисс Шиптон, наконец, обернулась. Очки ее запотели, щеки были мокры — она горько плакала.

— Ах, мистер Проскот, извините меня... Это так глупо... Я...

Проскот, как большинство людей его сорта, непосредственно столкнувшись с человеческим горем, проявлял искреннюю доброту и участие, но участие это далеко не шло.

— Ну, ну, полноте, — приговаривал он, неуклюже похлопывая плачущую по плечу. — Расскажите мне свое горе. Теперь у каждого какое-нибудь горе.

чу, мисс Шиптон, что же вас расстроило?

— Я сама не знаю... все... — пробормотала она, прижимая ладони к щекам. — Я сейчас перестану, извините, мистер Прокот... мне так совестно...

Было ясно, что ее надо оставить в покое, пока она не оправится. Прокот медленно отошел к своему столу и несколько минут делал вид, что разбирает бумаги.

— Теперь все в порядке, спасибо, — пролепетала она, пытаясь улыбнуться, когда он посмотрел на нее. — Это совсем на меня не похоже. Должно быть, жессонная ночь сказалась... Я сегодня очень утомлена, — и знаете, как это бывает, мистер Прокот, — вдруг на тебя что-то находит... Как ни старайся, с этим не можешь справиться. Все кажется таким ужасным... и когда вы рассказали еще про этого Болтона...

— Да, да, понятно, — сказал Прокот, успокаивающе. — А нашли вы его карточку, кстати? И вот что, мисс Шиптон, если вы хотите уйти домой...

— Нет, нет, мистер Прокот, и не подумаю! — возразила она твердо. — Спасибо, вы так добры... — Она заставила себя улыбнуться и вышла из комнаты.

«Если плакать всякий раз, как услышишь о человеке, у которого во время бомбежки погибла семья, — рассуждал про себя Прокот, — так носовой платок никогда не высохнет... Нет, у мисс Шиптон, несомненно, что-то случилось, оттого она так убита. Но что?». Ему было трудно угадать, потому что он до сих пор никогда не думал о ней и ничего о ней не знал. Что только не случается у людей, особенно в такое время... Все — в том числе и он, Прокот — ничем не защищены от беды, каждую минуту что-нибудь может свалиться на голову. Разве и у него родной сын не пропадает на Среднем Востоке?

Где-то в мозгу Прокота опустилась сплошная черная завеса, сама по себе безрадостная, но, по крайней мере, отгораживавшая его от всяких грозных и жутких видений. И сейчас он уже искал немедленного утешения. Артисты ОКО... Их следовало бы угостить спиртным... У него нет ничего, а Чевит в гостинице. Ладно, надо будет сообразить... А пока надо идти объявлять через громкоговоритель о предстоящем концерте.

12.

— И так, не забудьте: сегодня в столовой — специальный концерт бригады артистов ОКО.

Голос Прокота едва можно было узнать. Громкоговоритель — плохой способ обращения к массам. Когда говорили некоторые девушки из конторы завода, стоявшие слишком близко к микрофону или слишком громко кричав-

шие, ни одного слова нельзя было разобрать. Но Прокот очень старался коварить внятно. Да и вообще — подумав Огмор — Прокот отлично умеет подходить к массе, знает, что сказать перед каждым очередным развлечением. Впрочем, он, Берт Огмор, будь он на месте Прокота, делал бы это не хуже.

Когда Прокот кончил говорить, Огмор медленно пошел по проходу между машинами, пересхватывая взгляды тех, кто случайно поднимал глаза от работы, и широко улыбаясь. Этим он хотел показать, что слышал сообщение Прокота и что предстоит нечто заманчивое. Он, Огмор, конечно, человек серьезный, всеми на заводе уважаемый, но он тоже не против развлечений, в особенности, когда они подносятся рабочим в такой форме. Если вникнуть, в этих выступлениях в столовой есть что-то заимствованное у России. Это — первый шаг вперед.

Вопреки своей несколько мрачной наружности, Берт Огмор отнюдь не был яростным фанатиком. Это изможденное желтое лицо, густые, черные брови и усы вводили в заблуждение. Берт не питал зависти к богатым и власти имущим, не страдал и страстью к разрушению. Его грезы о Советской Британии, неясные, но радужные, возникали в большой степени под влиянием русских фильмов и превосходных фотоснимков СССР. Было в этих мечтах и нечто от бережно хранимых им воспоминаний о пикниках, устраиваемых партийными организациями. В них фигурировали толпы здоровых, веселых рабочих в трусиках и рубашках с открытым воротом. Смутно рисовались Берту народные театры, высились белые стены таинственных и маленьких новых городов, залитых солнцем, которое, надо думать, сменит навсегда нашу обычную хмурую погоду, как только будет свергнуто последнее буржуазное правительство. Огмор и жена его, Роза, к которой он был очень привязан, проводили сотни счастливых часов, рисуя себе жизнь в будущей Советской Англии. Иногда им казалось, что она — близехонько, а иногда они вынуждены бывали признать, что это счастье еще довольно далеко впереди и, чтобы его достигнуть, нужно будет сначала провести большую политическую работу среди масс. И в такие часы Берта и Розу тревожило не столько наличие и сопротивление класса хозяев, сколько непонятная пассивность и слепота рабочего люда. Столь многие из тех, с кем Роза беседовала, стоя в очередях, а Берт — здесь, на заводе, желали для себя только какой-нибудь жалкой безделицы. Оказывалось, что одна мечтала только о том, чтобы вернуться опять в какую-нибудь идиотскую лавку, другая — отдохнуть десять дней на берегу моря, третий —

чтобы можно было снова раз в неделю ходить смотреть состязания борзых — и все в таком роде. А к идее создания великой рабочей республики здесь в Англии они относились, в лучшем случае, как-то вяло. Партии придется еще воспитывать массы.

Пока же все должны готовить самолеты и танки, чтобы разгромить гитлеровскую Германию. Эта высокая задача, которой он посвящал себя, держала Берта Огмора в постоянном напряжении, и он всеми силами старался, чтобы те, кто работал под его руководством, так же лезли из кожи, как он. Поэтому заводское начальство одобряло Берта Огмора.

У миссис Флинн, той обидчивой маленькой брюнетки, которой изменял муж, опять что-то не ладилось с машиной. Берт еще издали увидел, что она эту минуту что-нибудь сломает.

— Я делала все, как следует, — запротестовала она, когда он указал ей, что машина работает неправильно. — Вы не можете сказать, что я плохо за нею следила, мистер Огмор.

— Вы, может быть, слишком мало ей доверяли, миссис Флинн, — сказал Берт с улыбкой. — Некоторые машины имеют свои странности. За ними надо, конечно, смотреть, но надо им немножко и доверять. Точно так же, как и мужьям.

Сказав это, он тут же сообразил, что сделал промах.

Женщина сразу вспыхнула.

— Причем тут мужья?! — закричала она. — Какое право вы имеете говорить мне подобные вещи?

— Ну, ну, успокойтесь, миссис Флинн, — все так же широко улыбаясь, сказал Берт. — Я вовсе не хотел вас задеть. Если у вас какие-то нелады с мужем, — извините, я не знал, для меня это новость. (Это, разумеется, не было новостью для него, как и для всех окружающих). Ваша семейная жизнь меня ничуть не касается. Мне от вас одно нужно: чтобы вы хорошо обращались с этой машиной.

— О, господи, твоя воля! — воскликнула миссис Флинн в бурном порыве возмущения. — Ведь это только машина, верно? А вы толкуете о ней так, что всякий может подумать, будто это живой человек. «Хорошо обращайтесь», скажите, пожалуйста! Что же я должна делать? Гладить ее, целовать? Твердить ей, что она — чудо?

Влюбленный в свое дело механик готов был застонать от бессильного отчаяния. Ну, как учить людей, у которых нет этой настоящей любви к делу, у которых оно в руках не спорится?

— Понимаете, тут надо... э... э... давать и брать, — объяснил он неубедительно.

Колючие глазки миссис Флинн смот-

рели на него с острым женским презрением.

— Давать и брать! Ладно, в таком случае возьмите от меня эту работу и давайте другую. Если от меня требуется, чтобы я нянчилась с машиной...

Когда он, наконец, утихомирил ее, подошли два юнца, Уолли и Лесли, с жалобой, что их работу задерживает отсутствие материала. Эти два парня были переведены к нему с артистической, что от них больше хлопот, чем пользы, ибо научились они очень немногому, а озорничали изрядно, понимая, что уволить их нелегко. Однако Огмор умел с ними обращаться, и теперь они работали очень хорошо. Его метод заключался в том, что он говорил с ними строго и резко, но не как высший с низшими, избегая покровительственного тона. Иногда он рассказывал им о России.

— Ладно, ребята, — сказал он в ответ на их жалобы. — Пойдемте вместе, посмотрим, что можно сделать.

На другом конце цеха произошла неприятная задержка. Пальмер, которому было поручено здесь наблюдение за работой, рвал и метал. Уолли и Лесли гладили на него в упоении, как будто это был специально для них поставленный увеселительный номер.

— Ему поручено одно из самых трудных дел в цехе, — объяснил им Огмор, чтобы они перестали ухмыляться. — Все к нему пристают, а он ни в чем не виноват. Одна задержка вызывает другую. Он ничего не может сделать.

— Эй, Джордж, послушай, — крикнул он бесновавшемуся Пальмеру.

— Ну, вот, теперь ты начнешь, Берт! — отозвался Пальмер.

— Все не! Мне нужно только устроить этих парней, — поспешил сказать Огмор и принялся объяснять ему, какого материала им нехватает.

— Сегодня уже такой проклятый день, когда каждая отливка или выходит не туда, куда надо, или получается черт знает какая! — закричал Пальмер, яростно потирая свой жирный затылок. — Не будь мы все время на-чеку, к вечеру оказалось бы, что мы готовили не самолеты, а швейные машины или пианолы. Этот новый шунтовый аппарат только все дело портит!

Огмор оставил Уолли и Лесли здесь, так как Пальмер явно начинал приходить в равновесие. На обратном пути его остановил Рэнкин, работавший на сборке. Рэнкин только несколько месяцев тому назад приехал из Глазго. Голова у него всегда была наклонена набок, правое плечо много выше левого. Он и внутренне был какой-то вывихнутый, озлобленный человек. Но Огмор даже себе не хотел признаться в том, что не любит Рэнкина.

— Собрание будет завтра вечером, — сказал ему Рэнкин. — Прайс только-что велел передать это всем.

— Отлично, я приду. Что-нибудь экстренное на повестке? Прайс не говорил?

— Нет. Но у меня есть два-три вопроса. Сборка у нас идет все хуже. Сегодня с утра по меньшей мере у пятидесяти человек нет работы. А к чаю еще сто будет сидеть сложа руки.

— Вот до чего у нас дошло!

— Да, вот до чего дошло, — повторил Рэнкин с каким-то злобным удовольствием. — И еще хуже будет! Чего же вы хотите, Огмор, если руководство ничемное? Говорят, Блэндфорд с Элриком уже почти не здороваются. Можно поручиться, что вместо того, чтобы как следует вести работу, они заняты только тем, что сводят между собой счеты. Я сейчас говорил Прайсу, что один из них двоих должен уйти, и, по-моему, — Элрик. Его очень многие старосты не любят.

— А чем он им не угодил? — Огмор расстроила скорее нота злорадства в тоне Рэнкина, чем то, что он сказал, так как Рэнкин любил подхватывать и передавать всякие разговоры в цехе. — Элрик — хороший парень. Любит пошутить, но зла никому не делает.

— Да? Вы так думаете? А я вам скажу, что он, во-первых, чересчур зарвался. Один из наших ребят видел его в «Каунти» как-то вечером, он вливал в себя одну за другой двойные порции виски и, конечно, болтал за шестерых. Какой он руководитель, когда у него не работа на уме! Спросите у старост, услышите. Я не люблю этого важного барина, Блэндфорда, — он без пяти минут фашист, можете в этом не сомневаться. Но Блэндфорд знает свое дело и справляется с ним отлично, а нам теперь только того и нужно. Ну, значит, до завтра, товарищ.

Огмору все это очень не понравилось. Рэнкин, вероятно, по своей неприятной привычке, сильно раздул подхваченные им слухи, но нельзя допускать, чтобы среди рабочих ходили такие разговоры. Все должны работать единым, дружным и хорошо обученным коллективом, работать с подъемом, как работают, конечно, в России. А здесь, в Англии, все так усложнено. Слишком много различных и враждебных друг другу групп. Ни Блэндфорд, ни Элрик не на высоте, но, разумеется, он, Огмор, предпочитает Элрика, хотя Элрик не всегда разделяет точку зрения рабочих, слишком много кричит на собраниях производственной комиссии и делает громогласно глупейшие замечания насчет коммунизма. В Блэндфорде чувствовался какой-то холод души, что-то глу-

боко чуждое и враждебное, и Огмору всегда в его обществе было не по себе.

Однако преувеличивает Рэнкин или нет, факт остается фактом: производительность труда падает, определенно падает, — и это как-раз в такой момент, когда Англия отказалась открыть второй фронт и нацисты прокладывают себе дорогу к предместьям Сталинграда!

Продолжая думать о Сталинграде, он подошел к юной Нелли Диттон (которая была его любимицей потому, что так хорошо работала) и с ужасом констатировал, что работы ей нехватит даже до обеда.

— Что вы думаете о Сталинграде, Нелли? — спросил он.

— А что же тут думать? Русские — молодцы, что не пускают немцев туда, — ответила Нелли скороговоркой, как школьница, отвечающая урок.

«Что ж, и то хорошо. Среди новичков есть такие, что не слышали ничего о Сталинграде», — подумал Огмор.

— А скажите, мистер Огмор, — продолжала Нелли уже посмелее. — Как вы думаете, в Сталинграде есть магазины?

— Магазины? В Сталинграде? — удивился ее вопросу Огмор. — Ну, конечно, есть. И очень большие, ручаюсь вам. А вы что думали — что Сталинград это просто куча глиняных мазанок?

— Да ведь вы вчера — помните? — говорили о магазинах так, что можно было подумать, будто их там не должно быть. А мне не нравится город без магазинов.

Огмор вспомнил теперь вчерашний разговор и немедленно стал объяснять Нелли, что он тогда имел в виду. Он был доволен, что девушка проявила хотя бы такой интерес к его словам. Да, политическое воспитание — вот что им всем необходимо!

Всем, только не старому Тэйлору, который прислушивался к их разговору. Этот — безнадежен, ему следовало бы вновь родиться.

— Да, да, слышали мы... — пробурчал он, прерывая работу, чтобы вмешаться. — Ничего в нем нет хорошего.

— В чем?

— Да в этом вашем социализме, которым вы ей голову набиваете. Я все слышал. Хотя тут и очень шумно, я уже начинаю привыкать к шуму, так что будьте осторожны. Мы пришли сюда работать для короля и родины, а не затем, чтобы слушать речи социалистов. Не забывайте, что кое-кто из нас имел собственные предприятия...

«Где сияют горные вершины», — пели за работой две подруги, которых прозвали «сестрами».

— И я в течение пятнадцати лет был членом клуба консерваторов, — заключил с негодованием Тэйлор. — Я подумываю о том, чтобы подать на вас жалобу правлению. Пропанганда — вот что это такое,

не более не менее, как пропаганда. Вы пользуетесь своим положением...

— Слушайте, вы, — начал Огмор резко. Тэйлор был ему антипатичен не менее, чем он Тэйлору. — Я просто объяснил ей кое-что, потому что ее это интересует, точно так же, как объяснил бы вам то, что вам хотелось бы узнать. Но вас ничто не интересует... А пользуюсь я своим положением, — как вы заявляете, — только для того, чтобы приказывать всем работать. И это я приказываю вам сейчас. Он еще будет хвастать тут клу-бом консерваторов, этот...

Пройдя дальше по проходу, Огмор заметил, что на него внимательно смотрит чужак Стоньер. Седая голова, густые черные брови и запавшие щеки делали Стоньера похожим на какой-нибудь фантастический персонаж старинной пьесы. Что у него опять случилось?

— В чем тут у вас дело? — осведомился Огмор, видя, что машина Стоньера не работает. — Из-за чего задержка?

Стоньер похож был на человека, который медленно просыпается. — Задержка? Где?

— Вы остановили машину, так? А я вижу, что у вас еще не готово штук пятьдесят пластин. В чем дело?

Огмор сказал это не резко, но твердо, без обычного благодушия.

Стоньер посмотрел на свой станок, как будто видел его впервые и пытался понять, что это такое. Затем пробормотал что-то о своей голове.

— Может быть, вы сходите в амбулаторию к сестре Файли?

Стоньер медленно покачал головой, испытующе посмотрел на Огмора.

— Когда я был молод, — сказал он осторожно, — я не понимал по-настоящему этой идеи...

— Какой идеи?

— Бога, — пояснил Стоньер. — Я, в сущности, не понимал, о чем люди говорят. Думаю, что и вы не понимаете. И никто из этих людей...

— Не спорю. Но оставим это, мистер Стоньер...

— Я в последнее время много думал о нем, — продолжал Стоньер тем же тоном. — Но минут пять тому назад меня вдруг осенило. Теперь я хочу запомнить это... Если вникать все больше и больше, то приходишь к мраку и пустоте. Но как-раз по ту сторону этого мрака и пустоты обитает он, бог. И, если подождать, появится свет и начнет разгораться. Да будет свет! Понимаете, для того, кто уверовал, все начинается сначала.

— Может быть, и так, а, может быть, все это — просто ваша фантазия, — сказал Огмор поспешно.

— Фантазия! — Глаза Стоньера сверкнули гневом. — Фантазия! Вы забываете, что каждый шаг надо перестрадать,

переболеть. Вы рассуждаете, как ребенок. — И, к великому облегчению Огмора, он, не говоря больше ни слова, пустил опять машину и принялся за работу, словно вдруг забыв о присутствии Огмора.

Да, каких только людей не встретишь теперь на заводе! Но Огмор уговаривал себя, что это не важно, лишь бы подогнать работу. Только удастся ли ее подогнать? Он критически вслушивался в оглушающее биение пульса завода: не ослабевает ли он? Как ни часто он, Огмор, говорил об этом, — ему приходится постоянно напоминать себе самому о существовании прямой зависимости между ритмом работы в цехах и успехами гитлеровских армий, серо-зеленой орды, сжигающей, грабящей, насилующей, пытающей, истребляющей наших братьев и сестер. Как далеко, за какими высокими барьерами скрывались снившиеся ему часто толпы здоровых, веселых рабочих, на отдыхе, бегающих на перегонки со своими детьми в лугах или наполняющих народные театры, драматические и оперные?

— Эй, Берт, очнись!

— Что? А это ты, Гвен! — И он улыбнулся, не смущаясь тем, что его застали без дела, погруженным в свои мысли. Они с Гвен Оклей были большие приятели. Гвен была единственная женщина — установщица в их цехе. Такая, как Гвен, чувствовала бы себя в России, как рыба в воде. Даже внешностью она немного напоминала русских женщин: низко стриженные темные волосы, квадратное лицо, энергичное и умное, запачканная белая куртка поверх темносинего комбинезона. Гвен была именно такая, какой казалась: настоящий, дельный механик и хороший товарищ. Она работала на этом заводе еще до войны.

— Нечасто увидишь тебя таким, Берт. — Я задумался на минутку... О войне и всем прочем. Но оставим это, как говорит мистер Чевит. Ты ко мне, Гвен?

— Да. Чарли сказал, что ты можешь дать мне указания насчет двух ходовых сверл. Пит Форбс сегодня не вышел на работу, и Чарли посоветовал мне обратиться к тебе.

— Правильно. У нас тут есть одно такое сверло. Что тебе непонятно, Гвен? Я их изучил вдоль и поперек.

Несколько минут разговор был сугубо технический. Когда Берт дал все нужные указания и Гвен вознаградила его папиросом, она спросила:

— Что новенького, Берт?

— Да ничего хорошего, Гвен.

— Это-то я знаю. А плохого что?

— Кое-какие неприятные слухи. Я говорил сейчас с Рэнкиным.

— Ну, Рэнкин! — она сделала гримасу. — Что же он тебе рассказал?

Огмор повторил то, что сказал ему Рэнкин о вражде между Блэндфордом и Элликом и об утверждении некоторых старост, что Эллику придется уйти.

Гвен пришла в ярость. Тут только Огмор вспомнил — слишком поздно, — что она всегда была самого высокого мнения об Эллике и всегда защищала его.

— Рэнкин — мерзкая крыса! — воскликнула она. — Он и четверти часа не может думать и говорить честно. Такие, как Рэнкин и его компания, будут выживать Боба Эллика! Это мне нравится! Да они мизинца его не стоят!

— Не горячись, Гвен. Пожалуй, напрасно я сказал тебе...

— Почему же? Я хочу знать обо всем, что у нас делается.

— Понятно. Но не следует распространять вредные слухи. Чтобы увеличить выпуск продукции, нам тут придется работать до седьмого пота, даже и тогда, когда наверху все благополучно, — а если станет известно, что руководители сороятся и мы начнем брать сторону одного или другого, — не знаю, куда это нас приведет. Ручаюсь, что в России ничего подобного не бывает.

— Откуда ты знаешь, Берт? — Гвен была скептиком.

— Мы ни о чем таком не слышали...

— Так что же? О наших неурядицах мы тоже не объявляем по радио... Нет, хорошо, что ты сказал мне насчет Эллика, Берт. И можешь быть спокоен, я болтать не стану. Не стала бы даже, если бы могла, а, кроме того, я для этого слишком занята. Мне дали в обучение двух красоток, которые, как они рассказывают, служили в хоре в Бирмингеме. Не знаю, разбивали они сердца или нет, но, видит бог, сверла они здорово ломают! Ну, пока, Берт. Спасибо за совет.

Огмор смотрел, как она, ловко лавируя, пробиравась через зал обратно в свое отделение. Сзади ее куртка была сильно запачкана машинным маслом. В ее осанке была благородная смелость — и вместе с тем что-то, вызывающее жалость, в особенности в том, как она решительно выпрямляла плечи. Глядя ей вслед, Огмор вдруг подумал, что, в сущности, мало знает о жизни Гвен Оклей. При всей своей видимой простоте и непринужденности (в цехе на нее привыкли смотреть не как на женщину, а как на любого рабочего-мужчину) она, собственно, не слишком открывенничает с товарищами. Славная она, Гвен, она стоит десятка этих смазливых, вертлявых дурочек. Как жаль, что ему никак не удается убедить ее вступить в партию.

Его вдруг в первый раз осенила догадка (быть может, что-то в осанке Гвен навело его на эту мысль?). что сейчас, когда ее семейная жизнь разрушена

Джордж Оклей уехал куда-то в Нью-касл или в другое место, — Гвен, должно быть, очень несчастна, одинока и растеряна...

13.

Гвен Оклей спрашивала себя, не пойти ли ей прямо к Бобу Эллику и рассказать ему, что о нем говорят рабочие. Но она знала, что не сделает так, — не может сделать именно потому, что это Боб Эллик... Это тянется вот уже три года, а он ни о чем не догадывается. Ни разу он не взглянул на нее так, чтобы можно было предположить, что он когда-нибудь догадается. За это время появилась на сцене Джордж и она вышла за него замуж, в надежде, что брак с ним ее излечит и образумит. Но их брак как и следовало ожидать, был неудачен, и Джордж уехал. И даже тогда Боб Эллик, несмотря на то, что они не раз беседовали и на заводе, и за стаканом вина после работы, оставался очень далек от всяких подозрений. Издерганный своей разбитой семейной жизнью и идиотской погоней за женщинами, он благоволил к ней, Гвен, главным образом, потому, что в ней не было, по его определению, «женской дури», она была для него просто добрым товарищем, умела слушать лучше, чем мужчина, и в то же время понимала то, что он говорил. Такой был тон их отношений, и этого тона ей приходилось стойко держаться. А если она сейчас прибежит к Эллику, возмущенная и встревоженная за него, она может легко выдать себя. Так что лучше всего остыть и приняться за работу.

— Эй, Гвен!

Это кричал Фред Сколби, другой член той старой бригады, к которой принадлежали она и Берт Огмор. Фред славный малый и очень занятен, когда хватит стаканчик-другой. Гвен на мгновение остановилась.

— Здорово, Фред. Что, сегодня тебе в столовой предстоит соревнование, а?

— Куда там! — отозвался Фред, и его круглое красное лицо расплылось в улыбке. — Мне не подобает дурачиться среди бела дня. Я — комик только по вечерам. Не люблю выступать перед зрителями в то время, как они уплетают пирог с рыбой и морковную кашу. А что, Гвен, правду я слышал, будто Пит Форбс заболел?

— Правда, Фред. По-моему, у него опять начинается старая история с желудком. Он вчера был похож на мертвеца. Я ему давно говорю, что надо сходь к врачу.

Она еще минуты две говорила о Пите, мастере ее отделения, но говорила рассеянно, так как ее внимание привлекла девушка, работавшая неподалеку. Высокая, стройная, в красивом но-

веньком платье. Девушка, которую она видела впервые, но которую могла бы сразу узнать при новой встрече. Наверное, эти тонкие белые руки ничего не умеют делать, как следует, и, скорее всего, она — дура, но нельзя отрицать, что хороша собой. Словно забытый здесь кем-то большой цветок, клонится она над машиной.

— Здесь! — крикнул Фред в ответ на чей-то зов. — Извини, Гвен. Видишь, ни минуты без меня обойтись не могут.

Когда он убежал, Гвен, уступая внешнему побуждению, подошла к девушке.

— Вы новенькая, да? Извините за любопытство. Я Гвен Оклей, работаю здесь много лет.

Девушка, немного нахмурившись, поджала на нее глаза. Они у нее были зеленато-карие и очень красивые. Она пробормотала какую-то вежливую фразу.

— Как вас зовут? — осведомилась Гвен, немного стыдясь своей назойливости.

— Джойс Дирхерст, — ответила девушка, на этот раз громче, но все еще без улыбки.

Не находя больше, что сказать, Гвен чувствовала, что глупо стоять тут, словно праздный посетитель, осматривающий завод.

— Ну, надеюсь, вам тут понравится. Начальство у нас хорошее, с ним работать можно. И вы скоро привыкнете...

Джойс Дирхерст кивнула головой, но ничего не сказала. Гвен вдруг стало неловко за свою грязную куртку, растрепанные волосы, за грязное пятно, наверное, красовавшееся на щече. Но она тут же себя одернула. Ну, хорошо, пусть она выглядит замарашкой, — что же из того? Здесь завод, а не выставка манекенов.

— Если вы здесь испачкаетесь, — услышала она свой голос, — это ничего, вы не огорчайтесь: все отмоется.

Да, это вышло у нее не очень-то удачно, — и поделом ей, чтоб не совалась к новичкам с расспросами да советами, на то есть отдел обслуживания и мисс Шиптон. Так говорила себе Гвен. Она готова была поручиться чем угодно, что эта девчонка — именно потому, что она так красива и кажется такой хрупкой — уже безнадежно испорчена. Впрочем, какое дело до всего этого ей, Гвен Оклей?

Возвратясь на свою территорию, Гвен сунула руки в карманы куртки, подняла плечи — и получила недурная имитация веселой дерзости и развязности, настоящий вид а ла «чорт меня поberi»!

— Честное слово, можно подумать, что она здесь хозяйка! — сказала миссис Уэйкс своей соседке, мисс Трумэн. Миссис Уэйкс, поступившая на завод недавно, была старше Гвен и недовольна тем, что приходится работать под ее началом. Не

обидно ли — она, миссис Уэйкс, бросила дом для работы на заводе с единственной целью помочь родине во время войны, а ею командует какая-то девчонка!

— Это верно, — ответила мисс Трумэн. — Некоторые люди любят задаваться. Но я им спуска не даю, я ведь уж вам говорила об этом, миссис Уэйкс. Той женщине я так прямо и сказала: «Шесть талонов за этот отрез — говорю — вот еще! И не подумаю отдавать столько!» — «Позвольте — говорит она — а я то тут причем? Разве я распоряжаюсь талонами?» — «Вероятно, не вы, — отвечаю, — но уж кто-нибудь да выкраивает себе одежду за наш счет». Так прямо ей в лицо и сказала.

— И напрасно она мне вечно твердит о том, что работает здесь бог знает сколько лет, — продолжала миссис Уэйкс, занятая своим и не проявившая никакого интереса к истории с талонами мисс Трумэн. — Может быть, на некоторых людей это и производит впечатление, но на меня — никакого. У меня язык чешется сказать ей: «жаль, что и до войны ты не нашла ничего лучше, как пойти на такую работу!» В военное время, конечно, разбирать не приходится. Мы теперь делаем множество всяких вещей, которые нам и в голову не приходило делать в обыкновенное время.

— Это верно, — согласилась мисс Трумэн.

Чарли Кинг привел старого Паттерсона посмотреть одну из машин, с которой что-то было неладно, — и теперь оба стояли и в раздумьи смотрели на нее, словно пытаясь разгадать ее тайные намерения. Старый Паттерсон был громадный мужчина с лунообразной физиономией, великий специалист по таким неторопливым и обстоятельным осмотрам.

— Не пойдет она с такой нагрузкой. Чарли, — изрек он, наконец.

— Я тоже так полагаю, что не пойдет, — заметил Чарли, не отводя глаз от частично разобранный машины.

— Нет, не пойдет, — опять сказал Паттерсон. — Он любил повторять свои замечания. — Я уже и раньше с нею немало намаялся.

— А сколько времени займет ремонт? — спросила Гвен.

Оба поглядели на нее укоризненно, — ее вопрос как будто внезапно вывел их из состояния блаженной мечтательности. Потом переглянулись, как переглаживаются преисполненные чувства собственного достоинства ученые мужи, задетые бесцеремонным вмешательством какого-нибудь профана из публики. Гвен не засмеялась, даже не улыбнулась — ее эта комедия уже давно перестала забавлять.

— Может быть, я ее установлю сегодня к вечеру, — с расстановкой промол-

вил старый Паттерсон. — А может быть, и нет. Трудно сказать вперед... А что, Гвен, имеешь вести от Джорджа? Или спрашивать об этом не полагается?

— Спрашивать можно, Пат. А вестей от него я никаких не получала.

История ее брака здесь всем была известна, так как это началось и кончилось тут же на заводе. И Гвен понимала, что старик Петтерсон, спрашивая о Джордже, вовсе не хотел ее задеть.

— На этой машине работал Болтон, — сказал Чарли. — И мне некогда было подыскать ему другую работу — сегодня у нас для таких, как он, подходящего дела немного. Сообразите, Гвен, может, у вас найдется для него что-нибудь? Он, кажется, не из скандалистов?

— Слава богу, нет, — отозвалась Гвен. — Он славный, тихий парень. Будь на его месте кто-нибудь из тех...

— Ого! — Паттерсон потряс своей огромной головой. — А ведь некоторые из этих бывших маляров, да судомоек, да продавщиц зарабатывают больше меня. Верьте слову, больше! Как слушаешь их разговоры в столовой, так от стыда не знаешь, куда глаза девать. Три недели обучения — и за эти три недели им тоже платят! — а после этого, они сразу начинают загребать монету. Они прямо-таки купаются в деньгах. Иной никогда в жизни в руках и двух фунтов не держал, а теперь, если они в получку получают не больше шести фунтов, так кричат, что их обжулили. Я сказал одному такому: «Послушай, говорю, Горейс, ты зарабатываешь больше меня, а я и срок выслужил и после этого уже тридцать лет работаю. Я старый специалист. А тебе еще не отличить, пожалуй, детали самолета от дождевого зонтика. Так что, говорю, имей стыд-совесть, помалкивай!»

— Вот то же самое и я им говорил много раз, Пат, — подхватил Чарли. — Не следовало нашему управляющему набирать кого попало. Я знал, чем это кончится. Давно говорил, — верно, Гвен?

Гвен подтвердила, что говорил, и отошла, потому что ей надоело слышать одно и то же. Она заметила, что Болтон стоит неподалеку, ожидая, чтобы ему дали другую работу, так как это его машина сломалась. Лицо его не выражало ни беспокойства, ни нетерпения, он просто стоял и ждал. Это можно было предвидеть заранее, зная Болтона. Болтон был тот именно новый рабочий, у которого жена и двое детей погибли во время воздушного налета. Ему было лет сорок. Несмотря на отсутствие бороды и бакенбард, в наружности этого высокого тощего мужчины было что-то до странности старомодное — он как будто выскочил из старинного семейного альбома. Говорил он с сильным ланкаширским акцентом, но в нем не замечалось и

следа ланкаширского юмора, даже и до гибели его семьи. Это был человек серьезный, сдержанный и до крайности молчаливый. Он никогда ни с кем не разговаривал, но, так как все работающие у соседних станков слышали о его несчастье, то это никого не удивляло, и его оставляли в покое.

— С вашей машиной сейчас ничего не сделаешь, мистер Болтон, — сказала ему Гвен любезнее, чем говорила с другими. — Но ее починят к концу дня.

— Рад это слышать, — ответил Болтон без улыбки, но дружелюбно. — А сейчас для меня найдется какая-нибудь работа, миссис Оклей?

— Думаю, что найдется. — Она осматривалась, очень желая отыскать для него какое-нибудь занятие. — Ага, вот для вас небольшая работа. Смотрите: вы берете каждую из этих штук... — Она показала ему, в чем состоит легкая работа, которая обычно поручалась кому-нибудь из новичков в первые дни. — Здесь их сотни две, а после полудня вам доставят новую партию. Я сейчас принесу вам розовую карточку для записи. Согласны?

— Да, миссис Оклей, спасибо. Этим я заполню день, — сказал Болтон, сразу приступая к делу. Он был работник не быстрый, но добросовестный.

— Я посмотрю, как вы сделаете первую, — заметила она, словно извиняясь. Ей казалось немного неловким проверять работу таких рук. Это были громадные руки со вздутыми венами, с распухшими суставами. Немного неуклюжие, пожалуй. Да, его никак нельзя будет перевести на работу, требующую большой ловкости.

— Знаете, о чем я сейчас подумала, мистер Болтон? Вам, в сущности, здесь не место.

— На этом заводе? — переспросил он, хмурясь.

— Нет, нет, нам нужно побольше таких, как вы. Я хотела сказать, что не следовало направлять вас ко мне в отделение. Вы можете делать гораздо более трудные вещи, чем те, что делают тут. И, наверное, предпочли бы работу по своим силам. А это однообразное и пустяковое дело лучше всего поручить женщине. Вы ведь сильный?

— Да, как будто.

— Ну, вот видите!

— Так мне самому хлопотать о переводе, или вы это устроите? — спросил Болтон.

— Я устрою, предоставьте это мне, мистер Болтон. Вы знаете мистера Элрика, нашего главного инженера?

Ей всегда доставляло тайную радость произносить это имя. Она тщетно корила себя за глупость.

— Нет, миссис Оклей, не знаю, но слышал о нем от двух-трех человек.

— Ничего худого, надеюсь? — невольно вырвалось у Гвен.

Смутное удивление выразилось на серьезном лице Болтона. Но он сохранил все тот же отсутствующий вид. Чувствовалось, что большая часть его души витает где-то в другом месте.

— Нет, ничего худого. Вообще, насколько мне помнится, ничего особенного не говорили. Взгляните, я делаю это правильно?

— Да, кажется, правильно. Сейчас проверим... Нет, надо чуточку больше двигать — вот так, видите? Ну, ладно, пойду за вашей карточкой.

Она пошла за карточкой к Мэри Грю. Мэри сидела в своей клетушке, сияя от счастья и возбуждения.

— Спасибо, Мэри. Что с тобой сегодня? Новости какие-нибудь?

— Как ты догадалась, Гвен?

— Ну, стоит только посмотреть на тебя. Ты вся сияешь. Разве слепой этого не заметит. Что случилось?

— В субботу он приезжает в отпуск, — заливаясь румянцем, торжественно воскликнула Мэри. — И я тоже попросила недельный отпуск, и мне разрешили.

— Счастливая! А кто же тебя отпускает?

— Мистер Эларик. Я получила письмо вчера поздно вечером, а сегодня утром первым делом побежала к мистеру Эларiku. Что бы там о нем ни говорили, а ко мне он был очень добр, честное слово, Гвен. Конечно, не обошлось без его любимых шуток, — знаешь, как он всегда...

— Еще бы мне не знать! — вставила Гвен.

— Так что, я очень сегодня довольна, — заключила Мэри.

— Ну, если это у тебя называется только быть довольной, так хотела бы я видеть тебя, когда ты в полном восторге, Мэри! Тогда от тебя, наверное, летят искры, а голос звучит, как орган в кино! Как приятно все-таки увидеть счастливого человека...

— Да, — размышляла Гвен, уходя. — Возвращается с фронта «он», женщине дают возможность провести с ним несколько дней, — и она с ума сходит от счастья. Я бы так же с ума сходила, если бы... Нет, лучше не надо этих «если бы»... Посмотри на Мэри Грю. Весит без малого шестьдесят восемь килограммов, шеи нет, длинные зубы, — а она светится, как маяк, оттого, что к ней придет ненадолго какой-то неуклюжий парень с потными руками. А я?... И со мною было бы то же самое, если бы... Нет, никаких, «если бы»...

Но, раз начав, она уже не могла остановиться. И добрых десять минут, выполняя свои обычные обязанности, останавливаясь то у одной машины, то у другой, награждая одного похвалой,

другого — пристальным взглядом и дельным советом, она все размышляла на ту же тему и, главным образом, в применении к себе. За два-три года до войны Гвен сознательно избрала для себя профессию механика. Тогда ей было не легко, но помог дядя. Она хотела «мужской» работы среди мужчин, хотела жить разумной, самостоятельной, суровой жизнью, исключив из нее всякие «женские глупости». Она достаточно насмотрелась на них дома и видела, к чему они приводят. И вот она решила оставить далеко позади и дом, и всю эту «дурь». Гвен не была собственноручной женщиной мужского склада, но она так хорошо выдерживала свой тон сухой деловитости, исключавшей «глупости», что все мужчины относились к ней, как к товарищу.

И вот после всех этих достижений она вдруг взяла да и влюбилась — и в кого же? В Боба Эларика. Выбор во всех отношениях неудачный. Такая, как она, Эларiku совсем не нужна. Кроме того, он много старше ее, он упрям и груб, наружность у него самая невзрачная, что не мешает ему, впрочем, быть бабником. У него тяжелый характер, он часто и вне, и внутри завода ведет себя по-идиотски, он слишком любит виски и глупенькие, но красивые женские мордочки. Да, он для нее человек во всех отношениях неподходящий. И все-таки, как она ни старалась, — ни брак с Джорджем, ни два-три увлечения до и после него не помогли ей исключить этого человека из своей жизни. Она не могла не думать о нем, не могла забыть о его существовании. Ничего ей не давая, — если не считать кивков и улыбок, которые иногда были хуже, чем ничего, — Эларик в то же время мешал ей взять от других нечто настоящее.

— Что вы сказали, миссис Оклей? — спросила одна из бирмингемских девочек, бывших хористок.

— Сказала: «дура», — ответила Гвен упрямо. — Но это я не с вами, а с собой говорю.

14.

Артуру Болтону было сорок два года. Всю жизнь он прожил в глухом городишке южного Ланкашира. В четырнадцать лет, прямо со школьной скамьи, поступил на химический завод и работал там до тридцати. Все эти шестнадцать лет, в то время когда другие мужчины, как водится у ланкаширцев, тратили свои деньги на пиво и разные пари и кутежи в Блэкпуле, он урезывал себя во всем и копил деньги. Не пил, не курил, не ездил в свободные дни отдыхать к морю. Он не позволял себе даже ухаживать за женщинами, хотя был к ним далеко не равнодушен. Жизнь его

была узка и оголена, как стальной клинок, но, как он, устремлялась прямо к цели. Болтон хотел скопить денег на покупку собственного небольшого предприятия. Наконец, наступил счастливый день. После того, как Артур в течение двух лет все свое свободное время помогал одному пожилому лавочнику торговать канцелярскими принадлежностями, бумагой и всякими безделушками, он откупил у него его лавку. Пожилой хозяин лавки, как многие люди его профессии, был беспомощный лодырь, и торговая его год от году все больше приходила в упадок. Артур Болтон, став, наконец, сам хозяином, начал ее восстанавливать. Первые год-два это было трудной, почти безнадежной задачей, ему приходилось тратить на себя еще меньше, чем прежде, дрожать над каждым пенни, который не возвращался «в дело». Потом все пошло хорошо. Торговля разрасталась, — газеты, журналы, канцелярские принадлежности, галантерея, небольшая библиотека, где выдавались книги на дом, и постоянный запас табака и папирос. Жизнь Артура Болтона расцветала вместе с торговлей в его лавке.

Теперь можно было жениться. И после нескольких месяцев ухаживания за дочкой аптекаря, Эльси, задорной, веселой хохотушкой, которая, однако, сумела полюбить широкоплечего, всегда серьезного соседа, — он обвенчался с нею и привел ее в уютную квартиру над лавкой. Эльси родила ему двоих детей, девочку и мальчика. Торговля шла хорошо. У них завелись добрые друзья среди других торговцев. Жизнь казалась Артуру Болтону чудом, волшебной сказкой. Но он был не такой человек, чтобы принимать дары судьбы, как должное, и в нем всегда жила какая-то настороженность, тревога, неясное предчувствие. Временами он поражался своей счастливой судьбе, и Эльси — а потом и подраставшие дети — любили дразнить его этим. Над миром сгустились тучи — и Артур это понимал, ибо он внимательно читал наиболее серьезные из тех газет, которыми торговал. Но солнце все так же сияло над лавкой, огонь в комнате наверху все так же весело потрескивал в камине.

Началась война. Болтон стал инструктором ПВО. Зимой 1940 года они пережили несколько тревожных ночей, Эльси с детьми часто ночевала в бомбоубежище, которое он устроил в полуподвале за лавкой. Но большинство бомбардировщиков, гудя, летели мимо, на Ливерпуль и Манчестер. Было не так уж страшно.

Наступил 1941 год. И вот, когда самые страшные налеты были уже позади и похоже было на то, что скоро налетов совсем не будет, немецкий «Хейнкель»,

отогнанный от Солфорда двумя ночными истребителями, спустился над их городком, решив освободиться от своего тяжелого груза. Он не выбирал никакой цели. Ему надо было просто сбросить все бомбы.

В ту ночь Болтон дежурил и только на рассвете вернулся к засыпанной мусором, дымящейся воронке, где еще вчера у него была семья, свой дом, лавка, — жизнь. Начинаясь день — но вернее было бы сказать, что с того утра, год назад, для него больше никогда не наступал день. Ибо существование его было теперь, как долгий сон без видений, где бродила лишь его пустая оболочка, напрасно ища двери, которая ведет обратно в жизнь. Шли недели за неделями, а ему казалось, что это не Эльси с детьми, не его семейное гнездо и лавка уничтожены, исчезли из мира, — что это он сам внезапно отнесен взрывом в какой-то другой, чуждый мир, где формы и краски напоминают прежний, настоящий, но царит пустота и смерть. Казалось, стоит только сделать чудовищное усилие воли, нырнуть во мрак, — и он очутится снова в лавке, и дети придут из школы, Эльси будет ходить наверх в кухню, и все будет, как прежде. Порой, в глухие бесконечные ночи, он чувствовал, что решимость отчаяния придаст ему силы задержаться и повернуть вспять течение времени, остановить бомбу на полпути в воздухе и затем отправить ее обратно на бомбардировщик, чтобы Эльси и дети проснулись, ничего не зная о том, что могло случиться, а он, Артур, очутился в своей лавке утром какого-то нового дня. Он не был религиозен. Если можно говорить о каком-либо его мировоззрении, он скорее был рационалистом старого типа, — и прежние его мысли о железной вселенной, о пустом небе не приносили сейчас ни искры утешения.

Перепробовав (машинально и безучастно, как он теперь делал все) несколько занятий, он попал, в конце-концов, на Эмдаунский завод. В этом огромном, ошеломляющем месте давали работу, средства к жизни, а главное — давали возможность участвовать в изготовлении орудий, которые очистят небо от немецких бомбардировщиков. Он хотел помочь истреблять маньяков, уничтоживших его, Болтона. Завод представлялся ему не просто местом работы, каким была его лавка, например. Он был слишком велик, слишком кишел людьми, и все здесь было непонятно. А Болтон был, в сущности, человек, оживавший только за своим маленьким, но самостоятельным делом. Ему было все равно, сколько он зарабатывает, какую ему поручат работу. Он ни с кем не сблизился и чувствовал, что ему не нужны друзья. Он предсказывал не встречать

людей, которых знал некогда, когда жизнь была настоящей. Он снял комнату в тихой семье и в редкие часы досуга совершал одинокие прогулки или пытался читать серьезные книги. Его были ярче и содержательнее его жизни наяву, а эта жизнь наяву представлялась ему не жизнью, а длинным путем к могиле, которым он шел, как лунатик во сне.

Таков был человек, большим узловатым рукам которого Гвен Оклей задала работу. Он испытывал облегчение от того, что делал что-то, и работая, думал о том, как хорошо будет, если миссис Оклей сдержит слово и похлопочет о переводе его в какой-нибудь цех, где работа потруднее. Он не был поклонником машин, не представлял себе, как куски металла превратятся в самолеты, он попросту неспособен был охватить мыслью весь завод в целом и до сих пор даже, еще не видел здесь многого. Он воспринимал окружающее, как огромную и шумную сумятицу. Женщины и девушки, которых было очень много в этом отделении завода, болативые создания с белыми, как мел, лицами, ничуть не привлекали Болтона, и, к его удовольствию, видимо, понимали, что его следует оставить в покое.

Прошло с полчаса после ухода миссис Оклей. Случайно подняв глаза, Болтон заметил в нескольких шагах от себя женщину, которая, как ему показалось, неподвижно смотрела в его сторону. Он ве знал, кто она такая, но припомнил, что уже где-то видел ее. Должно быть, это одна из служащих конторы. Ее большие очки в красной оправе производили неприятное впечатление. У женщины этой были гладко причесанные темные волосы, бледное лицо. Она чем-то напоминала школьную учительницу. Болтон обратил на нее внимание только потому, что она так неотступно смотрела на него. Но он сразу же опять принался за работу и забыл о ней.

Через пять или, может быть, десять минут, когда он думал уже о чем-то ином, робкий голос произнес его фамилию. Та же женщина в очках стояла теперь подле него. Глаза у нее были умные, в ней чувствовалось хорошее воспитание, но она казалась очень нервной и несчастной.

— Мистер Болтон, я — мисс Шиптон. Мне здесь поручено обслуживание женщин.

— Мисс Шиптон? Мисс Эдит Шиптон? — спросил он, и посмотрел на нее внимательнее. Значит, это она и есть!

— Да, — ответила она тихо и взволнованно. К счастью, работа у Болтона сейчас была бесшумная, и вблизи тоже было сравнительно тихо, иначе он не расслышал бы ее слов. — Вы знали, что я служу здесь?

— Нет, мисс Шиптон. Мне говорили, что вы работаете на каком-то заводе в этих местах, но я не знал, что именно на Эмдаунском. А говорила мне о вас моя родственница, миссис Моллэнд, жена Герберта Моллэнда. Она не знала, где именно вы работаете. И не хотела спрашивать Герберта. Я, конечно, тоже у него ни о чем не спрашивал, — добавил он многозначительно.

— Я не совсем понимаю, мистер Болтон... — начала она. Но ее голос и выражение лица опровергали эти слова.

— Разве? — бросил он сухо и спокойно принялся за работу.

Она с минуту нерешительно молчала, затем сказала робко:

— Мистер Болтон, если я могу быть чем-нибудь вам полезна... я с удовольствием...

— Нет, спасибо, мисс Шиптон. Я не нуждаюсь ни в каком обслуживании.

— Я слышала о вашем несчастии, — пробормотала она. — Это так ужасно. Мне так вас жаль...

Он ничего не ответил и даже не взглянул на говорившую. Это не было умышленной грубостью — нет, просто он не знал, что сказать ей, и надеялся, что теперь она уйдет. Дело было весьма щекотливое и он предпочел бы в него не ввязываться. Он не хотел делать ей больно, но если она непременно желает знать правду, что ж, она ее услышит, — и это послужит ей уроком.

Нет, мисс Шиптон не могла этого так оставить.

— Мистер Болтон, — начала она опять все тем же неуверенным тоном. — Мне неясно, почему миссис Моллэнд вздумалось говорить с вами обо мне. Видите ли, мы с ней собственноручно незнакомы. Я знаю Герберта Моллэнда, потому что несколько лет тому назад мы преподавали в одной и той же школе. Так что... — Она закончила нервным смешком.

Болтон в раздумьи смотрел на нее. Что ему делать? Сказать ей или нет? Она оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял и какой ее представляла себе бедняжка Люси. Из-за дурацких очков смотрели честные и в эту минуту умоляющие глаза. Пожалуй, лучше сказать...

— Видите ли, мисс Шиптон, — начал он осторожно. — Моя двоюродная сестра, Люси Моллэнд, знает о ваших отношениях с Гербертом. Вы, должно быть, думали, что она не знает. А Герберт так думает и сейчас. Но Люси все известно. Она мне об этом сама рассказала. К ней в руки попало ваше письмо к Герберту — нет, не теперь, давно уже.

Начав говорить, он отвел глаза. Теперь он взглянул на мисс Шиптон. Она была бледна и вся дрожала. Работавшие не-

подалеку две женщины с любопытством поглядывали на нее.

— Вы меня извините, — сказал он, шагнув к ней ближе и понизив голос. — Я думаю, лучше прекратить этот разговор. Здесь... неудобно...

Но она смотрела на него, как утопающая.

— Нет, я хочу услышать сейчас.. Все, что вы знаете... Пожалуйста!..

Он покачал головой.

— Право, мне и сказать больше почти нечего.

— Нет, есть. И вы еще не понимаете... вы не можете знать, что это для меня значит... Совсем не то, что вы думаете... совсем не то...

Трудно было понять, чего она хочет. Болтон никак не думал, что в таком месте, как здесь, ему придется говорить о семейной драме бедной Люси. Нет, нельзя продолжать этот разговор. Надо быть твердым.

— Все это — не мое дело. Я не хотел бы вмешиваться.

— Нет, нет, я этому рада. — Но она говорила, как человек, которого уже никогда в жизни ничто не будет радовать.

— Давайте, прекратим этот разговор, мисс Шиптон, — сказал Болтон решительно. — Здесь не место. И, кроме того, мне и вам надо делать свое дело, а вам притом надо помнить о положении, которое вы занимаете. На нас уже поглядывают любопытные. Ну, пожалуйста, возьмите себя в руки.

Она сделала над собой громадное усилие и притворилась, будто рассматривает его работу.

— Это для меня страшно важно, мистер Болтон. Вы должны сказать мне, что именно она вам говорила. Все сказать! И я хочу, чтобы вы поняли... Да, да, я знаю, что здесь вести разговор неудобно. Так, может быть, вы в свободное время зайдете ко мне в кабинет... Или мы встретимся на улице.

— «Не забывайте, все! — загремел голос из громкоговорителя, — казалось в зал вошел какой-то металлический гигант, — что сегодня в столовой концерт бригады О.К.О. И артисты уже приехали. Среди них Цыганка Вайолет, которая поет и играет на аккордеоне, потом известные артисты варьете, Долли и Дэн, в своем комическом репертуаре. Помните, что это — ваш концерт...»

Беседовать, сквозь плотную завесу шума было немислимо. Мисс Шиптон, глядя в длинное серьезное лицо Болтона, вдруг совсем неожиданно засмеялась. Это был странный смех, но, как-никак, смех. И Болтон, у которого чувство юмора было не особенно развито, вдруг почувствовал, что с его длинным серьезным лицом происходит что-то необычайное, результатом чего была слабая, за-

стенчивая, дружелюбная усмешка. И, можно сказать, с этого момента Артур Болтон и Эдит Шиптон начали понимать друг друга.

15.

В конце столовой была сооружена маленькая эстрада. Эстрада была очень маленькая, а столовая очень большая. И Долли, выступавшая в «популярном номере дивертисмента, «Долли и Дэн», опять указала на это обстоятельство своему супругу, Дэну Кроли. Оба в этот момент гримировались в крохотной импровизированной уборной, отделенной занавесом от сцены.

— И еще одно, — продолжала Долли, тучная, раздражительная дама лет пятидесяти с лишним, которая сейчас в своем каштановом парике, ослепительном беломалиновом гриме и изумрудно-зеленом наряде походила на очаровательницу эдвардовской эпохи, приснившуюся кому-то в бреду. — Еще одно не забывай. Дэн Кроли: перед нашим выходом в этом зале на столы будет подано пять тысяч порций деревенского пирога и имбирного пудинга!

— Ну и что же из этого? — спросил супруг, занятый раскройкой своего носа, делавшей еще безобразнее его и без того неказистую обрюзгшую физиономию.

— Что из этого? — презрительно пердразнила его Долли. — Можно подумать, что ты новичок в нашем деле. Что из этого! Да ведь мы должны выступать перед ними, вот что! Ты с таким же успехом мог бы выступать на вокзале Ватерлоо!

— Разве я не сказал тебе, что здесь на каждом шагу громкоговорители? Нас будет хорошо слышно всем.

— Если даже и так, — а я в этом сомневаюсь, — нас не будет видно. Держ пари, половина слушателей и не узнает, что мы здесь же, в столовой.

С усталой покорностью мужчины, вынужденного доказывать что-то женщине, Дэн ответил, примеряя ярко-зеленый котелок:

— Если бы наше выступление было бесполезно, нас бы сюда не послали. Тебе следовало послушать передачу «Досуг рабочего», тогда ты сама бы убедилась. Эти концерты производят фурор, я тебе говорю.

— Знаю я этот фурор, не впервые вступаю, — возразила Долли мрачно.

— Ох, да перестань ты, наконец! — рассердился Дэн, — главным образом, потому, что он и сам был вовсе не так уверен в себе, как желал показать.

— Нет, ты перестань! Если ты считаешь, что сумеешь в первом часу дня позабавить здешнюю публику с ее пирогами и пудингом, — так я могу сказать только одно: для этого тебе нужно

быть во сто раз остроумнее и занятнее, чем вчера вечером. Дай папиросу.

— Не надо курить. Побереги голос.

— Моему голосу, — если он еще у меня вообще есть, — повредить не может теперь даже глиняная трубка, набитая фунтом махорки.

И Долли, довольная тем, что в этом обмене мнений последнее слово осталось за ней, закурила папиросу и некоторое время молча наслаждалась ею.

Долли и Дэн Кроли больше тридцати лет подвизались в театрах варьете. Они отнюдь не были звездами первой величины и им не часто приходилось выступать в больших городах, тем не менее все годы у них не было недостатка в ангажементах, и они хорошо зарабатывали, в особенности тогда, когда выступали в пантомимах. Но уже за несколько лет до войны дела их пошли хуже: начинали сказываться и возраст, и отсутствие нового хорошего репертуара, добывание которого стоило все дороже и было им не по карману. Они кое-как перебивались, пока не началась война. Тогда Долли вдруг заявила о своих правах. Она устала кочевать и жить, где попало, ей хотелось иметь свой угол и постоянный заработок, и она настояла на том, чтобы они бросили сцену. У Долли была сестра, вдова, содержавшая гостиницу в Ридинге. Буфет при гостинице давал большие барыши и, когда понадобилось увеличить штат, сестра предложила Долли и Дэну постоянную работу и жилье. Конечно, это не был «свой дом», о котором мечтала Долли, но она подумывала о том, чтобы им самим открыть гостиницу, и предложение сестры казалось ей первым шагом к осуществлению ее плана. Итак, они отправились в Ридинг и прожили там жизнью трудолюбивых пчел полтора года. Долли была весьма склонна остаться там до тех пор, пока у них не будет возможности открыть свою гостиницу. Ей нравилась такая жизнь. Но Дэн никак не мог привыкнуть к ней. Он твердил себе, что он — артист, а не трактирщик. По вечерам он места себе не находил. Случайные встречи со старыми товарищами по профессии и беседы с ними еще больше обостряли чувство неудовлетворенности. И потом — все говорили, что сейчас получить ангажемент легче, чем когда бы то ни было. Некоторые даже утверждали, что сцена оскудела талантами. Дэну посоветовали обратиться в О.К.О. Он слышал по радио несколько концертов, организованных О.К.О. и Радио-Корпорацией в заводских столовых. Гром аплодисментов, которыми рабочие награждали выступавших, вызывал в нем зависть и тоску о прошлом. Ничего не сказав Долли, он написал в О.К.О., а затем и съездил в Друрилен!

Понадобился целый месяц, в течение которого они часто ссорились и дулись друг на друга, но он, в конце-концов, уговорил Долли попытаться осуществить его план. Теперь у них был контракт на три месяца, по которому они за выступления в таких заводских концертах должны были получать вдвоем четырнадцать фунтов в неделю. Это были порядочные деньги, больше, чем они зарабатывали последние несколько лет, что вынуждена была признать даже Долли. И сегодня было их первое выступление. А тут, за каких-нибудь двадцать минут до начала, она вдруг раскисла и, вопреки традициям их профессии, начала жесточайшим образом критиковать все, не беспокоясь о том, что они могут сегодня провалиться, а, может быть, даже втайне желая этого. «Никогда она не была такой в прежние времена» — размышлял Дэн. — «Это ее испортила гостиница». Он и так уж не очень уверен в себе, потому что все это для него ново, и когда человек почти три года не работал на сцене, он не может чувствовать себя уверенно. И в такой момент Долли делает все, чтобы лишить его последнего мужества!

Другая участница концерта, девица, игравшая на аккордеоне, известная под именем Цыганки Вайолет, уже стояла, сильно накрашенная, в полной боевой готовности, по другую сторону эстрады, разговаривая с пианистом и мистером Проскотом. Долли с первого взгляда не влюбилась эту девушку за то, что она «много о себе воображает», и Дэну пришла сейчас идея завести о ней разговор, чтобы дать выход раздражению Долли. Из этих соображений он спросил саркастическим тоном:

— Как ты находишь Цыганку Вайолет?

— Она похожа на цыганку не больше, чем ты, — немедленно отрезала Долли, которая никогда за словом в карман не лезла, когда ей нужно было выразить свою антипатию к кому-нибудь. — Цыганка из Уайтчепеля, — вот она кто! И она еще будет рассказывать, что всегда давала сольные концерты и что ее приглашали участвовать в самых первоклассных программах, — когда я собственными глазами читала ее имя в афише, где объявлялось о выступлении в Де-венпорте «Шестерки веселых малюток», лет двенадцать-пятнадцать тому назад. Ей, конечно, это не нравится. Она имела нахальство отрицать это, глядя мне прямо в глаза. Но я отлично помню...

— Мне кажется, ты права, Долли, — поддержал ее супруг, обрадованный тем, что разговор принял желательный ему оборот.

— Разумеется, права. Их возила по городам старуха Фертинг, эту «Шестерку веселых малюток», и они всегда выступали первым номером, так что ты

себе представляешь, что оставалось этим шести девчонкам после того, как миссис Фертинг забирала свою долю. «Первоклассные концерты», как же! Почему бы не сказать уж сразу, что выступала в Букингемском дворце? Вот здесь не публике она как-раз под стать, им она угодит своим визгом под аккордеон. Это то, что им нужно.

Разговор опять грозил перейти на опасную почву, так что Дэн промолчал и сделал вид, что заканчивает гримировку. Но это не помогло.

— И чего ты сегодня так прихорашиваешься, не понимаю, — воскликнула Долли. — Ты посмотри только, где мы выступаем. Сарай в милу длиной. А ты так возишься со своей старой физиономией, что можно подумать, будто мы работаем в Палладиуме!

— О, господи, боже мой, да перестанешь ли ты сегодня? — вырвалось у Дэна, и он зло посмотрел на жену.

Она ответила таким же взглядом.

— Ах, вот как. Теперь ты начинаешь ругаться, Дэн Кроли!

Он смотрел на нее уже спокойнее, но все так же пристально, минуточку, затем сказал тихо:

— Послушай, Долли, я хочу сказать тебе два слова раньше, чем публика начнет собираться.

— Она уже собирается, — заметила Долли.

Действительно, слышался быстро приближавшийся громкий говор и топот толпы. В этом шуме несущегося человеческого потока было что-то пугающее, и даже Долли это почувствовала. Она отступила в глубь сцены, придвинулась ближе к мужу.

— Ну, что же ты хотел сказать?

— Ты извини, Долли, что я вспылал. Это от нервов. Да, я нервничаю. И насчет грима ты совершенно права... Но я хотел придать себе уверенности, понимаешь?

— Понимаю. Эх, ты, старый дурак! — Это было сказано скорее любовно, чем презрительно.

— Что я стар, это верно. Долли, — продолжал Дэн, серьезно глядя на нее. — Не забывай, что мне уже за шестьдесят. И я без малого три года не занимался своим делом. И обстановка здесь совершенно новая. Для меня я — не знаю как для тебя, Долли, я говорю сейчас только о себе — для меня очень многое зависит от того, будем ли мы сегодня иметь успех у публики.

Долли хотела что-то сказать, — судя по выражению ее лица, что-то примирительное, — но он торопливо остановил ее жестом:

— Нет, дорогая, дай мне договорить. Я редко спорил с тобой, но эта затея с гостиницей мне все время была не по нутру, в особенности жизнь в Ридинге,

потому что твоя сестра меня никогда не жаловала, — и не скрывала этого, а я тоже невысокого мнения и о ней, и об ее компании. Я — профессиональный актер. Всегда им был и ничем другим быть не могу. В этом — моя жизнь. Если на сцене я больше не нужен, то для меня все кончено. Лучше умереть.

— Ну, ну, не говори глупостей, Дэн, — возразила Долли, более взволнованная серьезностью его тона, чем хотела показать.

— Это не глупости, а истинная правда. И вот еще что: мне все время хотелось делать что-то для обороны страны, — так же, как все эти люди здесь. Если я смогу хотя бы немного позабыть их, заставлю их хотя бы ненадолго забыть свои несчастья и заботы, если помогу им скоротать долгий рабочий день, — я буду и горд, и счастлив. Да, да, я буду удовлетворен своей работой больше, чем был в течение многих лет. Ну, а если я им не ужогу, — тогда не знаю, что делать. Тогда конец. Видит бог, Долли, я не преувеличиваю. Ты всегда была мне доброй женой...

— И была и есть, старый дурачок, — воскликнула она, совсем растроганная.

— Да, да, знаю. Так вот, если даже тебе и не нравится здесь, если ты жалеешь, зачем мы взяли этот ангажемент, — все равно, постарайся ради меня, дорогая! Попробуй. Может быть, все будет хорошо.

— Постараться! Да за кого ты меня принимаешь? Разве я не работаю на сцене почти столько же времени, сколько ты? И разве про нас с тобой не твердили все, что мы никогда не сдаемся? Право, Дэн, не следовало тебе говорить такие вещи только из-за того, что я немного поворчала. Неужто я способна подвести тебя и провалить спектакль! Придет же такое в голову! И, пожалуйста, не расстраивайся попусту. Ты свое дело знаешь лучше всякого другого, и, я уверена, они съедят все, что ты им поднесешь, с таким же удовольствием, как свои пироги да имбирный пудинг. Разве мы не выступали по субботам перед моряками и в Глазго, и в Саутси, и в Девенпорте? А здесь еще легче угодить. Положись на меня, Дэн.

И она тут же доказала, что сумеет за него постоять. В эту минуту к ним подошли пианист и мистер Прокот, чтобы предупредить, что сейчас последний сделает коротенькое вступление и затем программа начнется их диалогом. Долли уловила испуг в глазах мужа и тотчас поняла причину, ибо в громадном помещении столовой стоял теперь ужасающий шум. Да и у нее самой заколотилось сердце.

— Нет, погодите минутку, мистер Прокот, — сказала она решительно. — Так не годится. Для нас такие концерты —

дело новое, а для мисс Вайолет — нет. Кроме того, у нее номер музыкальный, а музыкальные номера всегда легче пропустить первыми. Мы ничего не хотим отнять у нее и не требуем предпочтения, несмотря на то, что мы — давнишние любимцы публики. Пусть она выступает первая, исполнит половину своей программы, а затем опять выступит после нас, так что большой прощальный взрыв аплодисментов достанется ей. Так будет лучше всего. Верно, Дэн?

Дэн проглотил слюну и сказал, что верно.

Пианист, зная нрав Цыганки Вайолет, был в нерешительности, но м-р Проскот, который произвел на Долли и Дэна очень хорошее впечатление, согласился, что так будет лучше всего. Он и пианист отошли, и видно было, как они убеждали Вайолет. В конце-концов она согласилась.

— Слава богу! — сказал Дэн.

— Меня благодарят, а не бога, — поправила его Долли.

Он положил ей на плечо дрожавшую руку. А она, чувствуя, что никогда еще за последние годы он не был ей так близок, как в эту минуту, прикрыла его руку своей.

— Да, спасибо тебе, любимая. Что бы ни случилось, я никогда этого не забуду.

— Случится только то, что мы себя покажем и будем иметь успех, вот увидишь.

Мистер Проскот стоял уже у микрофона и с обычной веселой непринужденностью, вызвав своими остротами несколько взрывов смеха, возвестил о начале концерта. Раздавшиеся в ответ хлопки были странно непохожи на те, которые Долли и Дэн привыкли слышать шесть вечеров в неделю в продолжении тридцати лет, — так же, как непохожа была эта громадная ярко освещенная столовая на уютные театрики, где они выступали. Но все же это были аплодисменты. И они означали, что незнакомые, загадочные тысячи людей, сидевшие за столами, ждут развлечения. Что еще мог желать старый профессионал?

Пианист отбарабанил две-три популярные вещицы. После него выплыла цыганка Вайолет со своим аккордеоном, вертясь и стреляя глазами, как десять цыганских королей. Она спела душераздирающий любовный романс, спела веселую разудалую песенку, и в зале загремели аплодисменты, как страшный град по железной крыше. Где бы ни появлялась раньше цыганка Вайолет — в «Шестерке Веселых Малюток» или на «концертах высокого класса», — нельзя было отрицать, что она умеет «глушить» слушателей своим дрянным репертуаром. Она их, что называется, разогрела и подготовила Долли и Дэну хороший

прием. «Но так ли это?» — спрашивала себя Долли. — «Или, может быть, им нужны только цыганки с аккордеоном?» — А сейчас, товарищи, — выкрикивал между тем у микрофона мистер Проскот, — выступают известные артисты варьете, Долли и Дэн в своем репертуаре.

— Выходи, дружок, — крикнула Долли сквозь шум аплодисментов дрожавшему от волнения старому актеру, бледному под размазанной маской клоуна. Дэн всегда первый выходил на сцену. — Выходи и не волнуйся, сойдешь!

Дэн много дней не расставался со своей записной книжкой, в которую он вносил, после зрелого размышления, различные остроты на злобу дня — о Гитлере и Муссолини, о лорде Вултоне и продовольственных карточках, оборонной работе и так далее. Эти отсебятники должны были доказать публике, что он артист передовой, откликающийся на все современные события. Но в ту минуту, как он, дрожа и спотыкаясь, как слепой, вышел на маленькую эстраду без рампы, ничем не отделенную от толпы зрителей, окунувшись в этот яркий свет и шум, все время настойчиво твердя себе, что надо подойти прямо к микрофону, иначе его не услышат, — в ту минуту он не мог вспомнить ни единого слова из всех приготовленных им острот на злобу дня. Все они бесследно испарились из его памяти. Ему нечего сказать. Он пропал.

Он кое-как добрался до микрофона, лихорадочно сплетая и расплетая пальцы, но сохраняя на лице широкую глупую улыбку. Для зрителей этого оказалось достаточно. Они нашли, что у него забавный вид, и встретили его смехом. Затем стали ждать, чтобы он заговорил. А он не мог. Он совершенно растерялся.

Его и на этот раз спасла Долли. Высунув голову из-за занавеса сбоку, она прокричала во весь свой могучий голос:

— Ну, как ты себя чувствуешь, милый?

— Ужасно, — ответил Дэн, не сознавая, что говорит в микрофон. — Я выдохся.

Репетируя он эту фразу целую неделю, — и то он не добился бы такого забавно испуганного тона. Тон этот показался публике до того комичен, что зал так и грохнул смехом, дав Дэну время опомниться. Дэн счел это хорошим знаком: он понравился. Ну, и бог с ними, с новыми остротами, — и старые сойдут. Эти старые без всякого усилия с его стороны воскресли в памяти, словно разбуженные знакомыми звуками смеха. Тридцать лет гастролей пришли к нему на помощь. Он отпускал одну шутку за другой. Потом, каким-то чудом, начал вспоминать некоторые из новых, и успех его все рос. Так прошло пять минут, из которых каждая была лучше предыдущей, — и на сцену вылетела Долли, уже

завоевавшая симпатии публики своей неожиданной репликой вначале, — Долли, столь уверенная в себе, как будто она много лет выступала в заводских столовых, — изумрудно-зеленый, бело-малиновый линейный крейсер, идущий в бой. И оба актера, пустив в ход давно испытанные приемы, с присущей им живостью и непринужденностью начали свой номер. Они то весело переругивались, то пели хриплыми голосами, то опять принимались болтать, — и пожинали лавры. В зале все время раздавался смех и хлопки.

Так в обеденный перерыв на военном заводе, в час передышки от тяжелой работы, толстая и немолодая женщина, накрашенная и наряженная самым неподобающим образом, и пожилой размазанный шут кривлялись и выкрикивали на грубом жаргоне пошлые устаревшие шутки, проделывая все без всякого изящества и остроумия. А тысячи рабочих всех возрастов глазели на них, подзадоривая, гогоча и визжа от смеха, превратившись в массу бездумных глаз и ушей, разинутых ртов, орущих глоток, хлопающих рук. Странное и без сомнения жалкое зрелище!

Но здесь царила атмосфера блаженно-го отдыха и безобидного веселья. Люди становились как-то добрее. Казалось, здесь витала какая-то таинственная надежда, о которой не говорилось, о которой не думали, в которой даже не отдавали себе отчет, на которая жила постоянно где-то в глубине сознания — вера в окончательное освобождение человека. Никто в огромном зале не сознавал этого, но где-то под той поверхностью мозга, из которой исходили эти шутки над нелепостями нашей жизни, где-то в глубоких тайниках души почти все чувствовали это — и оно подкрепляло, обновляло силы. «Веселее немощно становится», — говорил один другому. И другой соглашался: «Да, все-таки развлечение».

«Приди, приди, мне нужен ты один», — пела цыганка Вайолет в своем заключительном, самом знаменитом номере, рассчитанном на бурные овации.

А за занавесом, где их никто не видел, обнимались Долли и Дэн, не зная, — плакать им или смеяться, всё еще глубоко взволнованные, измученные и опьяненные успехом.

— Это все благодаря тебе, старушка, тебе одной, — говорил Дэн.

— Нет, мы оба играли одинаково, — возразила Долли. — И ведь ты был прав, Дэн. Народ здесь славный. Отличный народ. Они заслуживают, чтобы мы для них старались изо всех сил. И этот ангажемент доставит нам много радости.

— Ну, конечно, конечно, — подтвердил Дэн. — А что, как ты думаешь, нас еще будут вызывать в конце?

16.

У Фрэнсиса Блэндфорда было одно несомненное достоинство: если он обещал что-нибудь сделать, он делал это. Он дал согласие на переход Фреды Пиннель из его канцелярии в цех после того, как она подучится вместе со всеми новичками. И вот — Фреда в учебном цехе. Будучи из тех удачливых людей, которым сразу плывет в руки все, чего им хочется, она нашла очень эффектный халат в крупных темно-малиновых цветах, который чрезвычайно шел к ней и хорошо облегал ее фигуру. Учебный цех давно не видел такой красавицы, но почему-то пока не особенно ценил выпавшее ему на долю счастье. Так, по крайней мере, казалось мисс Пиннель, а она была наблюдательна.

«Учебная комната», как ее называли, была небольшой пристройкой к главному зданию, и в ней помещалось с десятком машин и несколько верстаков. Работу здесь делали настоящую, поступавшую из других цехов, хотя главной целью было ознакомление новичков с машинами и процессами производства. Конечно, темп работы был гораздо медленнее и вся обстановка спокойнее, чем в большом грохочущем соседнем цеху. Большинство новичков составляли девушки и женщины, но было тут и двое мужчин средних лет и несколько мальчиков-подростков, которых обучали основательнее, чем других. Заведывал учебным отделением рабочий, которого все звали не иначе, как «Джок». Это был сухопарый меланхолический шотландец с безобразными зубами, но добрыми глазами, напоминавшими Фреде глаза ее шотландской овчарки. Фреда была удивлена и втайне обижена тем, что ее красота не производит на Джок ни малейшего впечатления.

Фреда вовсе не считала себя такой уж неотразимой. Но она думала, что среди этих угрюмых серых людей ее красота, самоуверенность, изысканность и живость речи, ее дерзкий и в то же время приветливый тон, все то, чем она выделялась среди секретарш и конторщиц, как большой рубин среди гальки, здесь сделает ее еще более заметной и будет действовать на всех.

Однако ничего подобного не было. Фреда говорила себе, что это, собственно, не имеет значения. Ей все равно. Ее ничего особенно не трогает — только бы не скучать. Быть может, оттого, что они выросли в мрачной старой усадьбе, которую темной стеной обступили плакучие деревья, все Пиннели ужасно боялись скуки. И вышли они из своей крепости завоевывать мир, вооруженные только страхом скуки, этим главным, а может быть, и единственным своим принципом. Но, так как бессмысленная, на

взгляд Фреды, возня с машинами была для нее чем-то совершенно новым и нелепо-неожиданным, то Фреда ничуть не скучала.

Ее теперешняя работа, с которой Джок знакомил ее так необычайно серьезно и торжественно, как будто поручал ей доставить на самолете в Москву Уинстона Черчилля, состояла в подаче металлических пластинок на сверляльный станок. В ней не было ничего трудного: можно было делать ее, думая о другом. Но как-раз сейчас Фреде не о чем было думать. Она была бы не прочь иметь предмет для размышлений: она только-что покончила с одним неудачным романом, решительно изгнав его из своих мыслей, а нового пока еще не предвиделось, — так что мысли ее были никем не заняты. В учебном цехе ее поразило только одно, — что здесь все мужчины, от Джок до самого младшего ученика, удивительно некрасивы. Но стоит ли об этом думать?

— Ну, как у вас идет работа? — спросил Джок.

— Хорошо, — ответила она лаконично. — А долго мне придется делать это?

— Гм... Я думаю, дня два.

— Ох! А нельзя мне завтра попробовать что-нибудь другое? — спросила она.

Джок ответил не сразу. Он взял в руки одну из просверленных ею пластин и внимательно осматривал ее, как бы в надежде, что Фреда сделала что-нибудь не так. Но все было как следует. Фреда принадлежала к числу людей, в жизни легкомысленных и беспечных, но умеющих работать и быстро, и добросовестно.

— Что ж, ладно, — произнес Джок как-то уныло. — Я, пожалуй, переведу вас на другую работу сегодня после обеда. Да, пожалуй, можно будет... Слушали концерт в столовой?

— Слушала, — живо ответила Фреда. Она рада была поболтать, хотя бы с Джоком. — Цыганка просто кошмарная, но старые комики — ничего, они мне понравились. А вам?

— Тоже. Я все время хохотал, — признался Джок. Затем неожиданно спросил:

— Вы замужем?

— Нет. А что?

— Некоторые шутки нравятся больше замужним женщинам. Слышали, как они верещали от смеха? Да, так вот, — заключил он, снова впадая в обычную меланхолию, — вы не забудете того, что я вам говорил насчет свера, а? Ну, ладно.

Джок удалился. Фреда продолжала работать, равнодушно и лениво размышляя о своих родных — семья Пиннелей состояла из восьми человек и все разбрелся в разные стороны, — о друзьях. С большинством из них она не виделась целыми месяцами. Вряд ли это были настоящие друзья. Фреда любила заводить

знакомства, и у нее их было множество, так как она легко и просто подходила к людям. Но мало кому удавалось пустить прочно корни в ее жизни.

Следующее развлечение доставила Фреде маленькая женщина у соседнего станка. Она вдруг перестала работать и стояла с растерянным видом. Это было трогательно-жалкое существо с волосами мочалкой, лоснящимся, похожим на пуговку носом и всегда вяло опущенными углами рта, выражавшего робость и беспомощность. Фамилия у нее была необычная и потому запомнилась Фреде: маленькую женщину звали миссис Фью¹. Ей, наверное, долго пришлось искать мужа с такой подходящей фамилией!

— Что у вас случилось? — окликнула ее Фреда. И, как-раз закончив пластинку, остановила свою машину и подошла к соседке.

— О-ох, мисс, — плачущим голосом сказала бледная и сразу как-то поникшая миссис Фью, — боюсь, уж не сломала ли я ее. Как вы думаете?

— Нет, вряд ли, — возразила Фреда. Ей не верилось, что такая миссис Фью способна на что-либо большее, чем разбить чайную чашку. — Давайте посмотрим.

Но машина была не такая, как у нее, и, конечно, несмотря на мину знатока, с которой Фреда принялась ее осматривать, она ничего не могла сказать. У машины явно был упрямый и неблагоприятный вид.

Облегчая душу, миссис Фью затараторила с бешеной быстротой, словно решила единым духом рассказать всю историю своей жизни.

— Видите ли, мисс, — начала она торопливо, извиняющимся тоном. — Я к этой работе непривычна, врать не буду. Здесь все для меня ново, все непривычно. Девушкой я служила в большой кондитерской — и больше нигде никогда, и ни за что не ушла бы оттуда, если бы не вышла замуж. Уж так ко мне там все хорошо относились!.. И все по имени называли... Но, когда мы поженились, муж не позволил мне там остаться. Он работал по строительной части и далеко не постоянно, не то, что я, ни одной недели не пропустила за все время... Ну, а теперь он, конечно, в Добровольной пожарной охране, и там ему по нынешнему времени не плохо, — конечно, чего теперь можно ожидать... Ну, и, кроме того, он начал учиться сапожному делу... Вот, — протянула она высоким певучим голосом, словно собираясь пропеть остальное, — вот я ему и говорю: «Отчего бы мне не попробовать, — говорю. — Раз там новичков

¹ «Фью» — по-английски означает «немножко».

учат, как все делать. А здесь сказано, что учат», — говорю. — Это в объявлении от завода было сказано, а я прочла. С объявления все и началось... Ну, мой муж и говорит: «Что ж, говорит, милуша, фронту, конечно, нужно как можно больше самолетов. Только смотри, как бы ты нам все дело не изгадила». — «Не понимаю, что ты хочешь сказать, Гарри? — спрашиваю. Мне и невдомек, что это он пошутить захотел. — «Как так изгажу?» — «Ну, — отвечает Гарри, — сама знаешь, какие у тебя руки. Прямо сказать, косолапая ты у меня». — «Перестань, Гарри, — говорю я ему, — это несправедливо, говорю. Просто, я незадачливая, не везет мне, вот и все. И ведь я сама тебе об этом рассказывала...»

Тут миссис Фью сделала паузу — отчасти ради драматического эффекта, отчасти чтобы перевести дух.

— А почему это вы ему сказали, что вы незадачливая? — спросила Фреда.

Миссис Фью, видимо, уже забыв о своей машине, сделала таинственное лицо и прикрыла руку Фреды своей горячей маленькой ладонью.

— Ходили вы когда-нибудь к мадам Эльмире в Клиторпс? — спросила она, сощурив глаза и вытянув вперед голову, как линяющая змея. — Нет? Ну, а я ходила раз. Она и на картах гадает, и на стекле. За всё пять шиллингов. И вот она мне в тот раз и говорит: «Вы встретите брүнета». (И верно — это был Гарри, мой муж). «У вас, — говорит, — доброе сердце и широкая натура, у вас будет много друзей, но некоторые из них вас подведут, пользуясь вашей доверчивостью. Вы, — говорит, — будете счастливы в любви». (И это верно потом оказалось...) «Но, — говорит, — в делах своих вы будете несчастливы». — «В каких это, — спрашиваю, — делах?» — «Во всяких делах и вещах. От вещей вам будут большие неприятности», — говорит она. — «Они будут ломаться или не слушаться вас». — И еще много чего мне наговорила. И все верно, каждое слово. — Конечно, — прибавила миссис Фью с некоторой меланхолической гордостью, — если бы они меня спросили, когда я в первый раз пришла сюда, я обязана была бы сказать им про это. Но никто меня не спрашивал.

— О чем это вас не спросили? — вмешался Джок, незаметно подошедший к ним.

Выразительное лицо миссис Фью сразу же сигнализировало тревогу и растерянность, и Фреда почувствовала, что следует великодушным жестом отплатить за развлечение.

— Вы ей не объяснили, что делать, когда машина вдруг останавливается, — сказала она, обращаясь к Джоку. И оставила их вдвоем.

Вскоре после этого в учебный цех

пришел посетитель. То был Энглби, с которым Фреда несколько раз встречалась в кабинете Фрэнсиса Блэндфорда. Этот серьезный молодой человек в отках казался ей скучным и чопорным. Но она с первой встречи заметила, что он поглядывает на нее с интересом и почтительным восхищением, и, ощущая сейчас потребность в том и другом, поманила Энглби рукой. Тот подошел к ней, как только закончил деловой разговор с Джоком. В глазах его за очками светилась все такой же, даже как будто более горячий интерес и восхищение.

— Ну, как вам тут нравится, мисс Пиннель?

Она ответила, что нравится, но пока скучновато, и что она надеется убедить Джока сократить срок ее обучения. Раз она уже бросила контору, то чем скорее она перейдет на настоящую заводскую работу, тем лучше.

— Конечно, конечно, — сказал Энглби без улыбки. — Если такая девушка, как вы, захочет отнестись к делу серьезно, она, несомненно, быстро выдвинется. У нас уже не одна женщина выполняет очень ответственную работу, в особенности в сборочном цехе.

Его неизменная серьезность даже чутьточку отдавала напыщенностью, и Фреде ужасно захотелось сказать что-нибудь такое, что испугало и шокировало бы его, но в эту минуту она не могла ничего придумать. Она говорила себе, что этот юноша легко мог бы разбудить в ней самые худшие инстинкты — разумеется, если бы она ему это позволила, — но что он ей недостаточно нравился, чтобы стоило с ним возиться.

— Знаете, что меня поражает? — сказала она легким тоном. — Я уже и раньше ломала над этим голову. Отчего это все здесь так ужасно некрасиво? Посмотрите хотя бы на ту небольшую компанию, что собралась у нас в учебном. Посмотрите на всех других в столовой. Уроды! Уроды всех сортов. Гномы, тролли. Карлики. Почему это, а?

— Вы в самом деле хотите знать, почему? — спросил Энглби, внимательно глядя на нее.

Ох, этот его торжественный вид!

— Да, хотелось бы. Конечно, не скажу, чтобы мне этот вопрос не давал спать по ночам, но он меня интересует.

— А есть такие вещи, которые не дают вам спать по ночам, мисс Пиннель?

Фреде почудилось в его голосе резкая нота горечи.

— Нет, собственно, таких мало. Правда, моя квартирная хозяйка в последнее время завела привычку жарить на ужин мешанину из перестоялого картофельного пюре и всяких оставшихся от обеда овощей, а эта стряпня очень плохо переваривается и беспокоит меня ночью...

Но объясните же, почему большинство этих людей такие безобразные?

— Потому что они с самого рождения живут в возмутительно скверных условиях, — сказал Энглби тоном обвинителя. — Плохое питание. Плохое жилище. Отвратительно живут!

— Понимаю. Пожалуй, вы правы.

— Разумеется, прав, — сказал он твердо.

— Но вы смóтрите на меня так грозно, как будто я в этом виновата, — Фреда подняла брови и широко открыла глаза. Для этого понадобилось на минуту оторваться от работы, но она могла себе это позволить, она и так уж сделала немало.

— Простите, я не знал, что так смотрю... А виноват, конечно, главным образом, тот класс, к которому вы принадлежите.

— Ну, вот, начинается!.. Я не принадлежу ни к какому классу, — возразила Фреда все тем же легким тоном. — С этим кончено. Да и вообще в нашей семье никто не придавал происхождению большого значения. У нас нет ни гроша за душой и все мы — взбалмошные головы. Вы социалисты?

— Да. Уже много лет.

Как он говорит это! Можно подумать, будто он с 1885 года ораторствует на всех перекрестках. Вот идиот!

— Ладно, не вздумайте только меня агитировать, мне не до того. Да и слышала я уже все это раньше! По-моему, это устарело.

— А по-моему, — сказал Энглби все так же твердо, — вы сами не понимаете, что говорите.

«Ого! Как он бсмелел!» — сказала себе Фреда и, обратив на Энглби мощный прожектор своих красивых глаз, констатировала, что на нем несэлегантный коричневый костюм, рубашка и воротник в голубую полоску, а галстук темно-зеленый! Какое безобразное сочетание!

— Ну, знаете, этот галстук совсем сюда не подходит, — объявила она. — Вы думаете, что, если вы приходите сюда на работу, так можно одеваться как попало?

— Совсе нет. Просто я никогда особенно не забочусь о своей внешности. Я не франт.

— Теперь франтов нет, — возразила Фреда с некоторым раздражением. — Вам бы следовало это знать. Но это еще не значит, что все могут разгуливать одетые так безвкусно. Впрочем, это меня мало интересует.

— Ах, так? Я разочарован. Мне казалось, что вы начинаете мною интересоваться.

— Должно быть, в кругу инженеров это считается милой игривой шуткой! О, господи! Знаете, это не ваш стиль, сказала

она ему. — Так что вы это бросьте. Как поживает Фрэнсис Блэндфорд?

— Можно подумать, что прошли месяцы с тех пор, как вы его покинули, — усмехнулся Энглби. — Он здоров, у него сейчас очень много дела, потому что мистер Чевииот в отъезде.

— Фрэнсис это любит. Его жена Элисон — она моя кузина, вы знаете? — боготворит его, — за что, одному богу известно. Но даже она постоянно твердит, что Фрэнсис невероятно честолюбив.

— Меня это не удивляет, — он сказал это как-то смущенно, быть может, находя неблагоприятным участвовать в этих дамских пересудах за спиной у человека.

— Мое личное мнение, — продолжала Фреда развязно и громко, — что Фрэнсис — человек умный, но вредный.

— Мисс Пиннель!

— Если вы считаете, что мне не следует этого говорить, а вам слушать, так лучше уходите. Повторяю — в основном Фрэнсис человек вредный. И, если вы рассчитываете что-нибудь выиграть тем, что будете у него на побегушках, так я вам говорю, что вы сами напрашиваетесь на одни только унижения и разочарования. Я недостаточно знала Фрэнсиса, пока не поступила к нему секретарем. Встречалась с ним несколько раз, когда навещала Элисон, и только. Но за последние несколько месяцев я его хорошо рассмотрела. Ведь я работала с ним с утра до глубокой ночи. И теперь чувствую к нему глубокую антипатию, так же, как он ко мне. Он — из тех, что ничего не сделает, если у него нет на то тысячи оснований, но за этими мотивами кроются другие — понимаете, что я хочу сказать? — и главные свои мотивы он всегда хранит при себе.

— И еще одно, — продолжала Фреда, к неудовольствию Энглби ничуть не понижая голоса. — Все Блэндфорды — гордецы и в высшей степени самодовольны. Знаете, старая землевладельческая знать, аристократические традиции и все такое. А Фрэнсис хуже всех, потому что у него двоякая возможность выдвинуться. Он — хороший инженер...

— Да, он очень способный инженер, — ввернул Энглби, обрадованный тем, что услышал, наконец, хоть что-нибудь одобрятельное.

— Так что никто не может сказать, что он — отсталый или бесполезный член общества. Но его позиция полезного и современного человека только прикрывает фамильную спесь и прочее в этом роде. А так как чувство юмора в нем развито слабо и не может служить противовесом, то он, должно быть, втайне чорт знает, как много о себе воображает. Конечно, он умен и осторожен, они при каких обстоятельствах глупос-

тей не наделает... Ну, а я люблю таких, которые делают глупости.

— Рад это слышать, — сказал Энглби, заметно повеселев. — Я всегда делаю глупости.

— Да, но я не говорю, что люблю людей только за это. Вовсе нет. Пожалуй, вернее было бы сказать, что я не люблю таких, которые никогда не делают глупостей... Мистер Энглби, вас кажется зовут!

Энглби обернулся и увидел, что Джок делает ему знаки. Цветные лампочки, вспыхнувшие в углу, показывали, что его вызывают к телефону.

— Сейчас иду! — крикнул он, но ушел не сразу. Он еще раз посмотрел на Фреду, которая готовилась продолжать работу.

— Не понимаю я вас, мисс Пиннель, — промолвил он как-то уныло, — точь в точь полицейский инспектор, уговаривающий заподозренных сознаться в преступлении.

— И не трудитесь. Где вам меня понять, — отозвалась Фреда, стараясь не показать, что она довольна.

— Вы меня очаровали, — продолжал Энглби серьезно и настойчиво. — Отчасти, конечно, вашей наружностью — вряд ли нужно вам говорить, что она... гм... скажем прямо — губительна...

— Говорите, если хотите, но у вас это звучит ужасно фальшиво, — как что-то, подхваченное у других... и пущенное вами в ход.

Но он не слушал ее.

— Да, ваша наружность. И то, что вы — новый для меня тип... Чуждая среда и все такое. Просто удивительно, как много все это иногда значит! Но в то же время я вас никак не понимаю.

— И очень хорошо. Я вовсе не желаю быть понятой.

— Я вас совсем не понимаю. То вы рассуждаете очень здраво, то вдруг гордите чепуху, как какая-нибудь дурочка.

— Что-о?

— Ни малейшего чувства ответственности, как будто вы — десятилетний ребенок, которому нужно только, чтобы его забавляли.

Фреда рассердилась не на шутку.

— Какой вы грубиян!

— ...И, если бы вдруг оказалось, что в моей власти выгнать вас отсюда, чтобы и духу вашего здесь не было, — не знаю, что я бы решил... Ну, пока!

И он ушел почти бегом, как человек, понявший, что теряет даром драгоценное время.

Фреда была в бешенстве. Нет, каково нахальство! Ей приходили на ум одна уничтожающая реплика за другой. Любая из них могла бы дать ему почувствовать, какой он самонадеянный осел. И все это только потому, что она от скуки позволила ему стоять и болтать с

нею. В следующий раз, когда он явится сюда, она просто не будет его замечать... Но тогда она не сможет высказать ему всего того, что думает о нем! И он вообще, что серьезно задел ее, а надо, чтобы он знал, что он ей просто смешон и она его презирает. Нет, лучше она скажет две-три пренебрежительных фразы и затем уже перестанет его замечать. Вот это мысль!

Выработав, таким образом, план кампании, Фреда пожалела, что Энглби уже не вернется сегодня и нельзя будет сразу ее начать. А что, если он вообще не придет, если она не увидит его долго? Нет, — решила Фреда, — это надо как-нибудь устроить.

17.

Морис Энглби никак не подозревал, что Фреда Пиннель по его уходе будет думать о новой встрече. Его последние слова вовсе не были тактическим маневром. Он говорил то, что думал, говорил не столько для нее, сколько для себя. Он кривил душой только тогда, когда пытался внушить Фреде, что ее внешность играет лишь малую роль в том влечении, которое он испытывал к ней. На самом же деле, — как он признавался самому себе, уходя от Фреды, — ее яркая красота, эти черные глаза, тонко очерченный профиль, сочные, вызывающе-чувственные губы, великолепные линии ее тела, — все будило в нем изумленное восхищение. А за этим, — как он уже намекнул Фреде, — крылось и таинственное обаяние, с которым он тщетно боролся, — обаяние чуждой ему среды, незнакомой жизни, ее детства, семьи, странного экзотического воспитания. Он досадовал на свою впечатлительность. Ведь он всегда сурово критиковал классовую систему Англии за то, что она, по его мнению, не обогащала жизнь, а, наоборот, истощала ее потенциальное богатство, ибо энергия, которая могла быть использована для повышения всеобщего жизненного уровня, тратилась на сооружение нелепых барьеров и удовлетворение низких appetitов. А эта девушка, что ни говори, работает на заводе не так, как он и большинство других, — нет, она только играет в работу, устроила себе нечто вроде развлечения военного времени. И если он, Морис Энглби, сохранил хоть каплю здравого смысла, он должен решительно, раз навсегда, выбросить ее из головы.

Поднимаясь по лестнице, наверх, где его, вероятно, уже ждали на совещании, Энглби напоминал себе о пройденном им долгом пути, о годах упорной работы, о всяких жертвах, принесенных не только им, но и его родителями, чтобы он мог достичь того, чего уже достиг сейчас, и еще большего. Конечно, это большое счастье, что у него ответствен-

ная и нужная стране работа, что ему не пришлось околачиваться без дела в какой-нибудь воинской части: ведь, если бы его призвали, то при его слабом зрении и сомнительном здоровье быть бы ему где-нибудь писарем или вестовым, или чем-нибудь в таком роде. Заработок, который, наконец, начинает уже представлять собой кое-что, не играет для него большой роли, к тому же — ирония судьбы! — теперь, когда он уже в состоянии помогать семье, она больше не нуждается в его помощи. Живет он очень скромно и не может жить иначе хотя бы потому, что у него сейчас нет ни времени, ни возможности тратить много денег. И по-настоящему радуется он только одно: он добился, наконец, того, что поставил себе целью много лет назад, когда он, сын рабочего, сидел, напрягая воспаленные глаза, над учебниками в убогом домишке одного Вулверхемптонского переулка, и руки и ноги у него мучительно болели от холода.

Среди этих воспоминаний вдруг ярко мелькнула опять мысль о Фреде Пиннел, но он тотчас отогнал ее. Ибо сейчас, на фоне его собственной жизни, эта девушка (и все такие девушки) казалась чем-то нереальным, невероятным, до смешного неуместным.

Он предполагал, что его вызвали для участия в совещании. И, поднявшись на верхнюю площадку, где находились кабинеты администрации, убедился, что догадка его верна. Из комнаты заседаний доносились сердитые голоса. Эрик ревел, как бык. Энглиби все еще не мог решить, как ему отнестись к Эрику. Пока ему мало приходилось иметь дело с главным инженером. Его крошечный отдел был создан Блэндфордом. Он, конечно, знал, что Блэндфорд и Эрик друг друга терпеть не могут. Он и сам это замечал и об этом говорили все. Дойдя до дверей зала, он сказал себе, что ему еще рано становиться в этой расправе на чью-либо сторону. Морис Энглиби был человек независимого образа мыслей, — гораздо более независимого, чем думали окружающие, его внешность и манера держать себя были обманчивы.

В комнате, где происходило совещание, он застал картину, напоминавшую акт какой-нибудь драмы. Блэндфорд, бледный, с ледяным выражением лица, видимо, изо всех сил сдерживаясь, сидел во главе стола. Эрик, пылая малиновым румянцем, распираемый гневом, стоял у противоположного конца. А за столом между ними сидело пять-шесть человек, лица которых выражали все градации чувств, от сильнейшей досады до простого замешательства. Энглиби почувствовал себя в положении человека, который, опоздав в театр, занял место у самой рампы и перед ним разыгрывается сильно драматическая сцена

из какой-то неизвестной пьесы. Мысль эта вызвала у него невольную усмешку.

— Что вас так веселит? — спросил Эрик неприятно вызывающим тоном.

— Пока ничего, — отозвался Энглиби. — Может быть, здесь у вас развеселюсь.

— Такое веселье не в моем вкусе, — пробурчал один из присутствующих.

— Я просил вас зайти, Энглиби, — начал Блэндфорд, чуть-чуть усмехнувшись, — потому что у нас здесь резко расходятся мнения относительно работ по изготовлению шасси Д-5. Аргументы, которые я приводил, основаны на некоторых фактах из вашего доклада.

— Я этот доклад читал, — поспешно вмешался Эрик, обращаясь к Энглиби. — Так что не трудитесь излагать его. Кстати, должен вам сказать, у вас там попадаетесь очень интересный материал.

— Спасибо, — отозвался Энглиби, зная, что Эрик хвалит его вовсе не затем, чтобы заручиться его поддержкой. Он обвел взглядом Блэндфорда и остальных. — О чем же именно у вас спор?

— А очень просто... — начал Эрик пальчиком.

Но Блэндфорд постучал по столу. Кожа на его переносице так туго натянулась, что, казалось, она вот-вот лопнет, ноздри побелели. Видно было, что где-то за этой серой маской кипит страшный гнев.

— Это еще что? — крикнул Эрик, презрительно уставившись на него. — Председательские штучки? Призыв к порядку? Или что?

— Ну, ну, Боб, — сказал один из присутствующих устало. — Бросьте вы это! — Бросить? Что бросить? — накинулся на него Эрик.

— Мы теряем драгоценное время, — сказал Блэндфорд резко. — И должен вам напомнить, что это время принадлежит государству.

— Тогда зачем вы помешали мне объяснить Энглиби, в чем мы не согласны? — спросил Эрик.

— Затем, что вам не полагается делать, что вам угодно. Здесь начальник — я.

На этот раз Блэндфорд повысил голос и не пытался скрыть раздражения.

Одно мгновение казалось, что Эрик, теперь уже багровый и тяжело дышавший, сейчас взорвется, как бомба. Но он шумно глотнул воздух и, словно проглотив вместе с ним свою ярость, пробурчал:

— Сейчас вернусь, — и вышел из комнаты.

С минуту царил молчание. Затем мастер Гейстон заметил:

— То же самое было и в прошлый раз, когда мистер Чевит уезжал. Боба Эрика не урезонишь.

Блэндфорд, видимо, сразу овладев собой, как только ушел Эрик, спокойно пояснил Энглиби, что обсуждался вопрос о дальнейшем производстве шасси марки Д-5. Вчера

все сошлись на том, что обработка подсобными машинами освобождает квалифицированных рабочих и даст возможность заменить их на работе женщинами. Нет надобности напоминать, что заводоуправление обязано делать это, где только возможно. Но Эзрик категорически против этого и даже не захотел толком обсудить вопрос.

Тут Боулс, старший инструментальщик, очень опытный специалист, спокойно перебил Блэндфорда.

— Нет, нет, мистер Блэндфорд, давайте будем справедливы. Конечно, Боб Эзрик здорово шумит, но это оттого, что он немного горяч и не терпит, когда ему противоречат. Но то, что он говорил, вовсе не так уж неразумно. Он только говорил это не так, как надо.

Два-три других старых рабочих поддержали его одобрительным бормотанием.

— Хорошо. Но не вижу, причем тут я, — сказал Энглби со скромностью, немного неискренней. Он находил, что здесь напрасно тратится на споры время и энергия, и удивлялся про себя, как это Блэндфорд не сумел лучше организовать дело. Конечно, Чевит с его размахом и гибкостью очень быстро наладил бы все.

Вернулся Эзрик, заметно остывший, и на этот раз сел за стол.

— Ну, что, Энглби, теперь вы знаете, в чем дело?

— Более или менее. Но, как я уже только-что говорил, я не вижу, чем могу здесь быть полезен. Разумеется, я буду защищать то, о чем писал в своем докладе. Эту работу можно реорганизовать, пустив в ход подходящие станки.

— Хорошо, допустим, что можно, — перебил Эзрик очень спокойно и рассудительно. — Но для этого нет оснований...

— Строго говоря, это дело не мое, — сказал опять Энглби. — Но я хотел бы все-таки знать, почему вы считаете, что нет оснований...

— Это самое и все мы хотели бы знать, — вставил Блэндфорд.

— Господи, помилуй, — воскликнул Эзрик, моментально вскипая.

— Боб, Боб! — остановил его Боулс.

Эзрик улыбнулся — и Энглби вдруг понял, почему этот человек, вспыльчивый и грубый, пользовался такой любовью у мастеров и старых рабочих. В его неожиданной улыбке была прелесть детского простодушия.

— Ладно, старый товарищ, — сказал Эзрик. — Не буду горячиться. Так вот слушайте, Энглби. Мы можем снять с этой работы часть опытных рабочих. Хорошо. Но что нам в таком случае надо делать, согласно вашему собственному указанию? Переменить инструменты. Так? Поставить больше машин. Так? Значит, инструментальщикам работы прибавится. Ладно, с этим мы кое-как бы справились, хотя это большое неудобство. Затем понадобится больше места. Это не легкая задача. А по-

ка мы будем искать места, работа задержится. Затем надо будет найти для этой работы женщин и подростков. Тоже не особенно легко. Когда мы, наконец, найдем их, одни будут подходящие, другие нет. И начнутся прогулы, — без этого не бывает. А министерство все время вопит, чтобы ему подавали Д-5. И, если мы не сможем доставить их в срок, только потому, что вздумали сэкономить каплю квалифицированной рабочей силы, там завопят еще громче и скажут, что мы своего дела не знаем. Всем нам известно, что шасси до сих пор всегда было для нашего завода камнем преткновения. Так что сейчас, когда мы только-что наладили, наконец, это дело, я говорю: ради бога, не трогайте вы его!

— Та-ак, — протянул Энглби, сознавая, что Эзрик привел веские доводы, гораздо более веские, чем он ожидал.

— Теперь и я с ним согласен, — объявил Гейстон.

— Что ж, и на том спасибо, — сказал Эзрик сухо. Раздались смехи.

— Дело не мое, конечно, — продолжал Энглби, — и я здесь по той единственной причине, что...

— Все это уже известно, — сказал Блэндфорд, вмешиваясь в разговор и большому неудовольствию Энглби, чувствовавшего, что реплика Блэндфорда представляет его, Энглби, в виде юного болвана. Уж не досадил ли он чем-нибудь своему начальнику?

— Я хочу сказать еще вот что, — начал опять Эзрик, перебивая Блэндфорда, — мне надоело слушать постоянно о замене старых рабочих новичками. Знаю, что нам следовало сделать это раньше, и я сделал все, что мог. Но в конце-то концов здесь все-таки авиазавод, а не универсам. Мы должны сохранить приличную пропорцию опытных рабочих.

Кое-кто из присутствующих сочувственно загодули.

— Если за разговорами о рабочей силе и кроется какой-либо реальный, большой и разумный план, — продолжал Эзрик быстро и решительно, — то я могу сказать только одно: он совершенно у нас не заметен.

— Возможно, что вы его и не замечаете, — сказал Блэндфорд холодно. — Но это еще не доказательство, что такого плана не существует, не так ли? В конце-концов, вы — не военный кабинет.

— Нет, я не военный кабинет, — закричал Эзрик. — И, как это ни странно, вы тоже не военный кабинет. Я знаю одно: у нас забирают из шахт молодых углекопов, а потом вопят — «больше угля!» Забирают с полей рабочие руки, а потом заявляют фермерам, что они мало дают государству. А в то же время повсюду, куда ни помотришь, болтаются мобилизованные, и половина их не знает, что им с собой делать. Впрочем, это не наше дело. Но го-

говить самолеты — дело наше. А мы все понижаем производительность, теряя наши кадры. Мы отпустили сотни опытных рабочих — большей частью не в армию, конечно, но кое-кто попал и в армию. А теперь я вам говорю: остановитесь, мы зашли слишком далеко...

— Да, да, Элрик, — нетерпеливо бросил Блэндфорд. Он только чуть-чуть повысил голос, но сумел прервать страстную речь Элрика. — Вы уже не раз нам говорили это, не будем топтаться на одном месте.

— Однако мне пора в цех, — сказал старый Боуас, тяжело поднимаясь с места. Остальные последовали его примеру. — И если кто-нибудь здесь хочет знать мое мнение, так я скажу, что согласен с мистером Элриком. Вы тоже вниз, ребята?

И они все выбрались из комнаты, искося, с беспокойством поглядывая на Блэндфорда. В комнате остались только он, Элрик и Энглиби, который чувствовал, что ему следовало бы уйти, но медлил. Прошла минута в молчании. Все трое не смотрели друг на друга.

— При таких условиях, — сказал, наконец, Блэндфорд, обратив глаза туда, где стоял Элрик, но не глядя на него, — я не стану заниматься реорганизацией этой работы. Подожду возвращения мистера Чевииота и изложу ему все. Думаю, что сумею внушить ему менее обывательскую точку зрения.

— Не знаю, что это значит — «обывательская» точка зрения, — усмехнулся в ответ Элрик. — Но готов положить на мнение мистера Чевииота.

Блэндфорд высоко поднял брови.

— Еще бы! В конце-концов управляет этим заводом он.

Элрик немного сконфузился.

— Я этого и не опасаюсь. Просто я не так выразился. Но вы отлично понимаете, что я имел в виду. Во всяком случае, могли бы понять, если бы захотели...

Блэндфорд сказал медленно:

— Я иной раз задаю себе вопрос: до чего дойдет ваша сварливость?..

— Неужели? — От смущения Элрика не осталось и следа. — Ну, так знайте, что я не привык работать с людьми, задающими себе такие вопросы.

— Это меня ничуть не удивляет. Кстати, я до сих пор сознательно не говорил с вами об этом, но, думаю, вам известно, что нам дана министерством настоятельная директива и впредь заменять квалифицированных рабочих новыми и что на этой неделе к нам придут представители министерства.

Элрик сделал пренебрежительную гримасу.

— Знаю я все это. Ну и что же? Наше дело — как можно лучше руководить работой на заводе, а не угождать министерству. Если им не нравятся наши мето-

ды, — пожалуйста, пускай приезжают и попробуют сами руководить лучше. Я работал здесь по семнадцати часов в сутки, в то время как эти типы сидели и решали кроссворды.

Блэндфорд с выражением безмерного терпения и усталости собирал свои бумаги.

— Занимаясь такими разговорами, войны не выиграешь, — бросил он.

— Пресмыкаясь и преклоняясь перед чудесами Уайтхола, ес тоже не выиграешь, — отпарировал Элрик, закуривая. — И если вы пришли сюда только затем, чтобы войти в милость к тем, если для вас наш завод только ступень, начало карьеры, почему не сказать этого прямо? Знаю, Блэндфорд, я чертовски груб. Но таким делаете меня вы. Я хочу, чтобы вы это знали.

Блэндфорд, выпрямившись, с отвращением смотрел в лицо Элрику. Ни тот, ни другой не обращали внимания на Энглиби, который всячески старался ступешавать. Положение оказывалось много хуже, чем он ожидал.

— Вы, как человек, мне не нравитесь, Элрик, — говорил Блэндфорд медленно и хладнокровно. — Я почувствовал к вам антипатию с первых же дней. Но мне приходилось работать со множеством людей, которые мне не нравились. Когда мне хочется дружеского общения с людьми, я его ищу не в кругу инженеров. Так что мое личное отношение к вам роли не играет. А важно то, что я считаю совершенно невозможным работать с вами; нахожу ваше влияние здесь очень вредным и пришел к заключению, что в снижении производительности труда на заводе в большой мере виноваты вы. И я намерен все это откровенно и прямо доложить сначала мистеру Чевииоту, затем, если понадобится, и Правлению, а там, может быть, и в министерстве. Вы хотели, чтобы я говорил прямо, так вот вам, пожалуйста!

— И я знаю, чего вы этим добиваетесь, — воскликнул Элрик с грубым удовлетворением. Но Блэндфорд, не дослушав, с достоинством удалился, до последней минуты игнорируя присутствие Энглиби.

Глаза двух оставшихся в комнате мужчин невольно встретились. Энглиби не знал, что сказать. Он чувствовал себя так, как много лет тому назад, когда родители ссорились в его присутствии, что, впрочем, бывало редко.

— Знаю, — сказал Элрик, — вы сейчас подумали, что нам должно быть стыдно. Пожалуй, вы правы.

Он помолчал и затем добавил:

— Пойдемте ко мне в кабинет. Может, там найдется чашка чаю.

Энглиби, которому мало приходилось работать с Элриком, ни разу не был у него в кабинете. При их входе моло-

денькая синеглазая секретарша Элрика вскочила с места.

— Ах, мистер Элрик, здесь вам...

— Сто раз звонили, знаю, — прервал ее Элрик. — Вы лучше постарайтесь до быть нам два стакана чаю, Мюриэль, и как можно скорее. А телефон подождет. Садитесь, Энглби. Курите?

Энглби только сейчас вздохнул свободно и почувствовал, в каком напряжении был последние четверть часа. И просто потому, что он отдыхал в обществе Элрика, в нем росло дружеское расположение к этому человеку. Элрик вытянулся в кресле, устраиваясь поудобнее. Несколько минут они молча курили.

— Вы слышали меня, — сказал затем Элрик. — И, я думаю, достаточно наслаивались обо мне. Я слишком много болтаю и часто бываю резок. Я слишком легко выхожу из себя. Прежде этого за мной не водилось — по крайней мере, мне так помнится. Но, знаете, бывают обстоятельства... Одним словом, теперь я таков, как вы видите. Ни к чорту не гоже, надо прямо сказать. А вы, видимо, человек хладнокровный?

— Стараюсь быть таким, — ответил Энглби с искренней неуверенностью, ибо он все еще неясно понимал самого себя. — Но во всяком случае до сих пор мое положение не позволяло мне давать волю чувствам, даже если бы я этого и хотел. Я только начинаю... гм... чего-то достигать в жизни.

— Мне о вас очень мало известно, — заметил Элрик. — Я ведь к вашему отделу никакого отношения не имею. Знаете, я думал, что вы с Блэндфордом — одного поля ягоды.

Энглби в нескольких словах рассказал ему, из какой среды вышел и какое получил образование: Вулверхемптон, технический колледж, Уикерс и все остальное.

— Понятно, — промолвил Элрик. — Значит, вы, из наших, только чуточку побольше учености. Да, так, когда я начал вам разъяснять, почему я слишком много скандаляю, я хотел сказать вот что: я всеми силами старался сработать с этим Блэндфордом. Я знаю, что он дельный инженер, что мистер Чевитот о нем очень высокого мнения, — а я мистера Чевитота глубоко уважаю. Так что я старался, как только мог, ладить с ним. Но поверьте мне, Энглби, хотя шум поднимаю всегда я, — на самом деле виноват в наших неладах Блэндфорд. Я только иной раз выхожу из себя, а он хладнокровно ненавидит меня и травит с утра до вечера... Ага, спасибо, Мюриэль. И вот что: я буду занят еще минут десять, так что последите, чтобы сюда никто не совался, — хорошо?

Девушка скрылась, а Элрик и его гости стали пить чай, прихлебывая его маленькими глотками. Энглби чувствовал, что

ему, в свою очередь, следует сказать что-нибудь, но не знал, что можно сказать, ничем не рискуя. Он был в затруднительном положении. Элрик более чуткий, чем казался при первом знакомстве, очевидно, это понял и, выпив чай, заговорил снова:

— Беда в том, что Блэндфорд, придя работать на производство, не оторвался от своего аристократического особняка и поместья. Понимаете, что я хочу сказать? Есть ли у него особняк и поместье, нет ли — это все равно. Он ведет себя так, как будто они у него имеются, и в этом все дело. Я бы хотел, чтобы вы поняли мою точку зрения. Возьмите мистера Чевитота: он — мне начальник, он здесь хозяин. И давно, заметьте. Он занимал высокое положение уже тогда, когда я работал в цеху чернорабочим в замасленном халате. Но при всем том он не считает себя человеком какого-то иного, высшего сорта. Просто случайно он оказался среди хозяев — вот и все. Так он смотрит на это. А Блэндфорд — о, тот твердо уверен, что он высшее существо, что он и мы — из разного теста.

— Это правда, я это тоже заметил, — согласился Энглби. Промолчать и тут он не считал возможным, в особенности после вчерашних откровенных заявлений Блэндфорда. — И ведь это не то, что обычный снобизм. Это нечто... как бы вам сказать... более сильное и более ожесточенное.

— Ага, Энглби, у вас, я вижу, нюх хороший. Вы не думайте, что я предубежден против Блэндфорда только потому, что ему дорога была укатана — Кэмбридж, связи в Правлении и так далее. Может быть, я немного и пристрастен, но, в конце-концов, я знаю еще несколько человек, сделавших такую же карьеру, между тем, я быстро с этим примирился и лажу с ними. А Блэндфорд — нет, совсем другое дело.

— Да. Власти — вот он чего добивается. Власти любого вида.

Элрик смотрел на него, размышляя.

— Я над этим как-то не задумывался. Но, пожалуй, вы правы... Понимаете, я во это раз суровее обращаюсь с рабочими и подтягиваю их больше, чем Блэндфорд. Но между ним и мною разница та — и большинство наших ребят внизу это понимает, — между нами та разница, что я — только один из рабочих, которому поручено руководство. А Блэндфорд смотрит на них сверху вниз — и с большой высоты. Знаете, чего ему хотелось бы?... Уничтожить наши квалифицированные, опытные кадры, наших подлинных специалистов. Вот оттого-то, собственно, я сегодня и поднял бучу. А так — ничего страшного не было бы, если бы мы и реорганизовали производство шасси, хотя доводы, которые я приводил, достаточно серьезные.

— Да, вы меня убедили, — сказал Энглби. — А ведь я был вызван на совещание как-раз для того, чтобы поддержать противоположное мнение.

— Знаю. Так вот, Энглби, я хотел вам объяснить (и для этого привел вас сюда), что, если бы не Блэндфорд, а кто-нибудь другой, — вы, например, — выдвинул это предложение, я бы не возражал так резко. Но я знаю, чего надо Блэндфорду. Быть на хорошем счету у министерства — вот что для него главное, а на завод ему наплевать. Для меня же на первом месте — завод, а милости министерства — даже не на последнем...

— Слушайте, Эларик, я не хочу слишком щеголять патриотизмом, но мне кажется — на первом месте все-таки интересы обороны.

— Разумеется, и нечего вам извиняться за свой патриотизм. То, что вы сказали, следовало бы твердить всем постоянно, но в данном случае это лишнее: Блэндфорд — надо отдать ему должное — немедленно согласится с вами, а я — будьте уверены — тоже. Когда речь идет только о повышении производительности, спор быть не может. Здесь дело другого рода, и мотивы другие. Я же вам говорю: во-первых, Блэндфорд хочет выслужиться перед министерством, во-вторых, — поверьте мне, — эта замена старых рабочих новичками ему очень на руку. Она делает «неудобных» людей, вроде меня, все менее и менее необходимыми и влиятельными на заводе. Понятно?

— Кажется, да, — сказал Энглби. — Он таким путем «затирает» вас и людей вашего сорта и выдвигает таких, как я. Он думает, что мною ему легче будет верить.

— Вы сами это сказали, не я. И это так и есть.

— Мистер Эларик, я верю в полезность своей работы здесь, — поспешно сказал Энглби, занимая оборонительное положение.

— Что ж, отлично. И ради всех святых, перестаньте вы величать меня «мистер» — ведь я же называю вас просто по фамилии. Я простой человек, церемоний не люблю. И вот еще что: не воображайте, что я хочу вас перетянуть на свою сторону.

— Я этого и не думал.

— Единственно чего я хочу, Энглби, — это доказать вам, что я не такой упрямый бык и скандалист, каким любят меня представлять некоторые люди и каким вы легко могли меня считать, если видели меня в тот момент, когда я закурил удила. У меня на все своя точка зрения, я только не всегда умею ее связно изложить, — и во всяком случае возражаю вовсе не из страсти противоречить. Тут, кажется, кое-кто думает, что я просто завидую Блэндфорду, что я претендовал на

его должность. Это неправда... Конечно, не буду утверждать, что я так-таки никогда ни капельки не завидую Блэндфорду, — добавил он неохотно.

— В чем же завидуете, Эларик? Ведь вы только-что сказали, что это неправда?

Эларик с минуту был в нерешимости. Его темные горячие глаза («глаза быка» — подумал Энглби, хотя он никогда не рассматривал вблизи глаза быка) рассеянно смстрели в лицо Энглби. Затем Эларик улыбнулся своей неожиданной, обзоруживающей, детски-простодушной улыбкой.

— И все же я себе не противоречу. Я не тому завидую, что мистер Чевинот назначил его своим заместителем. Я никогда не рассчитывал на эту должность. Мне лучше всего оставаться на своей работе. Но, может быть, меня бесит то, что Блэндфорд такой уравновешенный, упорядоченный... что иногда я в его обществе чувствую себя, как человек, который барахтается в сточной канаве и видит, как другой, одетый с иголкой, прогуливается по улице и, вынув носовой платок, стряхивает им пылинку со своего пальто. Понимаете, что я хочу сказать? Я всегда веду себя, как отпетый дурак, а он никогда не сделает ни единого ложного шага. А между тем я убежден, что на самом деле он неподходящий для нас человек, а я был бы не так уж плох, если бы сумел воспитать себя. Ох, я что-то слишком много наболтал. Надо браться за дело.

Энглби уже поднялся.

— Спасибо за откровенность, — его снова одолела застенчивость, но он хотел непременно сказать то, чего, по его мнению, требовало положение вещей.

— А не потолковать ли нам с вами в один из ближайших вечеров после работы? Мы могли бы пойти куда-нибудь вместе закусить и выпить...

— Конечно, можно, — ответил Эларик, явно жаждавший поскорее приняться за работу. — Я это устрою, положитесь на меня.

Комната Энглби была в конце коридора, и по дороге он думал об Эларике, который оказывался совсем не таким, каким он его себе представлял. До сих пор он считал его человеком ограниченным, самоуверенным. А теперь, после разговора с ним, увидел, что это натура более широкая, более впечатлительная и сложная и в то же время далеко не такая цельная, как ему казалось. Так иногда у машины, работающей не столь безупречно, как от нее ожидали, оказывается сложная и интересная конструкция.

— Ну и денек! — подумал он. — Сначала Фреда Пиннель, теперь Эларик!..

18.

Послеобеденные часы казались Джойс Дирхерст очень долгими и утомительными. Работа здесь пока была не труднее, чем в учебном цехе, но движение, суета, шум во всем огромном зале делали ее гораздо утомительнее. К тому же сейчас у Джойс не было ничего интересного, о чем можно думать во время работы. Некоторые работницы — те, у кого есть мужья и дети или возлюбленные, — должно быть, думают во время работы о множестве интересных вещей, это заметно по замкнутому, сосредоточенному выражению их лиц. Для них, конечно, день не тянется так долго. Даже миссис Григсон с этим согласна. Миссис Григсон — странная и несносная особа, но она никогда не скучает, это видно. Ее черные глаза всегда блестят от возбуждения. Джойс вовсе не хотелось быть похожей на миссис Григсон, но она хотела бы, чтобы жизнь ее была содержательнее, чтобы у нее было о чем думать, — тогда рабочий день не тянулся бы так долго.

Правда, можно было поболтать с тем парнем, Джеком Браймбером. Он подходил к ней, ужасно возмущенный и огорченный, так как оказалось, что заводской оркестр, Элмдаунская Шестерка, не будет играть сегодня в столовой. Джек явно был очень заинтересован Джойс, но, к ее сожалению, он ничуть не интересовал ее и невозможно было думать о нем и его пресловутой Элмдаунской Шестерке — даже и десять минут, не то что целый день.

Концерт был для Джойс приятным развлечением, хотя Долли и Дэн ей не особенно понравились — она нашла их вульгарными и пошлыми. (А миссис Григсон — та заливалась смехом даже при самых неудачных шутках). Все же это внесло некоторое разнообразие — так говорили все. Но материала для размышлений и в этом не было.

Добродушный старик-мастер Клитон сегодня какой-то странный. Пол-утра он ходил по цеху и говорил всем, что выпуск продукции падает, вместо того чтобы повышаться, расспрашивал всех по-очереди, что они думают о войне, твердил, что во всем мире сейчас молодежь гибнет на фронте, а здесь, на заводе, люди не думают об этом. Джойс, пыталась — и не раз — думать о войне, но все было так огромно, смутно и страшно, что хотелось поскорее отогнать эти мысли. Зачем, например, все время приговаривать, будто мы побеждаем, если немцы и японцы забрали столько городов, а мы их, повидимому, выгнать оттуда не можем? Но этот вопрос Джойс не задавала вслух. Он вызвал бы только длинные объяснения, а Джойс терпеть не могла слушать длинные объяснения.

Другое дело — 1940 год, когда объявили, что будут бомбить Лондон до тех пор, пока его жители не сдадутся, — и бомбили, а жители все-таки не сдались. Тут все было понятно, она и сама была тогда в Лондоне и до сих пор испытывала легкий трепет, когда при ней вспоминали о том времени. Тогда было очень страшно, ну, и, конечно, немцы, разбомбив ателье, разрушили все ее планы. Но те дни были полны переживаний, и ей не было скучно.. А сейчас скверно то, что пришлось, так сказать, начинать жизнь сначала, — и она, собственно, еще не начала жить здесь по-настоящему. Порой ей думалось, что и никогда не начнет. Она теперь казалась себе не живым человеком, а тенью.

Тень или нет, — во всяком случае, надо думать, она никогда не станет такой, как та девушка, что подходила к ней сегодня утром и спрашивала, как ее зовут. Та девушка в грязной куртке, с испачканной щекой. Можно подумать, что она нарочно старается быть похожей на мужчину. Джойс спросила о ней мистера Сколби.

— А, это Гвен Оклей, — сказал мистер Сколби, когда Джойс описала ее. — Она теперь установщиком работает. Она здесь уже много лет. Одно время была единственной женщиной во всем цеху. О чем же Гвен говорила с вами?

— А я не стала с ней разговаривать, — ответила Джойс. — Я ее не знаю — и у нее такой вид! Она, должно быть, на меня рассердилась и сказала вроде как с насмешкой: «Если вы измажетесь, так имейте в виду, что все это отмывается». Точно я сама не знаю!

Мистер Сколби расхохотался.

— На Гвен не стоит обижаться, она перенесла горя. И, скажу вам по секрету: она не любит, когда на заводе появляются такие шикарные девушки, как вы. Но Гвен у нас молодчина!

— А я бы не ходила в таком виде, даже если бы проработала здесь двадцать лет, — возразила Джойс. — По-моему, женщине не подобает запускать себя.. Она замужем?

Мистер Сколби ответил несколько таинственно, что Гвен и замужем и нет, и в дальнейшие объяснения не вдавался.

А Джойс и не настаивала, ее ни капли не интересовала Гвен. День растянулся перед ней, бесконечный, слепящий и однообразный, как пустыня, и Джойс жалела, что нет таких людей или вещей, о которых интересно было бы думать на все лады. Тетка и жизнь в деревне — нестерпимо скучны. Как не скучать девушке, которую бомбежка лишила хорошего, уютного места на Брутон-стрит?

Джойс работала быстро и, стараясь скоротать томительные часы, возвращалась мыслями к прошлому, к серому бархату и

золотым огням ателье на Брутон-стрит. Вспоминался ей тот день, когда мадам была сильно расстроена, а в ателье сошлись три известные актрисы и подняли такой шум...

Прошел час или больше. Ее снова навестил м-р Сколби, и на этот раз с ним пошел и другой мужчина — второе издание м-ра Сколби, несколько более изящное и значительно большего формата. Джойс его узнала — это он объявлял о концерте в столовой. Как же его фамилия?.. Да, мистер Прокот.

— Это — мисс Джойс Дирхерст, — представил ее м-р Сколби.

И Джойс невольно засмотрелась на м-ра Прокота, который и в самом деле очень напоминал м-ра Сколби. То же круглое красное лицо, нелепый вздернутый нос, благодушная сияющая улыбка. Но м-р Прокот был, разумеется, без халата и вообще одет очень щеголевато.

— Мисс Джойс Дирхерст, да? — сказал он, улыбаясь ртом, но не глазами, которые вдруг скользнули по ней острым, внимательным взглядом.

— Это мистер Прокот, Джойс, — сказал Сколби. — Заведует личным составом и бытовым обслуживанием... Джойс только-что начала у нас работать, мистер Прокот, и работает очень хорошо.

Отвечая на вопрос м-ра Прокота, Джойс сказала, что на работу не жалуется, хотя она пока не особенно интересная. А мысленно спрашивала себя, почему м-р Прокот посмотрел на нее так пристально, как будто он уже слышал раньше ее имя и вдруг припомнил его.

— Ну, вот, — говорил между тем м-р Прокот, и теперь глаза его смеялись, — если у нас будут спрашивать, имеется ли на нашем заводе волшебница, мы знаем, где ее найти. Верно, Сколби?

— Обратитесь тогда ко мне, — в тон ему подхватил м-р Сколби. Такого рода шутки были в его вкусе. И оба пошли дальше.

Вот и все. Ничего особенного, конечно, о чем стоило бы думать, но она не могла забыть этот непонятный взгляд Прокота. Где мог м-р Прокот слышать ее имя? Кто мог говорить с ним о ней? Когда она в первый раз пришла в учебный цех, с ней беседовала и расспрашивала ее обо всем мисс Шиптон. Но мисс Шиптон, видимо, не заинтересовалась ею, — наоборот, Джойс чувствовала тогда, что она не понравилась этой женщине в очках.

Через некоторое время, когда ей пришлось пойти за материалом, Джойс рассказала о мучившей ее загадке миссис Григсон, которая пришла вслед за ней.

— Вы не думайте, что мне показалось, миссис Григсон, нет, это так и было, — сказала она. — Он посмотрел на меня так многозначительно — не могу понять, почему.

Миссис Григсон немедленно изложила свое мнение о мужских взглядах.

— Мне думается, вы преувеличиваете, дорогая. Я вам вот что скажу: будь это не мистер Прокот, а какая-нибудь женщина — ну, тогда понятно: женщины бросают иногда друг на друга очень странные взгляды. Их никак не разгадаешь, милочка, никак! Да и разгадывать не стоит. Ну, а мужчины — те другое дело. Я заметила, что у мужчин, когда они на нас смотрят, бывают взгляды трех сортов. Трех — и не больше.

Джойс, естественно, вынуждена была осведомиться, каких именно.

— Их сразу отличишь друг от друга, — сказала миссис Григсон с уверенностью. — Во-первых, они таращат на тебя глаза, точно говоря: «А интересно, какова ты без платья?» Затем бывает у них этакой злой взгляд, как у рассерженной свиньи, которые они как будто спрашивают: «А что ты делала тут без меня и почему это мой обед не готов?» И, наконец, большинство этих олухов смотрит на вас пустыми, как у мертвой трески, ничего не говорящими глазами. Вот, милочка!.. Ну, а если бывают и другие взгляды, так они не стоят того, чтобы о них думать, и вам, вероятно, просто почудилось, милочка... Не ломайте над этим головы и не воображайте много о мужчинах. Ничего в них нет. Потому-то с ними и отдыхаешь после того, как поживешь среди одних женщин. Скажу вам, милая, когда я гуляла с моим мужем до свадьбы, я воображала, что у него голова полна всяких неизвестных мне умных мыслей, а как вышла замуж, увидела, что у него в голове ровно ничего нет. Конечно, я не считаю разной чепухи, вроде машин, да радио, да футбола. Так что их загадочные взгляды — это просто ваша фантазия, и не думайте вы о них, милочка.

Джойс обещала, что не будет, но в глубине души сохранила убеждение, что психология мужской половины рода человеческого все же более сложна, чем полагает миссис Григсон. Миссис Григсон, повидимому, судила о всех мужчинах по своему супругу, а из ее рассказов об их семейной жизни видно было, что у нее столько же общего с мистером Григсоном, сколько с каким-нибудь зулусом.

Вернувшись к своему станку, Джойс набралась мужества, готовясь преодолеть скуку оставшихся еще двух часов. Было половина шестого, — час, когда в нормальных условиях, до войны, почти всюду кончали работу, и, быть может, оттого в это время все ощущали какую-то усталость, темп работы ослабевал. Последние два часа были не естественной частью рабочего дня, а томительным и пустым придатком к нему. С этим ощущением Джойс принялась за работу.

Но кто же мог сказать что-нибудь о ней такому важному лицу, как мистер Прокот? Тут ответ вдруг неожиданно вынырнул откуда-то, словно он ожидал за углом последнего часа, чтобы встать перед нею.

Господи, ну, конечно, тот жуткий человек... Она увидела опять красное, обрзгшее лицо, острый взгляд... Главный инженер, мистер Эрик. Не имея и тени какого-либо доказательства, она чувствовала, что угадала. Наверное, он сказал о ней мистеру Прокоту что-нибудь очень скверное. А тот, услышав ее фамилию, вспомнил. Но что он мог сказать? Вот мистер Клитон и мистер Сколби — те относятся к ней доброжелательно. Почему же она не нравится остальным — Эрику, и Прокоту, и этой Гвен, которая, спросив, как ее зовут, уставилась на нее так насмешливо? (Нет, впрочем, мистер Прокот был с нею любезен). В чем тут дело? Может быть, не в них, а в ней самой? Может быть, есть в ней что-то такое неладное, что они сразу заметили?

На смену этому недоумению в ней вдруг поднялось из каких-то неведомых тайников души, как громадный черный идол поднимается из подземелья в храме и дым курений рассеивается перед его массивным ликом, — предчувствие неизвестной, неотвратимой беды, потрясающих душу событий, уже решенных, принявших определенную форму без участия ее воли и сознания. Это странное ощущение длилось один миг, но оно было так сильно, что она невольно протянула вперед руку, словно отражая удар.

Она сразу же с громким криком отдернула ее назад. Острая металлическая спираль глубоко врезалась в протянутую руку, и из раны потекла кровь. От мучительной боли Джойс стало дурно.

— Да, девочка, здесь нужна перевязка, — сказал ей через несколько минут мистер Клитон. — Ты лучше сам сведи ее в клинику, Фред.

И м-р Клитон вздохнул. Ибо он не верил в клинику и вообще во все это «обслуживание» рабочих, — всякий такой случай казался ему чем-то вроде надругательства, как будто его невидимый оппонент выдвигал недобросовестный, ибо неопровержимый довод.

— Не надо волноваться, Джойс, — сказал м-р Сколби отеческим тоном, когда вел ее через цех. — Вам наша клиника понравится, вот увидите. И сестра Файли чистенько промоет и мигом перевяжет вашу рану. Мне давно хочется, чтобы со мной что-нибудь случилось, тогда я мог бы сходить к сестре Файли, — да вот ничего не случается.

19.

В клинике, где все было более опрятное и где пахло лекарствами, сестра Файли спорила с миссис Холт, которая служила в заводской столовой. Утром, как всегда, в клинике была толча, в послеобеденные часы тоже, а сейчас наплыв больных и пострадавших от несчастных случаев уменьшился, и сестра Файли отпустила свою молодую помощницу, санитарку Хинтон, сказав, что она теперь легко управ-

вится сама. Сегодня доктор Стэммер, приезжавший в клинику четыре раза в неделю, с утра принимал больных и оттого в первой половине дня весь персонал клиники занят был более обычного. Сейчас сестра Файли, убрав инструменты, могла на досуге не только осмотреть обожженную руку миссис Холт, но и потолковать с пострадавшей.

Мэдж Файли училась в школе сестер милосердия в Мидлсексе, а затем заведывала палатой в Фоулейском госпитале. Это была рослая, цветущая, пышнотелая девушка лет тридцати с огромным запасом жизненной энергии. В ней хороши были рыжевато-каштановые волосы, смелые карие глаза, прямой нос, широкий квадратный подбородок. Ее находили красивой, дельной, но несколько суровой. Она никогда не казалась усталой, и невозможно было себе представить, что сестра Файли когда-нибудь была больна. Чувствовалось, что все ее железы в порядке и работают во-всю, что все доселе открытые витамины поступают в ее великолепный организм в достаточном количестве. Она могла бы быть превосходным символическим изображением современной медицины. Не верилось, что она и ее пациенты принадлежат к одной и той же расе и вообще состоят из одинаковой плоти и крови.

В ней чувствовалась зрелая женственность, она ничуть не походила на традиционных сестер милосердия, бледных, увядших дев, напоминающих монахинь. На работе она была энергична, ловка, расторопна и бесстрашна, а в свободное время любила повеселиться со вкусом, и размахом. Хороший обод с выпивкой в компании какого-нибудь «настоящего» мужчины, после обеда — очередное развлечение в Палладиуме или другом подобном месте, затем опять стаканчик-другой и наслаждение всем, что посылают нам боги, в пределах, дозволенных самой широкой терпимостью, — вот что Мэдж Файли называла приятно провести время. И никто не посмел бы сказать, что она не заслуживает такого отдыха. Разумеется, в военное время было гораздо труднее предаваться столь полнокровному веселью, особенно с тех пор, как она работала в заводской клинике. (Зато платили здесь очень хорошо, гораздо больше, чем в госпитале). Но сестра Файли старалась брать от жизни все, что можно. Любовь в ее представлении была не роком и не приступом перемежающейся лихорадки, а самым занятым и самым приятным из развлечений и способов убивать время. Она ни разу в жизни не была влюблена, но даже не подозревала об этом существенном факте. Ибо, развлекаясь с каким-нибудь мужчиной, которого предпочитала другим, она думала, что это и называется любить, и, естественно, находила, что другие жен-

щины слишком носятся со своей любовью. Она была добра, но отнюдь не сентиментальна. На заводе ее работу очень высоко ценили, а платили в десять раз меньше, чем она заслуживала.

В настоящую минуту она, забинтовав обожженную руку, беседовала с миссис Холт. Разговор шел о семейной жизни и о будущем.

Миссис Холт была из тех женщин, которые в действиях своих довольно жестки и упорны, но рассуждают всегда так, что слушателям вспоминаются рождественские открытки.

— Нет, сестрица, что там ни говорите, но если они начнут разрушать семью, тогда уж не знаю, до чего мы докатимся, честное слово, не знаю.

Сестра Файли нашла где-то леденец и грызла его крепкими белыми зубами.

— Да ведь и теперь, с тех пор, как у нас война, семья уже достаточно разрушится, как вы это называете.

— Военное время не в счет, — возразила миссис Холт. — Все мы готовы делать сейчас ради обороны многое такое, чего не стали бы делать в мирные времена. Так и должно быть. Но, как только мы прикончим Гитлера, все женщины и девушки захотят уйти с заводов прямоенько домой — и будут вполне правы. Это естественно. Хороший, любящий муж и дети в доме — вот что нужно всякой женщине.

— Не знаю, так ли это, — сухо промолвила сестра. — Любовь хорошего мужа, пожалуй, вещь приятная, — хотя, должна сознаться, не хотела бы я изо дня в день выносить ее. Ну, а что касается детей, так, если хотите знать, половине тех женщин, которые приходят ко мне, было бы лучше, если бы дети не связывали их, а детям было бы лучше, если бы их разумно воспитали где-нибудь в другом месте.

— Лучшие матери никто не воспитает! — воскликнула миссис Холт. У нее был в запасе большой выбор таких сентенций, и она бесстыдно злоупотребляла ими.

— Ничего подобного. Обычно мать ухаживает за ребенком хуже всех. Спросите любого врача.

— Здоровье еще не все, сестра, — изрекла миссис Холт.

— Здоровье, это почти все, в особенности, когда дело идет о детях, — отчеканила сестра Файли, продолжая грызть леденец.

— Но детям нужна мать.

— Им нужен кто-нибудь, кто ухаживал бы за ними, к кому они относились бы с доверием. Но не обязательно родная мать. Всякий, кто умеет обращаться с ребенком, вполне заменит ему мать. Я это наблюдала не раз.

Заметив, что со стола подле большого джапа не все еще убрано, она подошла и стала приводить стол в порядок, продолжая разговор с миссис Холт.

— А вот один мой знакомый говорит, что после войны Англия не оправится, если все трудоспособные люди, — а в том числе большинство женщин и девушек, — не будут продолжать работать. Он говорит, что и в Англии все поголовно должны будут работать, как в России.

— Может быть, это годится для русских — такая работа и жизнь в общечитиях, и то, что детей растят не в семье...

— Не знаю, что тут такого, — сказала сестра Файли вполне искренно. — Я с радостью ушла из семьи. И большинство моих знакомых девушек также.

— А мои дети мне часто твердят: «Мама, что бы мы делали без тебя».

— Они вам насажут, что угодно! Хитрые чертенята! В девяти случаях из десяти они говорят такие вещи, когда хотят выпросить себе что-нибудь. Если вам нравится с ними нянчиться, — что ж, нянчитесь на здоровье. Но вашим детям было бы полезнее самим делать для себя все. Встать на собственные ноги.

— Вам легко толковать про собственные ноги, — начала было миссис Холт довольно воинственно.

— Я, кстати сказать, сегодня простояла на своих ногах двенадцать часов под ряд, — вставила сестра спокойно, — так что знаю, что говорю, миссис Холт.

Миссис Холт, чувствуя, что ее довольно грубо оборвали, и страдая от неприятного сознания, что у нее была выгодная позиция, но она не сумела ее защитить, сочла нужным обидеться.

— Что ж, конечно, я, может быть, женщина старомодная. Но я вырастила четверых — и не работала бы здесь, если бы муж мой был жив, — он ни за что на свете не позволил бы этого. Будь у вас позади такая жизнь, как моя, вы бы иначе рассуждали.

Она с достоинством поднялась.

— Работа в больнице — дело хорошее, она, может быть, очень нужна, не спорю, — но она еще не все. Скажу прямо, она ничто по сравнению с счастливой семейной жизнью. Строить свое теплое гнездо, растить детей...

Сестра Файли кончила убирать стол и, холодно и скептически глядя на говорившую, решительно перебила ее.

— Я ничего не знаю о вашей семейной жизни, о муже, о детях, миссис Холт. Может быть, все у вас замечательно. Но я знаю множество других семей, где далеко не так благополучно. Там многое требует улучшения. Да. А мы, работающие в больницах, знаем, каким путем можно было бы добиться этого улучшения. Вот, к примеру, — как вы думаете, сколько людей в Англии и до войны болело из-за неправильного питания?

— В моем доме — никто, — сказала миссис Холт с таким видом, как будто выпускала последний снаряд. — И никто

в нашей заводской столовой этим не болеет. Когда правление захотело наладить питание рабочих, оно пригласило в столовую несколько опытных матерей и хозяек, таких, как я.

— Ну, дайте вашей руке покой дня на два, а затем покажете ее мне, миссис Холт, — сказала сестра Файли.

Оставшись одна в первый раз за весь день, сестра медленно прошлась по трем комнатам амбулатории, проверяя, все ли в порядке. Нигде ни соринки, все блестит.

«Ах, если бы такую чистоту и порядок, как у нас в клинике, навести и в человеческой душе», — размышляла она. Порою ей казалось, что для этого нужно сказать какое-то одно четкое и разумное слово и что это слово уже незримо присутствует в воздухе. Но в такие дни, как сегодня, люди представлялись ей безнадежными — сознательное упрямство, невежество, никому не нужная сложность, суетность и вспышки панической трусости. Они уверяют, что хотят счастья, — и делают все, чтобы помешать самим себе быть счастливыми. Они — как дети, нарочно сломавшие свои игрушки и теперь в отчаянии ревущие во весь голос. Сестру Файли такое поведение искренно и глубоко поражало. Но это не мешало ей наслаждаться жизнью. Почему бы и нет?

Пришел Фред Сколби и привел — как будто она не могла одна найти дорогу! — высокую, немного горбившуюся девушку с рваной раной на руке. Красивая девушка, но на вид хрупкая и жеманная. Не будь она такой, Фред Сколби, наверное, отправил бы ее одну в клинику!

— Знаете, сестра, что я сейчас говорил ей? — весело начал Фред. — Что я хотел бы заболеть, чтобы можно было ходить сюда к вам.

— А ведь, судя по вашему виду, печень у вас не в порядке, — ютзовалась сестра Файли. — Я, пожалуй, дам вам порошок, если вы обещаете принимать их. Ну, как, согласны?

— Спасибо, не беспокойтесь, сестра, — сказал Фред, наблюдая, как она обмывает рану. — Вот удалос вас повидать сегодня — и я уже чувствую себя лучше... Видите, Джойс, я вам говорил, что все будет в порядке. Работать сегодня этой рукой вы уже не можете. Но завтра приходите с утра, и я подыщу вам что-нибудь полегче. Обязательно приходите, Джойс, потому что я не хочу, чтобы в моей бригаде были прогулы. Ну, пока!

При таких глубоких порезах в ране иногда застревали мельчайшие осколки металла, поэтому сестра Файли внимательно осмотрела руку Джойс, еще раз тщательно промыла и уже только после этого начала бинтовать. Работая, она, по своему обыкновению, задавала пациентке всякие вопросы, чтобы отвлечь ее внимание от ощущаемой боли. Таким образом она узнала все подробности о жизни

Джойс дома, в Северном Лондоне, о смерти ее отца, о магазине на Брутон-стрит. Болтовня девушки о Лондоне, о герцогах и актрисах с Мэйфер была приятным разнообразием и выгодно отличалась от обычных разговоров заводских работниц. Но, даже несмотря на это, сестре Файли, скорой на выводы, Джойс не особенно понравилась. Она показалась ей «недоуверчивой». Боязливая, унылая замкнутость и хрупкое изящество девушки раздражали здоровую духом и телом сестру.

— Знаете, что я вам скажу, — промолвила сестра Файли, готовясь приступить к перевязке. — Уж больно вы гонитесь за «красивым». Только и слышишь от вас все время это слово. Понимаете, что я хочу сказать?

— Нет, — ответила Джойс, внутренне съеживаясь. — Разве вы не любите все красивое и уютное?

— Нет. То-есть, не люблю то, что вы под этим подразумеваете. Я люблю прежде всего чистоту, порядок и все разумное и полезное — вот как эта клиника. Понятно? Затем люблю веселье. Люблю пошутить, поразвлечься. Я не стану ежиться да раздумывать, будет ли все «красиво» и «уютно». Смотрите, этак можно и жизнь упустить и стать мертвечиной раньше, чем успеете спохватиться.

Джойс нахмурилась. Ее зеленовато-карие глаза — очень красивые глаза, это должна была признать и сестра Файли, — выражали растерянность и недоумение. Было ясно, что она ничего не поняла, но из почтения к сестре Файли не решалась прямо заявить об этом.

И вот в эту именно минуту, когда обе женщины молчали и клиника казалась уединенным островом, бесконечно далеким от всего мира, — в нее стремительно вошел Боб Элрик.

— Вот что, сестра, — начал он и вдруг сразу замолчал и остановился, как вкопанный: он увидел Джойс и стал похож на человека, увидевшего призрак.

Сестра Файли приветствовала его широко, радушной улыбкой. Боб Элрик был главный инженер и сильный мужчина того типа, который ей нравился. И этим летом на заводском празднике, после веселого проведенного дня и после того, как она подвыпила немножко, а Элрик — даже очень сильно, они здорово пошалили наедине. После этого между ними ни разу ничего не было. Но ей всегда во взглядах Элрика чудилось обещание. А сегодня... он так растерялся, что как будто не сознавал, что делает. Это на него не похоже.

Сестра метнула быстрый взгляд на Джойс и убедилась, что та еще больше прежнего замкнулась в себя и казалась почти испуганной. В чем тут дело?

— Я сию минуту освобожусь, мистер Элрик, — сказала она, все еще улыбаясь. — Вот только перевяжу ей руку.

— А что с ней случилось? — спросил Элрик и, подойдя вплотную к ним, установился на руку Джойс. Он так смотрел на нее, словно в первый раз в жизни видел женскую руку. Сестра Файли, видевшая их великое множество, сухо пояснила, что произошло.

— Мисс Дирхерст, если не ошибаюсь? — сказал Элрик воркующим голосом, с идиотски-блаженным видом, вызывавшим у сестры Файли сильное желание дать ему затрещину.

— Да, — ответила девушка, взметнув ресницы и чуть не умирая от избытка светской утонченности. — Вы вчера разговаривали со мною в цеху.

— Помню, — промолвил Элрик таким тоном, словно это была чудесная тайна, известная только им обоим. — И сожалею, что вы пострадали. Но порез, кажется, не такой уж глубокий.

— Пустяковый, — поспешно сказала сестра Файли. — Эти раны не страшны, если их сразу как следует промыть и перевязать. Вот только когда их запускают, тогда они могут кончиться печально. У нас сотни таких случаев... Это случилось, вероятно, из-за ее неосторожности, — прибавила она с холодной злостью.

— Ну, не знаю... — протянул Элрик.

Вот как, он не знает! А ведь совсем недавно, в разговоре с нею, он клял рабочих за их небрежность и неосторожность, которая ведет к несчастным случаям, за то, что из-за каких-то пустячных царапин они сидят дома и теряют драгоценное время!

— Да, я действительно сама виновата, — призналась Джойс. — Простите, мистер Элрик.

Она опять подняла на него свои красивые глаза и тут его физиономия, конечно, приняла еще более идиотское выражение. Что на него нашло?

— Ну, вот и готово, — сказала сестра Файли. — Не трогайте сегодня перевязки, а завтра в любое время приходите, я переменею ее. Незачем оставаться дома из-за такого пустяка.

— Я и не собиралась, — возразила Джойс и опять посмотрела на Элрика.

— Мистер Сколби разрешил мне из клиники идти домой, но я как-раз сейчас вспомнила, что это невозможно, потому что в эти часы автобусы не ходят. Мой отходит не раньше половины восьмого. Это один из добавочных маршрутов. Придется где-нибудь подождать.

Она могла бы ждать в клинике, но сестра Файли не предложила ей этого, потому что вовсе не желала, чтобы девочка торчала тут в то время, когда она займется Элриком. И сестра Файли промолчала.

— Вы знаете, где мой кабинет? — спросил Элрик.

Джойс ответила, что не знает.

— Он в том здании, где контора, на втором этаже, и на дверях табличка с моей

фамилией, так что найти легко. Поднимитесь туда, хорошо? Мне кстати нужно познакомиться с вами.

Лицо Джойс приняло нерешительное выражение, но она ничего не возразила. Встала, улыбаясь сестре вежливо, как подобает благовоспитанной особе, и пошла к выходу, такая грациозная и милая, с таким безгрешным видом... Элрик смотрел ей вслед все теми же влюбленными глазами. Сестра Файли решила, во чтобы то ни стало стереть с его лица это выражение.

— Ну-с? — спросила она отрывисто. — Чем могу служить, мистер Боб Элрик?

Он сразу стал другим и улыбнулся ей обычной приветливой улыбкой.

— Может, угостите меня стаканчиком?

— Что ж, если вы этого очень хотите...

— Нет, нет, сестра. Я пошутил.

— Я так и думала. Ну, что же с вами, рассказывайте. У вас сегодня немного отекло лицо.

Сейчас, когда он стал прежним Элриком, у сестры настроение изменилось. Он снова был для нее свой человек.

— Было бы ничуть не удивительно, если бы я выглядел еще хуже. Ничего не поделаешь... Нет, сестра, я пришел сюда не как пациент... У вас тут, я вижу, тихо. Слава богу!

— Это только сейчас тихо, — возразила сестра. — Вам надо было видеть, какая утром была толчея! Четырех мы отправили в больницу.

Лицо Элрика омрачилось.

— Покажите-ка мне ваш список, сестра. Это никак не годится. Нам нужно, чтобы все работали, а они болеют. Дозарезу сейчас нужны рабочие руки!

«Так-то лучше!» — подумала сестра. Они оба плечо к плечу склонились над списком. Список был длинный.

— Боже милостивый!.. Видано ли что-либо подобное?.. Оказывается, у нас не завод, а санаторий!

— Дело обстоит не так плохо, как вам кажется, — утешала его сестра. — В этом списке много людей с простыми порезами и царапинами. Не горюйте!

И она дружески толкнула его локтем. Он ответил тем, что обнял ее одной рукой за плечи, и тяжесть этой мужской руки была ей очень приятна. Потом он легонько повернул ее к себе, так что она очутилась совсем близко, и держал ее с минуту, а она подумала, что он хочет поцеловать ее, и подставила ему лицо так, что не поцеловать было бы с его стороны непростительно. Но в следующую минуту Элрик выпустил ее, — это вышло у него естественно и не грубо — видно было, что мысли его далеко.

Сестра убеждала себя, что ей все равно. Ведь они только товарищи, добрые приятели.

— А вы знаете, какие причины? — спросил он.

— Да, я думаю, никаких нет, Боб, — ответила она, намеренно называя его по имени. — То-есть, я хочу сказать, никакой эпидемии нет, ничего похожего. Обычный ассортимент больных, только их больше, чем всегда.

— Да, и именно теперь, когда нам это совсем не на руку! Хотите знать, отчего к вам теперь ходит больше народу? Им работать надоело, вот отчего. Да, им скучно.

— Постойте! — воскликнула сестра. — Если вы имеете в виду симуляцию, так знайте, что мы очень редко натаалкиваемся на такие случаи.

— Нет, я не о симулянтах говорил. Вы меня не поняли, голубушка. Я не сомневаюсь в том, что у всех, кто к вам приходит, что-нибудь да не в порядке. То они нездоровы, то несчастные случаи... А почему? Потому что им тошно, вот почему. Им кажется, что на фронте ничего не происходит. Никаких волнующих сообщений, ни радостных, ни страшных. Они не видят настоящей причины готовить нашу продукцию как можно более быстрым темпом. Естественно, им начинает все надоедать. От скуки они становятся небрежны и рассеянны — оттого столько несчастных случаев. Или их старые болезни напоминают о себе, и они плохо себя чувствуют...

— Пожалуй, вы правы.

— Разумеется, я прав, сестра. Но я не могу вдобавить этого нашему начальству, которое только цифрами интересуется, забывая, что люди — не машины. С ними спорь хоть до хрипоты, — все равно не втолкуешь им.

Он еще несколько минут говорил на эту тему. Слушая его и глядя в его мрачное лицо, сестра Файли ощутила вдруг сильное желание хоть на один вечер отвлечь его от всех забот, вкусно накормить, напоить допьяна, дать ему все, что она может. Она, конечно, знала о его семейных делах, была знакома с его женой и говорила о ее болезни с доктором Стэммерсом. Она жалела Элрика, кроме того, он нравился ей, как мужчина, как товарищ и такой же любитель веселья и наслаждений, как она сама. Будь это в Лондоне или даже Бирмингеме, где можно в любой момент найти подходящее место для встреч, она бы, не долго думая, предложила ему остаться с нею на ночь. Последнее время жить стало скучновато, а Элрик к тому же явно чем-то расстроен и, вероятно, переутомился.

Но в то время как она соображала, куда бы им можно было пойти вдвоем, она вспомнила об этой девушке Джойс, о том, как Боб Элрик смотрел на нее, и решила сперва выяснить это дело, а потом уж предпринять дальнейшие шаги.

— А скажите, кстати, — начала она, выбрав удобную минуту, — вы пришли сюда только для того, чтобы поговорить

со мною? Мне это, конечно, очень приятно. И я с вами во всем согласна. Но скажите честно, вы для этого пришли?

— Нет, не для этого, — ответил он, усмехаясь. — Мне сказали, что Джойс Дирхерст здесь, — вот я и пошел сюда.

Сестра Файли улыбнулась.

— За одно я вас хвалю, Боб Элрик: вы откровенны. Вы не врете и не прячете своих грехов. Ну, а чего ради вы гоняетесь за этой девчонкой по всему заводу? Что за фантазия?

Элрик, явно смущенный, крепко потер подбородок.

— Вы должны отдать мне справедливость, — пробормотал он. — Я никогда не пристаю к женщинам на заводе, разве только когда нужно выжать из них побольше работы. Все романы, какие у меня были, проходили вне завода.

— Да, я кое-что о них слышала. — Сестра Файли действительно слышала о романах Элрика, но, если бы даже и не слышала, все равно сказала бы то же самое. — Не воображайте, что до меня ничего не доходит. Как у вас, например, обстоит дело с той тощей брюнеткой в «Короне»?

— Я ее не видел уже несколько месяцев. Не верьте сплетням, девушка.

Он смотрел на нее минуту-другую такими глазами, что к ней окончательно вернулось хорошее настроение.

— А знаете, вы славная, красивая бабенка, мне нравится и ваша фигура, и ваш цвет лица. — Он протянул свои сильные руки и обнял ее за плечи. — Вы, что называется, настоящая женщина.

— Именно такой я себя и считаю.

Она не вырывалась. Но у нее мелькнула мысль, что кто-нибудь может войти. Она напомнила об этом Элрику.

— Вы правы, — сказал он, но рук не отнял. — Но я соскучился. Я вас так редко вижу.

Он придвинулся еще ближе, поцеловал ее на лету и отпустил.

— А кто виноват? — спросила она с улыбкой. — Ладно, ладно, не оправдывайтесь. Скажите-ка мне лучше, чего ради вы явились сюда вслед за этой девушкой, зачем отправили ее сейчас к себе в кабинет и сказали ей, что вам надо о чем-то с ней потолковать, тогда как, я уверена, вам нечего сказать ей.

— Приблизительно так оно и есть, — отозвался Элрик спокойно, без малейшего смущения. — И я бы сказал вам, что заставило меня притти сюда вслед за нею, но я и сам этого не знаю. Честное слово, не знаю. Не думайте, что я за нею волочусь. Она не в моем вкусе. Вот вы — женщина как-раз по мне, — добавил он, ухмыляясь.

Она спокойно посмотрела на него.

— У вас был изрядно глупый вид, когда вы говорили с нею... Вы были на себя не похожи.

— Возможно. Эта девочка как-то странно меня волнует. А ведь я увидел ее впервые только вчера! И она смотрит на меня так испуганно, как будто боится, что я ее укушу...

— Да, она из таких... Очень жеманная... с претензиями. Постоянно беспокоится, что не все может оказаться «мило и прилично». Не думаю, чтобы она вас находила «милым и приличным». И права. Должна вам сказать, между прочим, — добавила сестра Файли с оттенком злорадства, — что девушка эта недоразвита и в достаточной мере малокровна.

К этому она мысленно добавила:

«Нравится это тебе или нет, а проглотить придется».

Элрик, видимо, проглотил.

— Спасибо за диагноз. Быть может, все дело в том, что она кого-то мне напоминает... Знаете, как это бывает... Во всяком случае заботит меня не она и не какая-либо другая женщина. Меня заботит завод. И, пожалуйста, не думайте, что если я боюсь здесь с вами, значит я своего дела не делаю. Я отлучился на полчаса, потому что сегодня буду работать на заводе до поздней ночи.

— Значит, нам сегодня покутить не удастся, — воскликнула она шутивым тоном, но взгляд ее выдавал разочарование.

— Нет, сегодня не удастся, сестра, — сказал Элрик лукаво. — Но у нас впереди другие вечера. Когда выработка начнет повышаться, когда наши где-нибудь на фронте одержат победу, мы с вами это отпразднуем! А пока — будьте панинкой и ждите.

Он вдруг заторопился и ушел, оставив ее одну, мучимую каким-то смутным недомогством. Она не очень была разочарована тем, что не пришлось отправиться куда-нибудь с Элриком и весело провести вечер, потому что и не рассчитывала, что это можно будет устроить так сразу, экспромтом. Нет, просто ее по временам злило и угнетало то, что она застряла здесь в глуши, где так мало развлечений и откуда она может наезжать только в два-три перенаселенных провинциальных городка. Конечно, работа у нее почтенная и весьма необходимая, и платят хорошо, но хотелось бы жить поведлее. Слишком много затемнения, и урезывания себя во всем, и однообразия. Политическим деятелям в Лондоне хорошо говорить о бодрости. Пусть бы они пожили тут да попробовали быть бодрыми и веселыми!

И сестра Файли, в последний раз окинув одобрительным взглядом свою безупречно чистую поликлинику, где все было наготове на случай какого-нибудь несчастья в ночную смену, вздохнула оттого, что не может посидеть, вытянув ноги, у весело пылающего камина и выпить не-

сколько кружек розового джина в обществе какого-нибудь занятого и любезного кавалера.

20.

Элрик вихрем влетел в кабинет и застал там свою маленькую секретаршу Мюриэль Аллойд, и Джойс Дирхерст, которые, внимательно разглядывая одна другую, обменивались осторожными репликами. Он подписал несколько писем, и, увидев, что уже семь часов, сказал Мюриэль, что она может «вымститься».

— Я сегодня поздно уйду отсюда, но утром должен быть на заводе приблизительно в обычное время. А вам оставаться незачем. До свиданья.

— До свиданья, мистер Элрик. До свиданья, мисс Дирхерст, — сказала Мюриэль. И сказала (как с облегчением отметил про себя Элрик) без всякого ехидства, без многозначительной ужимки. Мюриэль, очевидно, не видела ничего подозрительного в появлении здесь этой девушки.

Он просмотрел какие-то расчеты, лежащие у него на столе, позвонил по телефону, затем закурил папиросу и поглядел через стол на Джойс Дирхерст.

— Мистер Элрик, — промолвила она, запинаясь и ответив ему прелестным, тревожным и лучистым взглядом. — Я сейчас уже хорошо себя чувствую и могу пойти дожидаться автобуса где-нибудь в другом месте. Здесь я вам, наверное, мешаю.

Когда сестра Файли говорила с ним об этой девушке, Элрик мысленно убеждал себя, что поведение его просто глупо и что ничего особенного нет ни в девушке, ни в его желании видеть ее здесь, подле себя. Но сейчас, когда она сидела в его кабинете, такая сдержанная, непонятная, близкая и вместе далекая, чары опять начали действовать. И, как тогда, при первой встрече, ему казалось, что она пришла из какого-то иного мира, далекого и страстно желанного, и что этот мир он может узнать лишь через нее. Самая мысль о том, что она скоро уйдет от него, пугала и мучила, как смертный приговор.

— Ничего, я сейчас ничем не занят, — услышал он собственный голос, неожиданно резкий. — Как рука, не болит сейчас?

— Кровь в ней немножко стучит, вот и все, — ответила Джойс равнодушно.

Больше, казалось, говорить не о чем, не найти ни единого слова. Элрик угадывал, что она уже больше не боится его, как вчера и сегодня в клинике, но страх перед ним уступил в ней место безмерному равнодушию. Все, что бы он ни говорил и ни делал, не производило на нее ни малейшего впечатления. И печальная уверенность в этом делала его, обычно такого живого и разговорчивого, нелепо-молчаливым, словно косноязычным. Он казался себе тупым, скучным, глупым, чужим человеком, на которого всякая девушка

имеет право смотреть с полнейшим равнодушием.

— Вы... вы.. в пальто..

Он только сейчас заметил, что на ней уже не рабочий халат, а пальто, что она, очевидно, успела переодеться, собираясь уходить.

Она утвердительно кивнула головой, с некоторым недоумением глядя на него. Как тут не удивляться, Господи, помилуй!

Раздался телефонный звонок — весьма кстати. Элрик ответил на него и, слушая, что ему говорят, посмотрел на Джойс и бегло улыбнулся ей. К его удивлению и восторгу, лицо ее утратило безразличное выражение, и она очаровательно улыбнулась в ответ.

— Такие-то дела, — сказал он благодушно, вешая трубку. Улыбнулся снова. — Папиросу хотите, чтобы скоротать время?

— Нет, спасибо. Я не курю. Пробовала, конечно, но мне совсем не понравилось.

Он выслушал это, как сообщение чрезвычайной важности. Достал папиросу для себя и закурил.

— Мистер Элрик, — начала она, краснея и немного волнуясь.

— Да?

— Собственно, это так, пустяки... Только... видите ли, вчера я подумала, что я вам не понравилась, что... что я... хуже других... и то же самое я почувствовала, когда вы вошли во время перевязки. И когда вы сказали, что вам надо поговорить со мною, я боялась, что вы меня хотите уволить. Я спросила вашу секретаршу — она такая милая — и она меня успокоила. Но я еще сомневалась все-таки... А сейчас вы совсем другой... Разговариваете так дружелюбно...

Дружелюбно? Гм... Много они понимают, эти женщины. А еще твердят постоянно о своей пресловутой чуткости... Но что сказать ей? Она открыла ему путь шириной с милю... Она выглянула из своей раковины. Теперь не зевай, Элрик!

— Ну, конечно, я отношусь к вам дружески, — сказал он раньше, чем успел что-нибудь придумать. — А вчера вы ошиблись. Это я виноват. Такая уж у меня манера разговаривать. Привык, знаете ли, иметь дело с грубым народом. А ведь я остановился и спросил вашу фамилию потому, что вы мне показались непохожей на большинство наших работниц. И вы действительно не такая, как они...

— Да, это верно.

— Вы такая хорошенькая... и такая... изящная... («Господи, помилуй, что это я говорю?»), так приятно отличается от большинства, что я захотел узнать, кто вы такая. Это может оказаться полезным для меня и для вас тоже, Джойс. Например, нам может потребоваться девушка вашего типа в качестве представительницы завода... или для чего-нибудь в таком роде... понимаете?

Да, она понимала и сразу оживилась, насторожилась, заинтересовалась.

Он подошел к ней и, протянул руку, которую Джойс, конечно, не могла оставить висеть в воздухе. Рана была на левой руке, и она естественным, непринужденным жестом подала ему правую. А он удержал ее в своей на несколько мгновений, пока она грациозно вставала со стула, глядя ему в глаза. Он завладел этой рукой без всякого усилия, просто сжал ее легонько и смотрел сверху на тонкие белые пальцы. Огромная нежность, в которой смешались радость и боль, затопила ему сердце. Уже много лет — а может быть и никогда? — не волновало его так присутствие чуждой, непостижимой, но прекрасной женщины. Слово он сквозь просвет в облаках увидел неизвестный мир. Джойс была для него в этот миг уже не человеческим существом, а золотой далью, превосходящим всякое воображение даром, обетованным раем. Элрик видел перед собой не Джойс Дирхерст, а воскресший образ собственной души.

Девушка вряд ли сознавала, что прочла в его глазах, какие таинственные токи перешли из его руки в ее руку. Но так сильны были чары, созданные глубиной его чувства, что она стояла молча, не двигаясь. Совершенно пассивная, словно загипнотизированная, она не сводила с лица Элрика расширенных и посветлевших глаз, в которых читался вопрос. Рука ее немного дрожала, как только-что пойманный, мягкий зверек. Так они стояли оба, отрешившись от всего окружающего, забыв обо всем, вне времени.

Оглушительный гудок, возвещавший половину восьмого, словно ударил их в лицо. Весь мир, казалось, с воплем обрушился на них. Джойс сделала попытку отдернуть руку, но Элрик только крепче стиснул ее.

— Мне пора, — сказала она беззвучным, немного неуверенным голосом, как человек, заговоривший в первый раз после долгих месяцев молчания.

Элрик тоже с трудом овладел собою.

— Нет, нет, не надо уходить. Вы можете еще побыть здесь несколько минут.

Но, говоря это, он знал, что делает ошибку, что время и действительность вернулись, что глупо с его стороны пытаться удержать подольше эту девушку.

Они еще не успели двинуться с места и Элрик еще держал руку Джойс в своей, когда кто-то быстро постучал в дверь и сразу же распахнул ее. Элрик сердито обернулся. Джойс вырвала руку.

— Мне надо идти, мистер Элрик, — сказала она. — Иначе я пропущу автобус. До свидания.

И она торопливо прошла мимо стоявшей в дверях Гвен Оклей.

Элрик был рад, что это только Гвен, старый товарищ и славная девочка. Но

еще сердясь на то, что ему помешали, он молча и вопросительно смотрел на вошедшую... У бедной Гвен, как всегда, на щеке было грязное пятно, руки черны, фартук засален — настоящий подмастерье. Можно было подумать, что она нарочно измазалась среди машин.

По лицу Гвен трудно было что-нибудь угадать. Но Элику показалось, что она взволнована. Вероятно, в цеху что-нибудь случилось. Гвен ведь очень серьезно относится к работе.

— Эта девушка, — сказал Эрик как можно небрежнее, — только-что начала у нас работать и уже успела повредить себе руку.

Гвен кивнула головой.

— Я говорила с нею сегодня утром, — сказала она так, словно это было очень важное обстоятельство. — Она очень красива, правда?

— В ней есть что-то своеобразное, — отозвался Эрик. — Ей все здесь чуждо, она раньше служила в шикарном ателье в Вест-Энде и сейчас как-то растерялась в новой обстановке.

— Так вот отчего вы держали ее за руку?

— Да, — пробормотал Эрик, недоумевая, почему у Гвен сегодня такой странный голос и странное выражение лица. Быть может, Джордж Оклей, за которого ей безусловно не следовало выходить замуж, опять причинял ей неприятности, грозил, что вернется, или что-нибудь в таком роде?

— Да, теперь приходится пожимать им ручки. Это входит в мои обязанности, Гвен. Нужно всячески ублажать их. Вы не поверите... Тем более, что послезавтра приезжают люди из министерства... Я сейчас хочу в перерыве между сменами посмотреть, все ли внизу в порядке, так что проводите меня и по дороге расскажете что у вас неладно.

Они прошли на галерею главного здания, и, перегнувшись через перила, смотрели на затихшие теперь, неподвижные машины. Тишина и безлюдье в огромном помещении, как всегда, производили странное и глубокое впечатление.

— Кстати, не пропустите автобус, Гвен.

— Мне автобус не нужен. Разве вы забыли, что у меня свой мотоцикл?

Можно подумать, что он имеет какое-то отношение к ее мотоциклу и обязан помнить о нем! Тем не менее, Эрик в свое оправдание хмыкнул что-то неопределенное и затем спросил, какое у нее к нему дело.

— Меня заботит одна вещь, Боб... Здесь я могу называть вас Боб, да?

— Господи, разумеется! Не только здесь, а где угодно! Разве мы не старые товарищи, чорт возьми!

Она стояла к нему очень близко, прислонясь, как и он, к перилам. И, произнеся последние слова, Эрик дружески просу-

нул руку под ее локоть. Почему-то слегка вздрогнув, Гвен прижала к себе эту руку и придвинулась еще ближе, так что он ощущал прикосновение ее левой груди к своему плечу. Он никогда не думал, что у Гвен есть груди. И ведь груди, оказывается, далеко не плохие... Он вдруг сделал дурацкое замечание:

— Мое правое плечо очень удивлено.

— Вот как?! — воскликнула она сердито. — Ну, и пусть будет удивлено. — Она немедленно высвободила руку и отодвинулась от Эрика, не глядя на него. А он смотрел на ее, повернутое к нему в профиль, гневно нахмуренное лицо с большим грязным пятном на щеке, и ему было и смешно, и почему-то жаль Гвен.

— Ну, ну, не злитесь, Гвен, я просто пошутил. Я вовсе не хотел вас обидеть. Рассказывайте же, в чем дело.

Гвен больше не сердилась.

— Вот что, Боб. По заводу пошли разговоры о том, что начальники ссорятся между собой, — сказала она медленно. — Некоторые уверяют, что либо вам, либо Блэндфорду придется уйти. Я решила, что вам об этом следует знать.

— Разумеется. Хорошо, что вы мне сказали, Гвен. Но кто же занимается такими разговорами?

Не глядя на него, Гвен промолвила:

— Не хочется мне говорить об этом здесь. Может, встретимся сегодня вечером где-нибудь, да, кстати, выпьем по стаканчику?

— Сегодня не выйдет, Гвен. Я до поздней ночи буду на заводе. Как-нибудь в другой раз.

— Что ж, раз нельзя... — голос ее был как-то слишком ровен и беззвучен. — Не думаю, чтобы это было так важно... Но об этом толкуют некоторые из мастеров и рабочих и, конечно, брюзжат. Хотя они не все против вас, но я решила вас предупредить...

— Между прочим, я ничуть не удивлен, — заметил Эрик. — Я об этом догадывался. Я почти всегда угадываю такие вещи задолго до того, как они мне становятся известны. Они носят в воздухе. Кроме того, у нас сегодня была небольшая перепалка с Блэндфордом в присутствии кое-кого из мастеров — старика Боулса, Гейстона, и двух-трех других. И сейчас они, небось, уже состряпали историю под горячим соусом и угощают ею публику... Такие-то дела, Гвен.

— А на заводе все в порядке, Боб?

— Наш завод — один из лучших, Гвен, и министерство не может этого отрицать. Но врать не буду — у нас дела идут уже не так хорошо, как раньше. Мы выпускаем самолеты не так быстро, как бывало, и далеко не так быстро, как сейчас требуется. Но, разумеется, в этом виновата тысяча всяких обстоятельств, в том числе и положение на фронте...

— А половина этих дур, которых сей-

час набрали на завод, даже не знает, что идет война, — воскликнула Гвен злобно. — Хороши бы они были в сороковом году, когда мы работали до упаду, и сирены были чуть не каждый час!

— Ну, большинство этих новых и тогда работали бы как следует.

— Да, вы, конечно, будете защищать их! — Гвен пришла в настоящее бешенство.

— Что вы хотите этим сказать? Почему бы мне и не защищать их? У меня своя точка зрения. В сороковом люди переживали подъем, у них был... стимул к работе. И наши нынешние рабочие так же работали бы сейчас, если бы у них был этот стимул. А его нет... Ну, Гвен, спасибо, — и, если разговоры не затихнут, сообщите мне... Пойду поработаю. А как-нибудь в свободный вечер мы с вами обязательно выпьем!

Гвен кивнула головой и, не сказав ни слова, ушла с галереи одна, не дожидаясь его. А Элрик еще постоял, закури-вая. Грсматный опустевший зал наводил на него смутную тоску. Он стоял и думал о Гвен. Славная она женщина. Он давно привык считать ее одним из своих лучших друзей на заводе. Непременно надо будет как-нибудь на днях поужинать с нею. Давно они не встречались вне завода. Но неужели она начнет бегать к нему с каждой сплетней, которую услышит, и вести себя при этом так странно? У него и без того голова кругом идет. Может быть, ему следовало промолчать на совещании и выждать еще завтрашний день, пока вернется мистер Чевииот? И зачем он вел себя, как влюбленный мальчик, во время разговора с этой девушкой... Джойс... Джойс... Он достаточно стар, чтобы быть благоразумнее. Нашел время размякнуть и валять дурака в конторе!

В то время, как Элрик медленно возвращался к себе в кабинет, занятый вопросами, на которые не было ответа, в дальнем углу женской уборной Гвен Оклей впервые за много месяцев плакала навзрыд, тщетно пытаясь заглушить рыдания.

21.

Да, слухи так и жужжали вокруг. От ворот, к которым грузовики подвозили сырье, через весь громадный завод, до самого аэродрома и комнат высоко над ним, где помещались три летчика-испытателя, постоянно циркулировали эти слухи. Главным образом, конечно, среди мастеров, их помощников и старых рабочих. Говорили, что на Элмдаунском заводе выпуск продукции сильно нырнул вниз, что министерство ведет специальное расследование и мистер Чевииот вызван в Лондон для объяснений, что среди руководства — полнейший раскол, что Элрику придется уйти, что Блэнфорд со-

бирается уходить, что, возможно, произойдет полная реорганизация. Ни один из этих слухов не был правдой, но они не были и совершенно ложны. Они не противоречили фактам, а только раздували или искажали их. Поэтому слухи эти было так же трудно отрицать, как и подтвердить, и они росли и ширились. Для того, чтобы они подхватывались, вовсе не было необходимости, чтобы им вполне верили. Уже самое наичие их приносило большой вред. Они заставляли людей задумываться, создавали растерянность, тревожную атмосферу и, таким образом, ослабляли рвение рабочих. Когда в воздухе носятся такие слухи, людям кажется, что глупо гнать во-всю, как раньше, надрываться за работой. Никто не бездельничал сознательно, до этого еще не дошло, но теперь работавшие не видели особого смысла в том, чтобы подтягиваться самим и подтягивать других, поддерживать максимально быстрый темп работы. Весь коллектив завода походил на человека, у которого кружится и побаливает голова: в подобном состоянии все кажется не таким уж важным.

Сэмми Хэмп, конечно, был в курсе всего происходящего. Он вообще был как бы маленьким уродливым наперсником того многоголового существа, которое называлась заводским коллективом. Зарабатывая меньше всех, неся ответственность не большую, чем может нести человек, развозящий в тележке чай или орудующий мстлой, Сэмми тем не менее узнавал новости, касавшиеся завода, задолго до того, как они доходили до остальных. Можно было подумать, что он часами прячется под письменным столом мистера Чевииота и подслушивает все.

В это утро, придя по какому-то делу на центральный склад завода, где у него имелся приятель Томас Вулер, Сэмми, к своему удивлению и огорчению, убедился, что даже до Томаса Вулера уже дошли кое-какие неприятные слухи. Они проникли в склад! Дело становилось серьезным.

Склад вовсе не отстоял далеко от главного здания: он, естественно, находился в центре его. Несмотря на это, он казался уединенным и изолированным. Здесь не было грохота, ссепительного, резкого света, здесь не бился нервно пульс механических цехов. Атмосфера была спокойная, торжественная, чуть не благоговейная. Здесь все ходило как будто на-цыпочках, между высокими стенами нагроможденных друг на друга ящиков и нумерованных мешков. Здесь говорили, понизив голос. Здесь все делалось исторопливо, истово, старательно. Здесь не слышно было женской трескотни, хотя за последнее время и появилось уже несколько приличных, степенных женщин. Здесь не признавали этих новомодных глупостей — музыки по радио во время работы. Скорее, кажется, вы могли бы увидеть

Томаса Вулера пляшущим матросский галоп.

Томас не был заведующим, но посетители не хотели этому верить, настолько он гармонировал с обстановкой и был здесь в своей стихии. Он представлял собой мужчину средних лет, низенького, но очень широкого в плечах, без шеи и с нелепо коротенькими, жирными, кривыми ногами. На всем заводе не было человека серьезнее Томаса. Получая какие-нибудь товары, хотя бы только несколько винтов, из рук Томаса, вы чувствовали, что принимаете участие в каком-то священном, полном глубокого смысла, ритуале. Томас говорил медленно, веско и многозначительно, как оракул, отягощенный, казалось, некоей вестью колоссальной важности, которую он должен сообщить суетливому, безумному миру, но еще не успел этого сделать. Нескольких своих близких приятелей, к которым принадлежал и Сэмми, Томас Вулер благодетельствовал лишь одним: позволяя им иногда пить из источника его мудрости.

— Сэм, — сказал в это утро Томас, — Сэм, я слышал несколько вещей, которые мне не понравились.

Сказано это было очень медленно, очень серьезно, таким голосом, как читают смертный приговор.

— Да, Томас, ходит множество всяких басен, — отозвался Сэмми не так весело, как обычно. — И уже давно. Но с некоторых пор сплетням просто удержу нет, — отчасти потому, что нет мистера Чевииота. Сегодня, к сожалению, я слышал опять целую уйму всякого вздора...

— Не буду называть имен, — продолжал Томас и, найдя в этой фразе некое благородство и внушительность, повторил ее еще раз:

— Нет, Сэм, я не буду называть имен.

— И очень хорошо сделаешь. Нет имен, никто не в ответе... Не нравится мне все это... Помнишь, Томас, как было... когда же? да, в начале сорокового года. В год «липовой» войны, как ее тогда называли. Еще была такая песенка: «Старый Пакостиник объявил нам Липовую войну», помнишь? Ну, такая же точно кутерьма началась у нас тогда на заводе. Ох, что творилось! Рабочие уходили в армию, поступали новые, и завод месяцами ничего не выпускал, — пока все снова не наладилось.

— Когда я говорю «никаких имен», — сказал Томас, не любивший, чтобы его перебивали, когда он излагал свою точку зрения, — я имею в виду имена тех, Сэм, кто мне рассказал об этом. Вот и все. Мы можем обойти их молчанием. Просто-напросто обойти их молчанием.

Физиономией Томас немного напоминал вареного судака, а глаза у него были, как жидкий студень. Сейчас его лицо придивнулось так близко к Сэмми, что Сэмми

разбирал смех, но он понимал, что смеяться никак нельзя. Нельзя обижать доброго старого Томаса. И, кроме того, они не просто беседуют, они, собственно, заняты делом, если можно применить такой термин к Томасу, движения которого, медлительные и тяжелосвесные, напоминали движения дрессированного слона на арене цирка.

— Вот это верно, — сказал Сэмми весело. — Ты совершенно прав, Томас. Так безопаснее для всех.

— Но, разумеется, — продолжал Томас, еще медленнее обычного, — я считаю, что могу себе позволить, Сэм, называть имена тех, о ком мне передавали слухи. Иначе получается бессмыслица. Постой, Сэм, погоди, — добавил он, нежиданно возвращаясь к деловой части их беседы, — вам нужен номер пять, а не номер шесть.

Они находились в одном из дальних закоулков склада, где было тихо. Из механических цехов сюда доходили только слабый гул и звуки, похожие на шум отдаленного водопада, и ничто больше не напоминало о тысячах людей, день и ночь работавших так близко отсюда. Это местечко располагало к обмену мнениями и философским рассуждениям.

— Мистер Блэндфорд, о котором они говорят, — начал Томас, найдя требуемый номер пять и глядя пристально и укоризненно на Сэмми, — Мистер Блэндфорд, можно сказать, для меня новый человек. Он здесь не так давно, и я недостаточно с ним соприкасался, чтобы составить себе о нем суждение.

Невозможно описать, с каким достоинством и категоричностью Томас произнес последние слова. Это была одна из его любимых фраз, пленявших его своей высокопарностью.

— А твоё мнение, Сэм?

— Понимаешь, Томас, я уже говорил тебе на днях, что мистер Блэндфорд меня не жалует, хотя я ему ничего дурного не сделал. Ну, и я тоже не могу сказать, чтобы я его любил. Когда мистер Чевииот гворит со мною, — а он редко пройдет мимо, чтобы не перекинуться словом-другим, — так он говорит просто, как человек с человеком, — понимаешь, Томас? Мы знаем, что он — наверху, а я — внизу, что он в неделю зарабатывает то, что я в год, а то и больше, пожалуй, что он всем тут приказывает, а мое дело — только исполнять приказания других. Ну и что? Все-таки, он разговаривает со мною, как человек с человеком. А Блэндфорд смотрит на меня, как на пустое место. И, когда я говорю, что он меня не любит, это не значит, что просто я ему не нравлюсь, как бывает, что один человек не нравится другому. Нет, он смотрит так, как будто хочет спросить: «И зачем это мистеру Чевииоту понадобилось, чтобы здесь болталась всякая шухера?» Но для начала я его готов, как говорится,

оправдать за отсутствием улик. Такое уж у меня правило.

— Не пойму, о чем ты говоришь, Сэм, — сказал Томас. — Тебе придется объяснить все толком, если хочешь, конечно, чтобы я составил себе суждение.

— Видишь ли, такие образованные люди вначале бывают очень застенчивы. Да, да, Томас, этому трудно поверить, но это так. Некоторые от стеснения не знают, куда глаза девать. Вот у нас новый служащий Энглби, серьезный такой паренек в очках и дельный, говорят, — так он первые дни очень смущался. Разговаривает с тобой, а сам в глаза не смотрит, понимаешь? Теперь по привычке и перестал стесняться. Ну, а мистер Блэндфорд — нет, я его хотя и не обвиняю «за отсутствием улики», как говорится, но по моему, тут совсем другое дело. Он не то, что просто задается, как некоторые задаются в первое время после их продвижения. Таких, как Блэндфорд, не продвигают. Он сам себя продвигает с того дня, как родился, и так высоко себя ставит, что не замечает никого из нас, не хочет даже снизойти до того, чтобы разглядеть нас по-настоящему. И никто не знает, что такому человеку нужно, у него своя цель, но вы не узнаете, какая. Одно ясно, что его цель — не наша цель. Ты хотел услышать мое мнение, Томас, — так вот оно...

Им помешал разговаривать пришедший за товаром ученик с лицом круглым и румяным, как яблоко, такой юный, словно вчера только со школьной скамьи. Он протянул Томасу какую-то грязную бумажку.

— Пожалуйста, мистер...

Томас сурово посмотрел на него.

— Я вас, молодой человек, как будто, вижу впервые. Новичок?

Мальчик подтвердил, что работает совсем недавно.

— А звать как? — осведомился Томас с усиленной важностью.

— Рэндольф Перкинс, — пролепетал мальчик с видом человека, которому его имя причинило в прошлом большие неприятности.

— Чем занимается отец?

— Он в армии.

— Где именно?

— Мы не знаем, где он сейчас, — ответил Рэндольф с огорченным видом. — Его отправили в Сингапур.

— Так... Надеюсь, тебя послали ко мне не за стеклянными молотками и не за отвертками для левши? — сказал Томас, взяв от него грязную бумажку. — Нет, все в порядке. Подожди здесь, паренек.

Оставшись наедине с мальчиком, Сэмми дружески подмигнул ему. Рэндольф сразу просиял.

— Разве здесь есть стеклянные молотки? — спросил он.

— Нет, конечно. В прежние времена у

нас любили подшутить над новичками и посылали их за всякими такими вещами, — пояснил Сэмми. — Первые недели их посылали за всякой ерундой, которой и на свете-то нет. Ну, а теперь другое дело... война!. Ты живешь дома, у матери, Рэндольф?

— Да. У меня есть еще два брата и сестренка, но я — самый старший. Мама плакала вчера, когда я уходил на работу. Не знаю, почему, но плакала. А сегодня я встал раньше, чем она. В четверть седьмого — вот когда! — добавил он с гордостью. — У меня есть будильник, мне дедушка подарил.

— Ты где работаешь, у Джока в учебном?

— Да. Он меня и послал сюда. А вы — здесь, в складе?

— Нет. Я по всему заводу работаю, сынок. Всякую работу выполняю.

— А мой дядя строит военные суда. Но, по моему, самолеты строить интереснее. Мне нравится делать самолеты. Вчера я обрабатывал деталь самолета, и Джок сказал, что сегодня буду делать уже другую деталь. А что, в столовой опять будет представление?

— Да, но не такое, как вчера. Может быть, музыка, а, может, что другое. Во всяком случае, пудинга будет вволю. Любишь пудинг?

— Вчера в столовой один человек, что сидел рядом со мной, съел свой пудинг раньше, чем я успел приняться за свой, — сказал Рэндольф серьезно. — Ел и все время строил мне гримасы. Потом говорит: «На твоём месте, парень, я бы такой дряни и в рот не брал». А я говорю: «Так зачем же вы свой съели?» А он отвечает: «Я — другое дело». И все засмеялся. Я сразу понял, что он это нарочно говорит. Я потом дома попробовал так пошутить, но никто не догадался, даже сестренка — и та не поняла, что это шутка.

Вернулся Томас, неся то, за чем посылали на склад Рэндольфа.

— Вот, мальчик, отнеси это Джоку, да смотри, не останавливайся нигде по дороге.

— Не буду, — заверил его Рэндольф. — До свиданья.

— До свиданья, — ответил Сэмми.

Они смотрели, как он шел к двери. Пушок на затылке был такой по-детски невинный, еще невиннее, чем румяные щеки.

— Каких теперь ребятишек берут на завод! Ведь только-что из яйца вылупился, ей-богу. Что-то он увидит в жизни, когда вырастет?

— Одного, во всяком случае, он не увидит, — сказал Томас мрачно. — Никакие Чемберлены тогда не будут ездить в гости ни к каким Гитлерам... Да, так я говорил, Сэм, что этот мистер Блэндфорд, о котором люди столько болтают, для меня человек новый. И, если он такой, как ты описываешь, Сэм, тогда пусть и оста-

ется для меня новым. Но Боба Элрика я, разумеется, отлично знаю.

— Как и все мы, Томас. То-есть, я хочу сказать — все старые работники.

— У нас с ним бывали громкие разговоры, — продолжал Томас. — Не раз, когда он говорил одно, я говорил другое — прямо в глаза ему.

— Да, помню, я раз был при этом, — заметил Сэмми. — Он накинулся на тебя, как бешеный, Боб Элрик то-есть, но ты крепко стоял на своем, Томас, и спуску ему не давал.

— Я стоял на своем, Сэм. И всегда буду стоять на своем. Мне все равно, что он главный инженер. Он тогда обругал меня всякими словами, какие только мог придумать, прескверно обругал и ушел в ярости. А на завтра пришел опять, Сэм. Да, пришел опять и говорит: «Слушайте, вы, упрямый старый чорт, ведь вы были правы, а я неправ. Так что я беру свои слова обратно и за мной кружка пива», — говорит. И через несколько недель вспомнил ведь про это в субботу вечером и поставил мне кружку пива. Вот это я называю человеческими отношениями!

— И я тоже, — воскликнул Сэмми. — Я наслаждался, как эти новые ругают за глаза Боба Элрика, особенно в последнее время, и сказал одному из них: «Боб Элрик выпускал самолеты, когда ты еще сидел дома да почесывался». И рассказал им, как вел себя Боб Элрик здесь после Дюн-керка: работал, как бешеный, круглые сутки, — помнишь, Томас? У него тогда глаза под лоб ушли. Раз вечером идет и здорово качается, а одна из новых работниц и говорит: «Фу, безобразие! Он пьян!» А я говорю: «И не думает быть! Он вот уж две недели капли в рот не брал. Это от усталости, — ведь все ночи работает, не спит». Да, Боб Элрик показал себя тогда...

— Так что же на него теперь нашло, Сэм?

— Все это пустое, Томас. Зря болтают. Он что-то заскучал и злится. Ну, и накатывается иной раз на кого-нибудь. Только и всего. Вот еще на-днях он мне сказал.. «Всем нам», — говорит, — «до смерти все надоело, Сэмми, — всем, кроме вас. И вам бы надоело, если бы у вас было больше ума в голове...» Да, Томас, кое-что очень скоро услышит от меня парочку крепких слов за Боба Элрика. Точно слушать их дурацкое шушуканье!

— Значит, ты не веришь, что он сбился с пути, Сэм? — спросил Томас серьезно.

— Нет, не такой он человек. Он немножко не в себе, вот и все. Погоди, встряхнется. Вот одержим какую-нибудь победу на фронте, или нас где-нибудь порядком потрепают, и опять начнут вопить: «Больше самолетов!» — тогда вы все увидите, как будет работать Боб Элрик!

Искры полетят! Стой за него, Томас, стой за него!

— Спасибо, Сэм, буду стоять за него горой. Ты мне помог составить о нем мнение.

Он помолчал и затем объявил с неопи-суемой торжественностью:

— И если я услышу опять эту бесстыд-ную болтовню, я положу ей конец! Да Сэм, я положу ей конец!

Но, хотя Томас и обещал положить это-му конец, слухи все жужжали да жуж-жали по всему заводу, растерянность росла, росла тревога, и темп работы неиз-менно ослабевал.

22.

Мисс Шиптон добросовестно старалась отдавать всю себя работе. Но ее разбитая теперь личная жизнь настойчиво требо-вала внимания, и она не могла притво-ряться перед самой собой, будто собствен-ная жизнь имеет для нее меньше значе-ния, чем жизнь других женщин на заво-де. К тому же она провела весьма мучи-тельную ночь, почти без сна, и испыты-вала себя выпотрошенной. Вчера вечером, после работы, у нее был короткий разго-вор с мистером Болтоном и он, со свой-ственной ему невозмутимой серьезностью, повторил ей опять то, что сказал днем: что жене Герберта уже с некоторых пор — мистер Болтон предполагал, что года два — известно о связи Герберта, но она решила молчать и ждать, надеясь, что рано или поздно это (по ее собственному выраже-нию) «пронесется». И мисс Шиптон чувст-вовала, что оно уже «пронеслось». То, что жена Герберта так давно знает о их свя-зи и, зная, ничего не предпринимала, по-чему-то резко изменило отношение мисс Шиптон к Герберту. Он казался ей другим, не прежним. Она не узнавала и себя са-мое, и любовь их лежала перед нею, раз-битая вдребезги. Она не сердилась на Гер-берта, не сердилась ни на кого. Она про-сто казалась себе ничтожной, жалкой, до-стойной презрения, она была ошеломлена и растеряна. Мистер Болтон явно уклонял-ся от беседы на эту тему. Он не то чтобы осуждал ее или Герберта, хотя она поня-ла из его слов, что Герберт ему никогда особенно не нравился. Нет, он как буд-то смотрел на все это запутанное дело с далекого расстояния. Быть может, это объяснялось пережитой им трагедией, о которой он никогда не упоминал. Мисс Шиптон чувствовала острую потребность объяснить ему все, оправдать свою связь с Гербертом перед этим непонят-ным, серьезным человеком, но он не проявлял ко всему этому ни малейшего интереса и ему явно было безразлично, увидит ли он ее еще когда-нибудь или нет. Это попеременно бесило и угнетало ее, но больше все-таки угнетало.

Со вчерашнего вечера она успела напи-

сать три длинных прощальных письма Герберту, дружеских, нежных, без единого слова страсти, — и изорвала все три. Она все еще сидела за четвертым письмом. Надо было написать и отослать его как можно скорее, так как она решила порвать с Гербертом. Даже и тут ее обуревали противоречивые чувства. То ей казалось, что теперь настоящая жизнь кончилась, то через минуту она испытывала странное облегчение — как будто в глубине души давно уже хотела уйти от Герберта.

А работа все накапливалась да накапливалась, ничего не желая знать о Герберте. И оттого, что она не в состоянии была уделить этой работе должное внимание, мисс Шиптон злилась на нее, злилась и на себя. Но больше — на работу. «Ох, эти женщины!»

Одна из «этих женщин», перезрелая, весялая неряха, миссис Рули, с которой уже и раньше немало было хлопот, впадала сейчас в контору с заискивающей улыбкой, но дерзким, насмешливым взглядом.

— Мисс Шепердсон, — начала она.

— Моя фамилия Шиптон, миссис Рули. Право, вам пора бы это знать...

— Ах, извините, мисс Шиптон. У меня знакомая есть Шепердсон, вот я всегда и путаю. Но она здесь не работает. Она может сидеть дома, потому что муж ее работает на новых аэродромах и приносит такую уйму денег... честное слово, это просто разврат! Да вот сами посудите — встречаю я ее на той неделе...

— Не будем терять времени, миссис Рули, — резко перебила ее мисс Шиптон. — Если вас работа не ждет, так я занята. — У меня работы нет. И не будет до обеда. У нас теперь постоянно простои. Вот я и надумала пойти наверх и потолковать с вами, мисс Шиптон.

— О чем?

Миссис Рули помолчала минутку, отвела дерзкие глаза и затем объявила, что она беременна. Мисс Шиптон сначала не удивилась. Но затем, что-то вспомнив, заглянула в лежавшую на столе тетрадь, чтобы проверить, не ошиблась ли она.

— Не позволяйте, миссис Рули, — сказала она, подняв глаза от тетради, — у меня тут записано, что ваш муж вот уж два года находится в армии на Среднем Востоке.

— Это верно, — подтвердила миссис Рули.

— Тогда как же...

— Вы хотите сказать, что этот ребенок не от мужа, — подхватила миссис Рули любезным тоном, как бы желая вывести мисс Шиптон из затруднительного положения. — Ну, да, не от него.

Мисс Шиптон с возмущением устала на нее.

— Ваш муж пошел сражаться за нас, а вы в это время...

— Это верно. Неудобно получается, ко-

нечно, но что поделаешь. Так уж мы устроены, мисс Шиптон. Против природы не пойдете...

— Нет, пойду! — крикнула мисс Шиптон. — И вам должно быть стыдно, миссис Рули! Что скажет ваш муж?

— Это Тэд — товарищ моего мужа, — пояснила миссис Рули уже серьезно. — И он мне написал — мой муж, то-есть — в письме: «Присмотри за Тэдом». Тэд — он матрос и четыре раза нарывался на мину. Ну, приехал он, и я о нем заботилась, как только могла, насколько время позволяло, конечно, — ведь, я работаю. Но надо вам сказать, он парень расторопный. Моряк, известное дело: и уберет чистенько, и даже ужин раза два приготовил сам к моему приходу. Ну, конечно, в кино ходили вместе... Выпьем потом стаканчик-другой, сидим, разговариваем. Дальше-больше, — знаете, как это бывает. Не успела опомниться, — и готово, влипла!..

— Ну, знаете!.. — начала было мисс Шиптон с негодованием, но вдруг осеклась, не придумав, что сказать. Мужу этой женщины следовало бы быть умнее и не посылать к ней матроса! Мистеру Рули надо бы знать свою миссис Рули... Но ей ли, Эдит Шиптон, которая вешалась на шею Герберту, — ей ли осуждать эту женщину, пригрезившую раненого моряка?

И она умолкла, не dokonчив своей гневной реплики, но смотрела на стоящую перед ней женщину все так же сердито.

— Некоторым легко говорить, — продолжала миссис Рули. — Но не все же люди одинаковы. Что вам противно, мне, может быть, кажется совсем другим. Поверьте, я была моему мужу доброй женой. И я его не просила уезжать бог знает куда на целые годы! И когда приходит этакий славный парень, одинокий и четыре раза раненный минами и все такое, да еще к тому же несчастный, потому что ему изменили и подло изменили, — добавила она сурово, и глаза ее засветились воспоминанием о ночных душевных беседах, — как тут его не пожалеть, не порадовать?.. И сам не заметишь, как это случится... Так уж человек устроен... Конечно, я про себя говорю, — вы, наверное, не такая... Если ко мне подойти по-хорошему, я отказать не могу... Сердце у меня всегда было доброе...

— Боюсь, вы скоро пожалеете, что были такая добрая, — сказала мисс Шиптон, хмурая брови.

Миссис Рули покачала головой и улыбнулась, похожая в эту минуту на потрепанную богиню плодородия. И в наглом взгляде, брошенном ею на мисс Шиптон, сверкнул огонек насмешливого презрения, говоривший о том, что она считает мисс Шиптон засушенной, бесплодной старой девой, пародией на женщину. Мисс Шиптон почувствовала это и разозлилась.

— Что ж, сейчас я ничего для вас сделать не могу, — сказала она резко. — Вы можете работать еще три-четыре месяца. Но, если хотите послушаться моего совета, — напишите обо всем мужу.

Она ожидала, что ее слова сотрут улыбку с лица женщины. Но этого не случилось.

— О, с этим все в порядке, мисс Шепerton, — сказала миссис Рули весело. — Я ему уже написала. Он знает, от кого я беременна. «Вот тебе твой Тэд!» — написала я ему. А теперь я сказала и вам, так что сделано все, что требуется, верно? До свиданья.

Этот разговор, оставивший по себе смутное, но неприятное ощущение сделанного ею промаха, не улучшил настроения мисс Шиптон и не помог ей справиться с утренними делами. Она сорвала злость на нескольких ни в чем неповинных людях, скоторыми ей пришлось разговаривать по телефону. А одна из чертежниц, зашедшая спросить, как обстоит дело с драматическим кружком, немедленно ретировалась обратно в чертежную и объявила, что мисс Шиптон чуть не откусила ей голову. Даже мистер Проскот встретил немногим лучший прием.

Он вкатился, красный, сияющий, видимо, с самыми радостными новостями. И это, разумеется, раздражило мисс Шиптон, уверенную, что его новости — очередная ерунда.

— Наконец-то нам немного повезло, — воскликнул мистер Проскот. — Из управления звонили, что им нужны две работницы авиазавода для участия в специальной большой радиопрограмме. Спрашивали, не можем ли мы командировать таких. Как-раз то, что нам нужно!

И как актер, переигрывающий роль, мистер Проскот потирал руки и улыбался еще шире обычного.

— Что ж, — сказала мисс Шиптон. — Думаю, что мы можем подобрать двух подходящих девушек.

— Ну, конечно, можем. И не двух, — десятки. Ничего нет легче. Я в восторге! И мистер Чевит будет доволен, когда узнает, — он завтра приезжает. Понимаете, мисс Шиптон, это как-раз то лекарство, которое нам нужно, чтобы поднять настроение рабочих. Я только-что рассказал об этом Эзрику, и он со мною согласен, что это всех встряхнет. Так делают, конечно, и русские.

— Знаю, — сказала мисс Шиптон тихо и без всякого выражения. — Но русские делали еще много других вещей. Например, они сделали революцию.

Мистер Проскот укоризненно посмотрел на нее.

— Разве вам не нравится эта идея, мисс Шиптон? А я думал, что вы за нее ухватитесь. Из управления сообщили, что это будет передача специального назначения. И не забудьте — все остальные женщины на заводе услышат ее.

— Услышат, если захотят слушать, — возразила мисс Шиптон угрюмо. — Но насколько я их знаю, большинство охотнее послушало бы джаз-банд.

— Как правило, это так. Но тут, понимаете ли, особый случай...

— И я не уверена, что я тоже не предпочла бы джаз-банд, — продолжала мисс Шиптон, окончательно закусив удила. — Безусловно, приятнее слушать хорошую музыку или интересную пьесу, чем все эти помпезные военные программы с все теми же старыми выкриками и теми же участниками, которые орут во все горло: «Да здравствует то» и «Да здравствует другое». После того, как отработаешь здесь целый день, да выслушаешь военные сообщения и прочтешь все, что пишут о войне в газетах, к вечеру уже бываешь по горло сыта войной, и просто претит все эта стряпня Радио-Корпорации. К этому времени я начинаю думать, что лучше бы радио использовали для того, чтобы напоминать нам, что где-то за пределами этого сумасшедшего дома есть настоящий мир, жизнь с ее радостями, напоминать о том, что стоит помнить из прошлого, и о том, на что можно надеяться в будущем. А то затвердили: война, война, война! — закончила она на высокой, почти истерической ноте.

Мистер Проскот шумно глотнул воздух и затем медленно выдохнул его.

— Мисс Шиптон, если вы немного расклеились, — а я вижу, что это так, — отчего бы вам не взять отпуск на два-три дня, сходить к доктору, отдохнуть дома? Беда с женщинами: во всем непременно перестараются.

— Я ничуть не перестаралась, мистер Проскот, — возразила она с достоинством. — Я, пожалуй, не совсем хорошо себя чувствую и плохо сплю, но к доктору мне идти незачем. Мы — недовольны прогулами наших рабочих, так неудобно и нам сидеть дома, когда мы ничем не больны.

Глаза мистера Проскота приняли суровое выражение, и в первый раз за все время работы с ним мисс Шиптон почувствовала, что он ее не любит.

Окончание следует.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Н. ТИХОНОВ



Место писателя в Великой отечественной войне predetermined тем оружием, каким он владеет. Это оружие — слово. Писатели в этой войне несли жертвы как бойцы и как бойцы смыкали свои ряды, чтобы снова и снова бороться за непоколебимую истину советского искусства.

Товарищ Сталин в своем докладе сказал глубокие слова о том, что советская интеллигенция в условиях войны двигает вперед советскую науку и культуру.

С первого дня войны писатели включились в ряды защитников родины. С первого дня войны зазвучало писательское слово, сопутствуя Красной Армии и советскому народу в битвах на фронте и в трудовых подвигах тыла. Писатели жили и живут общей жизнью с народом. В боевом братстве страны они занимают почетное место. Их влияние огромно. Их ответственность перед народом и будущими поколениями никогда не была так велика, как сейчас. Наша литература стала «совестью мира», как назвал ее английский писатель Пристли. И это сказано с глубоким уважением к нашей работе.

Народы объединенных наций, дугнетенные народы, ведущие отчаянную борьбу с фашизмом, передовые деятели мира и обыкновенные работники, интеллигенты и писатели Запада, удивленные блеском побед советского народа, задают себе вопрос: как случилось такое чудо? Почему побеждают советские люди? И они говорят нам, советским писателям: «Покажите нам советских людей, раскройте тайну этих побед, дайте нам почувствовать душу и сердце советского человека, расскажите о нем все, что вы знаете, со всей силой неупрощенного искусства, вы, писатели и поэты, инженеры человеческих душ, понимающие весь глубочайший смысл событий, переживаемых вашей родиной».

Наш советский народ, наша Красная Армия жадно глотают слова писателей, черпая в их произведениях нравственную силу, вдохновляясь подвигами их героев.

«Быть инженером человеческих душ — это

значит обеими ногами стоять на почве реальной жизни», — так сказал товарищ Жданов на открытии первого съезда писателей. Эта формула неизменна и для переживаемого нами времени. Не надо понимать ее узко. Сегодня действует сила тех фактов жизни, которые нас окружают, но в нас говорит и предвидение будущего, провозвестником которого являются эти факты. В нас говорит и сила глубочайших воспоминаний исторической жизни нашего народа. Живут бессмертные идеалы совершенствования человеческого характера, получившие в нашу сталинскую эпоху такое изумительное развитие, давшие нам героев, достойных сравнения с лучшими классическими образцами, а зачастую превосходящих их настолько, насколько масштаб сегодняшней борьбы нашего народа превосходит все бывшие грандиозные столкновения, решавшие судьбу мира.

До Великой отечественной войны в центре внимания нашей литературы стоял человек — строитель новой жизни в городе, в колхозе, беззаветно преданный делу партии хозяйственник, инженер, участник великой стройки, комсомолец, воздвигавший в тайге город молодости, покорявший Арктику, неутомимый и жадный к приобретению знаний пионер, живший в романтическом мире счастливой юности.

Теперь этот человек проходит горнило войны, переживает жестокие испытания и творит незабываемые подвиги. Мы видим величайший героизм и величайший триумф советского человека.

Как же изображим в нашей литературе народ-герой?

Главным героем нашей литературы, как в дни мирного строительства, так и в дни Отечественной войны, является правда. Мы не хотим скрывать ни дней тягостного отступления, ни дней жестоких битв, ни огромного напряжения сил страны на пути к победе. Мы не хотим рядить наших воинов, наших офицеров в пышные одежды сказочных удалыцов или ограничиваться картинными

строго батальных описаний. Правда о войне — это рассказ, который должен потрясти души и сердца, раскрыть все моральные богатства, всю глубину могучего духа советского человека. Непобедимая воля, потрясающая выносливость, железное упорство, глубокое понимание происходящего, жертвенность, высокая сознательность — эти черты свойственны характеру советского солдата, советской женщины, старика и мальчика. Наш герой не ограничен возрастом.

Национальная гордость, дотоле скрытая в сердце советского человека, перед угрозой порабощения, перед лицом смертельной опасности вспыхнула ярким огнем. На развалинах Сталинграда, в осажденном Ленинграде, в степях Украины, в лесах Белоруссии — всюду, где шли грандиозные сражения, советский человек в решительный час дышал этой национальной гордостью, жертвуя жизнью за свою страну, за ее будущее. В ходе жестоких битв рождалась ненависть к немцу, ненависть тяжелая, ненависть неутолимая, ненависть личная, ненависть, которая до сих пор движет Красной Армией и советским народом.



Вместе с ходом войны изменялся и наш воин. Красная Армия впитала в себя сыновей всех народов Советского Союза, и дело войны стало делом их жизни. Они росли в огне сражений и выросли так, что сияние их побед освещает весь мир, как ответ зарницы спасения для всех народов, измученных немецким игом.

Никогда не было такого читателя у советских писателей, как сейчас. Никогда их слово не поглощалось так жадно, как сейчас. И никогда их слово так не помогало народу, как сейчас. Все процессы войны в той или иной мере отражены в нашей литературе. В этом ее заслуга, ее честь и слава. Она еще не отразила их исчерпывающе с должной силой, но она отразила их в меру тех талантов, какие есть сегодня в наших рядах.

Невозможно пересказать все произведения наших писателей и поэтов, драматургов и сценаристов, посвященные событиям Отечественной войны. Остановимся лишь на самых характерных произведениях, таких, чье значение общепризнанно и представляет большой интерес.

Нужно сознаться, что в первые дни этой великой войны писатели не знали, с чего начать. Они только инстинктивно чувствовали, как ответственность писателя заставляет их сосредоточиваться, искать самое главное. Самое главное была правда. Ведь очень характерно, что такие разные люди, как Колосов и Паустовский, направляясь на фронт, оба везли с собой «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.

Почему они выбрали его, именно его? Потому, что в рассказах Толстого, сочетаю-

щих художественную прозу с публицистикой, правда жизни рядом с размышлениями автора о виденном. Толстой собственными глазами видел то, что изображал, но одного этого было бы еще мало. Им двигала огромная жажда к познанию русского человека, и он описал его не объективно, а со страстью патриота, разделяющего народный подвиг.

И в наши прозные дни советский писатель не мог миновать этого пути: все видеть своими глазами, все испытать самому и правдиво рассказать об этом.

Возьмем такого молодого писателя, как Константин Симонов. Его популярность очень велика. В писательском искусстве, как и во всех других областях, неизбежна смена поколений. Симонов — голос сегодняшнего молодого поколения, того поколения, что испытало Халхин-Гол, знало освободительный поход в Западную Белоруссию, в Западную Украину, извело суровую зиму финляндской войны 1939—1940 года. Этому поколению выпала честь участвовать в великой битве советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Молодость, заряженная огромной энергией, не боится расточительства своих сил. Поэтому мы встречаем Симонова во всех жанрах. Он выступает как прозаик, очеркист, поэт, драматург, сценарист — все сразу. Его не смущает расстояние. Сегодня он в Одессе, завтра под Москвой, потом он переносится в сугробы Заполярья, он уже в Сталинграде, а дальше мы видим его с армией на правом берегу Днепра, потом в лесах Полесья, читаем его корреспонденции из Гомеля. Это энергия молодости, которая не считается с расстоянием.

Его жадность к впечатлениям вполне оправдана. Он сам идет в разведку, участвует в атаке, он на наблюдательном пункте, он на волжской переправе, под обстрелом, и всюду он искренен и прост. Никакого самозабвения, ни тени фальши, никаких трескучих, громких фраз.

Он первый поднимает в театре тему «Русские люди». Он не делает открытия: эти люди вокруг, ими полна армия. Но он их запечатлел первый. В этом его заслуга.

Есть у Симонова стихи, которые солдаты и офицеры носят у себя на груди — это факт, а не преувеличение, — носят потому, что строки эти отвечают тому, что у них на сердце. И они благодарны автору. Это стихи о любви — «Жди меня». Но есть другие, — их расклеивал аршинными буквами осажденный Ленинград, — и это стихи о ненависти — «Убей его!» Симонов пишет очерки, похожие на рассказы, и рассказы, похожие на очерки. Его не интересует точность жанра. Его интересуют борьба, жизнь и победа. Он разговаривает со временем его голосом. Его поколения в окопах и в боях. Оно выиграло войну и, вспоминая войну, вспомнит Симонова. Это много.

В рассказах, стихах и пьесах Симонова

есть, конечно, недостатки. Но не это главное. Главное в том, что он голос своего поколения. Он не может писать безукоризненно. Это приходит с годами. Но он, такой, как есть, метит свои рассказы и стихи годами 1941, 1942, 1943, 1944. Это славные даты. Они не забудутся.

Возьмем «Морскую душу» Соболева. Эти страстные маленькие рассказы хороши тем, что их читаешь, как правду. Это правда о нашей гордости, нашей славе, о советских моряках, возродивших славные традиции прошлого. Это матрос Кошка, получивший новое имя. Это Севастополь в грозе и буре, советский, наш, родной Севастополь. Севастопольская Даша времен Нахимова доверила свой пост советской девушке и с гордостью глядит, как ее наследница выполняет исторический долг. Корниловский моряк воскрес в неповторимой борьбе севастопольских морских батарей. Истоминский сапер ожил в саперах лета сорок второго года. Заслуга Соболева в том, что он сумел передать пульс этой борьбы.

Но есть попытки, идущие дальше эпизодов. Очень трудно в самый разгар такой войны, как нынешняя, попытаться остановить время. Легко делать зарисовки в блокноте, но трудно создавать большую картину на перепутьях времени, на короткой остановке. И все-таки роман Гроссмана «Народ бессмертен» — удача. Дело не в комиссаре Богареве и не в красноармейце Игнатьеве, не в этих, пусть обобщающих фигурах. Но Гроссман поднял другое — то большое, что впервые прозвучало в литературном произведении. Война коснулась всей нашей жизни, всего, что дорого нашему народу. Гроссман первый изобразил охват войны, изобразил города и села, гибнущие под шквалом вражеского нашествия. Он не оскорбил изображаемое преувеличением. Он не обидел настоящих героев выдуманной героиней. Есть недостатки и в его романе. Но наша задача — найти главное, то, что писателем двигало и что ему удалось.

«Непокоренные» Горбатова произвели на читателя в тылу и на фронте огромное впечатление. В традициях литературных суждений нужно быть строгими. Писатели обязаны стоять на страже искусства, выпытывать требования друг к другу. Но в литературе, как в любом искусстве, есть такие явления, которые нельзя понять, если слишком увлекаться поисками безупречного. Например, книги Николая Островского. — о судьбе которых в нынешнюю войну речь будет дальше, — написаны далеко не так безупречно, как того хотелось бы взыскательному художнику, но это замечательные книги. Так и с повестью Горбатова. Появятся книги, где будут полнее раскрыты все явления жизни под игом немцев на нашей несчастной и милой Украине. Но Горбатов вложил в свою повесть большую публицистическую страсть, и книга достигла своей цели. Задача автора была выполнена. Народ принял его книгу.

Шолохов начал писать роман «Они сражались за родину». Это только еще куски, и трудно представить себе целое, так как мы не знаем судьбы героев. Но видно, что Шолохов задумал трудное дело. Он и не хотел легкого дела. Это будни войны. Это тягость дней отступления, когда народ смотрит на тебя, своего защитника, почти с презрением и в сердце бойца рождается ярость. Мы знаем, что позже такая ярость приведет к победам под Сталинградом, под Орлом, под Киевом, Ленинградом. Это правда войны.

Шолохов написал в свое время «Науку ненависти». Разве это была только газетная статья? «Наука ненависти» читалась всей армией, а наша армия сегодня — это вооруженный народ.

Мы видим, как литератор сопутствует явлениям, которые связаны с жизнью вооруженного народа, нуждающегося в слове писателя, верящего ему, жадно читающего его.

«Василий Теркин» Твардовского — это уже не Вася Теркин времен линии Маннергейма, времен фронтовой газеты «На страже Родины». Твардовский слишком любит народное слово, чтобы повторять те, подчас слишком разбитные строфы, которые сопровождали того Васю Теркина, что жил с бойцами Карельского перешейка. Теперь мы читаем вольные, свободно льющиеся главы «Василия Теркина», где сегодняшний фронтовик, скромный, доблестный рядовой боец, со всей народной мудростью выступает на смертный бой против фашизма. Да, это поэзия.

Одного не хватает в Теркине. Русский человек, сегодня с оружием в руках защищающий свободу своей земли, сохранил все врожденные качества предков — старых солдат. Но к старым качествам прибавились новые, те черты советского человека, которые лишь отчасти отражены в поэме Твардовского. Образ, взятый поэтом в основу, может быть цельнее, глубже, и тогда, обогащенный этими новыми красками, он останется на память поколению как прекрасный поэтический образ великого времени.

В «Радуге» Ванды Василевской с точной и жестокостью последовательностью рисуется вся почти непередаваемая пером картина немецкого страшного владычества на временно захваченной нашей земле. Писательница почти анатомически вскрывает страдания народа. Ее перо превращается в скальпель. Она избирает фактическую сторону без всякого вмешательства благодетельного вымысла. Она отрицает меру художественности, чтобы сделать картину мучительной, как обвинение, чтобы казнить палачей, как по суду. Автор делает это намеренно, не сглаживает и не рассуждает, а стремится запечатлеть самое страшное и самое главное. И цель достигнута — смысл и содержание повести дошли до читателя и на фронте и в тылу. Только люди, проникнутые духом непримиримого эстетизма, могут говорить, что повесть написана не по тем законам, к которым они привыкли. Но надо иметь в виду, что немец сейчас живет и воюет не

по тем законам, по которым привыкли избирать его в старой литературе.

Мы сейчас живем войной. Все остальное нам кажется второстепенным, если не чуждым. Что делать поэту в это прозное время? Да он и не спрашивает. Он знает, что ему делать и где быть. Как может быть иначе? Прав, глубоко прав был Белинский, говоря: «Если он поэт, поэт истинный, то он должен сочувствовать своему отечеству, разделять его надежды, болей его болезнями, радоваться его радостями. Кто не согласится с этим, кто будет противоречить этому? Итак, спрашиваю: может ли русский поэт не быть русским поэтом, русским не по одному рождению, а по духу, по складу ума, по форме чувства, как бы глубоко ни был он проникнут «европеизмом»?».

Говоря о художественном росте нашей поэзии, мы можем отметить, что такой поэт, как Сурков, предпочитавший всегда содержание форме, в дни войны стал писать крепче и дал ряд хороших произведений. Прокофьев, всегда писавший только стихи и песни, написал яркую поэму «Россия». Вера Инбер, грешившая эстетизмом, в условиях суровой ленинградской осады написала поэму «Пулковский меридиан», своеобразный дневник осадной зимы, стремясь как можно строже запечатлеть мрачные картины Ленинграда. Ольга Берггольц обнаружила неожиданную силу в своем «Февральском дневнике», который стал известен всей стране. В этом мы находим то пробуждение, то вдохновляющее действие прилива настоящих больших чувств, без которых не может быть настоящей поэзии.

В дни войны вступают в строй и самые древние формы поэзии, казалось бы, давно ушедшие в прошлое. В древности скалды сопровождали дружины и слагали свои песни на поле брани, восхваляя павших героев, призывая к мести. И вот перед нами прекрасная поэма Павла Антокольского «Сын», о которой говорят, что это и есть песня скальда над могилкой сына-воина, павшего за родину. Вместе с тем поэма эта — не надгробная надпись, не огромная эпитафия. Это кусок нашей живой действительности. Поэма принадлежит всем, а не только автору, пережившему большое личное горе.

А когда Алигер в поэме «Зоя» смело говорит от лица поколения, разве она не имеет на то права? Может быть, Зоя была не такая, и иные песни поэмы разойдутся с фактами ее биографии, но образ Зои не потеряет от этого ничего существенного, потому что в поэме передано самое главное, самое ценное — беспредельная любовь к советской родине, во имя чего Зоя совершила свой подвиг.

То же самое мы наблюдаем и в драматургии. Общеизвестно огромное общественное значение пьесы А. Корнейчука «Фронт». Даже когда вопросы, поднятые ею, устареют, она будет жить как пьеса историческая.

Своеобразие пути, свойственное каждому самостоятельному писателю, проявляется и в отборе тем. Так, у Леонида Леонова не было,

пожалуй, другого пути, чем тот, который он избрал для своего героя, так называемого лишнего человека, странствующего у него из романа в роман, из пьесы в пьесу. В «Нашествии» Леонов послал его на жертву, на гибель ради высокой цели. Тут нет авторской натяжки; это правдивый конец биографии героя; таких концов мы можем много считать в военное время, особенно на территории, занятой противником.

То же случилось с героями очень хороших рассказов Платонова, рассказов, всегда страдавших от избытка странных людей. Эти странные люди Платонова стали жить на страницах его же военных рассказов совсем не странной жизнью.

И влияние Джека Лондона, неумовимо ощущаемое в рассказах Кожевникова, несколько не снижает впечатления от них. Почему? Да потому, что сильный характер, уже известный нам по произведениям Джека Лондона, не просто пересажен на нашу почву как литературное подражание, а живет в наших условиях самостоятельно.

В пьесе Вишневского «У стен Ленинграда» моряки похожи на братишек времен гражданской войны. И это законно. Кто был в Ленинграде в дни осады, тот помнит, как снова появился на улицах великого города моряк, крест-накрест опоясанный пулеметными лентами, как бы воскрешая образ моряка из фильма «Мы из Кронштадта». Баллот гордится своими традициями, и моряки, шедшие на танки Юденича с гранатами, ходили и сегодня в психическую атаку и недаром были прозваны немцами «черными дьяволами».

Голоса поэтов всех краев нашей обширной страны как бы слялись в один многоголосый хор, славящий родину. Но прислушайтесь, и вы легко отличите все своеобразные оттенки стихов Рыльского и Тычины, Бажана и Первомайского, Шипачева, Исаковского, Якуба Коласа, Переца Маркиша, Наиря Заряна и других.

У нашего врага в его поэзии есть только одна тема: озлобленное человеконенавистничество. Не даром лучшим поэтам гитлеровской Германии признан Дитрих Эккерт, ради которого уничтожили премию имени Лессинга и переименовали школу имени Лессинга в школу имени Дитриха Эккерта. Он любит повторять одно и то же слово в строке: «буря, буря, буря, буря». Подразумевается, что речь идет о буре фашизма, сметающей мир. Убогая поэзия!

Насколько богаче наш мир, наш человек, наши требования к искусству. В стихах узбекского поэта Гафура Гуляма в книге «Иду с Востока» вы найдете отголоски могучей поэзии Маяковского и громадное чувство времени, позволяющее узбекскому поэту удивлять своих земляков силой стиха и удивлять всех советских людей широтой своих тем.

Стихи Кулешова — общесоюзные, хотя и писаны по-белорусски. «Знамя бригады» несмотря на эпическую тему переполнено лири-

ческими строками, чудесными по неожиданности.

И, наконец, двумя поэтами исполнена работа, имеющая прямое общесоюзное, государственное значение. Государственный гимн, слова которого принадлежат Михалкову и Эль-Регистану, написан так просто, чтобы никакое отяжеление не помешало строгим формулам, которые должны быть доступны всем возрастам, всем народам и племенам нашей страны. Отброшены все поэтические украшения, все, что может помешать строгому смыслу. Над вариантами гимна работали десятки поэтов всех национальностей Советского Союза, и это благородное соревнование ярче всех других фактов показало, что у наших поэтов есть чувство и понимание своего государственного долга.



Сталинская дружба народов никогда еще не являлась перед миром в таком блеске, как в дни Отечественной войны. Единство народов скреплялось и скрепляется кровью на поле битвы. Поэты и писатели всех народов в одном строю сражаются с оружием в руках. Азербайджанец Абуль Гассан, дравшийся за Севастополь, пишет рассказы об этой замечательной обороне. Татарский поэт Файзи защищает Ленинград. Казах-поэт Абдулла Джумагалиев погиб в битве под Москвой. О нем складывает песню поэт-фронтовик Аманжалов. Герой Советского Союза Малик Габдулин пишет книгу очерков «Мои фронтовые друзья».

Стихи Джамбула «Ленинградцы — дети мои» вдохновляют ленинградцев в самые черные дни, радуют их, как братский привет широкой отчизны. Значит, мы сильны и едины, если там, на склонах казахских гор, помнят о Ленинграде и поют ему песню бодрости.

О героях-панфиловцах слава прошла по всему Союзу. О подвиге 28 пишущих поэмы на русском, казахском, киргизском, еврейском языках. Пишутся пьесы «Гвардия чести» и Гвардия, вперед! Ауэзовым и Мукановым. Появляется в Казахстане пьеса о партизанах — казахах и украинцах, — борющихся вместе против немцев на Киевщине.

Старейший прозаик Азербайджана Саид Ордубады пишет роман о молодых чекистах. Включаются в общее дело писатели и поэты Прибалтики — Упитис, Цвирика, Судрабкалис.

В Грузии появляется поэма молодого и свежего поэта Григория Абашидзе «Гора победы». Песню Чанчараули «Солнце будет сиять над Родиной» поет вся Грузия. Стихи Леонидзе преисполнены патристической силы. Голоса старых и молодых сливаются в гимн вождю народов. Не счесть, сколько песен и стихов написано на всех языках о великом Сталине.

Войной живут люди и на дальнем Юге и на далеком Севере. Расширяются жанры, поэты становятся публицистами, пишут статьи, как Бажан, очерки, как Головановский и Первомайский, прозаики становятся сатириками,

как Панч и Копыленко на Украине. Пишут о войне старики, такие, как Айни и Аветик Исаакян.

Живые свидетели народного горя и народного торжества, поэты и прозаики всех народов поистине составляют боевое братство, в котором особенно велико влияние русской литературы, русской поэзии, благотворное и естественное влияние, обогащающее братские литературы. На примере Гафур Гуляма мы это видим особенно отчетливо. Поэт, умудренный всеми таинствами восточных традиций, великих поэтов прошлого, он берет стих Маяковского, чтобы по-новому зазвучал на родном языке гулямовский стих.

И тут мы сталкиваемся с явлением, вызывающим постоянную дискуссию. Кто может быть прекрасным посредником между всеми поэтами и прозаиками нашей страны, пишущими на десятках языков? Переводчики. Сейчас это совсем не те «подставные лошади просвещения», какими они были во времена Пушкина. Они важнейшие двигатели культуры, они первые друзья поэта и его читателя. Они могучий передовой отряд, двигающий общее дело советской культуры, сближающий родственные литературы.

У нас много поэтов занимается переводами. Достаточно назвать такие имена, как Исаковский, Адалис, Джаржин, Алигер, Антокольский, Звягинцева, Бродский, Зенкевич, Турганов, Пеньковский, Петровых. Да, пожалуй, нет поэта в нашей стране, который не занимался бы переводами. Но проблема перевода все еще не решена. В большинстве случаев переводчики переводят без знания языка. Еще переводить стихи, как речь условную, с подстрочника, без знания языка допустимо. Но как можно переводить прозу с ее бытовой интонацией, не зная языка?

Ведь к великим поэтам Запада у нас нет такого отношения. Сейчас закончил огромный труд великодушный переводчик Михаил Лозинский. Он перевел полностью всю «Божественную комедию» Данте. Это поэтический подвиг — событие, о котором надо сказать во всеуслышание. Да разве переводчик приступил бы к такому труду без знания итальянского языка?! А разве Маршак, переведший прекрасно Бернса и народные английские баллады, не владеет превосходно английским?!

Решительно надо упорядочить дело и с опубликованием переведенного. Надо наладить помещение прозы и стихов в центральных журналах.

Общение русских поэтов с поэтами братских республик временами, даже несмотря на трудности войны, осуществляется. Но общения прозаиков почти нет. Даже соседи, как туркмены и узбеки, узбеки и казахи, не ездят друг к другу, не знают друг друга. А нужно, чтобы произведения, написанные в Ташкенте или в Ереване, в Тбилиси или в Алма-Ате, быстрее становились известными хотя бы Союзу писателей в Москве, чтобы он мог продвинуть их дальше, помочь их переводу или изданию.



Сейчас на фронте воюют все народы Советского Союза. В строю рабочие, интеллигенты, молодые и пожилые люди. В строю русские, украинцы, белоруссы, грузины, казахи. Они ценят слово писателя так, как его никогда не ценили. Но они ценят не всякое слово: холодное, равнодушное, пустое или аляповатое слово они не ценят. Если агитация плоха, она не агитация.

Листовка только та нужна, которая написана яростью сердца. Поэтому не стыдно писателю создавать листовку, какую никто не может написать так, как он. Но дело не в листовке. На фронте живут книги и живут замечательной жизнью.

В армии гвардии генерал-лейтенанта Горбачева книга Николая Островского «Как закалялась сталь» сделалась своего рода евангелием. Как это началось, с чего началось, — никто не помнил. Но книга читалась и перечитывалась во всех ротах и батальонах. Люди все вычитанное перекладывали на себя. Однажды чуть в драку не вступили два отряда из-за того, чья очередь читать эту книгу. Причем право на чтение книги одни хотели получить потому, что они сегодня убили столько-то немцев. «Но мы убили больше», — возражали им. «Но вас и было больше, чем нас», — отвечали солдаты.

Даже командиры стали здороваться с солдатами: «Здорово, корчагинцы». Но это прозвище надо было заслужить. Книга настолько вошла в сознание бойцов, что однажды, когда одна рота попала почти в окружение и героически отбилась, после боя один красноармеец сказал: «Ух, и жарко было. Мне прямо казалось, что у нас на правом фланге Николай Островский за пулеметом лежит и помогает. И выручает».

На украинском фронте «Кобзарь» Шевченко, тщательно подклеенный, выдавался командиром каждый вечер тому бойцу, который отличился днем. И люди бились, чтобы получить «Кобзарь» на руки как высшую награду.

«Я премирую этой книгой своих бойцов», — говорил командир артиллерийского полка.

В Ленинграде молодой Тевелев написал рассказ о подлинном случае, о том, как проходивший артиллерист случайно был свидетелем попадания снаряда в группу детей. Он помогал раненым детям, а потом записал имена погибших и раненых мальчиков и девочек и, придя на свою батарею, громко отдавал приказ стрелять, с добавлением: «За такую-то, за такого-то — огонь!»

Этот рассказ стал широко известен на фронте, и залпы мести, именно залпы обрушивались на головы немцев. Можно себе представить, как метко били артиллеристы, мстя за детей Ленинграда.

Книга живет на фронте особой жизнью. Книгу берегут, как оружие. В одной дивизии, стоявшей под Пулковым, повелось посылать в Ленинград грамотного человека со специальной миссией: на собранные деньги достать книг

для чтения книг хороших, душевных; интересных солдат. И книги в этой дивизии выдавались с учетом всех дефектов. На переплете с внутренней стороны писалось, где какая страница надорвана или повреждена. И если книга возвращалась с нехваткой страниц или в прыжном виде, нерадивый читатель лишался права на дальнейшее чтение.

Фронт любит огненное слово. Громадная заслуга Эренбурга в том, что он помог разоблачить «непобедимого» германца-фашиста, помог распознать в хвастливом немецком нахале первых месяцев войны жадного, vorоватого фрица, тупого и кровожадного. Эренбург убивал страх перед немцем, он представлял гитлеровца в его настоящем виде.

В этой связи можно вспомнить статьи Алексея Толстого, сильные очерки Гроссмана, Сименова, рассказы Павленко, книгу очерков Фадеева о Ленинграде, которая хорошо запечатлела Ленинград 1942 года.

Почему стихи Александра Прокофьева и стихи Павла Антокольского — двух противоположных поэтов — шли листовками к партизанам? Одного знали как песенника, другого как поэта пафосного и чуть отвлеченного. И оказалось, что Прокофьев может писать яркие агитационные стихи, не снижая качества, а «Баллада о неизвестном мальчике» Антокольского доходит до каждого.

Знаменитое письмо ханковцев Маннергейму вошло в историю защиты Ханко. Маннергейм без удовольствия прочел его. Финны ответили на него страшной бомбардировкой. А защитники Ханко списывали его на память. В составлении этого письма принимал активное участие молодой поэт Дунин.

И не только на фронте стих и проза могут агитировать. В Казахстане состоялся айтыс — состязание акынов, продолжавшееся семь дней. Схватились акыны восьми областей. Они пели об успехах своих районов, они пели о недостатках. Великий смысл был в этом состязании. Колхозники, рабочие и инженеры делали все, чтобы акын их района мог воспеть их достижения и выйти победителем в айтысе. Одна отстающая нефтяная вышка вышла на первое место после того, как акын побывал на участке.

Голос писателя — великий голос в нашей стране. С ним можно идти в бой, с ним можно побеждать в бою и в труде.

Для того чтобы писатель мог широко использовать все возможности наших жанров, ему нужны высокая культура, неутомимость и преданность великим идеям нашего времени, высокое классовое сознание. Писатель пишет о настоящем и заново переосмысливает прошлое нашей родины. Этим объясняется большое количество исторических романов, поэм и пьес, появившихся у нас за последнее время. Тут и «Хождение по мукам», «Трудные годы» (пьеса об Иване Грозном) Алексея Толстого, тут и «Багратион» Голубева, и «Емельян Пугачев» Шишкова, и пьеса Фюрш и Бояджиева о князе Владимире, и «Брусиловский прорыв» Сергея Ценского, и «Великий Моурави» Антоновской, и «Дмитрий Донской» Бородин, и «Навои»

Айбека, и «Вагиф» — пьеса Самед Вургун, стихи Бажана о князе Данииле Галицком, «Муканна» Хамида Алимджана, и стихи Саянова «Повести о русских воинах», стихи Рыльского о Богдане Хмельницком, и роман Кербабая «Решающие годы» и многие другие.

Какое разнообразие и богатство событий, типов, описаний было! Но во всех этих, поразному талантливых произведениях явственно заметны две линии. Одна уходит в древние времена, а другая — в военную историю суворовского времени или 1812 года.

А между тем сколько замечательных исторических тем, острых, не лишенных интереса и сегодня, остается нетронутыми: борьба России за свободу славян, русские на Средиземном море, борьба России с немецкими происками в девятнадцатом веке, русские на Востоке! Из эпохи борьбы с Наполеоном писателей неизменно привлекает только 12-й год, а наши заграничные походы 1813, 1814 годов остаются незатронутыми. Остаются в тени и такие благодарные фигуры из генералитета тех времен, как Доктуров, Коновницын, Неверовский, партизаны Сеславин, Фитнер, моряки Ушаков и Сенявин.

«Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, — оказал Пушкин. — Не уважать оной постыдно для молодежи». Это, конечно, верно, но необходимо заглянуть и в ближайшее будущее, посмотреть, какие новые таланты, каких новых писателей обещает это будущее. Молодые писатели и поэты особенно нам интересны. Молодежь теперь главным образом находится в армии, и в этом есть особый смысл.

Путь молодого поэта сейчас пролегает через труднейшие испытания. Что может быть выше молодости, отдающей все силы на защиту родины и выражающей свои чувства, проникнутые непосредственным жаром восприятия! Слово молодых в наше время может прозвучать неотъемлемо от всей жизни народа, прозвучать настоящим гимном жизни и свободы.

Молодые поэты есть в каждой нашей республике: Григорий Абашидзе в Грузии, Нехода и Стельмах на Украине, ленинградец Дудин и москвич Гудзенко, узбек Ассан Саид, автор «Песни бойца», и многие другие. Все они фронтовики. Все они пишут о войне.

Молодых поэтов привлекает в первую очередь строго смысловый стих, с разговорной интонацией. Они, конечно, пишут, не только питаясь злобой к врагу. У них много лирики и много общих мест. Но они чувствуют, что их стихи — стихи эпохи, и в них много искренности. Это чувствует даже самый начинающий. Вот строки, написанные начинающим поэтом, красноармейцем Андриевичем; он сам так определяет свои творческие попытки, свои стихи:

«В тревогах, в темноте кромешной
Ты иде-то к краю пути,
Их нацарапывал поспешно
Попыткой душу отвести».

Они свинцовую дробью лягут,
В них, перечтя, найдешь черты,
Следы твоих военных тягот,
И, может быть, не только ты».

Молодые, преодолевая традиции, внесут свое новое в нашу поэзию. Но не зря и советские поэты старшего поколения столько работали над стихом, чтобы он достиг звучности, высоты, образности, разнообразия, чтобы он обогащал народную речь, запечатлел внутренний мир человека нашего времени.

Перед молодыми нашими авторами остаются те же опасности, что и до войны: шаблон, перепевы, многословие в стихе, неумение работать над стихом. Правда, в окопе или в походе некогда заниматься тщательной отделкой стиха. Но отметить эти недостатки следует.

В прозе мы обрели недавно двух отличных авторов: Емельянову с ее повестью «Хирург» и Березко, написавшего рассказ «Красная ракета». Это настоящие заявки, преддверье серьезной писательской работы.

Молодежь, которая придет с войны, принесет новое слово и новые темы в литературу. И если старые писатели ничего не сделают для войны и победы, эта молодежь пройдет мимо них, не найдя с ними общего языка. С молодежью нельзя обращаться небрежно. Писатели, фронтовики и старые писатели в тылу всем своим опытом обязаны ей помогать. Нельзя внушать молодежи, пишущей в тылу, чтобы она игнорировала войну, считая ее преходящим, мимолетным явлением, как и все, с ней связанное. Внушать это — значит развращать молодежь, совершать преступление против нашего народа, против его священной борьбы.

Литературно-художественных журналов за время войны выходит немного: «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда». Положение в журналах требует самого пристального внимания писателей. Редколлегии не работают с авторами. Принятые рукописи не обрабатываются. Все идет самотеком. Журналов мало, а почему-то одна и та же вещь публикуется сразу в двух журналах. Пример — повесть Юрия Германа «Би хепши».

Идейно-политический подход к материалам в журналах отсутствует. От этого получаются такие серьезные ошибки, как опубликование повести Зощенко «Перед восходом солнца» в №№ 5-6 и 7-8 журнала «Октябрь».

Если бы редколлегия журнала действительно работала, если бы члены ее удосужились внимательно прочитать эту вещь, она, несомненно, не была бы напечатана.

Повесть Зощенко — явление глубоко чуждое духу, характеру советской литературы. В этой повести действительно показана с обывательской точки зрения — уродливо искаженной, оплошленной, на первый план выдвинута мелкая возня субъективных чувств. Здесь уместно вспомнить слова Горького, который сказал, что

«смысла личного бытия в том, чтобы углублять и расширять смысл бытия многомиллионных масс трудового человечества». В наше время эти слова звучат с особенной силой.

В журнале «Знамя» появились плохие стихи Сельвинского «Кого баюкала Россия». Это поэт, который написал немало хороших стихов, который прошел всю войну и сам сделал выводы на фронте. Вот его собственные слова: «Фронт дал мне право разговаривать во всю широту своего голоса с самым большим собеседником, с народом. Я не сразу взял это право. Я робел на фронте, писал отдельные стихи, но разговаривать с народом, как трибун, из-за своей интеллигентской застарелой болезни не мог. Между тем командование просило написать стихотворение: «К бойцам Крымского фронта», «Южным славянам», «Ответ Геббельсу», — и я понял, что в дни фронта я представлятель масс и что мне не только дано право разговаривать с миллионами, а вменяется мне это в обязанность. Тут уже обычный язык не годится. Тут нужно из тысячи слов выбрать одно. И то, что это слово доходит до сердца широкого читателя, говорит о том, что я, по видимому, свой долг выполняю».

Так говорил сам Сельвинский. И он выполнял свой долг не «по видимому», а по-настоящему. Но почему-то тему России, самую народную, самую внутреннюю, он взял с налету и уж никак не отбирал для нее «из тысячи слов одно».

Россия у него — «страна улыбки безмятежной». Когда она была такой? И есть ли где в современном мире подобная страна? Ведь даже в безмятежной дотепе Полинезии и то дерутся. Вторая строка: «Страна атаки головной». Что это за набор слов? Далее о России: «Она пригрет и урода». В стихотворении «Кого баюкала Россия» Сельвинский клеветает на русский народ. Это свидетельствует о серьезных идеологических ошибках в творчестве Сельвинского.

Необходимо также отметить, что в написанных за последнее время произведениях А. Довженко (повесть «Победа» и кино-повесть «Украина в огне») допущены крупные ошибки принципиального характера. Довженко неправильно изображает взаимоотношения между народами СССР, дает ошибочную и по существу клеветническую оценку борьбы советских людей против немецко-фашистских захватчиков. Понятно, что эти произведения Довженко, прочитанные в ряде редакций издательства и журналов, не могли не вызвать возмущения писателей.

Тылу кует победу, но на эти темы у нас написано маловато: всего лишь несколько книг, да и то преимущественно очерки. Правда, «Урал в обороне» Мариэтты Шагинян или «Сталинские мастера» Анны Караваевой — это уже настоящие книги, заслуживающие всяческого внимания, как и очерки Елены Кононенко, опытных журналистов с хорошим глазом — Бориса Агапова, Колосова. Но собственная героическая работа тыла написан только

один большой роман — «Испытание» Первенцева.

Натан Рыбак написал роман о тыле «Оружие с нами», Ауэзов — роман о Карагандине «Часы испытаний», Сланов — роман «Огнедышащая гора» — о Казахстане, бурят-монгол Болдано — пьесе «Рыбаки Байкала», Сенченко — «Паруса поставлены». Но этих книг почти нет на русском языке. В связи с этим вновь встает проблема перевода.

3.

Тылу явно не повезло. Многие писатели жили долгое время в далеком тылу. И все же они ничего или почти ничего не написали о людях тыла, о тех, кто день и ночь работает, не жалея сил, ничего не написали о героях социалистического труда. А между тем эти неутомимые труженики дают Красной Армии все для победы. «Самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю, наряду с героической борьбой Красной Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины». Так сказал товарищ Сталин.

Большой пробел в писательской тематике — отсутствие темы тыла. И писать надо по горячему следу, сейчас, когда можно наблюдать все эти трудовые подвиги своими глазами. Не дожидаться же конца войны, когда будет уже совсем иное.

В этой связи встает особый вопрос — о так называемых областных писателях. Почему-то повелось, что большие писатели будто бы не могут жить нигде, кроме столицы. Отсюда несправедливое отношение к писателям на местах. Двадцать лет писал Бажов на Урале свои чудесные сказки, и читатель вполне оценил его, а критика даже не подозревала о его существовании. Сейчас написаны книги на темы Отечественной войны: Кудимовым в Смоленске — роман «По ту сторону», Коковиным в Архангельске — три рассказа, Смирновым в Ярославле — «Сыновья», Матвеевым в Саратове — «Горышская пуща», Гребенниковым — «Фронтной блокнот». А что мы знаем об этих книгах? Смердов в Новосибирске выпустил прекрасные ойротские сказки, Мурзиди в Свердловске писал сатирические стихи, Озерной из Саратова — «Рассказы бывшего солдата». Но этих литераторов слабо знает Союз писателей и мало помогает им.

В советской литературе художественная книга для детей занимает значительное и ответственное место. Детская литература в наши дни призвана воспитывать будущее поколение, тех, кто будет жить взрослыми уже в мирные времена. Ее воспитательное значение сейчас еще больше, чем до войны. Крепкая, здоровая семья, вопросы нравственного здоровья, воспитание патриотизма, этики стоят на первом месте.

Детская книга — один из самых влиятельных факторов в деле воспитания. На первом съезде писателей детской литературы был посвящен по инициативе Горького особый содоклад и в докладе Алексея Максимовича говорилось

о ее чрезвычайной важности. Партия и правительство всегда уделяли литературе для детей большое внимание. В нашей стране создано специальное единственное в мире издательство — Детгиз. Советская литература для детей достигла немалых успехов. Она выдвинула целую плеяду писателей, широко известных у нас на родине и за ее пределами. Во время войны у нас вышло немало хороших детских книг: Л. Соловьева «Степан Полосухин», Голубова «Багратион» (вот пример книги, которая годится для всех возрастов), Ильина «Как человек стал великаном» (вторая часть), Михалкова «Даниил Кузьмич», Барто — стихи о детях-ремесленниках, Кассиля — «Твой защитник» — книга-картинка о всех родах оружия.

Но в детской литературе невозможно говорить только о войне и о войне: должны быть найдены какие-то пропорции. И в этом смысле замечательная пьеса Маршак «12 месяцев» явится праздником для ребят. Он же написал продолжение своей старой знаменитой пьесы — «Военная почта», «Твои правила» — оригинальные двадцать одно правило — подпирки под плакатами, где изображены примеры поведения школьников дома, в школе и на улице. Вышел сборник рассказов Пантелеева, рассказы Коконова «О Ленине». Габбе написал книгу «Город мастеров».

В детских книгах последнего времени мы видим большое разнообразие, но всего этого далеко не достаточно.

Сейчас мы подошли к очень трудному моменту: напряжение сил страны достигло предела, но предела благотельного, когда чувствуешь, что этим крайним напряжением преодолеваются все усилия злобного врага. Нужно учитывать, что у нас теперь есть дети счастливые и есть дети обездоленные, есть дети, изыскивающие под немецким игом, есть сироты, воспитанники детдомов, есть дети-партизаны. Помните замечательный случай, когда партизаны в лесу встретили мальчика, стрелявшего из пулемета. На вопрос: «Откуда ты его взял?» — он ответил: «Я люблю оружие, у меня его много, и, если вам нужно, я могу дать... У меня есть винтовки, я их вешаю на деревья, у меня есть даже пушка. Я ее спрятаю...»

В Ленинграде был такой случай. Приходит на завод, в самый главный цех, инженер, видит: у пульта управления стоит юноша лет шестнадцати. Инженер спрашивает, где Иван Иванович. Тот отвечает: «Я Иван Иванович». Инженер думает, что это шутка. «Ты хоть и Иван Иванович, — говорит он, — но мне нужен другой Иван Иванович — начальник цеха». «А это я и есть начальник цеха». Инженер приехал, чтобы согласовать создавшиеся неувязки в вопросах поставки материалов. Пошел он с шестнадцатилетним паренком по цеху и через полчаса был в полном удивлении: юноша оказался настоящим знатоком дела, специалистом: он все знал и все объяснял.

Детская литература должна сейчас строиться по-особому.

Возьмем обычную книгу — географию родной страны. А как изменилась эта география? Нужно показать ее так, чтобы в книгах наша страна ожила для детей во всем богатстве своих трудов и природного многообразия. Тут не отдалаешься сюсюканьем или книжками обо всем и ни о чем. Нужны яркие рассказы и стихи о Волге, Кавказе, Москве, об Украине, Доне, Кубани, о Сталинграде и Ленинграде, книги, где бы героическая география этих мест была показана настоящим образом.

Нужны книги о Красной Армии, о героических характерах, о подвигах и достижениях советской науки; книги о героях-детях, о ремесленниках, о школьниках, о воздушном и о морском флоте.

Некоторые недостатки детской литературы, пожалуй, характерны и для всей нашей литературы. Несмотря на разнообразие книг, писатели не только не взяли от жизни главное содержание, но немного сузили даже тему войны, сводя ее иногда только к показу героизма по шаблону. Повествованию о людях на войне подчас свойственен неумеренно гладкий стиль. Язык литературных произведений редко производит впечатление той свежести и той легкой ясности, которая так пленяет в классиках.

Язык народа нельзя опрощать и обеднять.

«Польза языка — слава отечества», — говорили в старину. Иной раз писатели забывают эту истину.

А ведь писатель сегодня — государственный деятель, муж совета. Ему многое дано, с него многое и спрашивается. С ним советуется народ, с ним говорят партия и правительство. И в прямом и в переносном смысле писатель — слуга народа. Писатель Эстонии Барбарус Варес — председатель Верховного Совета Эстонской ССР. Заместитель председателя Совнаркома Украины — поэт Бажан. Корнейчук — наркоминдел Украины, Тычина — наркомпрос Украины. Нигде не было такого государственного выдвижения поэтов и писателей. Это еще раз доказывает, что писатель — слуга народа, он и трибун, он же и практик.

Поэт и в жизни должен быть мастак, говорил Маяковский. «Все то лучшее, что мы делаем, — есть дело народное», — писал Чехов. «Ответственность — самое социалистическое чувство новой интеллигенции», — писал Горький в свое время. Есть ли это чувство у всех писателей в равной степени? Нет, в равной степени его нет. Иные считают, что можно сидеть, как в яоре, и оттуда наблюдать, как мимо текут события. Но если писатель отказывается от жизни, от ее бурных и героических дел, он тем самым обрекает себя на бесплодие. И тогда он начинает писать не то или совсем прекращает писать.

Иные хотят жить бездумно и легко и еще ссылаются при этом на классиков, на их кажущееся олимпийское спокойствие. Но старик Лев Толстой сам ходил со счетчиками на перепись, чтобы видеть, как живет народ. Чехов, больной, не побоялся отправиться на лошадах через Сибирь на Сахалин, чтобы написать кни-

гу. Короленко по доброй воле поехал на процесс о так называемом Мултанском жертвоприношении.

Максим Горький писал о писательском деле так: «В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле».

Когда мы говорим о напряжении в работе, о неутомимости, о необходимости помочь народу своим писательским опытом, вспоминаются слова юноши Лермонтова:

«Мне нужно действовать, я каждый день Бессмертным сделать бы желал, как тень Великого героя, и понять

Я не могу, что значит отдыхать...»

Иные писатели жалуются, что трудно работать в обстановке тяжелой, третий год длящейся войны.

А разве легче бойцу сейчас по колено в грязи, по грудь в болоте совершать обходные марши, штурмовать линию за линией немецкие укрепления, форсировать одну водную преграду за другой?!

А разве легко рабочему или инженеру работать, забыв о сне и отдыхе, не выходя из цеха, пока не окончен фронтной заказ? Разве легко транспортнику, под огнем и в непогоду ведущему безотказно составы со всем необходимым фронту?!

Один фронтовик-писатель рассказывал: «У каждого ушедшего на фронт был до войны любимый писатель. И какое разочарование испытывают эти люди, когда в течение года или полутора-двух лет не видят любимого имени, которое они привыкли любить и ценить до войны. Человек вспоминает писателя, ищет его на страницах газет, в печати и не встречает его».

На фронте работают сотни писателей, поэтов; многие дерутся с оружием в руках; иные пали смертью храбрых, и на всех фронтах и морях есть наши писатели. Но вовсе не требуется всем отправляться на фронт. Речь идет об усилении писательской работы — и не в сторону газетных статей. Наша задача — множить замечательные характеры советских людей в литературе, показывать героев нашего времени во весь рост, поднимать острые, новые темы, рожденные войной.

Все шире развивает свою деятельность радио. Сколько пользы может принести писатель на радио, в кино! Как значительна, как важна его работа в театре! Когда в Америке узнали о пьесе Симонова «Русские люди», американцы запросили по телеграфу текст пьесы — так они жаждают наших произведений. Англичанин Пристли не зря назвал советскую литературу совестью мира.

С теми, кто отрывается от сегодняшнего дня, кто залезает в свою берлогу, в тот день, когда он вылезает на люди, случается пренебрежительная история.

Н. Асеев в самом начале войны, когда еще не было бомбежек и в Москве было тихо, писал:

«Война в наши двери стучится,
Предательски ломит в окно,
Но что же, ведь это случиться
Когда-нибудь было должно.
Об этом и в песнях мы пели
И думали столько годов,
За нами высокие цели,
Чтоб каждый был драться готов».

Правильно писал. А теперь, в дни суровых испытаний он пишет стихи, в которых возводит колекп на русский народ, на народ, который все это время именно то и делает, о чем Асеев писал в своем стихотворении, — защищает высокие цели.

До сих пор ведутся разговоры о так называемом чистом и нечистом искусстве. Это — какое-то прискорбное недоразумение. Во всех видах искусства можно работать и хорошо, и плохо. «Окна РОСТА» Маяковского вошли в историю литературы. Искусство не знает самоуспокоенности, иначе оно не искусство, а ремесло.

Настоящая помощь фронту и тылу — в том постоянном идейном насыщении маленького и большого произведения, которое доходит до широкого читателя и помогает ему шире, глубже познать героизм борьбы нашего народа, узнать о человеке подвига, о том, что им движет и что надо сейчас ему делать.

На писателе лежит воспитание будущих поколений. Вопросы морали, укрепление идей нашей государственности, великих идей социализма, укрепление нравственного здоровья народа — вот грандиозные цели, к которым стремится наша большая литература.

Каким выйдет человек из войны? Надо думать и о первом дне после войны. «Нужно, чтобы морально-политический разгром фашизма также был доведен до конца» (М о л о т о в). Этому писатели могут сильно помочь своим пламенным и правдивым словом. Товарищ Сталин сказал: необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская интеллигенция работали для фронта с удвоенной энергией.

Сосредоточением всех своих творческих сил писатели должны приближать дело окончательной победы, помогать скорейшему разгрому фашизма, торжеству нашего правого дела.

Долг писателей — трудиться с той же энергией, с какой трудятся весь советский народ, вся интеллигенция нашей страны. Советские писатели должны осознать, что на них лежит ответственность перед народом, партией, правительством, потому что они государственные деятели, творящие в великую эпоху.

Оружие писателя — перо — должно быть таким же победоносным, как и то, что в руках нашей Красной Армии.

ЛЕНИН И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. ЩЕРБИНА



I

Все, что есть лучшего, поистине великого в духе и деятельности нашего народа — все это нашло свое воплощение в Ленине, величайшем тении человечества, организаторе большевистской партии, основателе первого в мире советского социалистического государства. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют советский народ на подвиги в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками.

Великий вождь Ленин является одним из корифеев той науки, «...которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки».¹

Новые традиции, новые нормы и новые установки вносит ленинизм в искусство и литературу. В этой области Ленин дал не только общие программные принципы, но и классические образцы критики. Его высказывания о Герцене, Белинском, Чернышевском, Добролюбове, Салтыкове-Щедрине, Тургеневе, Глебе Успенском, А. Толстом, М. Горьком играют также исключительную роль в понимании и дальнейшем изучении творчества этих писателей.

Высокое значение литературы, как мощного средства познания жизни и духовного воздействия на нее, особенно сказалось теперь, когда все силы народа служат величайшему историческому делу победы. История войн еще не знала таких подвигов и такого массового героизма, какие проявили советский народ и его вооруженные силы, обороняя свою родную землю. Товарищ Сталин в своем докладе 6 ноября 1943 года, посвященном двадцать шестой годовщине Октябрьской революции, говорил о

«беспримерном подвиге народа в защите Родины». Наши художники призваны вдохновить борющийся народ, правдиво отразив беспримерную героинку наших дней. И здесь их труд освящен тем, что исторические победы одержаны народом советского государства, основанного Лениным.

«Нынешняя война, — говорил товарищ Сталин, — со всей силой подтвердила известное указание Ленина о том, что война есть всестороннее испытание всех материальных и духовных сил каждого народа. История войн учит, что лишь те государства выдерживали это испытание, которые оказывались сильнее своего противника по развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и боевому духу своих войск, их выдержке и единству народа на всем протяжении войны. Именно таким государством и является наше государство». Наша литература и искусство призваны в художественных образах раскрывать героинку жизни нашей родины, борющейся, как учил великий Ленин, А Ленин учил — не давать пощады врагу, не жалеть своей жизни ради победы, не бояться трудностей, не кичиться победами, закреплять завоеванное, отдавать все силы фронту.

Ленин учил, что культура есть результат всенародной деятельности, широкого движения масс. Он страстно и беспощадно изобличал все попытки выдавать вольные измышления мнимых «специалистов по пролетарской культуре» за реальные достижения культуры. За годы, прошедшие после социалистической революции, к культурной деятельности приобщены миллионы. Наша культура и ее важнейшая область — художественная литература — являются детищем всего советского народа. Наша культура выражает благородную, мужественную и цельную душу народа. Она олицетворяет высокий патриотизм народа, его решимость отстаивать честь и свободу родины.

С именем Ленина связано культурное строительство нашей страны. Ленинские принципы культурной революции, неустанно проводимые в жизнь, принесли свои плоды. Великая советская отчизна является страной

¹ И. Сталин. Речь на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г. Госполитиздат, стр. 4.

передовой, идейной культуры, выражающей и удовлетворяющей глубокие духовные запросы миллионов.

Литературные взгляды Ленина являются необходимой составной частью ленинского учения о культуре. Ленин утверждал, что культура нового социалистического общества есть закономерное продолжение и итог всего лучшего, наиболее ценного в развитии мировой культуры. Он неустанно повторял, что только на основе освоения и критической переработки всех старых культурных богатств может идти дальнейшее культурное развитие в нашей стране. «Почему нам нужно отказываться от истинно прекрасного, как от исходного пункта для дальнейшего развития, — только потому, что оно старое?» — сказал однажды в разговоре с Горьким Ленин. Этот отказ от «истинно прекрасного, как от исходного пункта для дальнейшего развития», Ленин назвал, как передает Горький, «бессмыслицей, сплошной бессмыслицей».

Чрезвычайно поучительна борьба Ленина с узко-сектантскими богдановско-пролеткультовскими теориями. Теоретики пролеткульта Богданов, Плетнев и другие, выражая чуждые народу стремления, проповедывали вредную теорию искусственного лабораторного создания так называемой «пролетарской культуры». Для пролеткультовской программы было характерно нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого. Чрезвычайно ценны для понимания ленинских позиций в борьбе с пролеткультовскими теориями заметки Ленина на полях статьи одного из «идеологов» пролеткульта В. П. Плетьева — «На идеологическом фронте» и проект резолюции «О пролетарской культуре».

В 1920 году съезд пролеткульта вынес явно неверные решения, Ленин вмешался в это и лично написал новый проект резолюции «О пролетарской культуре». Четвертый пункт этой резолюции гласит: «Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата, тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры».¹

О необходимости усвоения всех ценностей, накопленных человечеством, Ленин напоминал постоянно. Особенно полно и всесторонне взгляды Ленина на пути новой культуры выражены в знаменитой речи на III съезде комсомола 2 октября 1920 года. Весь богатейший опыт мышления, художественного творчества и деятельности людей в прошлом и настоящем, гигантские культурные ценности, накопленные в нашей стране и во всем мире, — должны лечь в основание развития советской истинно народной культуры.

Ленинское учение о культуре продолжило

пути развития нашего искусства и помогло установить правильное отношение к культурным ценностям прошлых эпох. И в свете самого величайшего уважения к культуре прошедших столетий — советская культура, вдохновленная немеркнущими ленинскими идеями, предстает перед нами, как завоевание высот человеческого духа. Высшим проявлением этого духа теперь являются величайшие подвиги советского народа в войне с гитлеровской Германией, поставившие нашу страну в авангарде современного общества.

Русское искусство, русская литература были предметом гордости и восхищения Ленина — великого сына русского народа. Свободолюбие русской литературы и ее художественную силу Ленин считал выражением силы и духовного могущества русского человека.

Литературные взгляды Ленина развивают и продолжают великие традиции истории передовой русской и мировой общественной мысли, освященные именами Герцена, Белинского, Чернышевского. Здесь идейная преемственность отражена в известном указании Ленина на то, что эти писатели являются предшественниками русской социал-демократии.

Литература в России всегда была связана с освободительным движением и с другими решающими событиями ее национально-исторического существования. В жизни русского народа наблюдалось три важнейших этапа. Характеристика этих этапов была дана Лениным в учении о трех периодах русского освободительного движения. Первый, дворянский период освободительного движения в России (1825—1861), повлекший за собой перелом и в литературе, наступил после национально-го подъема Отечественной войны 1812 года. В литературе этого времени перелом ознаменовался поэзией декабристов, появлением Пушкина и Лермонтова, деятельностью Герцена. Второй решительный перелом в жизни русской литературы, наступивший сразу после героической обороны Севастополя, возглавлен революционными демократами — Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым-Щедриным. Деятельность этого нового направления связана со вторым, разночинским периодом в русском освободительном движении (1861—1895). Находясь в едином потоке прогрессивной русской культуры, деятели русского освободительного движения обогащали культуру народа, ломая устаревшие нормы и создавая новые. Русская литература к этому времени достигает невиданного расцвета. Она становится ведущей во всей мировой культуре той эпохи. Исключительное значение русской литературы в европейской культуре прошлого века отмечено Энгельсом. Он говорил об «исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой». В письме к Паулю Эрнсту Энгельс утверждал, что ни одна страна не могла в конце прошлого века гордиться таким расце-

¹ Ленин, соч., т. XXV, стр. 409—410.

том в области литературы, какой тогда переживала Россия.

Третий, наиболее могущественный и имевший самые значительные последствия для жизни нашей родины и всего человечества период русского освободительного движения — пролетарский — возглавлен Лениным. На грани двух исторических эпох встает грандиозная фигура М. Горького, творчество которого одухотворили ленинские идеи. Совершилась социалистическая революция. Вся великая русская литература приобретает еще большее значение с того времени, когда советский народ стал в авангарде борющегося человечества. Преемственность великих идей революционной русской общественной мысли еще более раскрылась теперь, когда наша родина под знаменем великого Ленина и руководством Сталина осуществила мечты лучших русских людей в прошлом.

II

Суждения Ленина по вопросам литературы и искусства показывают, что он всегда смотрел на художественные явления в плане широких общественных движений и в тесной связи с насущными вопросами народной жизни. Высказывания Ленина о художественной литературе говорят о том, что он придавал ей большое значение в культурном и политическом развитии человечества, считал ее мощным орудием общественной борьбы. Но для того, чтобы выполнить свою историческую роль, литература должна художественно и правдиво воспроизводить жизнь, пропагандировать самые передовые идеи своего времени.

Ленину наиболее близки писатели, творчество которых проникнуто любовью к своей стране: Герцен, Белинский, Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, М. Горький. Характеристики, данные Лениным этим писателям, навсегда останутся классическими.

Ленин был врагом литературы изолированной, непонятной массам, искажающей действительность. Он был горячим сторонником правдивой реалистической литературы, тесно связанной с народом, его жизнью, зовущей к активной деятельности на благо отчизны. Взгляды Ленина на художественную литературу товарищ Сталин гениально обобщил в понятии социалистического реализма, как новой свободной литературы, тесно связанной с интересами трудового народа.

Прежде всего Ленин требовал от искусства правды. В статье «О характере наших газет», обращаясь к работникам печати, Ленин писал: «Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Больше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе».¹ «Пишите правду»** — вслед за Лени-

ным говорил советским писателям Сталин: «Насаждай правду!»* — сталинский наказ «Крестьянской газете». Правдивость есть первая заповедь, программное утверждение советской литературы.

Взгляды Ленина и Сталина на правдивость искусства, как его главнейшее достоинство созвучны с мнениями великих деятелей литературы и искусства. Вспомним замечательные слова Белинского об искусстве и талантах: «прежде они изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила великое значение в глазах общества». Не только Белинский, — правду искусства отстаивали все великие писатели. Глубокая художественная правда — столбовая дорожка всего лучшего в мировом и русском искусстве.

В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин пишет: «И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»**. Толстой не понял революции, он явно от нее отстранился. Несмотря на это, Ленин назвал его «зеркалом русской революции». Толстой велик потому, что он сумел в своих художественных произведениях отразить существенные стороны русской революции, а следовательно, и некоторые главнейшие явления исторической жизни своей эпохи. Правдивость и глубина отражения действительности выдвигаются Лениным в качестве основного положительного свойства художественной литературы.

Философской основой учения, утверждающего огромное познавательное значение литературы, является материалистическая теория отражения.

Существенный момент ленинской теории отражения — определение единства ощущений и мышления в процессе познания — предоставляет исключительную важность для правильного понимания искусства и литературы. В художественном творчестве сталкиваются два основных взаимодействующих элемента: художник и действительность. В процессе творческого воспроизведения жизни художник отражает действительность. Но он отражает ее в художественных образах, то есть в конкретной, чувственной форме. Творческая индивидуальность писателя, его идейные убеждения, чувства здесь играют очень большую роль, они налагают на создания искусства свою неизгладимую печать.

«Общественное сознание, — разъяснял Ленин, — отражает общественное бытие — вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть верной приблизительно копией отражаемого, но о тождестве тут гово-

* В. И. Ленин, соч. т. XXIII, стр. 214.

** А. Барбюс, «Пишите правду», «Правда», 5/VII, 1934 г.

* И. В. Сталин. «Крестьянская газета». В сборнике «Большевицкая печать», Политиздат. 1940 г., стр. 271.

** В. И. Ленин, соч., т. XII, стр. 331.

рять нелепо. Здесь Ленин подчеркивает активный творческий характер взаимодействия бытия, объективного мира и человеческого сознания.

Многовековое развитие искусства и литературы блестяще иллюстрирует это знаменитое ленинское указание, дающее возможность во всей глубине и полноте понять великую познавательную и действительную ценность искусства.

Следующие слова Ленина выражают восхищение созидательной деятельностью человечества: «...для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны».*

В применении к художественной литературе данные положения ленинской теории отражения помогают понять величие ценностей, созданных крупными художниками. Если многие исследователи видели в литературе прошлого только бесконечное проявление духовных порывов, нагромождение ошибок и заблуждений, то с ленинских позиций мы учимся находить положительное идейное и познавательное значение произведений искусства и литературы, их реальную действительную роль в жизни народа.

Каждое серьезное литературное произведение Ленин рассматривает как живой человеческий документ, отражающий действительные исторические процессы, живые явления общественной действительности. Естественно поэтому, что в подходе Ленина к явлениям художественной литературы существеннейшим является ее познавательное значение. Почти в каждом суждении Ленина по литературным вопросам мы имеем указание, в какой степени правдиво и глубоко у того или иного писателя, в том или другом произведении отразилась жизнь, идеи эпохи. Так, например, в одной из своих первых работ «Развитие капитализма в России», говоря о замкнутости Урала, оторванности его от центра России и о значении сплава, как главнейшего способа доставки продуктов в Москву, Ленин делает следующее примечание: «Ср. описание этого сплава в рассказе «Бойцы» г. Мамина-Сибиряка. В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России».**

Во многих своих статьях Ленин высказывает мнение о глубине и правдивости отражения жизни русского общества 50—60 годов прошлого века в произведениях Чернышевского, особенно в «Прологе».

«Талантливая книжка», — назвал он книжку белогвардейского писателя Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», вышедшую в 1921 году. Интерес этой книжки, по мнению Ленина, заключается в том, что у автора верно, «с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой помещичьей и фабрикантской, богатой, обвешенной и обдававшейся Россией»* о революции.

Ленин указывает на правильность сатирического стихотворения Маяковского «Прозаседавшийся», высмеивающего пристрастие некоторых ответственных работников и руководителей учреждений к бесконечным заседаниям и комиссиям. Касаясь зарубежной литературы новейшего периода, Ленин отмечает произведение Эптона Синклера и Анри Барбюса. Правдивое отражение духовного роста широких масс в испытаниях мировой войны 1914—1918 годов Ленин видит в романах Анри Барбюса («В огне» и «Ясность»), «который пошел на войну, будучи самым мирным, скромным, законопослушным мелким буржуа, филистером, обывателем».** Так характеризует Ленин романы Анри Барбюса в «Ответе на вопросы американского журналиста» (1919).

В дальнейшем, как мы знаем, Барбюс стал крупнейшим передовым писателем.

Из Ленинского понимания художественности, основанного на материалистической теории познания, следует важнейший для писателей вывод: прежде чем браться за изображение какого-нибудь явления, необходимо его всесторонне, глубоко и детально изучить. Силу произведений Л. Толстого, Г. Успенского Ленин во многом объясняет превосходным знанием того, что эти писатели изображают. У Глеба Успенского Ленин находит «превосходное знание крестьянства»*** Толстой «знал превосходно деревенскую Россию, был помещиком и крестьянином. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы»****. И в то же время, разбирая книжку Аверченко, Ленин слабость многих его рассказов ставит в прямую зависимость от незнания автором изображаемой среды. «Интересно наблюдать, — замечает Ленин, — как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно»*****

Ленин утверждал, что писатель должен в центре своего творческого внимания ставить «существенные стороны» действительности. Это положение имеет большое значение для нашей современной литературной жизни.

* В. И. Ленин, соч., т. XXVII, стр. 92.

** В. И. Ленин, соч., т. XXIV, стр. 405.

*** В. И. Ленин, соч., т. I, стр. 158.

**** В. И. Ленин, соч., т. XIV, стр. 405.

***** В. И. Ленин, соч., т. XXVII, стр. 92.

Дольше всех живут такие произведения литературы, которые во всей полноте и силе передают то, что было наиболее существенным, наиболее волнующим и самым характерным в эпоху. Выбор писателем тем очень важен. Во всякое время есть темы, вопросы более важные, более других интересующие общество, и рядом с ними в литературе часто возникают темы, занимающие только их авторов. Поэтому вопрос о тематике литературного творчества далеко немаловажен. Но вместе с тем не менее важен характер художественной разработки даже удачно выбранной темы. Неправильный отбор фактов, индивидуальных черт героев, возвеличение случайного или второстепенного или, напротив, умаление, принижение важного, существенного не дают правдивого изображения жизни. Если писатель обращается к историческому материалу, то и здесь он может выбрать темы, волнующие всех, имеет возможность затронуть чувства и идеи, представляющие живой интерес для общества. Писатели, которых особенно высоко ценил Ленин, всегда брали для своих произведений главнейшие явления жизни народа, старались дать ответ на самые острые общественные вопросы. Примером в этом отношении могут служить Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, А. Толстой, Успенский, Горький. Художественно умелым и правильным подходом к материалу писатель может вложить огромное содержание и большие чувства в незначительный по виду факт, в небольшой рассказ. В то же время бездарность автора или неверное освещение материала зачастую приводят к тому, что большой роман, темой которого является крупнейшее общественное событие, оказывается совершенно ненужным, мертвой или вредной макулатурой. По замечанию Горького, «решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер». Произведения некоторых писателей не удовлетворяют читателей, так как они идут мимо жизни, не затрагивают волнующих вопросов или не дают на них убедительного ответа. Очень часто это получается не вследствие преднамеренного игнорирования писателем действительности, а вследствие его неправильного отношения к окружающему. Явления окружающей нас жизни многообразны, и внимание художника может устремиться на какие-либо ее второстепенные, побочные стороны. Главный предмет художественной литературы — человек, его душа и деятельность. Подлинная поэтичность и убедительность образа состоит в его жизненности, близости к действительности. Естественность, истинность изображения людей эпохи, их дел, отношений, — главнейшее требование к писателям.

Художественное создание тем сильнее и глубже действует на нас, чем более мы чувствуем в нем дыхание реальной жизни, и тогда хочется сказать: да, это было именно так, а не иначе. Признак высшей художественности в том, когда читатель видит перед собой живо-

го человека, с его страстями, делами, а не надуманный образ.

Бездейственным равнодушным наблюдением со стороны нельзя понять действительности в глубин народной души. Ленин учил, что наиболее глубокое и всестороннее знание жизни возможно только при условии, если сам писатель является действенным патриотом.

Такому писателю-деятелю доступно знание величия духа советских людей. А величие духа советских бойцов на фронте и в тылу — основная тема нашей литературы. Литератор, не сумевший показать души народа, бессилья нарисовать нашу действительность во всей ее полноте.

Ленину было чуждо искусство, подкрашивающее, искажающее действительность. Ему, горячо любящему жизнь, были враждебны всякие попытки скрыть от людей правду, стремление отвлечь их от борьбы за лучшее будущее. Чрезвычайно значительны слова Ленина, сказанные им в беседе с Клер Шеридан (англичанка-скульптор, лепившая ленинский бюст). Клер Шеридан показала Ленину снимки своих работ и, между прочим, снимок «Победы». «Он резко сказал мне, — пишет Шеридан, — что «Победа» ему не нравится; он уверял, что я сделала ее слишком красивой».

О чуткости Ленина ко всякой фальши в искусстве и литературе рассказывает также Н. К. Крупская:

«За два дня до его смерти читала я ему вечером рассказ Джека Лондона — он и сейчас лежит на столе в его комнате — «Любовь к жизни». Сильная очень вещь. Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду человек. Слабеют у него силы, он не идет, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода волк. Идет между ними борьба, человек побеждает, — полумертвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше. Но у Джека Лондона сильные вещи перемешиваются с чрезвычайно слабыми. Следующий рассказ попал совершенно другого типа — пропитанный буржуазной моралью: какой-то капитан обещал владельцу корабля, нагруженного хлебом, выгодно сбыть его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать слово. Засмеялся Ильич и махнул рукой».

Наша действительность — самоотверженный труд рабочих, крестьян, подвиги бойцов Красной Армии и Флота — предоставляет писателю возможность художественно раскрыть всё новые и новые стороны народной души: патриотизм, благородство и яркие человеческие характеры.

Художественные вкусы Ильича не ограничивались только одной реалистической литературой в строгом смысле этого слова. Ему были близки и произведения, проникнутые ро-

мантизмом, воплощающие в себе человеческую мечту о свободе, о лучшем будущем. Ненавидевшему всякое мещанство Ленину нравились романтические ранние вещи Горького — песни о «Соколе», о «Буревестнике». Ильяич в Париже охотно читал романтические стихи Виктора Гюго «Châtiments», посвященные революции 1848 года. В этих стихах было много напыщенности, но чувствовалось веяние революции. Н. К. Крупская рассказывает также, что в бессонные ночи Ленин иногда зачитывался Верхарном.

Симпатии Ильяича к произведениям романтической поэзии ни в какой степени не находятся в противоречии с теорией отражения. Напротив, материалистическая теория познания считает плодотворную, творческую фантазию необходимым элементом человеческой деятельности. Еще на заре русского социалистического движения Ленин горячо призывает: «Надо мечтать». Он говорил о мечте полезной, дающей толчок к работе. Ленин противопоставляет мечте полезной — «мечту пустую», реакционную, «Пустая мечта» чужда Ленину, тесно связывающему широту русского революционного размаха с американской деловитостью. «Русский революционный размах — это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперед, ломает прошлое, дает перспективу».* «Мечта полезная» помогает человечеству в его борьбе.

Сознание человека не только отражает объективный мир, но и является могучим средством его преобразования. Ленин показывает активный, деятельный характер человеческого познания. В применении к художественной литературе это значит, что она не только отражает действительность, но и активно воздействует на нее.

Ленинский взгляд на правдивость, как главнейшее свойство подлинного искусства, с особой силой раскрылось в своей глубине и важности для всей массы народа в дни Великой Отечественной войны. Суровость реальной жизни военного времени не терпит приукрашивания, несерьезности. Великий подвиг народа на фронте и в тылу требует глубоких, правдивых образов, способных убедить и волновать народ. Люди за время войны обострили свое духовное зрение, умножили свой жизненный опыт, закалили чувства, повысили требования. Великая фальшь, надуманность, будут отвергнуты народом. Вольное или невольное пренебрежение правдой мстит художнику, порождает фальшь, неубедительность, сентиментальность, шаблон. Все это несовместимо с живым правдивым искусством.

III

Высокая идейность, наряду с правдивостью, — отличительное свойство передовой художественной литературы. Воззрение Ленина на идейность литературы и ее обществен-

ное назначение выражено в выдвинутом им принципе партийности литературы.

Принцип партийности литературы с исчерпывающей полнотой и яркостью развит Лениным в статье «Партийная организация и партийная литература». «О чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела... «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы».*

Разработка учения о партийности литературы — крупнейшая заслуга Ленина. В этом учении блестяще раскрывается активно воздействующая роль литературы, значение идеи, общественной роль литературы.

Мысль о том, что принцип партийной литературы нужно развить и провести в жизнь в наиболее полной и цельной форме, Ленин осуществлял практически, во всех своих литературных высказываниях, в заботах о Горьком, в трудах о подъеме социалистической культуры и организации революционной печати.

Как известно, он хотел создать настоящий литературно-критический отдел в партийных газетах — «Пролетарий», «Звезда», «Правда», в легальном партийном журнале «Просвещение», и заведывание этим отделом думал поручить А. М. Горькому.

Учение Ленина о партийности литературы развивает и обогащает многолетние искания русской и мировой передовой мысли. Не случайно Ленин так часто обращается к великим русским писателям-патриотам: Герцену, Белинскому, Чернышевскому, каждое слово которых было проникнуто высоким сознанием гражданского долга. Ленин наполнил передовым социалистическим содержанием ранее рожденное литературное понятие идейности литературы. В учение о партийности литературы вложен богатейший опыт революционной борьбы, эпохи «кануна социалистической революции». Ленин указывает нашей литературе образцы, которым она должна следовать. Не эгоистом-эстетом или обывателем, а пламенным защитником родины рисуется идеал художника.

Имена великих русских писателей для Ленина не являются принадлежностью только истории литературы. Без них немислима история народов России, история русского освободительного движения. Ленин первый глубоко раскрыл, что в русском революционном движении домарковского периода Радищев, Гер-

* И. В. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 75—76.

* В. И. Ленин, соч., т. VIII, стр. 387.

цен, Белинский, Чернышевский — основные политические и исторические деятели. Они двигали вперед русскую революционную мысль, хранили революционные традиции, бросали в народ идеи социальной справедливости. Великие русские писатели в свое время являлись подлинными вождями демократических кругов русского общества. И что особенно важно, все эти писатели были патриотами, революционными борцами, все силы и жизнь отдававшими за родной народ.

О том, как высоко оценивал Ленин политическую и литературную деятельность русских революционно-демократических писателей, с предельной убедительностью говорят следующие его слова: «роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов: пусть подумают о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература».

Гениальный Ленин дал ответ на вопросы, волновавшие передовую русскую общественную мысль. Подступы к учению о партийности были подготовлены предшествующим развитием революционной русской критики и литературы.

Высшая ступень художественного творчества классиков русской литературы — реализм, сочетающий с верностью изображения благородную страсть и передовую мысль.

Чернышевский и Добролюбов вслед за Белинским прочно связали литературу с жизнью, сделали ее мощным орудием общественной борьбы. Нельзя переоценить значения данного периода в развитии русской критики и общества. Именно под влиянием революционной проповеди Белинского, Чернышевского и Добролюбова литература приобрела в жизни общества исключительное значение. Эти деятели утвердили за писателем право быть учителем общества, заставили общество прислушиваться к литературе. Некоторые великие русские писатели, как, например, А. Толстой, не понимали смысла деятельности Чернышевского и Добролюбова, отрицательно к ним относились. Но пафос идейных исканий самого Толстого необъясним без учета великой традиции Чернышевского. Ленин, гениально раскрыв общественное содержание русской литературы, учил современных ему писателей партийному, страстному, боевому служению делу народа.

Социальный пафос классиков русской критики в свою очередь питался замечательнейшими прогрессивными произведениями классической русской литературы. Укажем на трех поэтов прошлого века, воплотивших в своем творчестве историческое развитие идеи общественного служения литературе. Пушкин

имел полное право сказать о себе, что «жестокый век» он был певцом свободы и «милость к падшим призывал». Призывы Пушкина к свободе с точки зрения современных требований кажутся недостаточно продолжительными. Но наше сознание исторично. Для жесткого времени, в котором Пушкин жил, его порыв к освобождению человеческой личности не может быть переоценен. Гораздо резче выразил социальный протест и идея социально-освободительной роли поэзии М. Ю. Лермонтов, сравнивший поэта с кинжалом, «прорвавшим не одну кольчугу», но который иногда «игрушкой золотой блещет на стене — бесславный и безвредный». После смерти Пушкина в эпоху господства идей чистого искусства Лермонтов резко осуждает поэзию, служащую для забавы, и утверждает тип поэта-борца.

Еще более определенно высказался об общественной роли поэзии революционный демократ Некрасов, поэтически поведавший о страданиях русского народа под игом крепостничества и его свободолюбивом духе. Его поэзия отражала революционные настроения миллионов русского крестьянства. Идея революционной борьбы составляет пафос, душу некрасовских стихов.

Идеал, вдохновляющий поэзию Пушкина, у Лермонтова и Некрасова вырастает в призыв к борьбе, утверждает себя во взгляде на литературу, как на орудие борьбы. Взгляд этот в литературной критике теоретически развил Белинский, Чернышевский и Добролюбов. Их эстетическое учение составило эпоху в развитии русской и мировой критики, выдержало все испытания времени.

Крупнейший художник нашей эпохи А. М. Горький в своем творчестве и взглядах тоже отстаивал партийность, народность искусства.

Советское государство предоставляет писателю небывало значительную общественную роль. Художник выступает непосредственным и прямым разлителем народных дум и чаяний. Художник — народный трибун и воспитатель народных масс. Но с ростом культуры повышается и ответственность художника. Его слово, его образ должны обладать в полной мере правдивостью и убедительностью, его мысль и мастерство должны быть на высшем уровне, чтобы способствовать дальнейшему духовному подъему масс.

Советская литература идет по творческому пути, указанному Лениным. И сейчас никто из литераторов не вправе забывать о том, чем живет весь советский народ, отдающий все силы делу разгрома врага. Не могут служить оправданием ссылки на так называемую «особенность писательской манеры», «особый круг тем» и т. д. и т. п.

«Что ты сделал для народа?» — вот вопрос, на который делами отвечают писатели-патриоты. В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин в 1905 году так характеризовал будущую народную литературу: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея со-

циализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».*

Развитие литературы и искусства в Советском Союзе подтвердило силу ленинских принципов свободной литературы. Идея социализма, патриотизм, органическая связь с жизнью народа — вот пафос произведений искусства, получивших всенародное признание в наше время. Не узкие и корыстные цели, не индивидуализм и мелкие групповые интересы, а страстное желание служить народу, помочь в борьбе за свободу, честь и счастье родины приводят к созданию выдающихся произведений искусства.

Непримиримым было отношение Ленина к попыткам некоторых литераторов отгородиться от народных интересов, уйти в мир узких эгонистических и корыстных побуждений. Эта непримиримость ко всяким пережиткам антипатриотического индивидуализма способствует идейному и художественному совершенствованию искусства.

В отсталых реакционных литературных кругах было чрезвычайно распространено мнение о том, что литература — это личное дело писателя или его группы. Сторонники такого взгляда индивидуалистически отгораживались от народа, забывая о своих обязанностях перед родиной. Ленин раскрыл антинародность такого эгонистического воззрения на искусство. «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков». Эти ленинские слова направлены против индивидуалистического нетерпимого взгляда на литературу пугмеев, старающихся отстраниться от исполнения своих гражданских обязанностей. И в дальнейшем, определяя основные задачи народного просвещения на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию, Ленин ссылался на «обилие выходцев из буржуазной интеллигенции, которая сплошь и рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, создаваемые по-новому, рассматривала как самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии или в области культуры, когда сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто-пролетарского искусства и «пролетарской культуры» преподносилось нечто сверхестественное и несуразное».**

Каждый литератор ценен тем, в какой степени он содействует созидательной работе и художественному развитию своей родины и человечества. И в своих оценках писателей Ленин всегда определял их роль в обществен-

ном развитии. Ленин прямо высказывался, какую пользу или вред для народа приносят произведения того или иного художника. «Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу». Так отзывался Ильич в письме к Горькому о творческой деятельности этого выдающегося художника.

«Книга нужная, — вспоминает Горький слова Ленина, сказанные по поводу «Матери», — много рабочих участвовало в движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя».

В письме в редакцию «Правды» от 8 сентября 1912 года по поводу статьи Ольминского о Щедрина Ленин предлагал: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателя «Правды» — для 25 000 — это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом». «...Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа...»*** — писал Ленин Серафимовичу (А. С. Попову) в 1920 году.

Жизнь подтвердила значительность и верность убеждения Ленина о гибельности для творчества эгонистической замкнутости некоторых художников, их нежелания изучать действительность, их стремления отгородиться в своем узком индивидуалистическом мире от переживаний и судьбы народа. Нежелание литераторов делить судьбу народа, его заботы и чувства приводит к упадку искусства. Об этом хорошо сказал в своей речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей М. Горький. По мнению Горького, отказ от великих гражданских традиций, идущих от гениальных корифеев русского и мирового искусства, во многом определял упадок литературы в конце прошлого века.

«Что привело литературу Европы к творческому бессилию, обнаруженному ею в XX веке?» — спрашивал Горький. И отвечал: «Яростно и многословно защищалась свобода искусства, своеволие творческой мысли, всячески утверждалась возможность внеклассового бытия и развития литературы, независимость ее от социальной политики. Это утверждение было плохой политикой, именно оно незаметно привело многих литераторов к необходимости сузить круг наблюдений действительности, откатиться от широкого всестороннего изучения ее, замкнуться в «одиночество своей души», остановиться на бесплодном «познании самого себя», путем самоуглубления и своеволия мысли, оторванной от жизни».

* В. И. Ленин, соч., т. XIV, стр. 189.

** В. И. Ленин, соч., т. XXIX, стр. 75.

*** В. И. Ленин, соч., т. XXIX, стр. 518.

* В. И. Ленин, соч., т. VIII, стр. 390.

** В. И. Ленин, соч., т. XXIV, стр. 276.

Русская литература, — писал Ленин, — приобретает всемирно-историческое значение. Таковую идейную художественную силу русской литературы дало величие идей и образов, составляющих ее содержание. Русские писатели довели до полного совершенства жизненность и бесстрашную правдивость реалистического изображения действительности. В то же время правдивые картины жизни, нарисованные русскими классиками, всегда были озарены светом общественного, патриотического идеала, внимательнейшего отношения к народу.

Об этой отличительной особенности передовой классической русской литературы свидетельствует в «Очерках гоголевского периода» блестящий критик и мыслитель Чернышев.

«Мы замечаем, — писал он, — что судьба России в отношении к задушевным чувствам, руководившим деятельностью людей, которыми наша родина может гордиться, доселе отличалась от того, что представляет история многих других стран. Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины. Мы не знаем и не спрашиваем себя, любил ли они родину: так далеко их слава от связи с патриотическими заслугами. То же надобно сказать о многих великих поэтах Западной Европы. Назовем Ариосто, Корнеля, Гете. О художественных заслугах перед искусством, а не особенных, преимущественных стремлениях действовать во благо родины, напоминают их имена. У нас не то: историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями, — но почему? «Потому, что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа». Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству. Державин даже считал себя имеющим право на уважение не столько за поэтическую деятельность, сколько за благие свои стремления в государственной службе. Да и в своей поэзии, что ценил он? Служение на пользу общую. То же думал и Пушкин. Русский, у кого есть здоровый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как патриотом в смысле Петра Великого, — деятелем в великой задаче просвещения русской земли. Все остальные интересы его деятельности — служение чистой науке, если он ученый, чистому искусству, если он художник, даже идея общечеловеческой правды, если он юрист, — подчиняются у русского ученого, художника, юриста великой идее служения на пользу своего отечества».

Классическая русская литература прошлого питалась крупнейшими идеями своего времени, имевшими значение для жизни всего народа. Ленин в своих литературных статьях особо

подчеркивал, что наши великие писатели, несмотря на всякие различия в их мировоззрении и творчестве, в своих произведениях поставили ряд важнейших вопросов, имевших существеннейшее значение для жизни всего народа. «Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом».*

Возмущение народных масс самодержавием и крепостничеством нашли свое выражение в пламенной проповеди Белинского, Чернышевский последовательно проводил революционно-демократическую «идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».** Ленин освещает значительность идей русской литературы, для всего исторического существования России. Толстой для него не только писатель, который дал ряд замечательных художественных произведений, ставящих его в числе великих художников всего мира, но и мыслитель, «который с громадной силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства»***

Во всех ленинских суждениях по вопросам литературы мы видим, что настоящее большое искусство всегда основано на больших общественных идеях и общественных вопросах. Н. К. Крупская сообщает: «Владимир Ильич при выборе книг по беллетристике особенно любил те книги, в которых отражались в художественном произведении те или иные общественные идеи». И серьезность идейного содержания русской классической литературы несомненно является предпосылкой ее художественной мощи, ее всемирно-исторического значения. Об этом еще раз напоминает Ленин в статье «А. Н. Толстой». «Рисуя эту полосу в исторической жизни России, — пишет Ленин, — А. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе»**** Эти ленинские слова без всякой натяжки можно отнести и к литературной деятельности «буревестника революции» — А. М. Горького.

Основываясь на социалистических идеях, Горький в художественной форме поставил перед человечеством важнейшие жизненные вопросы. Грандиозные идеи современности, подвиги и сильно выраженные Горьким, во многом помогли движению человеческого сознания вперед и принесли пользу в борьбе нашего народа за свободу.

Идейность литературы предполагает борьбу с различным рода вредными, ложными или просто мелкими идеями, отвлекающими от основных задач, стоящих перед народом, от

* В. И. Ленин, соч., т. XV, стр. 469.

** В. И. Ленин, соч., т. XV, стр. 144.

*** В. И. Ленин, соч., т. XIV, стр. 404.

**** В. И. Ленин, соч., т. XIV, стр. 400.

подлинной жизни. Ленин был непримирим к таким пустым или вредным идеям.

Критикуя статью В. Базарова о А. Толстом в журнале «Наша заря», он замечает, что в ней игнорируются действительные противоречия в творчестве и мировоззрении Толстого, отражающие реальные противоречия русской действительности с 1861 по 1905 годы. Вместо этого Базаров выдвигал, как самую сильную сторону в творчестве Толстого, создание им чисто человеческой религии, о которой Кант, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать. Ленин определяет это как «отвлечение внимания от тех конкретных историко-экономических и политических вопросов, которые «в настоящее время выплывают на первый план!»*

Кроме проповеди явно враждебных взглядов, в литературе отрицательную роль играет также подмена важного частным, несущественным — «мелкими идеями». По Ленину они несовместимы с передовым большим искусством. «Политическая точка зрения на сотрудничество того или другого литератора в рабочей прессе, — в представлении Ленина, — состоит в том, чтобы судить об этом не с точки зрения стиля, остроумия, популяризаторского таланта данного писателя, а с точки зрения... того, что несет он своим учением в рабоче массе».**

Русская литература всегда учила народ, была мощным орудием пропаганды. Эту высокую пропагандистскую роль наследовала и развила советская литература. Но иногда и теперь некоторые писатели стараются поразить читателей своей особенной выдуманной идеей, единственной ценностью которой состоит в том, что она не приходила в голову никому другому. Речь идет о мертворожденных умственных построениях, не имеющих ничего общего с живым течением жизни. Такие «идеи» противостоят подлинному творческому мышлению, старающемуся в художественной форме дать ответ на важнейшие вопросы, волнующие народ. Писатель не может пренебрегать гигантским опытом масс, их настроениями, своеобразием мышления и чувств. Узкие мелкие «идейки» всегда вредят искусству и самому писателю. Встретив какое-нибудь произведение, автор которого с важностью излагает мелочные бедные мыслишки, всегда вспоминаешь критические отзывы Ленина о писаниях некогда модных публицистов — В. Шулятикова и Д. Даниелю: «Беллетристика и голая фраза», «небрежно, фразисто, мелко, пошло»***. Выдуманная, умственная схема никогда не может обогатить литературу, так как выдуманное не может найти убедительного художественного претворения; таким способом можно создать

только подобие правдивости, подобие жизни, людские схемы, но живой действительности, настоящей правды и живых людей у писателя, пренебрегающего подлинным жизненным опытом, не получится. Один из своих критических разборов И. С. Тургенев сопровождает следующим замечанием, адресованным автору: «ваша беда — какая-то запутанность, хотя верных, но уже слишком мелких мыслей, какое-то ненужное богатство задних представлений, второстепенных чувств и представлений». В этом отношении еще поучительнее борьба Белинского и Чернышевского за изгнание из литературы «мелких идей», «мелочности чувств и понятий».

Гений Ленина поставил перед народами Советской страны грандиозные задачи, вдохновленные великими историческими идеями, и наше искусство может выполнить свою роль, только основываясь на этих идеях.

Писатель, сын своего народа и времени, в отличие от авторов «мелких идей» живет тем, что нужно стране, жадно изучает жизнь, опыт народа. Став страстным и непосредственным участником событий, он становится обладателем великого и неисчерпаемого богатства, недоступного индивидуалисту. Произведения его получают живую душу, искусство обогащается живыми созданиями. Советская художественная литература военного времени живет великими идеями патриотизма и народности. Произведения советской литературы воспитывают в народе чувство патриотизма, глубочайшей ненависти к врагу, вдохновляют к отваге, мужеству, героизму в защите родины. Пламенным, истым гражданином своего отечества должен быть каждый писатель. Этот ленинский наказ приобретает еще большее значение в дни войны, потребовавшей от каждого человека, каждого писателя нашей страны личной ответственности за судьбы родины, страстного и подлинно гражданского отношения к жизни.

IV

Без мастерства нет искусства. Литературные взгляды Ленина свидетельствуют о большом внимании к художественной стороне творчества писателей. В его высказываниях обычно разбираются не только идейно-познавательные вопросы, но и то, как художник реализует свой творческий замысел, то есть вопросы литературного мастерства. Точнее сказать, вопросы содержания и литературного мастерства у Ленина неразрывно связаны друг с другом, предстают в целостном единстве. Наши писатели и художники в этом отношении находят в суждениях Ленина о литературе важнейшие указания. Ленинская теория отражения в применении к искусству никак не означает, что художник пассивно копирует окружающее. Воспроизведение действительности в искусстве носит активный, действительный характер. Писатель не просто механически списывает явления внешнего мира, а

* В. И. Ленин, соч., т. XV, стр. 51.

** В. И. Ленин, соч., т. XVII, стр. 227.

*** В. И. Ленин, «Пролетарская революция», № 8, 1937 г., стр. 138. Ленинский сборник, XII, стр. 337.

вкладывает в них свои чувства, свое мировоззрение, отбирает из множества окружающих его явлений, черт, характеров наиболее существенные, типичные. «Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, образования понятий, законов etc.»*

В литературе жизнь отражается в художественных образах, то-есть живых картинах действительности, проникнутых чувством, мыслью, своеобразием индивидуальности писателя. Замысел писателя, самая благородная идея, не воплощенная в живых образах и картинах, останется для читателя отвлеченной мыслью и не дойдет до его сердца.

Критический гений Белинского ярко и точно определил значение в литературе художественной формы. «Напрасно думают многие, что дурной язык и некрасивые стихи ничего не значат и могут искупиться полнотой чувств, богатством фантазии и глубокими идеями: сущность поэзии — красота, и безобразие в ней не какой-нибудь частный и простиительный элемент, убивающий з созидании поэта даже истинно прекрасные места. Один дурной стих, одно прозаическое выражение, одно неточное слово иногда уничтожают достоинство целой и притом прекрасной пьесы. Пушкин потому и великий художник, что каждая его пьеса выдержана от начала до конца, равна в тоне и во всех подробностях соответствует своему, целому». Художественная бездарность и небрежность часто опошляют большие идеи, и чем серьезнее идея, чем выше чувства, тем более высокого искусства они требуют для своего художественного воплощения. Интересно привести краткое рассуждение на тему о художественной форме Л. Толстого, писателя, всегда ставившего на первое место содержание: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Недаром она. Но не даром, когда содержание доброе — напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее не читала бы одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло».

Искусство требует наглядности, мастерства, художественной силы. Об этом часто напоминал Ленин. Характеризуя Льва Толстого, он не ограничивается анализом своеобразия мировоззрения писателя, но и отмечает, что он гениальный художник, «давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы».** «Своеобразие критики Толстого, — писал Ленин, — и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода, а именно деревенской, крестьянской России».

Деятельность Толстого Ленин охарактеризовал, как «шаг вперед в художественном разви-

тии всего человечества».* Художественная сила, мастерство Л. Толстого проявилось в первую очередь в том, что эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой, «замечательно рельефно отразилась» в его произведениях.** Искусство, наряду с правдивостью и идейностью, должны быть вместе с тем художественно совершенным, ярко и рельефно показывать жизнь, убедительно и впечатляюще доносить идеи. И если в литературном произведении этого нет, то идея произведения остается неоформленной, не реализованной в литературной форме, а вследствие этого холодной и неопределенной. Короленко коротко сформулировал в одном своем письме необходимые ступени литературной работы: «первая (самая легкая) — научиться писать грамотно; 2-я (труднее) — выработать слог литературный, то-есть гибкий и свободный; 3-я (самое главное) — овладеть художественной формой — картиной, образом».

Ленин всегда заботился о безупречной литературной отделанности печатаемых произведений: «Тема, по-моему, взята хорошо и разработана верно, — но недостаточно литературно отделана», — указывал Ленин в своих письмах авторам. Недостаточная литературная обработка может свести на-нет разработку самой удачной темы. (Письмо В. М. Каспарову, позднее 14 июня, 1913 года).***

Без мастерства нет писателя. В связи с этим вспоминаются слова Сталина об одном эпизоде из литературной биографии Гейне, рассказанной им в речи от 27 сентября 1927 года.

«В числе разных критиков, которые выступали в печати против Гейне, был один очень неудачливый и довольно бездарный литератор. Его критик по фамилии Ауфенберг. Основная черта этого писателя состояла в том, что он неустанно «критиковал» и бесцеремонно допрашивал Гейне своей критикой в печати. Гейне, очевидно, не счит нужным реагировать на эту «критику» и упорно отмахивался. Это поразило друзей Гейне, и они обратились к нему с письмом: дескать, как это понять, что писатель Ауфенберг написал массу критических статей против Гейне, а Гейне не находит нужным ответить. Что же он сказал в ответ на обращение своих друзей? Гейне ответил в печати в двух словах: «Писателя Ауфенберга я не знаю, полагаю, что он вроде Дарленкура, которого тоже не знаю». Коротко и выразительно.****

Ленин ориентирует художников на народное искусство больших идей и вместе с тем большого художественного мастерства. Одно из важнейших необходимых свойств искусства — наглядность и сила чувства художника. Эти черты подлинного искусства Ленин находит у наших классиков. У Л. Толстого он подчеркивает «силу чувства», «страстность,

* В. И. Ленин, соч., т. XV, стр. 400.

** В. И. Ленин, соч., т. XIV, стр. 402—403.

*** В. И. Ленин, соч., т. XXIX, стр. 93.

**** И. В. Сталин, «Об оппозиции», стр. 707.

* Ленинский сборник, IX, стр. 203.

** В. И. Ленин, соч., т. XII, стр. 332.

убедительность, свежесть, искренность, бесстрашие в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс». «Толстой, — высказывается еще Ленин, — с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество...» Ленин восхищался Чеховым, его литературным стилем, «в котором с такой удивительной гармонией сочетались высокая жизненная правда, простота и точность художественного языка» (Г. М. Кржижановский «Ленин и Маркс»).

Высокие достоинства талантливых произведений литературы Ленин утверждает в статье «О значении воинствующего материализма». По его мнению, «..бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых столетов XVIII века сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами шересаказы марксизма...» *.

Ленин всегда с уважением относился к подлинной талантливости писателей, объединяющих в своих произведениях правдивость изображения и идейность с высокими художественными достоинствами. Серьезнейшее отношение Ленина к литературному слову, стилю может служить примером для литераторов.

«Идеи не существуют оторванно от языка», — отметил Маокс в своих экономических рукописях 1857—1858 годов. В языке выражается жизнь человеческого сознания. «Язык есть важнейшее средство человеческого общения» — высказался об этом важнейшем вопросе Ленин в статье «Право наций на самоопределение». Действительное сознание — язык. Он является, таким образом, средством отражения действительности, средством общения и передачи жизненного опыта людей, орудием воздействия на мысли и чувства. Основным средством художественной литературы является слово. Следовательно, забота Ленина о совершенстве литературного языка прежде всего относится к труду писателей, журналистов. Ясность и выразительность речи означает и ясность мысли, яркость и выразительность образов. По воспоминаниям Горького, Ленин любил повторять афоризм Аотура Шопенгауэра, сказавшего однажды: «Кто ясно мыслит — ясно излагает». «Думаю, что лучше этого он ничего не сказал» — говорил Владимир Ильич об авторе этого афоризма. Строгость требований Ленина к стилю рождена его взглядом на важнейшее значение литературы. Ясность и допустимость языка обычно сопутствуют глубине идей. Напыщенность, запутанность, неряшливость речи свидетельствуют о фальшивости чувств, неряшливости и путанности мысли.

«Путанность революционной мысли приводит у них, как это сплошь и рядом бывает, к революционной фразе»*, громила Ленин меньшевистских теоретиков в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Стиль писателя отражает характер его художественного мышления, его отношение к своему делу, уровень его сознания и литературной квалификации. Отсталость представлений, скудность жизненного опыта, малое знание действительности, ограниченность кругозора находят свое отражение в языке, стиле, в затянутости и нестройности композиции. Характеризуя думских либеральных ораторов в статье «Три запроса», Ленин высмеивал их «язык и манеру, образ «политического» мышления и постановку вопросов, которые были извинительны (если были извинительны) 30 лет тому назад в провинциальной канцелярии»**. Эти слова Ленина имеют отношение не только к тем, кому они непосредственно обращены: они жестоко бьют и всех литераторов, кокетничающих под флагом устойчивости своей писательской манеры, устарелостью и отсталостью своих интересов, ограниченностью взглядов, нежеланием умножать свое знание жизни, идти в ногу с духовными запросами народа.

«Слово тоже есть дело». Краткое и точное определение Лениным значения слова, как бы развивает высказывания классиков русской литературы, великих мастеров слова. «Слова поэта суть уже его дела», — писал Пушкин. «Слово, — слово великое дело!» — утверждал Достоевский. «Неправильное употребление слова ведет за собой ошибки в области мысли, а потом и в практическом действии» — формулировал свое мнение Писарев. «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает опять-таки Пушкин. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», — завещал Тургенев. «Литератор, работая, одновременно превращает и дело в слово и слово в дело», — говорит Горький.

«Слово тоже есть дело», — и как всякое полезное и необходимое дело, оно должно быть выполнено хорошо. Простота и ясность, сжатость и смелость ленинского литературного стиля всегда были связаны с его глубокой содер­жательностью. По превосходному определению Горького, могучий разум Ленина всегда был заключен «в простые, ясные слова». Любовь Ильича к родному языку воспоминается советской литературой, как ~~ленински~~ ~~завое~~ нашим писателям. «Нам нужно вспомнить, как относился к языку Владимир Ленин. — учил советских писателей Горький. — Необходима беспощадная борьба за очищение литературы

* В. И. Ленин, соч., т. XXVII, стр. 184.

* В. И. Ленин, соч., т. VIII, стр. 81.

** В. И. Ленин, соч., т. XV, стр. 324.

от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология. («Открытое письмо А. С. Серафимовичу»).*

Ленин любил «родную русскую речь»** со всем пылом пламенного патриота. О родной «ясной русской речи»*** он всегда писал тепло и проникновенно. Богатство и совершенства ее вызвали восхищенные слова Сталина о «нашем простом русском языке»****

Ленин с большой строгостью относился к различным искажениям речи, резко выступал против порчи русского языка. В этом смысле огромный интерес представляет небольшая заметка Ленина «Об очистке русского языка», имеющая подзаголовок — «Размышления на досуге, то-есть при слушании речей на собраниях».

«Русский язык мы портим, — замечает Ленин. — Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас однако тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя»*****

Блестяще владевший даром простого, и в высшей степени убедительного языка, Ленин с негодованием относился ко всяким попыткам сюсюканья, снижения «ради популярности» требований к содержательности речи. Нельзя умалять запросы народа. Всякое упрощенчество и снижение требований к литературе, Ленин считал вредным и ненужным. Ленин учил, что необходимо повышать идейный, культурный, а следовательно, и художественный уровень масс. Для этого требуется высокое мастерство слова и содержательность художественных образов. Пренебрежительное отношение к языку со стороны литераторов, в какой бы форме оно ни выражалось, — в простой небрежности или нарочитом изощренном штукачестве, Ленин расценивал как преступление. Неряшливое отношение к литературному языку свидетельствует не только о непригодности виновных в этом людей к литературной работе, но и антинародности их сознания, не дорожающей первейшим богатством своей родины. «Не пора ли обвинить войну коверканью русского языка». — предлагал Владимир Ильич в заметке «Об очистке русского языка». Коверканье русского языка проявляется в самых различных видах и

формах. Это — не только засорение речи без нужды иностранными словами, но и бесчисленные сокращения, зачастую очень неблагозвучные и непонятные широким кругам читателей, бессмысленное нарушение норм русского литературного языка.

Ленин резко осуждал журналистов, уродующих язык. «На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то, Волапюк, а не язык Толстого и Тургенёва», — возмущался Ленин, читая сочинения таких литераторов. Летом 1910 года в Париже Ленин редактировал статью какого-то неизвестного автора. Сохранились лишь написанные на отдельном листке ленинские замечания на эту статью: «пара лет» не по-русски. «Ксеймят безумием» — не по-русски...»* Ленин начал критику статьи с замечаний об ее языке. В этом проявляется живое действительное уважение Ленина к русской культуре, русскому языку. Через некоторое время в Кракове Ленин ознакомился с книгой С. Н. Щеголева «Украинское движение как современный этап южно-русского сепаратизма». Книга получила самую отрицательную оценку, как сыщичкий обзор истории и современного украинского движения. Попутно с общей характеристикой книги Ленин сделал важнейшее замечание, что автор «Ругает все польское с слюной у рта, а сам пишет с полонизмами вроде «привабляивание» (415 и др.), «кордон» (35 и др.) «виктория», «революция» (60), «артефакт» (168)». ** Всякого рода ненужное внесение в русскую речь местечковых, жаргонных слов Ленин резко осуждал. По его мнению, в литературную речь должны входить лучшие, наиболее яркие слова.

Литературный шаблон, канцеляризмы, различного рода языковые штампы, которые иногда проникают в нашу литературу, нельзя рассматривать только как проявление скудности изобразительных средств. Литературный штамп, неряшливость и серость языка — это признак отсутствия смелой мысли, искреннего сильного чувства, настоящего знания жизни. Всегда следует помнить о первоначальном происхождении слова стиль, вызывающем аналогию художественного слова с оружием. Стиль восходит к *stilus*, то-есть к тому, чем он первоначально был в руках римлян, острым стальным клинком, которым можно и писать, и колоть. «Стиль — кинжал, поражающий в самое сердце». ***

Статья печататься — благородная страсть, — так высказался Ленин о тяге к печатному слову. И как в каждом благородном деле, в литературе недопустимы мелочность, неграмотность и уродливость.

Язык художественной литературы так же богат и разнообразен, как богата сама жизнь, явления которой воплощают художники. Ленин учит писателей уметь находить

* М. Горький, «О советской литературе» 1934, ст. 64.

** В. И. Ленин, соч., т. IV, стр. 275.

*** В. И. Ленин, соч., т. XIX, стр. 197.

**** И. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 6 стр. 341.

***** В. И. Ленин, соч., т. XXIV, стр. 662.

* Ленинский сборник, XXV, стр. 301.

** Ленинский сборник, XXX, стр. 10.

*** Слова В. Либкнехта.

«больше метких характеристик и других образцов».*

Ценность всякого литературного произведения зависит от того, насколько оно обогащает нас идейно и художественно. Шаблон не может чем-либо обогатить дух человека — ни чувствами, ни знанием. Произведения, написанные по стандарту, не ставят перед читателем никаких новых вопросов, не пробуждают в нем ни чувств, не возбуждают мышление, не оставляют в сознании следа. Такие произведения вредны, так как они мешают развитию и обогащению человеческой индивидуальности, приучают жить и мыслить закостенелыми формулами.

М. И. Калинин в одной из своих речей сообщил: «Товарищ Сталин говорил однажды, что самое плохое заключается в том, когда люди мыслят готовыми формулировками, готовыми лозунгами. Это, конечно, проще. Если передать то или иное теоретическое положение своими словами, то прежде всего надо его хорошо продумать, понять, иначе можешь ошибиться. А когда говоришь заученными формулировками, твоя мысль не работает, как следует, — спит».** Стандартная литература не может быть жизненно правдивой.

Ленин ненавидел шаблон в мышлении, работе, литературе. Его творческая и живая натура никогда не могла примириться с мертвым схематизмом. «...литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию...», — писал Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература» — «...в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию»***.

Всякое схематизирование противоречит взгляду Ленина на познавательное и идейное значение литературы. Произведения, созданные по голой отвлеченной схеме, не могут быть жизненно правдивыми и художественно живо воплотить идею. Это еще больше обязывает писателей к пониманию своей личной ответственности перед народом и еще более повышает идейно-художественные требования.

Творческое своеобразие и искренность чувства придают идеям в художественных образах убедительность и большую вдохновляющую силу. Если некоторые редакторы в прошлом стремились подстричь корреспонденции и статьи под одну гребенку, стараясь добиться, чтобы мысли выражались одними и теми же фразами, то Ленин, напротив, считал, что авторам надо дать говорить своим языком, своими словами, подходить к вопросу не с того конца, с какого принято. Как передает Н. К. Крупская, Ленин указывал: «Когда стригут все под одну гребенку, когда пере-

кладывают живые корреспонденции на казенный язык, материал теряет интерес».*

Ленин, редактируя статьи, всегда «ограничивался минимумом безусловно необходимых поправок, стараясь сохранить индивидуальные особенности языка и стиля автора».** Фразерство и шаблон неизбежно оттесняют живое творчество, и в этом состоит их гибельность для искусства. Ленин призывал бороться беспощадно и с шаблонами».

В художественной литературе шаблон еще более нетерпим, чем в какой-либо другой области деятельности. Литературной гладкописью овладеть нетрудно, но она никогда не заменит настоящего проникновения в жизнь и всего чувства. Признак художественности произведения в том, что оно обязательно открывает для читателя нечто новое, — новые чувства, вопросы, стороны жизни.

Толстой называл такой гладкий литературный язык, о котором говорят — «приятный стиль», а про автора — «владеет пером», — «самым дурным языком». Что проку в благополучной гладкописи, если нет ни одного почувствованного образа, лица картины. Такая литература расслабляет, приучает говорить слова без смысла и образов. Подмена живого восприятия жизни литературным штампом, по существу, означает умерщвление творчества. И борьба Ленина с шаблоном, схематизмом есть борьба за великий и могучий русский язык, за подлинно свободную высокохудожественную литературу.

«Самый верный признак истины — это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна». Так высказался Л. Толстой об искусственно вычурном, манерном искусстве. Великие создания искусства потому и велики, что доступны и понятны всем. «Если бы я был царь, — однажды сказал Л. Толстой, — то издал бы закон, что авторы, употребляющие непонятные для других и себя слова, лишаются права писать и получают 100 ударов розог». Речь идет о писателях, при имени которых приходит в голову изречение известного персонажа из комедии Грибоедова «Горе от ума»: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой». Чем мельче и неопределеннее мысли литератора и его представление и знание жизни, тем более проявляется стремление поразить всех чем-то совершенно необычным, особенным, не присущим другим. Настоящее искусство всегда скромно. Такое изломанное искусство иногда нравится небольшой группе друзей литератора-формалиста, но на этом кратковременное существование произведения «уникума» и ограничивается. Не помогут здесь и всяческие ухищрения различных снобов провозгласить такого

* В. И. Ленин, соч., т. II, стр. 474, 4-е изд.

** М. И. Калинин, «О молодежи», изд-во «Молодая гвардия», 1940 г., стр. 156.

*** В. И. Ленин, соч., т. VIII, стр. 387.

* Н. К. Крупская. «Учиться у Ленина! Сталина заботе о людях». Большевицкая печать, 1935 г., № 10, стр. 5—6.

** В. Карпинский. «Ленин как редактор», «Рабоче-крестьянский корреспондент», 1940 г., № 7, стр. 9.

литератора «новатором» и т. д. и т. п. Даже талантливые писатели, по выражению Пушкина, «истощившие силы свои в усовершенствовании стиха» (которые пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, вежли о мысли и истине), обречены на забвение.

Вершина литературного мастерства — мудрая простота и доступность слова. Убедленный сторонник великого и могучего русского языка Толстого, Тургенева, Герцена, Чернышевского, Добролюбова — Ленин совершенно закономерно боролся со словесной ухищренностью, прикрывающей обычно бедность мысли. «Присматривайте-ка вы немножко, тов. Плеханов, за Мартыновым и Старовером, право присматривайте, — с сарказмом писал Ленин в своей незаконченной статье «Первые уроки». — Пишут они красиво, слов нет, совсем даже по-новому красиво, в декадентском стиле, но вот, что к чему, это у них не всегда выходит».*

Вычурность выражений и в политической, и художественной литературе всегда связана с неясностью или ложностью мысли. Недостаток этот приходится все время маскировать внешней красотой или изломанным оригинальничанием. У того, кто «кривляется», вывертывает слова, — говорил Ленин, — а содержания нет, — пусть он называет себя писателем, иногда ученым и еще кем бы то ни было.**

Часто литературный стандарт, пустое fra-верство, вычурность являются результатом общей и профессиональной неподготовленности автора. Литераторы такого рода не проявляют ни такта, ни вкуса, сбиваясь все время на банальную декламацию. Напыщенность, декламация, разукрашенная пестрыми крикливыми словами, и в политике, и в печати возмущали Ленина. «...пустышка, голый выкрик, бессодержательная декламация», — отзывался Ленин о «произведениях» такого рода.*** Инстинкт и ум народа не удовлетворяются пустыми восклицаниями и декламацией. И литература, и наука, и публицистика обязаны говорить с народом серьезно и убедительно. В этом смысле чрезвычайно поучительна для всех, в том числе и для наших литераторов, суровая критическая оценка, данная сочинениям некоторых советских историков, легкомысленно относящихся к ответственной задаче создания учебника по истории СССР и заполнивших страницы «напыщенной болтовней о самой счастливой стране в мире», восклицательными знаками, кликами восхищения и разного рода трогательными анекдотами и песенками и общими характеристиками плюс перечисление 3—4 наи-

более популярных первенцев первой пятилетки вместо того, чтобы точно, ясно и просто показать, как в итоге двух пятилеток создана мощная промышленность, крестьяне объединились в колхозы, сельское хозяйство переведено на базу тракторной техники, а для защиты рабоче-крестьянского государства создана мощная, технически оснащенная Рабоче-крестьянская Красная Армия».*

Особенно недопустима бессодержательная декламационная литература во время войны, когда народ несет тяжелые испытания и совершает грандиозные подвиги. Жизнь сейчас дает писателю для художественного воспроизведения огромный реальный опыт народа, величайшие события. Пустая декламация только вызовет досаду на литератора, как человека невнимательного и равнодушно-го к жизни.

V

Народность искусства выражается не только в его предназначенности для народа, но и в том, что народ в свою очередь является его создателем.

Созидательный активный характер отношения народа к искусству и литературе раскрывается в указании Ленина на необходимость учета при всяком исследовании «действий масс». Показателен интерес Ильича к первоисточнику литературы — к народному творчеству (фольклору). Н. К. Крупская рассказывает в «Воспоминаниях» о жизни Ленина в Париже: «Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем, — и о том, как подвизывались крестьяне выбирать в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п. Особенно нравился Ильичу Монтегюс-Сын коммунара, Монтегюс был любимцем рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях — всегда с яркой бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17-му полку, отказавшемуся стрелять в стачечников. К нам приходила на пару часов французенка-уборщица. Ильич усылашал однажды, когда она напевала песню. Это — националистическая эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова и потом нередко тел сам ее». Кончалась она словами: «Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но вопреки вам мы остаемся французами, вы могли онемечить наши поля, но наше сердце — вы никогда не будете его иметь».

Была это 1909 год — время реакции, когда партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было

* Ленинский сборник, V, стр. 76.

** В. И. Ленин, «Речь об обмане народа лозунгами «свободы и равенства», т. XXIV, стр. 294.

*** В. И. Ленин, «О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме», т. XIX, стр. 231.

* Постановление жюри Правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР. В брошюре «К изучению истории», Политиздат, 1938 г., стр. 33, 36.

слышать, как победно звучали в его устах слова песни...»

О внимании Владимира Ильича к народному творчеству свидетельствует также В. В. Бонч-Бруевич: «Не помню сейчас как, но перешел разговор на народный эпос, и когда я сказал Владимиру Ильичу, что у меня в библиотеке имеются довольно хорошо подобранные книги былины, народных песен и сказок, то он сейчас же спросил у меня, могу ли я ему дать их посмотреть. И уже в тот же вечер видел, как Владимир Ильич внимательно читал Смоленский этнографический сборник, составленный В. Н. Добровольским.

«Какой интересный материал, — сказал он мне, когда я на утро вошел к нему. — Я бегло просмотрел вот эти книжки, но вижу, что не хватает, очевидно, рук или желания все это обобщить, все это просмотреть под социально-политическим углом зрения, ведь на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных. Смотрите, — в сказах Ончукова, которые я перелистал, ведь здесь есть замечательные места. Вот на что бы надо обратить внимание наших историков литературы. Это доподлинное, народное творчество, такое нужное и важное для изучения психологии в наши дни». Тот же Бонч-Бруевич сообщает, что Ленин просил дать ему для чтения книгу Жюльена Терсо «Празднества и песни Французской революции».

Фольклор — это коллективное устное творчество народа. В нем легко увидеть первичную народную основу искусства.

Утверждение неразрывной связи передового искусства с народом закономерно вытекает из ленинского понимания природы искусства и литературы. Народ не только имеет право на искусство, но и является его создателем. Знаменитые слова Ленина о народном искусстве, приводимые в воспоминаниях Клара Цеткин, давно уже стали программным требованием нашего искусства и литературы: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу глубочайших народных масс. Оно должно объединять чувства, мысль, волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их». Ленин здесь намечает целостную программу развития искусства и литературы.

Произведения Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского — полностью находят себе историческое объяснение в учении Ленина о двух путях капиталистического развития, подчеркивающих величайшую историческую роль народа. Буржуазно-помещичья история игнорировала роль народа. Все движение исторического процесса, а следовательно и художественной литературы, она во второй половине XIX века ставила в зависимость от «пресловутой борьбы либералов с крепостниками», от узко интеллигентских настроений. Например, в критике до Ленина, за исключением Чернышевского, Добролюбова и Плеханова,

было принято трактовать замечательные сочинения Белинского только как типическое проявление настроений интеллигенции. Как известно, во время Белинского русская интеллигенция была весьма малочисленной и еще далекой от народа. По мнению критиков, Белинский был рупором мнений этой небольшой кучки образованных людей, а многочисленный русский народ жил своей обособленной жизнью. Следовательно, передовая русская литература гоже шла мимо народных настроений и чаяний. Ленин резко восстал против такой узкой и кастовой точки зрения. В статье «О «Вехах» он возмущенно высказал свое мнение социалистического трибуна:

«Письмо Белинского к Гоголю, вещают «Вехи», есть «пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения». (56)...

Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть «интеллигентское» настроение... Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?» *

Идеи народа и времени воспринимаются народным писателем с творческим энтузиазмом, предстают как его личное убеждение и чувство. Народные мысли и переживания органически проникают существо писателя, становятся достоянием его духа, обогащают восприятие мира, обостряют зрение, придают силу и значительность произведению. Пока творчество питается духовным богатством, созданным народом, до тех пор его возможности беспредельны. И стоит только писателю перестать улавливать настроения народа, потерять связь с действительностью, как произведения, созданные им, лишаются всякой силы. Товарищ Сталин, чтобы ярче показать тесную связь большевиков с массами, как источник их непобедимости, привел миф об Антее: «У древних греков в системе их мифологии был один знаменитый герой — Антей, который был, как повествует мифология, сыном Посейдона — бога морей и Геи — богини земли. Он питал особую привязанность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала; Не было такого героя, которого бы он не победил — этот Антей. Он считался непобедимым героем. В чем состояла его сила? Она состояла в том, что каждый раз, когда ему в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая родила и вскормила его, и получал новую силу. Но у него было все-таки свое слабое место — это опасность быть каким-либо образом оторванным от земли. Враги учитывали эту его слабость и подкарауливали его. И вот нашелся враг, который использовал эту его слабость и победил его. Это был Гераклес. Но как он его победил? Он оторвал его от

земли, поднял на воздух, отнял у него возможность прикоснуться к земле и задушил его таким образом в воздухе. Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми».*

Искусство тоже берет свою мощь от народа.

Ленин глубоко вскрыл гигантскую роль народных масс в историческом развитии России, в истории русской литературы, общественной мысли, публицистики.

Горький писал, что Ленин испытывал чувство гордости русским искусством, имеющим таких представителей, как гениальный Толстой:

«Как-то пришел к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Хотелось прочесть сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человек! Вот это, батенька, художник.. И, знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазами, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Никого.

И засмеялся довольный.

«Мы полны чувства национальной гордости», — решительно утверждал Ленин в статье «О национальной гордости великороссов». Эта статья — вдохновенный гимн созидательной творческой силе русского народа, выдвинувшего из своей среды замечательных ученых, писателей, военных и политических деятелей, обогативших мировую культуру.

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, — развивает свою мысль Ленин, — чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем на том, чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов.** Наиболее яркое выражение культурной жизни всего народа — это его язык. Классики русской литературы создали богатейший язык, питающийся корнями русской народной речи. Ленин с энергией и чувством выразил силу

и значение языка классической русской литературы. Отвечая либералам, он говорил: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч».*

Гордость нашим народом, его свободолюбием, великим и могучим русским языком, русской литературой составляет одну из величайших ленинских идей, поднимающих весь народ на защиту родины.

Неразрывную связь «большой» передовой литературы с народной жизнью, с думами и чаяниями народа Ленин показал на примере творчества величайшего писателя нашей современности — М. Горького, выразившего передовые идеи эпохи социалистической революции.

Жизнь и деятельность Горького являются образцом того, как писатель должен выполнять свой патристический долг. Горький — основоположник литературы социалистического реализма. Горький — новая эпоха в развитии мирового искусства. И это прекрасно показал Ленин.

Отношения Ленина и Горького воскресили старую благородную традицию русской литературы — непоколебимую дружбу писателей, сплоченных едиными взглядами, терпеливую и настойчивую их помощь друг другу. Писательское товарищество далеко не личное дело, — оно нужно литературе. Достаточно сослаться на тесный дружеский кружок Пушкина или нерасторжимое содружество революционных шестидесятников — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова. Наиболее полно и ярко об отношениях Владимира Ильича с Горьким рассказывает Н. К. Крупская: «Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя. Особенно нравились ему «Мать», статьи в «Новой жизни» о мещанстве, сам Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство, — нравились «На дне», нравились песни о Соколе и Бурестнике, их настрой, любил он такие вещи Горького, как «Страсти-мордасти», как «Двадцать шесть и одна». Помню, как загорелся Ильич как-то желанием пойти в Художественный театр посмотреть «На дне», помню, как он слушал «Мои университеты» в последние дни своей жизни».

Горький писал по преимуществу о рабочих, о городской бедноте, о дне, о тех слоях, которые больше всего интересовали Ильича, описывал жизнь такой, какова она есть, во всей ее конкретности, видел ее глазами человека, ненавидящего гнет, эксплуатацию, пошлость, нищету мысли, — глазами революционера. И то, что писал Горький, было близко и понятно Ильичу...

Владимир Ильич близко познакомился с Горьким в 1907 г. на Лондонском партийном съезде, наблюдал его там, поговорил и душевно сблизился с ним. Интересные письма Ильича к Горькому за время второй эмиграции. Образ Ильича как человека особенно

* Заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года.

** В. И. Ленин, соч., т. XVIII, стр. 81.

* В. И. Ленин, соч., т. XVII, стр. 180.

ярко выступает в этих письмах. Ильич пишет Горькому с резкой прямотой о том, с чем он не согласен, что его волнует, заботит. Так Ильич обычно писал товарищам, но в письмах к Горькому есть особый оттенок. Пишет он порой очень резко, но в этой резкости есть много какой-то своеобразной мягкости. Письма пишутся всегда под непосредственным впечатлением какого-нибудь факта, в них много эмоциональности — ярко отражена тревога, тяжесть некоторых переживаний, радость, надежды. Ильичу казалось, что Горький очень хорошо все это поймет. И всегда хотелось Ильичу убедить Горького в правильности своих взглядов, он горячо защищал их.

В письмах Ильича к Горькому видна ленинская забота о писателе. Все знают, как внимательно относился Ильич к людям, умел заботиться о них. И Алексей Максимович сам неоднократно писал об этом.

Художник не может ограничиться только общим заявлением о своем патриотизме. Он обязан нарисовать характеры, наделяя типичными для народа чертами и психологическими свойствами. События и действия в произведении тоже должны соответствовать исторической истине и национальному характеру народа.

Из всего сказанного Лениным по вопросам литературы видно, что он высоко ценил глубокое и всестороннее раскрытие духовной жизни человека. Ленин был сторонником мастерства больших масштабов, глубокого проникновения в духовный мир людей. Очень важно для понимания этой стороны вопроса вспомнить характеристику Лениным Глеба Успенского, как писателя, сочетавшего превосходное знание крестьянства «со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений». Умение проникнуть в самую «суть явлений», способность писателя глубоко раскрыть внутренний мир человека — один из важнейших признаков большого искусства. Лишь при этом условии художник находит благоприятные условия для воплощения своего замысла в убедительных и живых образах. Глубине проникновения в действительность в искусстве сопутствует широта обобщения. По словам замечательного мастера психологического рисунка Ф. М. Достоевского нужно «побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его».

Ленин, как уже говорилось выше, сторонник правдивого, реалистического искусства. Проникнутое передовыми идеями реалистическое искусство, в представлении Ленина, ничего общего не имеет со сторонним, внешним, безучастным описанием действительности. Искусство одухотворяется живой мыслью, чувством, страстью и пронизательностью художника. Хороший писатель не просто изображает события, он внимательно следит за тенденциями их развития, проникает в не-

зримые для других глубины человеческой души. Большой заслугой Л. Толстого Ленин считал его «самый трезвый реализм, срывающий всех и всяческих масок». Великое народное море, взволновавшее до самых глубин, со всей силой отразилось в творчестве Толстого. Гениально раскрыв глубины человеческой души, Толстой сумел передать настроения и тенденции, присущие в определенную эпоху миллионам русских людей. Эту черту художественного таланта Толстого отмечает Ленин. «Толстой, — говорит он, — не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценными и читаемыми сами, — он сумел с замечательной силой передать настроения широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования».* Умение писателя проникнуть в глубь человеческой души, в глубь личных и общественных отношений Ленин считал важнейшим признаком подлинно талантливого произведения.

Ленин в своих высказываниях по литературным вопросам сам представил классические образцы многосторонности и тонкости идейно-психологического анализа. Показательна в этом смысле ленинская оценка Некрасова, сочетающая в себе прекрасное понимание индивидуальности поэта с глубоким анализом объективной исторической обстановки, которую изображал поэт. «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично калялся в них».** В этой краткой, но предельно выразительной характеристике превосходно отражен живой облик Некрасова — человека, писателя и политического деятеля, соратника вождей революционной демократии 60-х годов.

Народность литературы не предполагает какой-либо упрощенности или приниженности, «ради доступности», художественных требований. Горький упоминает, что Ленин неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

«Грубоват, идет за читателем, надо быть немножко впереди».

Ленин резко отличал популярность от популярничанья. Народность, популярность произведения состоит в его доступности миллионам. Популярность — это простота, сама правда. Упрощение — это искусственность, фальшь, заигрывание с неразвитым читателем. Журнал «Большевик» опубликовал в 1936 году незаконченную статью Владимира Ильича о журнале «Свобода». В ней содержится замечательная характеристика идейно-литературного упрощенчества, популярничания: «Журнальчик «Свобода» совсем плохой, — отметила

* В. И. Ленин, соч., т. XVI, стр. 400.

** В. И. Ленин, соч., т. XVI, стр. 132.

Ленин. — Автор его — журнал производит именно такое впечатление, как будто бы он весь от начала до конца был писан одним лицом — претендует на популярное писание «для рабочих». Но это не популярность, а дурного тона популярничанье. Словечка нет простого, все с ужимкой. Без выкрутас, без «народных» сравнений и «народных» словечек в роде «ихний» — автор не скажет ни одной фразы. И этим уродливым языком разжевываются без новых данных, без новых примеров, без новой обработки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризируемые.* Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно подводить к самым глубоким идеям, поднимать его общее и художественное развитие — таков путь, указанный Лениным литераторам.

Взгляд Ленина на необходимость глубокого раскрытия души, мыслей, чувств героев художественных произведений, а через них настроений и сознания широких народных масс, имеет исключительное значение для нашей литературы. Особенно велико это значение теперь, когда духовные качества народа проявились с небывалой силой. Для воспроизведения богатства духовного мира советских людей в дни Великой Отечественной войны нужны подлинники художники, умеющие понимать и изображать человеческую душу.

Горький в книге «Ленин» передает один характерный разговор с Владимиром Ильичом:

«На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете ли вы России, живя на этой шишке?»

Эпизод этот очень показателен. Симпатию Ленина вызывали волевые, решительные, деятельные характеры. Такой герой чрезвычайно близок Владимиру Ильичу.

Вполне объяснима в свете такого взгляда живейшая симпатия Ленина к Волгину, герою романа Чернышевского «Пролог пролога», и героям повести Горького «Мать» — русским самоотверженным революционерам. Их активные натуры, стремление к практическому действию во имя блага народа выявляют типические черты борющегося русского свободолюбивого народа. Здесь Ленин наметил основы того художественного направления, которому М. Горький отводил первое место среди многообразия стилей советской литературы. Горький эту литературу, повествующую о волевых героических характерах и больших героических делах, типичных для деятельности нашего народа, называл литературой героического эпоса. Героический эпос соответствует характеру нашей

действительности. В отличие от свободолюбивого героя в литературе прошлого, современный герой нашел пути реального освобождения народа, создал советское государство, героически защищает его. Мечты лучших русских людей о счастье народа осуществились в нашей стране. Стремление Ленина и Горького к воспроизведению в литературе характера революционного общественного деятеля завершает долголетние искания русской переломной классической литературы и критики. В качестве примера этих исканий укажем опять на взгляды по этому вопросу тех писателей, которых Ленин называл предшественниками русской социал-демократии.

Белинский все время восставал против воззрения, представляющего в качестве основной черты русского характера — смирение и тепличность.

Дух народа всегда велик, — так формулирует свою важнейшую мысль Белинский. «Все великие перевороты и испытания судьбы только обнаружили великий характер русского народа. Народ русский проявил свое историческое существование в победах над врагом и великих делах. В неутомимной деятельности, в борьбе с природой, врагами родины, свободолюбии проявилось истинное моральное богатство русского народа. Поэтому Белинский страстно и последовательно направлял русских литераторов на изображение этого активного героя, героя-деятеля. Еще более решительно отстаивает нового героя, сознательного борца в своих статьях Чернышевский. Важнейшим документом русской общественной мысли и борьбы за нового героя, за правильное освещение литераторами русского народного характера является статья Чернышевского «Русский человек на rendez vous» — разбор повести Тургенева «Ася». Значение этой статьи гораздо шире, нежели осмеяние политической трусости и безволия либералов 50—60-х годов: здесь критик ставит вопрос о новом герое литературы, более правильном освещении в литературе характера свободолюбивого русского человека.

Если критик-либерал Дудышкин критиковал героев Тургенева справа, то революционер-демократ Чернышевский критикует героя повести Тургенева за неспособность решительно восстать против действительности, ее преобразовать. Герой повести Тургенева «Ася» в решительную минуту испугался самоотверженной женской любви и отказался от нее. Герой повести Тургенева; — обвиняет его Чернышевский, — прикидывавшийся благородным и любящим, «обманул нас, обманул автора». Да, поэт сделал слишком крупную ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном».

«Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робел, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск,

* «Большевик», 1936 г., №2, стр. 73.

опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем».

Представление Чернышевского об основном герое литературы, типических чертах народного характера складывались в течение всего предшествующего развития русской общественной мысли и литературы. Героичность, свободолюбие, патриотизм, готовность к самопожертвованию, активная деятельность, высокий уровень сознания и чувств — вот облик этого героя литературы. Чернышевский пытался воплотить своего героя в могучем образе Рахметова («Что делать?») и Волгина («Пролог пролога»). Эти герои и сам Чернышевский, создавший их, были в высшей степени близки Владимиру Ильичу.

Герои Чернышевского не смогли, в силу отсталости общественных отношений в России того времени, осуществить в жизни свои социалистические идеалы. Люди, воспитанные гением Ленина, нашли путь к свободе и счастью отечества. Их существование отмечено великим преобразованием нашей страны.

Последние годы советская литература все свои силы отдаст общенародной борьбе с неумелыми захватчиками. И все же нередки случаи, когда отдельные писатели подменяют живое изучение жизни придумыванием людей. Вследствие этого, рядом с сильными, живыми образами, некоторые герои нашей литературы имеют очень мало общего с подлинными героями нашей эпохи. Мы говорим не только о неумелых или нерадивых литераторах, создающих не людей, а бледные безжизненные схемы.

Мы имеем в виду и неудачи тех писателей, которые ранее проявили свое незаурядное дарование, создав широко известные произведения. Главная причина этих неудач коренится в том, что отдельные литераторы отстают от реального движения жизни. Например, психология современного бойца Красной Армии в отдельных случаях отождествляется с психологией солдата старой армии. Бывает это в том случае, когда литераторы следуют образцам старой литературы, не продумывая изменений, рожденных социалистической революцией. Другие писатели не в состоянии отличить нашего бойца от красноармейца гражданской войны. Воспитательное воздействие четверти века существования советской власти и опыт Великой Отечественной войны остались вне поля зрения такого литератора. Между тем не следует забывать, что опыт, подготовка, духовная зрелость нашего бойца претерпели изменения даже за три года Отечественной войны. Встречаются еще произведения, авторы которых ограничиваются лишь внешним изображением подвига, не умея глубоко раскрыть душу бойца, его переживания, стимулы, толкающие его на героизм.

Нельзя игнорировать в художественных произведениях о русских людях так называемый национальный характер, то-есть особенности духовного облика людей, объединенных в нацию. Русский национальный характер, естественно, занимающий сейчас наших

писателей, не есть нечто неизменное: он не застыл в том состоянии, как его отразили наши крупнейшие писатели в прошлом. Национальный характер изменяется вместе с условиями жизни. За последние двадцать пять лет неизмеримо выросло политическое и гражданское сознание людей нашей страны.

Чтобы правильно отобразить характер советского человека, нужно идти в ногу с жизнью. И совсем уже нельзя согласиться с тем, что бы писатель во имя своего личного пристрастия или из эгоистического желания выделиться искажал облик русского человека, нанося ему психологическими свойствами, чуждыми нашему народу. Всякая попытка сделать это лишает произведение правды, внутренне-го благородства, лишает его высокого воспитательно-патриотического государственного значения.

Воспитательная роль, значение советской литературы в формировании духовных свойств людей огромны. Произведения наших писателей помогают воспитанию лучших человеческих качеств советских людей, которыми так сильны бойцы Красной Армии и нашего тыла. «Великий Ленин, — указывал товарищ Сталин в речи по радио 3 июля 1941 года, — создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должна быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза». Советская литература в дни Великой Отечественной войны призвана с большой энергией и настойчивостью воспитывать эти духовные качества у миллионов советских людей, вооружая их сознание и чувства для победы над захватчиками.

Война явилась серьезной проверкой нашего искусства. Она подтвердила жизненность ленинско-сталинских принципов советского искусства. Мастера советской литературы показали себя верными сынами своей родины. Их интенсивная творческая деятельность знает одну цель — приблизить победу, вдохновить народ на подвиги. Многие произведения, созданные в дни войны, получили всенародное признание.

Работники литературы и искусства внесли свою немалую лепту в общественное патристическое дело защиты чести, свободы и независимости нашей родины. Однако необходимо всё дальше двигать нашу науку, культуру, литературу, искусство. И на призыв товарища Сталина «напрячь все силы, чтобы добить врага» наше искусство обязано ответить новым творческим подъемом. Высокие требования служат предпосылкой к созданию произведений и образов более высокой идейно-художественной ценности. В дальнейшем подъеме нашей литературы мысли Ленина являются ярким и неугасимым путеводным огнем.

СЛОВО-ОРУЖИЕ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



Мы переживаем суровые и величественные дни. Смертельная борьба между человеческим началом и силами зла продолжается, но теперь мы видим ее исход. Тысячу дней наш народ живет жизнью подвижника и героя. Судьба Ленинграда является как бы символом: этот город вынес все, он выстоял, когда нельзя было выстоять, и вот он идет на Запад, неся надежду и воздаяние.

Ощущение ответственности приподымает нас. Эта война не одна из тех кровавых тяжб, которыми изобилует история любого государства. Не о территории идет дело, не о сырье, не о престиже, даже не о торжестве догм. Смысл этой войны и проще, и глубже. В жизнь человечества, сложную и многообразную, полную взлетов и срывов, богатую благородством и мишурой, дерзаниями, заблуждениями, открытиями, вмешались силы, отвергающие добро, братство, свободу, попирающие разум, презирующие красоту. В истории человечества бывали страшные катаклизмы, когда торжествующее зло на долгие столетия опустошало не только страны, но и сердца. Летом 1941 года многим из нас казалось, что Европа, если не весь мир, стоит перед таким катаклизмом. Мы вправе сказать, что наш народ спас человечество от великого затемнения.

Поглощенные борьбой, многие не замечают, до чего изменился мир. Он не тот, что три года тому назад. Все в нем другое. Изменилось и наше место в этом мире. Давно ли, казалось бы, дальновидные люди говорили о России, как о лаборатории, где чудaki занимаются подозрительными опытами, как о глухой окраине. Теперь многие из этих скептиков с упованием следят за продвижением Красной Армии. Никто теперь не отрицает мощи советской державы. Однако только кроты цивилизации способны ограничить признание физической силой, ссылаясь на неисчерпаемые ресурсы или на торжество пространства. Не «КВ» побили «тигров», не уральские домны осилили русские, даже не террито-

рия — от Владивостока до Гжатска одолала другую территорию — от Гжатска до Атлантики, нет, советский человек победил фашистского робота. Боевая техника, резервы стратегия — все вытекает из основного: из силы человеческого сознания. Не будь у нас этой силы, наши заводы не выдержали бы эвакуации, наши войска не выдержали бы отхода и каждый отдельный человек не выдержал бы всех выпавших на его долю испытаний. Не мы начали войну, и не войной хотели мы доказать правоту нашего сознания. Судьба решила иначе. Но, слушая салюты орудий, мы не забываем о биении сердца. Наши победы — это не только победы армии и державы, это также победы сознания и совести. Несколько дней тому назад американская газета «Крисчен Сайенс мониторинг» напечатала: «Может быть, начинающаяся эпоха будет «Русским веком».

В самой природе творчества заложена опасность смещения пропорций: художник живет деталями. Если мы просмотрим творческую биографию любого писателя Европы или Америки за последнюю четверть века, мы обязательно установим присутствие в ней Советской России, будь то притяжение, отталкивание или лихорадка противоречивых чувств. Совесть подсказывала зарубежным писателям: «Там, в России многие твои сны обрастают плотью». Но тогда вставали деревья, те самые, что мешают иногда разглядеть лес. Та или иная подробность нашего общества заслоняла от многих наблюдателей значение происходящего. Так было до роковой проверки: кровью. Теперь даже ювелиры чувств забыли о деталях. Пристыжены хулители. Окрепи колебавшиеся. Оправдана вера верных. Советская Россия предстала перед ревнителями правды и красоты, как оплот, как спасение.

Уэллс признался, что английский народ заводит советскому народу. Это было сказано в очень трудные для нас дни. Чему же заведовали люди на острове? Конечно, не нашествию, а той внутренней силе, которая ска-

алась в сопротивлении. Столь разные писатели, как Пристаи, Колдуэл, Хемингуэй говорят о том, что русский отпор служит миру высоким примером. Томас Манн преклонился перед правотой нашего дела. До нас дошел номер подпольной французской газеты «Леттр франсез», — можно прочитать следующие строки: «Мы, писатели, защитники человека, готовы были отчаяться при виде торжества низменной силы. Герои Сталинграда вернули нам веру в человека. Им мы обязаны тем, что не умрет Франция и не умрет поэзия».

На нас обращены глаза нашего народа и народов мира. У великого государства должна быть великая литература. Писатель — это слово должно звучать гордо. Наш долг не только отображать — рождать отображение, не только описывать — предписывать.

Теперь мирго говорят о традициях. Молодые офицеры пристально вглядываются в черты Суворова, Кутузова. Мы, писатели, должны помнить о традициях русской литературы. Гениальные писатели были и у других народов, но есть в русской литературе нечто, присущее только ей: это литература большой совести. За рубежом ее называли «самой человеческой литературой». Она не знала границ между прекрасным и нравственным, между сложностью чувств и гражданским долгом. Конечно, не каждые четверть века рождаются Толстой или Достоевский, но и писатели, куда менее прославленные, оставались верны тем же заветам. Голос может быть меньше, голос, но не совесть. Вспомним терзания Гаршина, чистоту Короленко. Мы восстановили много полузабытых слов. Время напомнит, что литература — призвание, что писатель — это не человек, занимающий должность, а творец и учитель.

Есть мир, где очень трудно стать писателем: там много внешних преград. Их нет и не должно быть у нас. Но ворота в литературу — узкие ворота, и дело писателя — трудное дело. Речь идет не только о мастерстве, но и о некоторой обреченности. Писатель должен пережить за одну жизнь множество жизней, болеть горем других, радоваться их счастьем. Его личная судьба должна перерасти в общечеловеческую, наблюдения должны стать переживаниями, и внешний мир войти во внутренний. Только тогда его книги будут вдохновлять, учить, радовать, только тогда они станут книгами, а не печатными листами.

Писатель не репродуктор, и за книгой всегда стоит живой человек. Можно ли, не обладая гражданским мужеством, призывать других к самоотверженным подвигам? Можно ли, будучи холодным, разжечь в других огонь? Писатель должен всей своей жизнью отвечать за написанное.

Есть прекрасная сказка Андерсена о живом соловье и мертвом. Искусственного соловья богдыхан предпочел обыкновенной пичуге. Но

пот настала страшная минута, смерть грозила владыке, а искусственный, соловей молчал. Его завод не работал. Есть в литературе искусственные соловьи, мертвые виртуозы, поставщики всех заменителей. Пройдем мимо. Только хочется, чтобы молодые помнили: книгу нельзя придумать, книгу нужно пережить, и за каждую страницу писатель платит страшными часами, а иногда и годами. Напрасно требовать от писателя тем или слов чуждых его душевной структуре. Книги тоже умеют мстить. Разумеется, любой квалифицированный литератор может написать грамотную книгу любого жанра и на любую тему. Но кому нужны такие произведения? Ставистикам?

Писатель, не понимающий своей ответственности перед народом, это — недоросль. Когда имеются недоросли, появляются гувернантки. Критика это не отметки экзаменатора и не обвинительное заключение. Критика это горение, это высокий вид литературы. Зачастую наши критики подходят к несудачной книге, как к преступлению. Говорят, что за битого дают двух небитых; вряд ли это правильно по отношению к писателю — творчество сложное и мучительный процесс, и у хирурга другие инструменты, нежели у землекопа. Критика, даже самая строгая, хороша, если она не принижает писателя. Новая книга должна рождать споры, восторг, отталкивание. Как часто похвалы, похожие на венки из искусственных цветов, оскорбляют писателя еще больше, чем осуждения! Критика это — сотворчество, это — Белинский, а не распределитель, где выдают пряники по категориям. Народ на войне вырос. Будем писателями большого зрелого народа!

В дни мира жизнь многообразна, и чем больше ответвлений, извилистых потоков, тем сильнее народная душа. В те, далекие от нас годы приходилось иногда спорить с любителями единообразия. Я и теперь убежден, что писатели не хористы, что важна судьба каждого художника, его особенности. Как ни велик Пушкин, он не может заменить ни Баратынского, ни даже Дельвига. Это многообразие, эту внутреннюю свободу творчества мы защищаем от фашистов. Но у войны свои законы. Если мы хотим спасти искусство, мы должны подчиниться суровым законам войны. Кто вздумает рассматривать войну как естественное состояние? Это всепожирающий огонь. Нельзя убивать вне ожесточения. Нельзя идти навстречу смерти вне самоабзавенного подъема. Война неуживчива, она вычеркивает многое не только из обихода — из сердца. Никто не вправе уклониться от ее призыва. В башнях из слоновой кости давно квартируют фашистские диверсанты. В облаках нет места для нейтральных наблюдателей, там тоже идут бои. Может быть, скажут: «Я не создан для войны». Но разве для того садовод Абхазии учился лелеять цитрусы, чтобы кинуться с гранатой под танк?

Бывали войны, когда писатели в священном

гневе проклинали оружие. В обозе завоевателей нет места истинному поэту, и древние римляне благораумно исключали муз из своих легионов. Но разве молчали музы, когда марсельские ополченцы отстаивали свободу от коалиции монархов? Разве молчали музы, когда русский народ отражал нашествие двенадцати языков? В походе умер старый испанский поэт Антонио Мачадо, он не молчал, и только пуля палача заставила замолкнуть чешского писателя Ванчуру.

Пусть строки, написанные сейчас, будут забыты через день или через год, не забудется то, ради чего они написаны. Быстро отгорели ракеты над Волховом, но они помогли спасти и древний Новгород, и судьбу грядущих поколений. Если в дни войны мы и не создадим литературы, мы ее отстоим.

Бывают в жизни народа такие минуты, когда слышно и молчание, оно слышно среди грохота снарядов. Как ждали слова многих писателей осенью 1941 года в блиндажах, в избах Смоленщины, на полустанках! Промолчим о тех, кто промолчал.

Вспомним о тех, кто писал очерки и статьи в землянках, о тех, кто был прикован к узкому участку фронта, о тех, кто знает фронтовые дороги, горе и радость солдата, о тех, кто был с народом в его самые тяжкие дни. Вспомним погибших друзей. Вспомним все, что сделано советскими писателями и скажем: у нас много грехов, но в часы испытаний мы не хитрили с совестью, мы воевали.

Могут сказать: где же те прекрасные и нетленные книги, которые покажут потомкам нашу эпопею? Лично я предпочитаю страстные отрывистые записи, строки во фронтовой газете, поэму гнева, дневник воина тем замечателям «Войны и мира», о которых мечтают некоторые авторы. Великие книги о великой войне будут написаны потом: их напишут участники войны. Разглядывая большое полотно, мы отходим от него на несколько шагов. Эпопея пребывает отдаления, а это отдаление несовместимо с ритмом войны.

Придет время больших не только по объему книг. Если я все же утверждаю, что в дни войны авторитет писателя возрос, то это не потому, что нами созданы величественные произведения. Иногда коротенькая записка, написанная впопыхах, милее и ценнее длинных трактатов. Есть люди нечувствительные к литературе, как есть немusикальные люди. Даже до них дошел теперь голос писателя. В этом оправдание и радость нашей неблагодарной работы.

Да, перед нами не бессмертные тома. не мрамор — скорее воск: живой голос писателя. Здесь залог будущего счастья, будущий книг: писатели никогда не отойдут от народа, и народ не расстанется с писателями. Я попытаюсь объяснить тайну этой встречи. До войны мы часто только описывали происходящее, мы регистрировали события, полные величия, но протокол это только протокол, даже если он

отмечает чудеса. Эмоциональное начало в наших книгах почти всегда было отступлением. Мы пытались зафиксировать текущий быт, порой мы становились с палитрой, чтобы запечатлеть автомобильные гонки. Иногда мы комментировали путь человека и общества, плетясь за ними вслед. Не раз, когда я брал в руки роман, мне казалось: это не автор, не режиссер, даже не суфлер, это уборщик, который подметает зал после спектакля. Пришла война. Она обнажила сердце каждого. Наш народ принял бой, вооруженный сознанием, в этом заслуга советского строя. Наш народ знает, за что он воюет. Но на войне мало знать, нужно еще много и сильно чувствовать. Есть мир, где писатель не эхо, не регистратор, не ученик: это мир чувств. Вот почему с такой силой прозвучал в дни войны голос писателя.

Никогда газеты так не ждали писателей, как в дни войны, никогда радио не уделяло им столько времени. Это не причуда, не мода, голос писателя стал насущным хлебом. Вырезанные из газет статьи писателей фронтовики отправляют своим близким, как письма любви. В сумке бойца можно найти самую верную подругу — книгу. Не будем отдалять Марфу от Марши. Одни книги — боеприпасы, другие — хлеб, третьи — засушенный цветок. Все они необходимы. Пора оставить деления на рубрики и на категории. Неужели, если статья подана в виде драмы или в виде поэмы, она становится высокой литературой, а если она написана прозой, она только газетная статья для рубрики «Агитация»? Но Пушкин это тоже агитация, а Герцен и Чернышевский это тоже искусство. Если мне скажут, что памфлеты, обличающие врага, в глазах какого-нибудь чиновного олимпийца ниже романов или пьес, я отвечу: на поле боя винтовка снайпера не ниже лавра. Если мне скажут, что по моему мнению какого-нибудь риториста теперь не нужна лирика, я отвечу: бойцу нужен не только свинец, но и человеческое тепло. Каждый день наше радио передает романы на слова Лермонтова, Фета, А. К. Толстого, и я не думаю, чтобы эти радиопередачи предназначались для покойников. В землянках люди спорят о романах Тургенева и Толстого, зачитываются Горьким и Бальзаком, Чеховым и Гюго. Это должно наполнить наши сердца гордостью: прекрасны наши читатели. Не обманем их доверия!

Необычайно сложна наша эпоха. Какое счастье, что на командном пункте державы стоит Сталин! Его зоркость помогает и нам, писателям. А трудно разобраться в душевном мире наших современников. Мы видим клубок сильных чувств, высокое горение и золу, мужество и смятение, подлинную человеческую бурю. Мы должны помочь нашим читателям в предрассветной дымке увидеть новый день.

Наши враги показали себя цивилизованными варварами. Мы увидели тщету технической цивилизации, лишонной культурного содержания. Несколько лет тому назад в нашей стране было немало юношей, которым машина, фотоаппарат, бритвенный прибор казались

синонимами культуры. Я далек от машиноборства, от отрицания роли техники, но я убежден, что наши бойцы, увидав вскоре комфортабельные дома Кенигсберга или Берлина, отнесутся к ним, как к мишуре, как к презренной бутылке. Нужно привести в равновесие опыт двух поколений; не отвергая достижений цивилизации, приподнять человеческое сознание, благородство чувств, красоту. Ведь куда легче постигнуть секрет железобетона, чем тайну Акрополя или Софии. Стихи Пушкина сложнее любой машины. Мы должны быть технически сильными, чтобы в любой час защитить наши духовные ценности от покушений, но, глядя на два полушария, перед свежим примером дикости цивилизованной Германии, мы должны понять значение мысли, слова, сердца.

Мы горды нашим народом, и нет чувства чужды. Оно далеко от спеси, от отрицания других народов. В национальном самодовольстве и самовосхвалении всегда есть привкус ощущения своей неполноценности. Ценность России еще раз проверена. Мы говорим о ней уверенно и спокойно.

Человек на войне особенно тесно связан с землей. Он как бы слышит рост травы. Предаваясь невольным воспоминаниям, он расширяет, углубляет их, он тянется к истокам народа. Он понимает, что слова вылетали впервые из уст его прадеда, как вылетают жаворонки из хлебов. Есть глубокая правда в расцвете национального начала, эта правда написана кровью. Здесь — корни каждого дерева, а мы не хотим быть перекачаны-попом. Но говоря о величии национального начала, не забудем о том, что именно оно нас обязывает к интернациональной широте. Не забудем о том, что великая русская литература, чуждая обособленности, жила миром и для мира. Мы не отгораживались от очистительных гроз человечества. Мы не только переводили иноземных авторов, мы их переживали. Вспомним Пушкина с томиком Байрона, Тургенева в Буэнавале. В европейскую литературу мы внесли нечто новое, свое. Ни Гюго, ни Диккенс, ни Бальзак не достигли такой универсальной, всечеловеческой широты, как Толстой, Достоевский и Чехов. Мы дали миру примеры самоотверженности и в октябре 1917 года, и четверть века спустя у Сталинграда. Мы стали величайшей державой мира, потому что наши идеалы — это идеалы всего человечества. Наш долг писателей сохранить все лучшие традиции и русской литературы, и советского мышления. На одном из писательских совещаний возник спор: включает ли в себя понятие национальной гордости человеческое достоинство или понятие человеческого достоинства включает в себя понятие национальной гордости? Праздный спор: неразрывно слиты судьба нашей родины и судьба человечества. Мы помним слова: «Человек это звучит гордо»; они были сказаны о человеке любой национальности, а произнес их русский.

Мы должны в душе каждого гражданина

создать то, что создано в душе нашего государства: единство при многообразии. Советский Союз — это огромный мир. Различные истоки национальных культур русских и грузин, украинцев и таджиков. Былина и газелла очень далеки друг от друга; обе эти формы обогатили нашу поэзию. Вспомним юмор Украины, строгость севера, цветистость узбеков, жар Армении: все это — наше. И не только это: мы смотрим на Запад и на Восток, мы их объединяем — не механически, но в высоком горении новой культуры. В развитии современной чешской поэзии большую роль сыграли советские поэты: и Маяковский, и Есенин, и Тычинец, и Пастернак. Писатели наших республик Востока вдохновляют молодых авторов Ирана, Сирии, Египта. Человеческая культура — это великий сплав. Мы брали и будем брать все ценное у других народов. Мы знаем, что мы даем другим народам, даем, не скупясь, от народного богатства. Я хочу, чтобы наши писатели были достойны нашей армии.

Приобщение к народным истокам естественно связано с возрождением многих традиций. Фашизм одновременно оскорблял прошлое и лебезил перед ним. Футурист Маринетти, ставший шутом шута Муссолини, требовал уничтожения древностей Италии, как бы предвосхищая труды Гитлера. Тем временем немецкие друзья Маринетти в 1934 году уже уничтожали современное искусство, выкидывали из музеев полотна Ренуара и Матисса, строили жилые дома по типу средневековых бастионов, возрождали дуэли на молотах. Фашисты искали в истории оправдания себе: духовоты, мрака, нетерпимости. Ведь в прошлом каждого народа можно найти и живое семя, и трупный яд. Припав к почве России, мы должны выбирать, а это труднее и простого отрицания, и слепого приятия. Не будем ждаты, пока наши читатели станут учить нас искусству отбора. Мы все знаем разницу между Пушкиным и Булгагиным. Войдя в длинные анфилады прошлого, найдем в себе мужество и для преклонения, и для отпора. Глядя на прошлое, не забудем о будущем. Пусть позавчерашнее не заслонит вчерашнего, и пусть сегодняшнее не скроет от нас завтрашнего.

Перед нами стоит огромная задача: укрепить этические нормы. За событиями мы часто не замечали человека. Многие писатели научились описывать стройку, плавку чугуна, процессы работы. Но люди в романах иногда были только придатком к домам. Юноши и девушки «Молодой гвардии» — ведь это герои ненаписанного романа. Может быть, мы не сумели разгадать их среди будничной обстановки? Мы мало показывали и высокие, и низкие чувства. Мы не давали образов зла в привычной, знакомой читателю среде; зло у нас было условным, отделенным от читателя десятилетиями или тысячами километров; девушка или юноша не знали, что зло может быть рядом, и, бывало, видя зло, они не знали, что это — зло. Как мрамор перед скульптором, перед нами часто глыбы еще неформенных

чувств. Мне приходилось слышать разговоры о недостатках нашего воспитания: упреки относятся не только к педагогам, но и к нам. Я не думаю, чтобы писатели были присяжными моралистами; но я знаю, что на романах, на поэмах молодая душа учится различать доброе и злое, прекрасное и низкое. Дать примеры любви, верности, дружбы, самоотверженности — кто это сделает, если не писатель?

Нам приходилось не раз бывать в городах, освобожденных от немцев. Мы знаем, что значат два года рабства, подкупов и пыток. Если архитекторы теперь работают над восстановлением разрушенных городов, то почетная задача писателей способствовать восстановлению искалеченных человеческих душ. Жадно ждут честного и горячего слова миллионы людей, отвыкших от живой речи: с надеждой они смотрят на русских, украинских, белорусских, литовских, латышских, эстонских писателей. Найдем нужные слова, и пусть они будут живой водой.

Германия уже видит тень правосудия. Страшный и отвратительный замысел подчинить мир «народу господ», подменить разум суеверьем, перечеркнуть века, растоптать свободу должен кончиться, и он скоро кончится постыдной гибелью маньяков. Но мы должны сразить не только Гитлера — гитлеризм. Люди от Владивостока до Атлантики уже говорят о том, что будет после победы. Мы должны проветрить, очистить и землю, и сердца. Есть группный яд, фашистские пережитки, микробы, миазмы. Да не заразит мертвец ни одной живой души! В истории бывали побежденные, у которых можно было чему-нибудь научиться. Не таков фашизм. Все в нем мерзко: и его

расовая теория, и человеконенавистничество, и мракобесие, и единообразие — „глайхгешальтунг“. Нельзя допустить, чтобы даже в разбавленном растворе фашизм сохранился где-нибудь на земном шаре. Нельзя допустить, чтобы даже в перекрашенном виде низменные наветы фашизма остались в сердце хотя бы одного человека. Писатели, мы будем взыскательны к совести. Выше всего поставим верность и чистоту.

Я сказал, что Германия близка к разгрому. Военный обозреватель, учитывая ресурсы, расположение воюющих сторон, вправе сказать, что самое трудное позади. Но наша работа это — человеческие чувства. Ничего нет для сердца труднее последних месяцев перед развязкой, и для сердца самое трудное еще впереди. Победы одних приподнимают других убаюкивают. А перед нами враг особой конструкции. Перед нами автоматы, которыми управляют злодеи. Злодеи будут до последней минуты отстреливаться. Автоматы никогда не станут людьми. Не будем рассчитывать на легкий конец. Добить фашизм нелегко. Мы его добьем: этого требует совесть народа. Но теперь, как никогда прежде требуется напряжение всех душевных сил, чтобы не погас священный огонь ненависти, и если его нельзя разжечь бумагой, его можно раздуть дыханием. Мы должны дойти до конца, и мы дойдем. Хочется только, чтобы в час победы, в час, когда на Пушкинской площади вспыхнут огни, когда вернутся тишина, шест листьев, шопот влюбленных, чтобы в тот прекрасный день народ сказал писатели были со мной до конца, с ними я шел навстречу смерти, с ними я буду жить.

ИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ

ФАТИМА СОЙЯХ И СЕИД НАФИЦИ



Классическая иранская литература давно приобрела известность во всех культурных странах. Имена великих иранских поэтов прочно вошли в сокровищницу мировой литературы. Их произведения неоднократно переводились на все главные европейские языки. Не такова, однако, судьба позднейшей и современной литературы Ирана. Ее авторов переводили чрезвычайно редко, и имена их известны, разве только, ученым ориенталистам. Этот факт имеет, конечно, свои причины. Одна из первых причин — несомненный упадок литературного творчества, который наблюдается в Иране в течение последних веков, начиная с сефевидского периода (XV—XII вв.), вплоть до каджарской эпохи (XIX век), когда обнаруживаются первые признаки возрождений литературы. Число писателей и поэтов в течение этих веков попрежнему достаточно велико, но их творчество, за редким исключением, носит сугубо подражательный характер. Лишенные сильной творческой индивидуальности, писатели этих периодов легко попадают в плен созданной их гениальными предшественниками литературной традиции. Чем богаче эта традиция, тем двойственнее ее роль: с одной стороны, она — необходимая предпосылка для дальнейшего развития, с другой, — когда традиция слишком богата и сложна, — она подавляет новые ростки и душит слабые таланты. Эта двойственная роль традиции чрезвычайно характерна для иранской литературы. Она сказывается не только в прошлом, но проявляется с достаточной яркостью и в литературе последнего десятилетия. В современной иранской литературе наиболее распространены жанры, богато представленные в классическом периоде и, наоборот, слабо или даже совсем не развиты те, которые отсутствовали или были мало распространены в прошлом. Преобладание в литературе Ирана наших дней поэзии над прозой — явление, характерное для всей классической литературы этой страны. Другой, не менее красноречивый пример: чрезвычайная слабость драматургического жанра в современной иранской литературе. В Иране советский театр появился не

ранее начала XIX века, когда впервые, а то изредка и большей частью при дворе, возникли первые постановки переводных пьес. Даже еще в наши дни не только драматургия, но и сам театр находится в зачаточном состоянии. Из числа довольно многочисленных современных пьес трудно найти хоть что-нибудь достойное внимания. Это большей частью небольшие сатирические комедии или фарсы на бытовые темы; попадаются и драмы, и даже исторические трагедии на сюжеты, заимствованные из иранской истории или эпоса, но все они художественно беспомощны и говорят о полном незнакомстве их авторов со специфическими законами сцены и драматургического искусства вообще.

Наиболее ярко представлена в современной иранской литературе поэзия. Здесь мы различаем поэтов старшего поколения, которые являются безусловными последователями классической традиции, и поэтов-новаторов, у которых классическая традиция сказывается не столько в образах и содержании, сколько в форме и композиции стиха. К новаторам принадлежат молодые поэты, выдвинувшиеся в самые последние годы. Для некоторых из них характерно искание не только новых тем, но и новых форм стиха. Они не успели завоевать еще должного признания, и их популярность несравненно меньше, чем у поэтов старшего поколения. Число последних гораздо значительнее, и к нему принадлежат все маститые поэты наших дней.

Таким образом, доминирующим течением в области современной поэзии является течение, идущее по руслу классической традиции. Это объясняется тем, что именно в поэзии классическая традиция представлена особенно многообразно и сильно.

Однако в последнее время и среди поэтов классической традиции замечается довольно значительный сдвиг. Если в прошлые века наибольшим влиянием пользовалась школа классических поэтов Фарса, то в новое время наблюдается преобладание так называемой Хорасанской школы X—XI вв., возглавляемой классическими поэтами — Рудеки, Фердоуси

и др. Дело в том, что язык и тематика ранней классической поэзии гораздо яснее и конкретнее, чем в золотые века ее существования (XII—XIV вв.) и особенно в эпоху последовавшего за ним упадка (XVI—XVIII вв.), когда сильнейшие влияния суфизма и арабской литературы и языка необычайно усложнили и запутали образы, форму и тематику литературных произведений. Поэтому, в отличие от того, что наблюдается на Западе, ранние классические иранские поэты гораздо ближе современному пониманию, чем поэты последующих периодов, и тяга к ним объясняется общей для всех видов современной иранской литературы тенденцией к демократизации и общедоступности. Современная поэзия давно уже перестала быть поэзией придворной и обслуживающей только верхушки общества.

Обновление в лагере сторонников традиционной поэтики сказывается больше всего в расширении тематики их творчества. Начиная с конца XIX века и особенно в период иранской революции (1906—1908 гг.), в их поэзию вливаются новые гражданские мотивы, отсутствовавшие в поэзии классической, где первое место занимали мотивы философско-моралистические или придворно-панегирические. Таким образом, было бы неправильно отказывать поэтам классической традиции в некоторой оригинальности и самостоятельности. Эта оригинальность безусловно имеется в содержании их произведений, в новых идеях и чувствах. Такое «вливание нового вина в старые мехи» не представляет собою ничего противоестественного. Во-первых, самый литературный язык, особенно поэтический, сравнительно мало изменился на протяжении целого тысячелетия, отчего творчество поэтов отдаленных эпох стилистически не стал архаическим и трудным для понимания, и, во-вторых, арсенал образов и форм классической поэзии настолько богат и многообразен, что в нем легко можно найти готовые приемы для выражения многих современных чувствований и идей. Кроме того, самое заимствование облегчается еще одним и весьма немаловажным обстоятельством, а именно: восточная и, в частности, иранская поэзия, даже лирическая, отличается безличным характером. Классические поэты, как правило, не говорят о своих личных, интимных переживаниях и чувствах. Биографический элемент, за очень редким исключением, совершенно отсутствует в их творчестве и было бы, например, крайне затруднительным, если не невозможным, составить себе представление о личной жизни поэта на основании его произведений. Отсюда абстрактный характер выраженных в них идей и чувств, их упор на «общечеловечность» и преобладание мотивов дидактических и философских над эмоциональными. Даже мотив любви в восточной поэзии чаще всего имеет символическое значение; в тех случаях, когда поэт воспекает земную любовь и свою возлюбленную, он выражает это в самых общих и условных поэтических формулах, никак не стремясь к индивидуализации образа и тем более к портретности. В этом си-

ла и слабость классической поэзии: сила, поскольку «общечеловечность» сохраняет за ней неуязвемую свежесть, слабость, — поскольку она лишает поэтов, за исключением самых выдающихся, индивидуальности, поэтического своеобразия. Легко теперь понять, почему одни и тот же образ сохраняются в иранской поэзии в течение веков и передается почти нетронутым из поколения в поколение, вплоть до наших дней, хотя и подвергается иногда смысловым видоизменениям. При достаточно выдержанной классичности формы, современные поэты легко приносят в нее новое содержание, наряду с повторением традиционных рассуждений на морально-философские темы. Так, общепризнанный глава этого течения Маалек-ош-Шоера¹ Бехар, наряду с классическими газелями любовно-моралистического характера, имеет и большое количество гасид и маснави² на политические и гражданские сюжеты, которые он сочинял в эпоху иранской революции и во время войны 1914 года. Другой поэт этого же направления, Бадис Заман, принадлежащий, как и Бехар, к старшему поколению, в своих стихах, выдержанных в до-монгольском (X—XI в.) стиле, также развивает современные темы. Характерно в этом отношении его стихотворение «Железная дорога». Это явление особенно типично для поэтов молодого поколения, примыкающих к этому течению; назовем их: Суретгар, Ради, Махмуд Фаррох, поэтесса Парвин Этесами, Мале, Сарваре Мокассеси и др.

Это обновление тематики при сохранении классичности форм начинается еще в каджарскую эпоху, 60—70 лет тому назад.

Значительно позднее возникает (особенно в последнее десятилетие) новаторское направление. К нему принадлежат молодые поэты, наиболее оригинальными из которых являются Нима и Ханляри. В их творчестве наблюдаются очень интересные искания новых форм. Так, например, у Нима преобладают сугубо лирические мотивы, прочувствованные описание природы, определенно проступает влияние западной лирики, в частности, Ламартина. В самые последние годы он опубликовал ряд лирических стихотворений в журнале «Музыкальное обозрение» (Меджелсе музика), настолько отличных по своему строфическому строению, по системе рифм и размеру от классических форм, что консервативно настроенные критики отказались вообще причислить их к области поэзии.

Мотив природы в лирическом восприятии характерен и для Ханляри, одного из самых молодых представителей группы новаторов. Оба поэта стремятся приблизить свои стихи к европейским образцам. Так, например, пейзажная лирика у них явно «психологизируется», отражает душевное состояние автора, являясь проекцией его настроений и чувств. Другими

¹ Царь поэтов — титул, присуждаемый наиболее популярному и общепризнанному поэту.

² Название форм персидских стихов.

словами, новаторство этих поэтов проявляется в введении личного, субъективного момента в творчество, в создании интимной лирики, которая была чужда поэтам-классикам.

Для Ханляри характерны также искания новых ритмов и мелодики стиха. Очень удачным воплощением этих исканий является, например, его неопубликованное стихотворение «Мордаб»¹, где ритм и фонетика стиха передают мерный всплеск волн, удары весел и плавное движение лодки по воде. Строфика этого стихотворения тоже европейского типа. Однако и Нима, и Ханляри, наиболее радикальные из числа поэтов-новаторов, отнюдь не отказываются от использования классической традиции и часто прибегают к классическим формам, особенно к масневи.

Из группы новаторов следует упомянуть также имена ширазского поэта Мехди Хамиди и тегеранских поэтов Сармард и Пажмале Бахтиари.

Если в области поэзии довольно четко обозначаются два вышеупомянутых течения, то в области художественной прозы о таком разделении пока говорить не приходится. Классическая литература Ирана не знает тех форм и жанров художественной прозы, которые распространены в литературе западной. Отсутствие в иранской литературе беллетристики объясняется тем, что самый этот род литературы в том виде, в котором он существует теперь, и на Западе сравнительно недавнего происхождения. Известно, что возникновение и эволюция современного романа тесно связаны с развитием буржуазного общества; в Иране же, вплоть до XX века, то-есть, до самой иранской революции, сохранялся типично феодальный строй. Экономическая и культурная отсталость страны лишали иранскую литературу как-раз того жанра, который является основным в новой литературе всех современных передовых стран.

Прозаические жанры в современной иранской литературе начинают развиваться только в XX веке. Отсутствие разработанного литературного прозаического языка является значительным препятствием для ее быстрого развития. В классическую эпоху проза служила почти исключительно для сочинений философского, исторического и научного характера. Стиль этих сочинений, особенно в эпоху упадка (XVI—XVIII вв.), отличался чрезвычайной запутанностью и сложностью. В нем изобиловали арабизмы, необычайная цветистость и высокопарность. Так что, прежде чем вводить новые прозаические жанры, следовало выработать новый, соответствующий их духу литературный язык, поскольку старый язык был абсолютно неприменим к ним. Эти новые жанры, гораздо более демократические по самой своей форме и содержанию и рассчитанные на более широкого читателя, требовали в первую очередь коренного упрощения языка, отказа от запутанной терминологии, арабиз-

мов, ненужных риторических фигур, отказа от всего того, что усложняло смысл и сводило прозу к набору зачастую пустых и трескучих фраз.

Первые попытки создания нового прозаического литературного стиля восходят к началу прошлого столетия, и их инициатором был Каем Макам Фарахани, которому принадлежит честь быть первым, крупнейшим реформатором персидского литературного прозаического языка, хотя сам он беллетристических произведений не писал. Крупный сановник при дворе Фатх-Али-шаха Каем Макам оставил обширное собрание принадлежащих его перу дипломатических документов и писем частным лицам, в которых он выступает как замечательный стилист. Он первый решительно отбрасывает цветистость и запутанность, царившие во всех областях персидской прозы, и придает своему слогу максимально возможную для его эпохи простоту, ясность и чистоту. Он в подлинном смысле слова является создателем новой литературной прозы, и его влияние как на современников, так и на последующие поколения было огромно и чрезвычайно плодотворно. Сначала это влияние сказывается главным образом в эпистолярной и официальной литературе, где работа над языком продолжается и по сию пору. Это и создало необходимые предпосылки для зарождения собственно художественных произведений. Их зарождению способствует и появляющаяся в течение XIX века переводная литература, преимущественно с французского, под сильнейшим влиянием которой и складывается иранская художественная проза.

Первых авторов беллетристических сочинений мы встречаем только в конце XIX века, — это Тахиров, Зейн-Оль-Абедин Мерагский и Мальком-хан. Все они были одновременно и публицистами. Следует тут же отметить характерный для современного Ирана факт: прозаический литературный стиль вырабатывается не столько в художественных сочинениях, которые сравнительно немногочисленны, сколько в публицистике, особенно в прессе. Оживление политической жизни, связанное с революционным движением начала настоящего столетия, стимулировало необычайный рост и распространение журналов и газет, на страницах которых и публикуются статьи, рассчитанные на широкие массы читателей. В силу этого авторы статей и фельетонов стремятся к изложению своих мыслей в наиболее популярной форме, то-есть, наиболее простым языком. Отсюда тот факт, который наблюдается и в наши дни: лучшими стилистами-прозаиками в Иране являются не авторы повестей, романов и рассказов, а публицисты, историки и литературоведы. Поэтому, говоря об иранской литературе наших дней, необходимо упомянуть имена этих авторов, поскольку они играют не меньшую, если не большую роль в выработке прозаического литературного, стиля, чем беллетристы. Пристальная и тщательная работа над языком в последние годы является в Иране делом не одних только писателей, но и ученых-литераторов, историков и

¹ «Мертвая вода», — название бухты, у которой расположен порт Пехлеви на Каспийском море.

других представителей общественных наук, входящих в состав иранской Академии, основанной семь лет тому назад. В план ее работ входит очищение языка от ненужных иностранных слов (главным образом, арабских) в тех случаях, когда существуют вполне адекватные термины в современном языке, а также выработка новых терминов для выражения понятий, отсутствовавших в классическом языке. В Академию входят и беллетристы, некоторые из них одновременно являются и литературоведами. Говоря о литературе наших дней, мы поэтому будем иметь в виду не только собственно писателей, но и так называемых «стилистов», то-есть, авторов произведений не беллетристических, но отличающихся совершенством своего стиля. Наиболее выдающимся стилистом, по единодушному признанию критики, является недавно умерший Мохаммед-Али-Форуги, крупнейший политический деятель, занимавший многократно пост премьер-министра, историк и литературовед, удостоившийся накануне своей смерти избрания почетным членом в Академию Наук СССР. Репутацией превосходных стилистов пользуются также историк Эгбаль, публицист Фарраджолла Бахрами, занимавший различные министерские посты, ученый и литературовед Али-Аскер-Хекмат и публицист Дашти, автор блестящих по форме статей и произведения мемуарного характера «Дни заключения». Современные писатели, за очень редким исключением, являются также и публицистами, авторами журнальных статей на политические, а чаще сатирическо-бытовые темы. Пока еще трудно говорить о существовании в Иране типа писателя-профессионала, так как чисто литературная деятельность, из-за слабого развития издательского дела и скромных тиражей книг, не в состоянии материально обеспечить существования писателей. Поэтому иранские писатели принадлежат почти исключительно к преподавательским, университетским, чиновничьим и политическим кругам.

В жанровом отношении художественная проза развивается преимущественно в области «малых форм», короткой повести, новеллы, рассказа. Большие формы—роман и повесть—развиваются гораздо медленнее и качественно значительно уступают рассказам. Это обстоятельство в значительной степени объясняется сложностью композиции больших форм, психологического анализа, обрисовки образов и пр., которые требуют очень высокого овладения мастерством повествования. Если попытаться классифицировать иранских прозаиков по их стилистическим и жанровым рубрикам, то было бы очень трудно занести их только в одну строго определенную категорию. Это свидетельствует еще о незрелости иранской прозы, находящейся в стадии становления. Многие писатели не успели выработать своей формы, создать свой индивидуальный творческий метод. Эта техническая незрелость сочетается в данном случае с еще неустановившимся мировоззрением, характерным для людей, живущих в переходную эпоху.

В жанровом отношении в новой и современной прозе Ирана намечаются две основные категории: авантюрный роман и сентиментально-романтическая повесть, с некоторым уклоном в психологизм. Романы психологический и социальный отсутствуют. Не представлены, таким образом, два основных жанра, которые были доведены до высшего совершенства великими европейскими писателями-реалистами XIX века.

В рассказе и новелле преобладают бытовая, сатирический, философско-дидактический и романтический-сентиментальный жанры. Бытовая и сатирическая новеллы чаще всего встречаются в смешанном виде. Новелла этого типа вполне выдерживается в реалистических тонах, но еще не доходит до уровня подлинно социального жанра, этого основного вида реалистического стиля. В ней отсутствует глубокий социальный подход и настоящий социальный анализ воспроизводимых явлений.

Лучшим представителем бытового сатирического жанра является Мохаммед-Али-Джемал Заде. Своим первым произведением «Иек» Буд неки на буд» («Были и небылицы», вышли в 1922 году) писатель сразу же приобрел большую популярность и зарекомендовал себя, как художник весьма недюжинного дарования. К сожалению, он не совсем оправдал вызванные его первым сборником ожидания. В течение многих лет он молчал и только в самые последние годы выпустил два сборника рассказов, в том числе «Дар-Оль-Меджанин» («Сумасшедший дом»), написанный в том же сатирическо-бытовом духе, что и «Были и небылицы». Однако эти два новых сборника отнюдь не являются шагом вперед в развитии его творчества. По признанию критиков, они даже уступают его первому произведению, которое, пожалуй, так и остается лучшим произведением иранской литературы наших дней.

Из других наиболее талантливых современных авторов следует упомянуть молодого писателя Сади́га Хедая́т и Мохаммеда Хеджази.

В трех вышедших сборниках рассказов—«Три капли крови» («Се гатрее хун»), «Свет и тени» («Сайе—Ровшан»), «Заживо погребенный» («Зенде бе гур») Хедаят предстает, как довольно исключительное явление в современной иранской литературе. Его рассказы носят следы влияния Эдгара По и, отчасти, писателей-экспрессионистов. Сюжеты рассказов Хедаят несколько фантастического характера, но в них присутствует подлинный и подчас глубокий психологизм. Мохаммед Хеджази—автор довольно многочисленных рассказов, опубликованных в сборнике «Зеркало» («Айна») и на страницах тегеранских газет и журналов. В его творчестве замечается сочетание романтизма и реализма, с явным, однако преобладанием первого.

Перу Хеджази принадлежат и два любовно-сентиментальных романа—«Хома» и «Зиба». Этим небольшим и, конечно, неполным списком мы заканчиваем наш краткий обзор литературы Ирана последних лет.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛИРИКА С. ШИПАЧЕВА *



У Степана Шипачева свой творческий почерк, во многом отличный от других наших лириков.

В творчестве Шипачева больше, чем у многих других наших поэтов, подчеркнуто поэтическое раздумье. Рождение каждого из лучших его стихотворений определено мыслью — ясной и точной, хотя не всегда, к сожалению, глубокой. Так, рядом с подлинно поэтической думой о побеждающем смерти слиянии с жизнью народа, человечества, мира (стихотворения «О снежинке», «Мне кажется порой», «Мичурин» и др.) встретишь у Шипачева и ложно-значительное размышление о том, что шерстинка в его бурке «больше, чем капля в туче», и дешевые наставления вроде: «Любовью дорожить имейте».

Для своего, я бы сказал, сердечного раздумья, печать которого лежит на всех его лучших стихах, поэт всякий раз стремится найти свою поэтическую формулу, выразить ее в едином законченном образе.

Пусть твердят, что и моря мелеют, Я не верю, чтоб любовь прошла, — заканчивает поэт стихотворение «У моря». Так же точна формулирующая поэтическую идею концовка и в стихотворении «На парткоме»:

Решать партийные дела
Нельзя, не чувствуя весны...

Так и в ряде других стихотворений. Большею частью они вполне уместны. Но подчас поэт излишне торопится помочь читателю раскрыть мысль стихотворения, подменяя художественный образ стихотворной сентенцией сомнительной свежести и глубины («На свете нет счастливее влюбленных! — так скажет всякий, кто хоть раз любил»).

В большинстве своем его лирические раздумья согреты хорошей, ласковой улыбкой. Что бы ни рассказывал он о жизни нашей родины — во всем светится солнце, дышит жизнь. Это ощущение полноты, счастья

жизни, — и в его «рыжем, вострастом, а картузе» подсолнуха, и в худенькой березке, которой не осилить ни ливню, ни зимнюю буряну —

...она,
видать, характером прямая
кому-то третьему верна...

(«Березка»)

Поэзия для С. Шипачева прежде всего поэзия труда в горьковском понимании, дежья жизни, преображенья природы. Все его друзья «идут из шахт, с зимовок, с новостроек». Все они — и седеющий мастер часового завода, и стеклодув, чудесно создающий обыкновенный стакан, — творят жизнь так же, как неуемный мечтатель Мичурин, «больной, ругающий старость», но не уходящий из своего сада, не расстающийся с мечтой вырастить такую яблоню —

...чтоб, яблока отведав,
прожить еще сто лет...

И как может оборваться жизнь,

... как тронет смерть, когда кругом — друзья.
когда трава, и облака, и ветер, —
все до былинки — это жизнь моя!

Этим ощущением торжествующей жизни исполнены лирические стихи Шипачева, написанные в последнее пятилетие перед войной. В этом сказалось у поэта чувство нашего народа-победителя. Поэт вместе с народом помнит о тех, кто отдал свою жизнь за счастье новых поколений. Своему счастливому двадцатилетнему другу он умеет рассказать о погибшем в бою юном буденновце:

...быть может, счастлив ты в любви.

Потому, что он не долюбил

(«За селом синел далекий лес»)

Однако, радуясь каждой зорко увиденной поэтом детали, упорному его стремлению к лаконизму («ни в чем длиннот не выноси старик»), — чего так часто не хватает другим нашим поэтам, — читатель оставляет его книгу с чувством некоторой неудовлетворенности.

* С. Шипачев. «Полдень». «Советский писатель» 1942.

Поэтическая формула, поэтический афоризм только тогда оправдывают себя и остаются жить, когда они насыщены глубокой философской мыслью, обобщают явления большой жизненной правды. Полдень, — назвала поэт сборник своих стихов. Но жизнь и в довоенные годы была много сложнее, чем увидела и показала ее поэт. Даже подходя порой к большой теме, С. Щипачев ограничивается лишь внешними, по сути дела, наблюдениями. Характерно в этом отношении стихотворение «На свете нет счастливей влюбленных». Большую тему о необходимости военной обороны самого мирного счастья Щипачев «поэтически» выражает следующим образом: влюбленные, девушка стоит у клена, «а по шоссе идут броневики»... И отсюда поэтический «вывод»:

И надо знать — когда б не бронечасты,
не эскадрильи (глянь из-под руки),
смешными были бы слова о счастье.

Можно подумать, что С. Щипачев здесь пишет пародию на свои собственные, лаконически точные поэтические формулы: до такой степени обнажены здесь все слабые стороны его манеры.

Любовь ко «всей подробности земной» нередко заслоняет Щипачеву виденье земли во всей ее необъятной целостности. Об этом поэт и сам пишет в стихотворении «Земля с высоты». Не только влюбленность в жизнь определяла мир молодого человека тех лет. Он был и глубже, и противоречивее, этот мир. Тема мужества и борьбы — характерная тема нашей молодости — не нашла настоящего отражения в лирике Щипачева, хотя пафос его любви к жизни неотделим у него от ненависти ко всему, что «нам заслоняет жизнь».

В стихотворении «О зайчонке», нарочито, видимо, сентиментальном, где поэт хочет помочь всему живому: и шустрому «Зайчонке-трусишке», и согнутой под «каменной тяжестью» плодов яблоне, и жаворонку, пойманному мальчиком, с особой силой звучит его слава штыку:

Я славою штык, вонзающийся в тело.
Которое нам заслоняет жизнь!

Мотивы эти были, однако, случайными и никак не определяли общего характера довоенной лирики Щипачева. Лирика эта оставалась камерной по всему своему строю, оставалась лирикой устойчивого мирного труда и счастья, семейной радости, ласковой и спокойной любви к природе и людям.

Неудивительно поэтому, что трагическая и величественная тема войны не получила в лирике Щипачева полного поэтического осмысления. Война вошла в его поэзию отдельными своими гранями, отдельными и далеко не всегда существенными своими деталями.

В стихотворениях, рожденных на дороге к аэродрому, на фронтовом шоссе, в блиндаже, где вместе с бойцами «сама осень

греется горячим чаем», поэт попрежнему видит каждую «земную подробность». «Лист отяжелелый» на кустах у фронтового шоссе, —

..ему, как в шубе, тяжело в пыли, —

эта зорко увиденная деталь убедительно показывает читателю, как идут, идут, идут «цистерны, танки, конный, пеший, полки дивизии», огромный, непобедимый народный вал. И здесь, в этих попрежнему скупых на слова песнях, поэт ищет поэтических формул, чтобы передать свою крепкую любовь к родной земле, исполненную все тем же жизненным, неистребимым оптимизмом. И поэтому его суровая, в эти дни затемнения, «настойчивая Москва» —

На свете самый светлый город..

и его фронтовое шоссе —

..ведет не просто на передовые,
оно к победе все устремлено,

Но служат ли поэтически делу победы посвященные нашим дням все последние лирические страницы «Полдня»?

Расскажут ли они потомкам, о которых так постоянно помнит поэт («Зерно», «Потомкам» и др.), правду, настоящую и величественную, нашего времени?

Нет, скажем прямо: страницы, посвященные войне, фронту, — самые слабые в сборнике.

..Вся в шрамах родина. Рсвет металл,
встает железа и огня ограда,
как будто бой октябрьский не стихал
до этих дымных дней у Сталинграда, —

пишет Степан Щипачев в стихотворении «1917—1942», посвященном двадцатипятилетию советской власти.

В этой глэтической формуле — и прочувствованная правда наших дней и, вместе с тем, творческая незавершенность ее выражения.

Годы великой отечественной войны — это не просто годы, замыкающие наше великое двадцатипятилетие. Эти годы не могут быть просто включены, без выделения в особую (и какую!) главу, в историю нашей родины, как включает, без выделения их даже в особый цикл, свои лирические страницы этих лет Степан Щипачев в новый томик своих стихов.

Наши грозные и величественные дни, полные особого всемирно-исторического значения, до предела обострили восприятие жизни. Иного напряжения чувства рождает каждый день войны. Иных, более выразительных интонаций, более напряженных эмоций ждет читатель в голосе лирического героя Степана Щипачева, который удивительно мало изменился за эти годы. То же лирическое раздумье, та же спокойная уравновешенность. Недостаточно глубокое осмысление жизни ранее, — не могло не сказаться у поэта на его творческом восприятии наших дней. Оно сказалось и в композиции книги.

где теме великой отечественной войны количественно отведено более чем скромное место, и, что важнее всего, в самых интонациях поэта.

Она нашла свое выражение и в том, что сложный душевный мир нашего советского человека, тема любви и ненависти, тема мужества и отзала, рождения героя, основные темы, выдвинутые войной, — не нашли должной разработки у поэта. Нельзя же в самом деле считать ответом на тему о мужестве и подвиге восьмистрочие «Арсению Дмитриеву», которое заканчивается так:

...Легко твоя фамилия простая
Ложится в песне словом золотым.

Нельзя считать и тему о личном счастье, особо остро пережитую миллионами в эти памятные годы, поэтически решенной двумя лирическими песнями о традиционном уже расставании на затемненном вокзале и фотокарточке — «как-раз перед войной снялись вдвоем».

Наши дни вырабатывают более глубокое зрение. Но они не только учат — они требуют от художника уменьять смотреть вглубь. И то, что в сдержанной лирической речи поэта раньше ощущалось, как поэтическое размысливание о жизни, сейчас воспринимается лишь, как созерцание ее.

Перед Шипачевым сейчас трудная, но тем настоятельней ждущая решения задача: отойти от этой «любви к подробности» к деталям за счет целого, к афористический — во что бы то ни стало! — сжатости, которая нередко идет в ущерб глубине и широте мысли. Все это ценное, что есть в лирике Шипачева, — живое чувство социалистической родины, любовь к жизни, органическая вера в счастье и уважение к мысли, — все это обязывает его к серьезному углублению его творчества. Он должен и может — об этом говорят лучшие страницы его лирики — может увидеть наше бурное настоящее и в настоящем — наше величественное будущее сосредоточенными, ищущими истину глазами поэта.

Н. Венгров



КНИГИ О ВЕЛИКИХ ФЛОТОВОДЦАХ*

История русского флота богата славными именами. В боевых делах Сенявина, Корнилова, Истомина, в замечательной организаторской деятельности Лазарева и научной мысли Макарова запечатлен русский военноморской талант. Среди этой блестящей плеяды замечательных флотоводцев выделяются образы двух адмиралов, с наибольшей яркостью воплотивших черты национального духа, — Ушакова и Нахимова. Их деятельность разделена полувеком, но в памяти народной эти имена стоят рядом.

Ныне их бессмертные имена стали еще теснее связаны друг с другом. Указами от 3 марта 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил ордена и медали: медаль Ушакова и Нахимова. Советский флот имеет теперь свои морские ордена. Таких особых морских орденов ранее наша родина не знала. Учреждение их не только свидетельствует о выросшей мощи флота и боевой доблести советских моряков, но и является заслуженной данью благодарного народа памяти своих великих флотоводцев, чьи благородные воинские прекрасные традиции составляют неразрывную часть души советского военного моряка.

* Н. Кривяков. «Русские в Корфу». Военмориздат, 1943.

В. А. Снегирев. «Адмирал Ушаков». Военмориздат, 1943.

Е. В. Тарле «Нахимов». Военмориздат, 1943.

Историческая литература о русских флотоводцах, особенно об Ушакове, весьма немногочисленна. Недавно Военно-Морским Издательством выпущены три небольших книжки — «Адмирал Ушаков» В. Снегирева, «Русские в Корфу» Н. Кривякова и «Нахимов» академика Е. Тарле.

Очерк жизни и деятельности великого русского флотоводца, как определил свою задачу об Ушакове В. А. Снегирев, не охватывает полностью многообразной и поучительной деятельности адмирала. В ней сообщаются лишь краткие биографические сведения, рассказано о его морской службе и победах, дается сжатая характеристика ушаковской тактики.

Морская учеба и первые годы службы Ушакова на кораблях совпали со временем возрождения флота, пришедшего в упадок после смерти Петра. Как талантливый деятель и храбрый морской офицер Ушаков выдвинулся в войну с Турцией 1768—1774 гг. На Черном море стала создаваться знаменитая в истории нашего флота боевая черноморская школа, одним из основоположников которой был и молодой Ушаков. Во второй турецкой войне 1789—1791 гг. русский флот одержал ряд блестящих побед над противником. Будучи с 1790 года командующим Черноморским флотом, Ушаков смело повел корабли к вражеским берегам, в течение трех недель крейсировал возле них, сжигая и топя неприятельские суда. В июле этого же года он одержал победу над превосходящими си-

лами противника у Керченского пролива и этим спас Крым от вражеского вторжения, а в августе успешно атаковал неприятельские корабли у Тендровской косы и обратил их в беспорядочное бегство. Разгром в следующем году флота противника у мыса Калиакрия, дерзко проведенный Ушаковым, сделал севастопольскую эскадру полным хозяином вод Черного моря. Турки почтительно прозвали русского адмирала «Ушак-паша — крокодил Черного моря».

Уже этих побед было достаточно, чтобы история навсегда сохранила память об Ушакове, но самые значительные его победы были впереди. Его дальнейшая боевая деятельность связана с освобождением Ионических островов из-под власти французов. 1799 год, увенчавший русскую армию славой итальянского и швейцарского походов под командованием Суворова, явился также годом блистательной победы русского флота под командованием Ушакова в Средиземном море. Высадив десанты на отдельных островах и овладев ими, Ушаков в ноябре 1798 года осадил, считавшуюся в то время неприступной крепость Корфу. Крепость была взята Ушаковым мастерским одновременным ударом с моря и десанта на суше.

Получив известие о занятии этого острова, Суворов воскликнул: «Великий Петр наш жив! Что он, по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах, произнес, а именно: Природа произвела Россию только одну: она соперницы не имеет, — то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту!.. Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?» Знаменитый английский адмирал Нельсон прислал Ушакову восторженное поздравительное письмо. Победы Ушакова в Средиземном море положили конец господствовавшему в Западной Европе мнению, по которому победы русского флота объяснялись слабостью турецкого флота. Военное искусство русских моряков было блестяще продемонстрировано перед всем миром, и ушаковские матросы сделали такими же грозными в глазах врага, как суворовские солдаты.

Тем, чем был Суворов на суше, Ушаков был на море.

В эпоху безраздельного господства в Европе медленной и нерешительной линейной тактики Ушаков, предвзяв Нельсона, создал активную морскую маневренную тактику, прозванную стремлением к наступательным действиям. Сила этой тактики лежит в ее народности, в ее глубоком соответствии духу, способностям и качествам русского матроса и офицера.

Одинаково великий в разработке стратегического замысла и в его осуществлении Ушаков проявил также блестящие качества крупного государственного деятеля, администратора и дипломата. Во время экспедиции в Средиземное море ему пришлось действовать совместно со своими недавними врагами — турками, которых к тому же боялось освобожденное от французов население ост-

ровов. Нужен был величайший такт, чтобы не ссорясь с турками и сохраняя лучшие отношения с освобожденным населением, в то же время твердо проводить свою линию. Дипломатические способности Ушакова проявились здесь в полном блеске.

В его героическом облике для нас особенно ценны его черты патриота, имеющего высокое понятие о воинской чести. Победы Ушакова имели целью не покорение чужих народов и стран, а укрепление мощи и безопасности отечества и братскую помощь борющимся за независимость поработенным народам. Для созданный им на освобожденных островах Ионийской республики он работал конституцию, которая была глубоко прогрессивной. Вот почему и позднее население островов и население Италии восторженно встречало русских матросов, как своих избавителей.

Объем очерка не дал возможности автору подчеркнуть эту сторону деятельности Ушакова, равно как и его полные благородства взаимоотношения с военнопленными. Но для нас эти черты ушаковской биографии имеют не менее важное значение. Благородство целей столь же неизбежная традиция наших воинов, как и их боевая доблесть.

Несколько шире, но все же недостаточно ясно освещен этот вопрос в брошюре Кровякова «Русские в Корфу». Автор оставил свое внимание только на одной из ушаковских побед и, пользуясь книгами биографа Ушакова Скаловского и участника похода капитан-лейтенанта Метакса, более подробно, чем Снегирев, рассказал о взятии неприступной крепости. Однако, тщательно описывая менее существенное, Кровяков не дал серьезного и военно-точного рассказа о подготовке и выполнении корфинской десантной операции. За пределами брошюры осталось и интереснейшее для читателя указание о выполнении Суворовым и Ушаковым общего оперативного плана армии и флота на юге Европы против войск Директории.

Обе книжки все же дают достаточно исчерпывающий рассказ о боевых подвигах Ушакова, но они не дают пищи воображению — обоим авторам не удалось воссоздать живой облик великого адмирала, облик, способный волновать душу читателя.

Этим выгодно отличается от книжек Снегирева и Кровякова небольшая книга акад. Е. Тарле «Нахимов». В ней соединены точность научного исследования с мастерским изображением яркого портрета героя.

В своей работе о жизни и деятельности Нахимова академик Тарле использует обширный исторический материал из русских и иностранных архивов, который впервые публикуется в нашей печати. Умело подбирая официальные документы, свидетельства современников и высказывания самого адмирала, автор как бы способом мозаики создает целостный, волнующий и убедительный образ Нахимова — флотоводца, патриота и человека.

Тарле отмечает характерную черту нахимовского облика, выделяющую его среди других наших флотоводцев.

«...Морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина. — пишет Е. Тарле, — а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, не был жениться. Он был фанатиком морского дела по единодушным отзывам очевидцев «наблюдателей». (Стр. 5—6).

Автор рисует Нахимова как передового человека своего времени, глубоко гуманного, идеально соединившего в себе командирскую требовательность с исключительной чуткостью и заботой по отношению к подчиненным.

Необычайна и вполне заслуженна была любовь матросов к Нахимову, и он высоко ценил эту любовь, говоря «...я этой привязанностью дорожу больше, чем отзывом чванливых дворянчиков». У многих командиров служба не клеится на судах от того, что они неверно понимают значение дворянина и презирают матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце так же, как у всякого другого». (Стр. 17—18).

Основная нахимовская военно-морская операция — Синопский бой — в книге описана ярко и увлекательно.

В героические дни первой обороны Севастополя Нахимов стал ее душой. Ему пришлось пережить самую тяжелую трагедию в

своей жизни в эти дни — он вынужден был сойти с боевого корабля и приступить к выполнению обязанностей «адмирала на суше». Деятельности Нахимова в качестве «хозяина Севастополя», так называли его матросы, посвящена большая часть книги. Правдиво и впечатляюще отображена автором картина борьбы защитников Севастополя, из неукротимый дух. Образцом и примером личной отваги и железной стойкости являлся Нахимов для севастопольцев, и матросы обожали своего адмирала. «Каждый из храбрых защитников, — записал один из очевидцев, — после жаркого дела осведомлялся прежде всего: жив ли Нахимов, и многие из нижних чинов не забывали своего отца-начальника даже и в предсмертных муках».

Смерть Нахимова от вражеской пули потрясла не только защитников города, но и всю Россию. Его гибель явилась в полном смысле началом конца обороны.

Светлый образ отважного героя Севастопольской обороны, возвышеннейшего патриота, храброго военачальника и человека с нежным, страстным сердцем и упрямой волей возникает в книге Тарле. Благодаря этому, она приобретает не только познавательное, но и большое воспитательное значение.

Мужественный образ наших великих предков — полководцев и флотоводцев — вдохновляет бойцов Красной Армии и советских моряков в дни Великой Отечественной войны. Их великие дела достойны того, чтобы о каждом из них было написано с той же подлинной страстью и вдохновением, с каким написана о Нахимове талантливая книга Е. Тарле.

А. Макаров



ГЕРОИ МЕКСИКАНСКОГО НАРОДА*

Книга американского писателя Эдкэма Пинчона «Сапата Непобедимый», посвященная жизни одного из вождей мексиканской революции 1910 года, Эмильяно Сапата, — не исторический роман. Это скорее всего «романтизированная биография» (Vie romanesque), одно время столь модная за границей.

Эдкам Пинчон не новичок в этом жанре. Им ранее была написана интересная книга о другом герое мексиканской революции — о Панче Вилья. По этой книге сам автор сделал сценарий хорошего фильма «Viva Villa», показанного перед войной в Москве во время международного кинофестиваля.

Архитектурно книга очень строга. В ней нет особенной остроты сюжета или тех специальных литературных ухищрений, какими пользуются авторы «колоннальных» и «экзо-

тических» романов, подавая своим читателям необычайную жизнь дальних стран. Но роман читается с неослабевающим интересом.

Секрет успеха этого произведения — в яркой характеристике легендарного героя мексиканского народа. Перед глазами читателей проходит его жизнь, мастерски воссозданная писателем. Сын бедного крестьянина, вчерашний «чареро» (погонщик мулов) Сапата становится крупным военачальником, вождем революционных крестьянских отрядов. Сапата по заслугам получил от нового мексиканского правительства звание генерала.

Для своей книги Пинчон проделал большую работу. Он не только обстоятельно изучил биографию своего героя, но сумел убедительно изобразить те сражения, в которых участвовал генерал Сапата.

Одна из стран антигитлеровской коалиции, современная Мексика, сравнительно поздно вступила на путь капиталистического развития. Целые три столетия она была составной

* Эдкам Пинчон. «Сапата Непобедимый». Гослитиздат, 1943.

частью великой испанской монархии, «в которой никогда не заходило солнце», и только, в начале XIX века провозгласила свою независимость от метрополии. Затем на многие десятилетия юридически самостоятельная Мексика превращается в арену борьбы интересов мировых кондернов, выкачивавших из богатейшей страны чудесные дары ее недр, плоды ее сказочно плодородной почвы.

Против одного из мексиканских диктаторов — президента генерала Порфирио Диаса, почти сорок лет разорявшего страну в интересах своих иностранных хозяев, — Сапата поднял восстание, закончившееся свержением этого кровавого палача мексиканского народа.

Эмельяно Сапата принадлежал к счастливой категории людей, выдающихся представителей народа, талантливых во всех проявлениях их повседневной жизни. Он был красив, ловок и бесстрашен; личное обаяние привлекало к нему всех, с кем он соприкасался. Автор невольно любит своего героя, когда рассказывает об его делах и мыслях; он рисует его благородным героем, непримиримым к врагам и добрым и доверчивым в кругу друзей и боевых соратников.

Недостаток знаний Сапата превосходно восполнял превосходным политическим чутьем, которое помогало ему в самых сложных и запутанных вопросах борьбы и взаимоотношений выбирать правильное решение. Его политическая программа была недостаточно четкой и до конца продуманной, но во всяком случае она была реальной угрозой для не сломленной революцией реакционных элементов Мексики тех дней. Сапата был предательски убит, так как со свойственной ему прямоотой и неподкупностью не шел ни

на какие сделки и компромиссы с ненавистными для него политическими дельцами и политиканами, пытавшимися свернуть ход революции на желательный для них путь.

Книга о народном герое Мексики сейчас чрезвычайно актуальна. В своей политической пропаганде в странах Латинской Америки гитлеровцы всячески чернят память Сапаты, противопоставляя ему, как «отца народа», кровавого диктатора Порфирия Диаса, отдавшего в свое время на откуп немецкому капиталу обширные территории своей страны, базировавшиеся на которых немцы стремились завладеть всем американским континентом.

Россию и Мексику разделяют между собою многие тысячи километров морей и океанов. Связь между двумя странами, общение между населяющими их народами, в силу этих обстоятельств, было крайне ограниченным. И все же Эмельяно Сапата писал в 1918 г., когда вдали от него, на другом конце мира, в России к власти пришли представители народа, за торжество которого у себя на родине неустанно боролся этот неутомимый погонщик генерал: «Мы много выиграли бы и много выиграло бы дело человеческой справедливости, если бы народы нашей Америки и все нации старой Европы поняли, что дело революционной Мексики и дело свободы России представляет дело всего человечества, высшие цели угнетенных народов мира».

Знакомство с мало известным у нас бытом, нравами, народом и героями Мексики — принесет читателю несомненную пользу.

Н. Габинский.

Редакторы: М. М. Розенталь, [В. П. Стаский.] А. А. Сурков, А. Н. Толстой.
К. А. Федип, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 13/IV-44 г.
А7841. 14 печ. листов. Тираж: 30.000. Зам. 1.

Типография «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

ОПЕЧАТКИ

На стр. 166 в 1-й колонке 10-ю строку снизу следует читать:
«В клинике, где все было белое, опрятное»...

На стр. 215 в 1-й колонке последнюю строку следует читать:
«В Иране светский театр появился»..